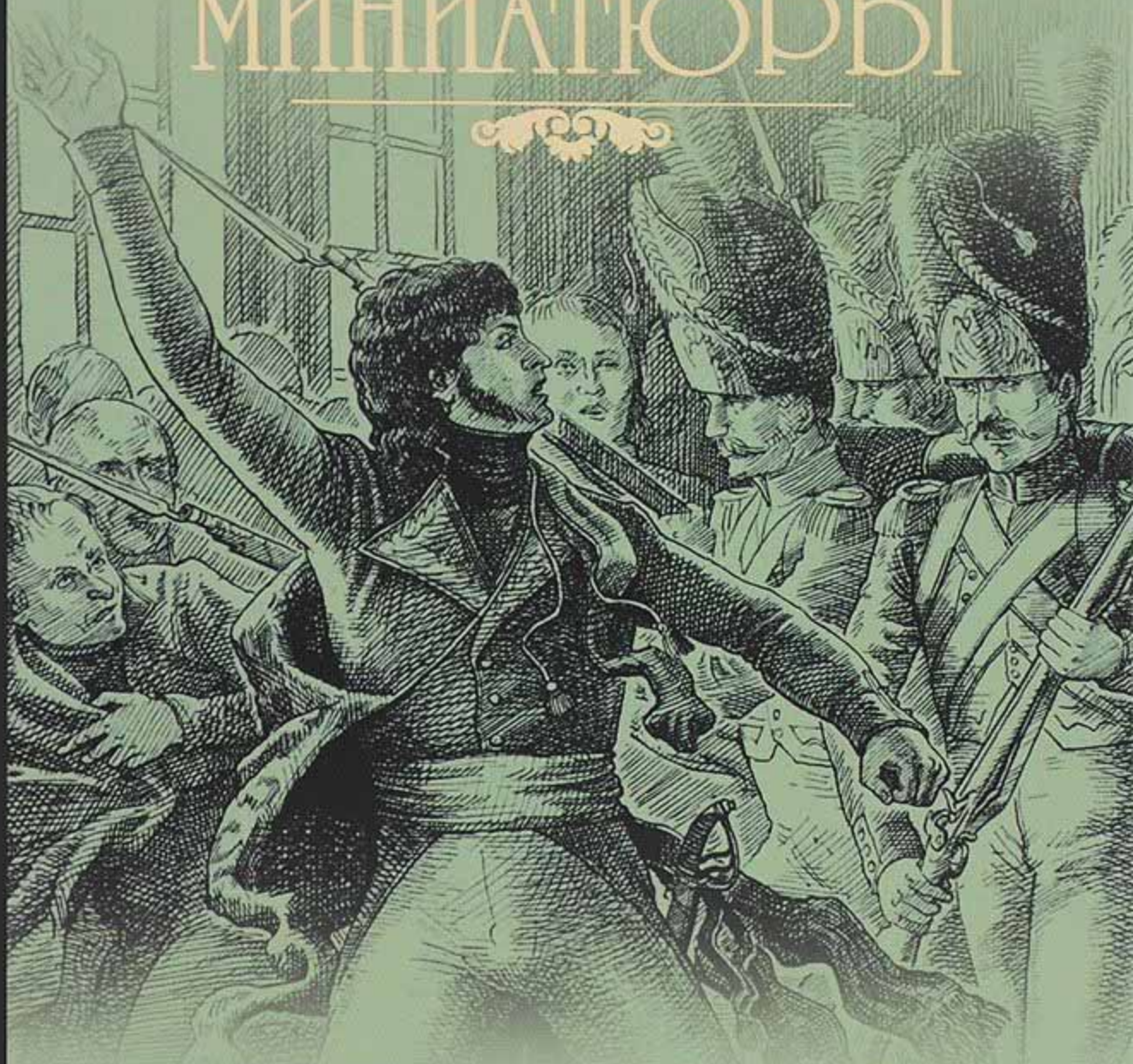


Валентин ПИКУЛЬ



КАЖДОМУ СВОЕ

МИНИАТЮРЫ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ
Полное собрание сочинений



КАЖДОМУ
СВОЕ



МИНИАТЮРЫ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ФАВОРИТ, книга 1

ФАВОРИТ, книга 2

НЕЧИСТАЯ СИЛА

БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ. МИНИАТЮРЫ

СЛОВО И ДЕЛО, книга 1

СЛОВО И ДЕЛО, книга 2

КАТОРГА. МИНИАТЮРЫ

БОГАТСТВО. МИНИАТЮРЫ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

МООНЗУНД

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 1

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 2

ПЕРОМ И ШПАГОЙ

БАРБАРОССА

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 1

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 2

ПСЫ ГОСПОДНИ. ЖИРНАЯ, ГРЯЗНАЯ И ПРОДАЖНАЯ. ЯНЫЧАРЫ

ИЗ ТУПИКА, книга 1

ИЗ ТУПИКА, книга 2

ТРИ ВОЗРАСТА ОКИНИ-САН

РЕКВИЕМ КАРАВАНУ RQ-17. МАЛЬЧИКИ С БАНТИКАМИ
СТУПАЙ И НЕ ГРЕШИ. ПАРИЖ НА ТРИ ЧАСА. ЗВЕЗДЫ НАД БОЛОТОМ

КАЖДОМУ СВОЕ. МИНИАТЮРЫ

КРЕЙСЕРА. МИНИАТЮРЫ

БАЯЗЕТ

ГЕНЕРАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ. МИНИАТЮРЫ

ПОЛЕТ И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ. МИНИАТЮРЫ

РЕКВИЕМ ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ. МИНИАТЮРЫ

Валентин ПИКУЛЬ



КАЖДОМУ СВОЕ



МИНИАТЮРЫ



Москва • «Вече»

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)6

ПЗ2

Составление, комментарии

А.И. Пикуль

Рисунок на обложке

Н.А. Васильева

Пикуль, В.С.

ПЗ2 Каждому свое : роман. Миниатюры / Валентин Пикуль ; [сост. и комм. А.И. Пикуль]. — М.: Вече, 2015. — 416 с. — (Полное собрание сочинений).

ISBN 978-5-4444-2981-5

ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

Знак информационной продукции **12+**

В центре романа «Каждому свое» — судьба французского генерала-республиканца Моро, вставшего под знамена русской армии, чтобы пресечь честолюбивые диктаторские замыслы Наполеона. Миниатюры, включенные в настоящий том, представляют собой галерею портретов ловких авантюристов и других ярких исторических личностей XVI — начала XX века.

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4444-2981-5

ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

© Пикуль В.С., наследники, 2015

© Пикуль А.И., составление, комментарии, 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

КАЖДОМУ СВОЕ

Часть первая ГРАЖДАНИН МОРО

Не честолюбие увлекло меня в среду воинов свободы, но уважение к правам народов: я сделался солдатом, потому что я был гражданином!

Генерал Жан Виктор Моро

Первый эскиз будущего. Кровь льется в Лонгвуде

Весной 1818 года двухмачтовый бриг «Рюрик» завершал кругосветное плавание. Набрав свежей воды в Капе (ныне Кейптаун), корабль, гонимый ветром, вышел в Атлантику. 24 апреля по курсу была усмотрена земля — почти вулканический конус, поднимающийся из глубин океана. Отто Евстафьевич Коцебу, начальник экспедиции, окликнул лейтенанта Шишмарева:

— Глеб Семеныч, душа моя, отметьте в журнале: за пятьдесят миль к норд-вестовому румбу открылся остров Святой Елены. Стоянка возможна лишь на грунте Джемстоуна!

В тесной клетушке офицерской кают-компании, естественно, возник разговор о Наполеоне... Шишмарев сказал:

— Вот вернусь на родимую Тихвинщину, порадую жену с детками, а ведь до самой смерти не прощу себе, ежели нонеча проплывем мимо Елены, не повидав знатного узника.

Того же мнения был и Адельберт Шамиссо, ботаник и зоолог корабля, славный немецкий лирик, переводчик русских поэтов; он сказал, что заточение Наполеона на острове — это волшебная тема для будущих поэтических озарений.

— Англичане — просвещенные мореплаватели, и нам, не менее просвещенным, они не откажут в желании видеть славного завоевателя в его заточении.

— Резон есть! — согласился Коцебу. — Российский же комиссар на острове будет рад передать депеши о Наполеоне не английскому почтой, а прямо в Петербург через наши руки...

Перед островом их задержала британская брандвахта. На «Рюрик» явился офицер королевского флота. Сопровождая его в каюту, Коцебу услышал внятный шелчок взведенного курка пистолета, упрятанного в рукаве мундира.

— К чему ваша пиратская деликатность? — возмутился Коцебу. — Или собираетесь стрелять мне в спину?

Пистолет из рукава переместился в карман.

— Русский бриг вошел в запретные воды, где мое королевство охраняет интересы мира в Европе...

Коцебу объяснил, что мир не вздрогнет, если они примут почту для канцлера Румянцева, на личные средства которого и образована научная экспедиция «Рюрика».

— Научная?.. — недоверчиво хмыкнул англичанин. — Именем короля предупреждаю, чтобы вы не вздумали ночью соваться в Джемстоун, а я доложу своим адмиралам и русскому комиссару о вашем неожиданном появлении возле острова...

Ночь провели в дрейфе. Утром завиднелись прижатые к скалам домишки Джемстоуна, над ними нависали крутые горы, неприступные с моря. Шишмарев внимательно огляделся:

— Здесь будто в Гибралтаре или на Мальте, но возня с фортификацией не закончена. Вижу, как из траншей вылетает земля, а солдаты тащат пушки на горные вершины...

Первое ядро пронеслось над гафелем, никого не испугав, только удивив моряков, а на борт резво поднялся со шлюпки офицер линейного корабля «Конкерор»; он сразу заявил, что батареи гарнизона стреляют, очевидно, по ошибке.

— Наш губернатор, сэр Гудсон Лоу, содержит остров в безопасности, и Бонапарту, этому извергу рода человеческого, не улизнуть отсюда, как это случилось на Эльбе, после чего он и принял от нас горячую ванну под Ватерлоо...

Пышная тирада была прервана огнедышащим брендс-кугелем, а перепуганный гость заторопился обратно к трапу:

— Опять ошибка! Но сейчас все выяснится...

После его отбытия ядра посыпались гуще и плотнее. Лейтенант Шишмарев скомандовал канонирам на пушку:

— Заряжай! Коли по ошибке стреляют, по ошибке и топят. А мы не таковские... Клади, ребята, первую!

«Конкерор» многопушечной массой надвигался на маленького «Рюрика» — как толстокожий носорог на жалкого кролика. Коцебу крикнул Шишмареву, что каждый благосклонный прием нуждается в самой высокой благодарности:

— Ну-ка, залепи им, сукиным детям!..

— Первая пошла... — доложили канониры.

— Клади вторую! Не хотят Наполеона показывать, так мы ихней милости все фонари и стекла перекалечим... Клади!

Отстреливаясь, «Рюрик» наполнил паруса ветром, снова растворяясь в безбрежии океана. Через три месяца корабль бросил якоря на Неве, пред самым домом государственного канцлера, графа Николая Петровича Румянцева. Благожелательный к наукам вельможа, он долго осматривал привезенные для Академии наук восточные коллекции, с большим вниманием выслушал рассказ о кошмарном визите в Джемстоун.

— Аглицким разбоем на морях уже по горло мы сыты... Я давно склонен к мысли, что Лондону прискорбно ежегодно тратить восемь миллионов на охрану Наполеона, держать вдали от метрополии образцовую пехоту с артиллерией и две посменные эскадры адмиралов Малькольма и Пампейна.

— Вы их... подозреваете? — спросил Коцебу.

— Англичан все подозревают. Дабы избавить Сити от лишних расходов, они будут рады избавиться и от Наполеона. Сейчас все зависит от его здоровья, а после русского похода именно здоровьем император не может похвастать.

— Каков же его недуг, ваше сиятельство?

Румянцев приложил ладонь к левому боку, затем медленным жестом перевел ладонь в область желудка:

— У него боли... вот тут! Об этом Петербург извещен от русского комиссара на острове Святой Елены...

Этим комиссаром был граф Александр Антонович де Бальмен; служебный формуляр его испещряли отметки об исполнении тайных поручений в лагере наполеоновской коалиции или в странах, подвластных турецкому султану Селиму III. Кажется, уже тогда его глаза стали заполнять мутные катаракты, вызванные неумеренным употреблением подзорной оптики, что грозило де Бальмену полной слепотой. 80 000 франков, получаемые для представительства на острове Святой Елены, не сделали его богачом, хотя комиссар был еще холост, а жил очень

скромно. В эту пору Бальмен свел знакомство с О'Меара, врачом британской эскадры, который сумел завоевать личное доверие Наполеона. Гудсон Лоу, между прочим, третировал врача, он фальсифицировал бюллетени о здоровье императора и даже утверждал, что Наполеон... притворяется: «На самом же деле нет человека здоровее его, и безбожный злодей переживет всех нас!» Явная клевета губернатора, подхватываемая лондонскими газетами, обретала официальный тон. Но врач оставался верен клятве Гиппократа, хотя он и знал беспощадность королевской юстиции. Однажды за выпивкой в доме русского комиссара он честнейше заявил графу де Бальмену:

— Если бы я точно исполнял инструкции Лондона, генерала Бонапарта давно бы не было в живых. Надеюсь, это признание останется между нами. Вам нет смысла губить меня.

...Русская публика узнала об этом лишь в 1869 году.

«Кровь льется в Лонгвуде», — сообщал де Бальмен. Высокообразованный человек гуманного толка, он оставил по себе славу ловкого агента секретной службы, его имя сохранилось и в дипломатии. Джавахарлал Неру в своих трудах по истории не забыл упомянуть и де Бальмена... Наполеон писал в завещании: «Я умираю преждевременной смертью как жертва английской олигархии и ее наемных убийц». Много позже, когда в Петербурге де Бальмена спрашивали, винит ли он Англию за жестокость, граф отвечал английскою же поговоркой:

— «Англия всегда права, даже в том случае, если она не права». Однажды я завел перед Гудсоном Лоу речь об ослаблении режима в Лонгвуде, на что Лоу ответил мне так: «Каждый англичанин знает, что он может быть повешен... Значит, могу быть повешен и я!» Судите об этом сами, дамы и господа...

Джемстоун — гарнизонный поселок, в котором были даже лавки и прачечные, поддерживалось жалкое подобие европейской цивилизации. Но англичане заперли Наполеона подальше от людей — в ущелье Лонгвуда, где бревенчатый дом загнивал от дождей, долину окутывали влажные туманы, а дыхание Африки иногда копило в низине духотищу, невыносимую даже для негритянской прислуги. Губернатор Лоу посылал в Лонгвуд разрозненные листы газет, нарочно путая их пагинацию и хронологический порядок, дабы Наполеон еще больше ощущал свою полную изоляцию от мира... Император расплачивался с англичанами беспардонной грубостью выражений, в общении с адмиралом Малькольмом позволял себе разоблачать самые сокровенные тайны британской политики.

— Бросьте нахваливать благородство своих кумиров! Я ведь не забыл, как ваш посол Чарлз Уитворт, когда я был еще первым консулом, — уже тогда! — клятвенно заверял, что Лондон сделает меня королем, если я откажусь от Мальты. Вы решили, что я слабоумный. Англия, не пролив ни капли крови, укрепилась бы в Ла-Валлетте, а меня с титулом короля парижане уже тащили бы за волосы до ближайшей уличной гильотины...

С адмиралом они всегда препирались, ибо упрямый британец постоянно именовал Наполеона генералом Бонапартом.

— Я перестал быть генералом Бонапартом после Египетского похода... Я отрекся лишь от престола Франции, но я не отрекался от титула императора, который обрел не милостью Божьей, как иные монархи, а завоевал его кровью...

Вокруг него в Лонгвуде сам по себе сложился «двор», пусть далекий от прежней пышности Сен-Клу, но с прежними повадками, включая женские интриги, лакейское злоречие мужчин, острое желание каждого урвать долю ласки от сердитого повелителя. Многие добровольно последовали за ним в ссылку — с женами и детьми. А замыкал фалангу придворных пан Пионтковский, который так долго воевал за чужую «свободу», что и сам не заметил, как очутился в конюшнях Лонгвуда со своим неизменно ласковым «пше проше, пане».

— Дальше этого острова, — мудро изрекал он, — нам спешить уже некуда. Это как раз та самая последняя станция на планете, где всем подадут экипажи с траурным флером...

Если кто из англичан выражал сочувствие Наполеону, его немедленно отсылали в метрополию. На вопросы комиссаров о здоровье Наполеона Гудсон Лоу хамски отвечал: «Он существует, и этого вам достаточно». Ежедневно офицер-надзиратель в Лонгвуде требовал появления Наполеона. При этом император выглядывал в окно или выходил на веранду.

— Нет, я еще не убежал, — говорил он, привычно складывая на груди руки. — Можете в этом рапорте для губернатора особо указать, что вся эта комедия — позор для Англии, и образованная Европа никогда не простит глумления надо мною. Теперь я глубоко сожалею, что доверился вашей мерзкой нации, а не угодил в плен к диким русским казакам.

Англичане охотно беседовали с Наполеоном.

— Попадись вы казакам, и пьяные русские бояре заморозили бы вас в Сибири до состояния прозрачной сосульки.

— Чепуха! — огрызнулся Наполеон. — Я проживал бы в лучших дворцах Петербурга как знатный гость русской нации...

Гудсона Лоу он не пускал к себе. Не возникло у него отношений и с комиссарами. Бережливый король Пруссии, экономя пфенниги даже на пиве, отказался иметь посла для надзора за императором. Королевская Франция направила на остров маркиза Монтеню, Австрию представлял недалекий барон фон Штюрмер... Никого из них Наполеон видеть не желал.

— Париж прислал паралитика-маркиза, которого я, жалею, не повесил раньше — как уличного попрошайку. А кого представляет здесь Штюрмер? Только моего тестя, императора Франца, который два раза отдавал мне свою столицу, а потом отдал и свою дочку. Мне бы следовало жениться на русской великой княжне Екатерине, и тогда Европа была бы у меня в шляпе... Я, — говорил Наполеон, — желаю теперь общения только с русским комиссаром, но Гудсон Лоу, этот жалкий ублюдок, не позволяет встреч с графом де Бальменом, пока я не приму в Лонгвуде высокорожденного воришку Монтеню заодно с венским олухом Штюрмером... Как тут быть?

Однажды к Бальмену, гулявшему по единственной улочке Джемстоуна, подошла нарядная девочка — Бетси Балькомб.

— Что тебе, дитя мое? — спросил комиссар.

— Бони сказал, что хотел бы видеть вас в Лонгвуде... не как комиссара, а просто гостем в его доме.

— Кто такой Бони?

— Так я зову императора Наполеона.

— И он не обижается?

— Нет, он смешной и добрый...

Недавно стало известно, что часть золотых сервизов Наполеон превратил в лом, желая обратить их в звонкую монету. В частной беседе с Лоу граф де Бальмен удивился столь быстрому обнищанию Лонгвуда, но губернатор высмеял его домыслы:

— Очередной фарс генерала Бонапарта, желающего вызвать жалость европейцев к своей персоне. Мы знаем, что он еще способен ворочать миллионами. А корезжит сервизы нарочно, дабы не открылись адреса его тайных капиталов, на общей сумме которых можно образовать целую армию, чтобы затем повторить весь покер сначала — от Маренго до Ватерлоо...

Наполеон то впадал в меланхолию, то вдруг, оживленный, звал камердинера:

— Маршан, надеюсь, ты не забыл, что я указывал тебе вчера о моих сегодняшних удовольствиях?

Маршан вчера загулял и ничего не помнил.

— Помню, Ваше Величество, — бодро отвечал он, а потом спрашивал у графа Бертрана: — Что ему от меня понадобилось?

— Глупец, — отвечал генерал, — своди императора на курятник, и пусть он перережет наших кур, оставив Лонгвуд без единого яичка к завтраку. Если уж Его Величество заговорил об удовольствиях, значит, он хочет крови...

Бертран во Франции был заочно приговорен к смертной казни, но англичане почему-то не выдали его на расправу.

Лонгвуд всю ночь поливали дожди. В доме потрескивали ветхие паркеты. Наполеон бродил по комнатам в турецком тюрбане, держа бильярдный кий. Толчками этого кия он открывал скрипучие двери. Утром состоялось бритье в присутствии Бертрана и Монтолона, двух приближенных.

— Граф Бертран, как моя левая щека?

— Идеально, Ваше Величество.

— Граф Монтолон, а как с этой стороны?

— Превосходно! Будто вас побрил сам генерал Моро...

— Зачем вы вспомнили этого человека?

— Только потому, что он любил это занятие и к нему в походный шатер солдаты шлялись, как в бесплатную парикмахерскую. Простите, Ваше Величество. Упоминанием о Моро я никак не желал доставить неудовольствие Вашему Величеству.

— Хорошо. Пусть подадут одеваться.

— Какой костюм изволите сегодня?

— Сегодня, пожалуй, охотничий...

Он сам застегнул пуговицы, изображавшие головы рысей, кабанов, лисиц, волков и зайцев. Завершив туалет, Наполеон проследовал на кухню, где с утра орудовал повар.

— Я ничего уже не хочу, — сказал император, присаживаясь возле горячей плиты. — Но по опыту жизни знаю: как бы мало ни съел человек, все равно ему будет много... Непостижимо! — вдруг воскликнул он, громко шлепнув себя по жирным ляжкам. — Я столько лет сражался с Англией и, оказывается, всегда имел о ней неверное представление... Какое утонченное коварство! Запереть меня здесь. В этом ущелье. На этой кухне.

Повар назвал англичан нацией торгашей, чем и выказал знакомство с экономическими трудами Адама Смита.

— Джентльмены торгуются с Маршаном из-за бутылки уксуса или фунта потрохов с таким апломбом, будто они закатились прямо на Венский конгресс и речь идет о престиже их поганого королевства... Так я вам сделаю баранью отбивную?

— Только с косточкой, — напомнил узник Европы.

На кухне появилась графиня Монтолон, которая под конец войны нашла четвертого мужа в свите Наполеона, почему теперь и «блистала» на самых задворках мира.

— Я не выдержу! Всю ночь в моей спальне бегали крысы. Опять дожди, дожди... А у меня что-то с печенью.

— У меня тоже, — вяло отозвался Наполеон. — Я жду О'Меара и скажу ему, чтобы он прописал вам каломель... Сегодня на рассвете я слышал далекий гул пушечных выстрелов.

— Да, — ответила женщина, — кажется, это стреляли корабли. Маршан уже поехал за брюквой в Джемстоун, уж этот пройдоха как следует вынюхает там все новости...

Во время обеда придворные были счастливы предложить ему салфетку или убрать пустую тарелку, а Наполеон принимал ухаживания так, будто родился в колыбели Бурбонов или Габсбургов. При этом оставался внимателен даже к пустякам.

— Бертран, ваша поза может нравиться только вам.

— Извините. Я нечаянно прислонился к стене.

— Я вас уважаю, но сидеть позволяю лишь в том случае, когда я лежу. А когда я сижу, все обязаны стоять. Это золотое правило подтверждено практикою монархов всего мира...

После обеда он мурлыкал песню нищих итальянских лаццарони. За этим занятием его и застала радостная Монтолон.

— Маршан вернулся, — сообщила она. — Джемстоун гудит с утра, словно улей. Оказывается, вчера русский бриг просил свидания с де Бальменом, который, будучи извещен об этом с эскадры, всю ночь не спал, составляя реляции для своего царя. А утром англичане, не успев отомлиться, палили по бригу с «Конкерора» из пушек, и теперь Гудсон Лоу клятвенно заверяет Бальмена, что «Конкерор» отогнал залпами лишь бродячее судно. Русских же кораблей у острова вообще не бывало...

— А! Как я рад этому скандалу... Наконец-то мои тюремщики оскорбили не только меня, но задели и честь царя Александра в лице его уполномоченного... Прелесть моя, — нежно произнес Наполеон, — позовите ко мне своего мужа.

После секретной беседы с императором Шарль Тристан Монтолон навестил в Джемстоуне русского комиссара. Бальмен проявил любопытство к ртутным препаратам, которыми О'Меара лечил от «завалов» больной печени Наполеона.

— Скажите императору, что пожар Москвы не будет забыт русским народом, но в нашем образованном обществе уже складывается искреннее сочувствие к его трагической судьбе.

— Пожар Москвы, — подхватил Монтолон, — многое повернул в ложную сторону. Теперь мой император признает, что, вступив в Вильно, ему не надо было двигать армию на Смоленск, ему следовало из Вильно диктовать условия мира...

Монтолон ранее возглавлял французскую разведку в Германии, и теперь им, двум конспираторам, вроде бы и не стоило притворяться. Все уже давно ясно, как и этот вопрос:

— Что привело вас ко мне, граф Монтолон?

— Распоряжение императора. Он составил обширное письмо для Александра и просит вас найти верный и тайный способ переправить его в Петербург — лично в руки царя...

Бальмен ответил, что комиссаров Европы обязали присягою каждую строчку Наполеона показывать прежде Лоу.

— А каков Лоу педант, в Лонгвуде извещены достаточно...

Монтолон еще не закончил своей прелюдии:

— Вы и сами, конечно, знаете, что в Тильзите и Эрфурте мой император с вашим говорили о будущей политике мира не только то, что вошло в протоколы, а из протоколов механически перейдет в историю. Между ними возникло, я бы сказал, немало интимных политических связей, которые не должны быть известны истории. Раскрытие же этих тайн повлекло бы за собою некоторые осложнения для русского кабинета...

Желтый попугай, соскочив с жердочки, пролетел над столом и уселся на отставленный палец русского комиссара.

— Вы меня, кажется, шантажируете?

— Нисколько, — поклялся Монтолон.

— Но ваши слова...

— Они ведь тоже не для протоколов!

— Иначе говоря, — констатировал де Бальмен, — сверженный император желает вступить в официальную, но сугубо секретную переписку с российским кабинетом... Ради чего?

Этот вопрос графа Монтолона не смутил:

— Я думаю, еще не все потеряно... Еще возможны всякие конвульсии в политике. Но история нашего века не будет дописана, если Бонапарты не вернутся на престол Франции.

— Возможно, — кивнул комиссар. — Но вряд ли при нынешних обстоятельствах может возникнуть политическая ось: ПЕТЕРБУРГ — ЛОНГВУД... Это было бы просто смешно!

— Я не все сказал, — вкрадчиво произнес Монтолон. — Вы возьмите письмо, и Наполеон согласен отсчитать для вас миллион золотом. Потом можете просить еще... миллионы!

Подозрения Лоу о нераскрытых источниках богатства династии Бонапартов, кажется, подтверждались. Бальмен задумчиво гладил хохолок на головке умного попугая.

— У себя на родине я не считаюсь богатым. Но слышу за честного человека. Иначе, согласитесь, меня в эту «дыру» и не послали бы... Оставим миллионы в покое! Но возьми я письмо Наполеона, и это грозит мне крахом судьбы.

— Да, крахом, — отвечал Монтолон. — Мой император предвидел ваши опасения и просил успокоить вас: наказание будет условным, затем последует небывалый взлет вашей карьеры. Над затухающими головешками Москвы именно вы объедините пожатия двух великих монархов и сердца двух примирённых наций... За вами последнее слово, граф!

— Мое последнее слово таково: все, что здесь было сказано, я никогда не оставлю в тайне от Петербурга...

Наполеон после этого опустошил курятник, безжалостно расстрелял в упор ласковую козочку графини Монтолон, своей последней в жизни фаворитки. Когда женщина разрыдалась от горя, он грубо накричал на нее:

— Перестаньте лить слезы, мадам! Не сидеть же мне тут без дела. Должен же я кого-нибудь убивать...

И опять за окнами Лонгвуда вечерело. Наполеон блуждал вокруг громадного бильярда, бессмысленно передвигая шары руками. Доктор О'Меара стоял, и не было еще такого случая, чтобы знаменитый пациент предложил ему сесть. Конечно, император догадывался, что О'Меара (и не только он!) ведет регулярный учет его обращениям к прошлому, чтобы потом — на основании этих бесед — сложить книгу. Доктор, хорошо изучивший внутренний мир своего больного, наводящими вопросами провоцировал Наполеона на откровенность; он знал, что император, подобно всем корсиканцам, всегда был страшно суеверен, боялся разбитых зеркал, цифры 13 и буквы М. Наполеон говорил:

— Все исполнилось! Нельзя мне было в пятницу покидать Сен-Клу перед походом в Россию, а в канун Ватерлоо я видел осколки зеркала. Москва начинается с роковой буквы М, я боялся даже людей с фамилиями на эту букву. Судите сами: Мале, выбравшись из бедлама, три часа управлял Парижем в мое отсутствие, а генералы Мортье и Мармон подписали позорную капитуляцию Парижа перед русскими...

— Ваш любимый шурин Мюрат, король Неаполя?

— Петух, которого я разукрасил орлиными перьями. Боясь за свой престол, он предал меня — и сразу погиб.

— Наконец, ваш славный маршал Массена?

— Да, этот негодяй был талантлив, но мошенник каких мало. Массена воевал ради добычи, не стыдясь обворовывать своих же солдат. Армия дважды бунтовала... — из-за него...

Доктор деликатно напомнил о Моро, и при этом имени Наполеон нервным движением руки поправил на лбу челку.

— Моро был отличным полководцем. Но я ставлю его ниже Клебера, Дезе и даже Сульта... Моро не доставало огня! Для воодушевления Моро требовалось, чтобы вокруг стали падать мертвецы. Тогда он раскуривал свою трубку и залезал в самую гущу драки. Впрочем, — добавил Наполеон, — Моро имел очень добрую душу, он любил смешить людей. Вся беда в том, что ему попалась одна вертлявая креолка, которой он подчинился, прельщенный ее красотой и юностью. Она и вертела им как хотела... Я уже не помню, — поморщился Наполеон, — когда мы с Моро не могли поделить Францию.

Он молча обошел бильярд, вынул из лузы шар номер 13 и неожиданно заявил доктору:

— Франция должна забыть Моро! Пусть он сохранится в памяти русских историков, и то лишь потому, что сражался с Суворовым... Но я до сей поры не знаю, как светило бы мне солнце судьбы, если бы Суворов дожил до Аустерлица!

1. Против Суворова

В пасмурных долинах Ломбардии ржали усталые кони, дымили походные кузницы, пахло перегнившей соломой и острой лошадиной мочой. Италия встретила русских холодными дождями, дороги развезло от грязи...

Была ранняя весна 1799 года.

Мосты через Адду, kloкочущую от обилия дождей, были взорваны отступившими французами. Суворов проснулся в четвертом часу ночи, велел подавать щи. Адьютант Кушников задернул полог шатра, чтобы ветер не гасил свечи.

— Ну, — спросил Суворов, — нашли жирную свинью?

— Одно сало! Казаки бросили ее в Адду, она даже хрюкнуть не успела, так и закутило... Вечная хрюшке память.

— Скверно, — огорчился Александр Васильевич...

Из всех животных лучший пловец — свинья, и уж если даже она потонула — значит, нельзя пускать вплавь и конницу. Тут появился напыщенный секретарь Егор Фукс, сообщивший, что ночью из Милана вернулся лазутчик с новостью:

— Парижская Директория поручила управлять армией в Италии новому командующему — генералу Моро, а он из разжалованных, ему по делу Пишегрю чуть было голову не снесли.

— Моро... Моро... — призадумался Суворов, напрягая память. — Не тот ли это Моро, который насмешил всю Европу, когда его *кавалерия* захватила *флот* у голландцев?

— Да, история не знала подобного: Моро атаковал флот в гавани, его гусары Лагюра въехали на палубы кораблей и саблями изрубили все снасти такелажа.

— Каков храбрец! При косе Кинбурнской я пускал казаков морем в воде по брюхо, но корабли брать... не додумался. Егор Борисыч, — распорядился Суворов, — пошлите Моро мое приветствие по случаю его назначения.

— Слушаюсь, — отвечал Фукс с поклоном.

Кушников по газетам знал: Моро — из якобинцев, сейчас ему тридцать пять лет, а слава его викторий гремит по всей Франции.

— У них все гремит. Неужто он и Бонапартия злее?

— Не осмелюсь сравнивать. Но Бонапартия и Моро французы под масть на один шесток садят. После сих имен в Париже почитаются еще свирепые генералы — Дезе и Жубер.

— Ладно. Славных бить — больше славы! Жаль, что Бонапартий запропал в Египте под сенью пирамид фараоновых. Я ведь за его горячками давно с вожделием надзираю...

Итальянская кампания началась успешно. Россия состояла в альянсе с Австрией, под знаменами Суворова сражались итальянские волонтеры. Армия форсировала Адду по зыбким понтонам. На другом берегу генерал Моро ворвался прямо в казачью «линию» — вжик! — уже отсекли поводья, но Моро четкими ударами сабли избавил себя от неизбежного плена.

— Узнаю повадки гусара! — сказал Суворов.

За рекою простерлись дороги на Милан; дожди разом схлынули, напала адовая жарница. Среди солдат слышалось:

— А пельцынов-то не видать. Сначала грязюка, бытто в России, ныне сухота эка, а кады ж пельцыны созреют?..

Суворов окликнул донского атамана Денисова:

— Адриан Карпыч, открой ворота в Милане...

Было воскресенье: на улицах Милана царил оживленный карнавал, нарядные кавалеры жеманно танцевали с прекрасными синьорами и синьоринами. Нищие жители предместий весело обозревали неведомых людей с курчавыми бородами, поначалу приняв казаков за русских... монахов:

— *Carucini Russi!* — кричали в толпе.

Атаман Денисов растолковал как умел:

— Добрые миланцы! Не попы мы московские, а казаки с тихова Дону... Не верьте афишам парижским, будто мы младенцами кормимся да женок чужих задираем. Не хотим мешать и веселью вашему. Танцуйте далее себе в забаву, а мы, квартир ваших не беспокоя, на мостовых выспимся... Дадите соломки постелить — спасибо, не дадите — бог с вами!

Когда Суворов въезжал в Милан, балконы домов были украшены коврами и шальями, женщины бросали цветы под копыта русской кавалерии. Фельдмаршал укрывался внутри возка (спасаясь от жары, он разделся до исподнего). Подле кареты ехал верхом в пышном мундире важный секретарь Фукс, которого миланцы ошибочно сочли за великого полководца:

— Виват Суворов — избавитель Италии!

Фукс охотно принимал поцелуй красавиц, часто кланялся из седла публике. Вечером ему было сказано:

— Ну, Егор Борисыч, спасибо — выручил.

— За что благодарность вашего сиятельства?

— Да уж больно хорошо за меня кланялся...

Вечером в миланском Ла Скала божественная Джузеппина Грасини пела для русских офицеров, но Суворов в театр не поехал. Фельдмаршал развернул карту перед Багратионом.

— А что, князь Петр? — сказал он любимцу. — Генерал-то Моро выявился неплохо... Немало у него в голове всякой мебели, да и чердак свой он, видать, исправно проветривает. Чую, разгадал он меня, старика, но я все-таки понял его лучше...

У безвестной деревни Маренго Багратион напал на войска Моро; французы, хотя их было меньше русских, сражались превосходно, на место битвы прискакал Суворов — с укором:

— Ах, князь Петр! Упустил ты Моро, упустил...

Моро отвернул в сторону Генуи, Суворов — к Турину. Но всюду русские ощущали тактическое мастерство противника, Моро удивлял Суворова гибкостью блистательных маневров.

— Генерал искусных ретирад! Пожалуй, никто еще столь ловко не увертывался из моих объятий, как этот жакобинец...

В сражении у Треббии русские одержали победу, а в июне адъютант Кушников доложил полководцу:

— Директория во главе с Баррасом отзывает Моро в Париж для оправдания в ретирадах перед нами. На его место директор Сийес шлет задиристого генерала Жубера...

— Жаль! — отвечал Суворов. — Мне жаль Моро, который, вопреки мнению парижских бездельников, сражался с нами хорошо... даже очень хорошо! Что подарить ему на прощание? Велю пленных офицеров-французов отпустить обратно к Моро... Да, хватит на них наши макароны переводить!

Поспешая в Италию, генерал Бартелеми Жубер завернул в провинцию, где томилась его невеста. Гремя шпорами и растревожив сельскую идиллию звоном сабли, всегда неотразимый, излучая бешеную энергию, Жубер суматошно взывал к перепуганным родителям обрадованной невесты:

— Свадьбу! Без промедления... Что вы копаетесь с посудой и перинами? Вы имеете дело с самим Жубером, а ему дорога каждая секунда — его ждет сам Суворов...

Утром он оставил счастливую жену:

— Ах, чудо мое, почему я не могу взять тебя в Италию, чтобы ты насладилась видом моего торжества?

— Чего не увижу, о том услышу, мой дорогой.

— Да! Мир еще содрогнется при этом имени — Жубер...

Моро был его давним приятелем, он сразу усадил Жубера перед собой и как следует наточил ужасную бритву.

— На худой конец, в отставке я могу ведь открыть цирюльню. А на вывеске изображу комету, летящую над крышами Парижа, и пусть комета станет символом той небывалой скорости, с какой я из волосатых дикарей произвожу людей... Готово!

— Как? Уже? — поразился Жубер.

— Да, — сказал Моро, вытирая бритву.

— Не выдумывай, Моро, — ответил Жубер. — К чему тебе скоблить чужую щетину, если ты готовился в адвокаты?

— Но предпочел сражаться за революцию... Мы с тобою проделали скорый марш, не правда ли? Два-три года в седле — и солдаты стали дивизионными генералами. А теперь я только гражданин Моро, проигравший кампанию... Мы посадили в Италии «деревья свободы», но свободы не дали. Напротив, мы разорили итальянцев, и без того нищих. Меня в Ривьере народ провожал свистом, а Суворов въехал в Милан по цветам...

— Ты отчаялся, Моро? Ты устал?

— Возможно. Но когда в Париже кричат о том, что Франция несет миру освобождение, я думаю, прежде надобно спросить у народов — хотят ли они такого «освобождения», когда их грабят, дабы насытить алчную Директорию?

Личная дружба с Жубером не позволила Моро страдать самолюбием, и он предложил себя в роли советника.

— Иного от тебя не ожидал, — обрадовался Жубер; давний соратник Бонапарта на полях битв, он верил только в наступление. — Этого, кстати, ждут от меня и в Париже!

Моро наклонил кувшин, разливая вино:

— Этого, кстати, ждет и армия Суворова.

— Так в чем же дело? — хохотал Жубер. — Если желания Суворова сходны с желаниями нашей Директории, так мы завтра же устроим здесь отличную потасовку...

Моро оставался чересчур рассудителен:

— Открыть сражение способен любой деревенский башмачник, но иногда и гений не может его закончить. Финалы битв опаснее их начала. Я не имею точной диспозиции боя, о котором ты говоришь с таким упоением. Зато я, — заключил Моро, — ясно вижу диспозицию к нашему отходу... в горы Овадо!

Это признание возмутило пылкого Жубера:

— О чем ты, Моро? Три года назад мы завоевали Италию, и французы не могут уйти домой, как провинившиеся дети, которых отсылают спать. Будь сейчас Бонапарт с нами, он бы уже утром свалился с гор на бивуаки русской армии...

Французы развели костры под городом Нови, что лежал к северу от Генуи. Жубер раскрыл походную кровать подле кровати друга. Главное еще не было сказано. Наконец он сознался, что перед отъездом из Парижа имел опасную беседу с директором Сийесом, который намекнул, что Франция настолько изнемогла от разврата Директории и голодания, что, появившись в Париже человек со шпагой, дерзкий и популярный в народе, он способен увлечь Францию к новой славе.

— Сийес сказал, что Бонапарт вряд ли уже выберется живым из Египта, его армию можно списать в убыток военных расходов, а человеком со шпагой могу стать я! — Жубер дунул на свечи, гася их, в темноте добавил: — Завтра я разобью армию Суворова, чтобы триумфатором вернуться в Париж, где и стану властелином всей Франции... Моро, ты станешь моим военным министром — моим Карно!

— Спокойной ночи, Жубер, — отозвался Моро...

Сражение при Нови открылось в четыре часа — на рассвете. Суворов навалился на левое крыло французов, союзники удачно смяли его, и это привело Жубера в бешенство.

— Коня! — крикнул он. — Я приехал сюда не наниматься в ученики Суворова, а русские не похитят моих лавров.

Роковая пуля выбила его из седла на полном скаку. Падая наземь, Жубер прохрипел последние в жизни слова:

— Только вперед... честь, слава... Франция!

Моро снова принял командование армией:

— Не я бой открывал, но мне суждено заканчивать...

Он усилил левое крыло, ослабив правые фланги, и Суворов, заметив это, указал Милорадовичу с Багратионом:

— Обрушьте их правый фланг... с богом!

Багратион пошел в обход Нови, где засел Сен-Сир со своим войском, и на этом пути князь Петр чуть не сложил голову. Громадные ядра с тупым звуком сотрясали землю, отчего лошади разом вставали на дыбы, сбрасывая седоков, звенящих тяжелою амуницией... Милорадович возник из клубов порохового угара, в ярости он глубоко всаdil в землю мерцающий палаш.

— Не пройти! — сказал он Суворову. — Можете расстрелять меня тут же, но таких свалок я еще не видывал...

Русские батальоны в который раз откатывались назад, уже раздерганные в рукопашных безумиях.

— Крепок француз севодни... крепок! — горланили ветераны. — Ничем его не возьмешь, хоть зубами грызи...

Нерушимы были стены Нови, и, как стены, нерушимы казались французы, умевшие презирать смерть, как презирали ее и русские... Наконец настал тот исключительный момент боя, которого ждал Суворов: генерал Моро уже распылил свои резервы, а Суворов их приготовил; почти спокойно фельдмаршал сказал:

— Начинаем все сначала... надо победить.

Шестнадцать часов длилось кровопролитие, и наконец французская армия была опрокинута. Моро был потрясен:

— Нам осталась одна дорога — в теснины Овадо...

С большими потерями он все-таки вывел из боя и втянул в ущелья остатки армий. В охотничьей горной хижине, сидя на вытертой козлиной шкуре, Моро снова обрел хладнокровие, каким неизменно славился. В убогое жилье собрались начальники сокрушенной армии. Моро велел своему адъютанту, Рапателю, поискать в седельных кобурах хотя бы огарок свечи.

С трудом он вглядывался в потемки хижины:

— Я не вижу всех генералов... Где Грушиг?

— В плену, — отвечали ему подавленно.

— Периньон?

— Тоже.

— Вотрен?

— Мертв.

— Сен-Сир?

— Не знаем.

— Лагори?

— Я здесь. Меня сам черт не берет.

— Итак, — продолжил Моро, — мы оставляем Италию... Рапатель, сумели вытащить Жубера из этой драки?

— Вытащили! Но он в лепешку растоптан копытами.

— Жубер только что женился, — сказал Виктор Лагори. — Надо отправить его в провинцию. Пусть юная вдова и хоронит.

Моро вдруг потерял спокойствие, крича:

— Нет, нет, нет! Что эта дуручка знает о нем? Одна-то ночь в жизни... Нет! Рапатель, отправь тело Жубера в Париж, и пусть директор Сийес устроит ему триумфальные похороны...

Из ушей Овадо он переслал в Париж с оказией лишь одно частное письмо — для Жюльетты Рекамье. Между ними существовала давняя симпатия, которую они тщательно скрывали. В глазах парижского общества мадам Рекамье всегда оставалась целомудренна. Впрочем, женщина понимала, что Моро никогда не станет ее мужем, а Моро понимал, что Жюльетта никогда не оставит своего мужа... Уже в Провансе, по дороге в Париж, Моро настигло письмо актрисы Розали Дюгазон. «Приезжай! — молила она. — Ты застанешь меня святою...»

Моро запахнул плащ и шагнул в карету.

— Поехали дальше, — сказал он.

Спутникам Моро было странно слышать его слова:

— Если бы я не служил моей Франции, я хотел бы стать генералом российской армии...

1799 год совместил в истории имена Суворова и Моро, а безжалостная смерть сблизила их могилы. Суворов лежит в самом конце Невского проспекта — на кладбище Александро-Невской лавры, а Жан Виктор Моро успокоился в оживленном центре Невского проспекта — в доме под номером 32/34, под которым ныне значится старинное здание римско-католической церкви. Суворову при погребении были отданы воинские почести как генералиссимусу, а Моро, его противник, был осенен почестями как фельдмаршал.

Это не бессмыслица: время имеет свою железную логику!

2. Враги народа

Тогдашние цены почти недоступны нашему пониманию, ибо люди, жившие в канун грозного XIX века, допускали в общении меж собою немыслимые сравнения. Говорили так:

— Письмо из Вены обошлось мне в шесть франков. На радостях я купил в Гомеле бутылку мозельского за восемь польских флоринов, а каждый флорин — пятнадцать венских крейцеров. Итого, друзья, я истратил всего полтора рубля!

На больших дорогах Европы грабили и убивали. Деньги переходили из рук в руки. К ночи дороги Франции пустели, движение возобновлялось под утро. Загрузив дилижансы багажом и рассадив пассажиров по скамейкам, кучеры, влезая на козлы, обычно предупреждали:

— Приготовьте деньги, чтобы отдать их по первому свистку разбойников. А я остановлю лошадей сразу, ибо ради ваших кошельков рисковать жизнью не нанимался...

Въезд во Францию был тогда явлением подозрительным, а выезд из Франции почти преступен. Это каралось. Но умирать на эшафоте стало делом привычным, так и говорили:

— Э! Чихнем-ка мы в пыльный мешок...

С песней шли на эшафот якобинцы, с улыбкой, даже кокетничая, ложились под нож гильотины напудренные аристократки. Социальные различия были уравнены изобретением доктора Жозефа Гильотена, и теперь напрасно дворянин молил судей о дворянской казни — через повешение.

— Веревка? Много захотел. Теперь все равны...

Бытовали выражения: «друг народа» и «враг народа».

.....

Враг народа граф Прованский (в эмиграции «де Лилль», будущий король Людовик XVIII) благополучно удрал из Франции, а после казни Людовика XVI объявил свету о своих наследственных правах на престол Бурбонов. Затем начались скитания... Его отовсюду изгоняли — из Турина и Венеции, из Австрии и Пруссии, короля грызли клопы на постоянных дворах, его обсчитывали в харчевнях, обворовывали на почтовых станциях; всюду презираемый, как бродячая собака, он нашел приют в Митаве, бывшей столице Курляндского герцогства... Замок герцогов Биронов был отделан изнутри с роскошью Зимнего дворца, здесь беглец и поселился с обнищавшею свитой, которая не гнушалась брать от местных «рыцарей» бочку салаки или воз подмороженной картошки. Этот курьезный «Версаль» в миниатюре имел

даже своих послов — в Лондоне, Петербурге, Гамбурге и Неаполе. Придворные хроники сообщали о графе Прованском как о тупом обжоре, заядлом картежнике, который неспособен даже на то, чтобы завести себе фаворитку. Совсем иначе выглядит король в истории международного шпионажа: выдающийся мастер разведки, энергичный руководитель секретной агентуры. Именно отсюда, с берегов тихой реки Аа, король раскинул тенета заговоров и провокаций. Роялистские оборотни, отлично подготовленные, не ведающие сомнений, маскировались бархатом аристократа или рубищем дровосека; их видели прелатами, писателями, бандитами, нищими, даже пламенными трибунами Конвента, зовущими народ к восстаниям. Людовик XVIII не был тряпкой: провалы переносил спокойно, никогда не падал духом. Он строил свои комбинации на подкупе политических лидеров, на предательстве популярных полководцев, способных увлечь армии под белые знамена с бурбонскими лилиями. Генералы Дюмурье и Пишегрю уже запутались, как мухи, в его липкой паутине, а теперь (кто бы мог поверить?) сам Баррас, глава Директории, тайно принял из Митавы почетные грамоты на имя «виконта де Барраса». Когда армия Суворова сражалась в Италии, митавский «Версаль» уже не сомневался, что 1799 год станет годом реставрации французской королевской монархии...

Был день как день. Обычный день королевский.

В польской каплице была отслужена обедня, потом граф Прованский в голубом мундире прошелся до трактира «Тобаго», где скушал жирного угря, спровадив его в дальнюю дорогу кружкой чёрного курляндского пива. Он спросил:

— Не было ли сегодня газет из Франкфурта?

Франкфурт славился объективностью печати. Газеты сообщали, что армия Суворова уже взобралась на кручи Сен-Готарда, преследуемая генералом Массена, который при Цюрихе полностью уничтожил корпус Римского-Корсакова, а генерала Моро ожидает теперь в Париже по меньшей мере отставка...

— Все эти известия неприятны Моему Величеству!

Король вернулся в замок, где его ожидал личный секретарь, кавалер Анжу.

— Вы слышали новости, Анжу? Будем надеяться, что оставление Италии не изменит политических намерений русского кабинета, а Павел Первый останется прежним врагом республики негодяев... Теперь, — сказал Людовик XVIII, — следует подумать о вашем воздействии на генерала Моро.

Анжу плотоядно потер ладони:

— Сир, вы предвосхитили мои мысли. Именно сейчас, когда Моро ждет в Париже расправа, он не станет колебаться.

— Разложите мне его характер по шкафчикам.

— На войне Моро довольствуется пайком солдата. Строгих нравов. Пока холост. Его невеста Гюлло, дочь казначея с острова Бурбон, учится в пансионе мадам Кампан. Моро флегматик. Человек выдающейся храбрости. В битве при Флерюсе он в бельевой корзине, привязанной к воздушному шару, взлетал до облаков, с высоты наблюдая за маневрами противника. Моро хорошо образован. Он латинист. И даже... с юмором.

— Что смешного он мог придумать?

— При осаде Майнца, когда якобинцы доедали сапоги и ранцы, Моро устроил роскошный пир. К столу он подал громадного жирного кота, запеченного в духовке, вокруг кота он элегантно расположил двенадцать зажаренных мышат...

Людовик XVIII не улыбнулся. Он сказал:

— Моро я напишу сам. Очевидно, мадам дю Шансене самая подходящая фигура для того, чтобы вручить это письмо...

Дю Шансене, вдова казненного памфлетиста, была в Париже ценным агентом роялистов. Анжу горячо возразил:

— Она интимная подруга Жозефины Богарне, и мы не вправе подвергать ее лишнему риску, ибо наша игра с генералом Бонапартом еще только начинается, сир.

— Кончается! Из Египта ему не выбраться: Средиземное море перекрыто эскадрами Нельсона... Кстати, Анжу, как поживает мадам Бонапарт, бывшая виконтесса Богарне?

В Митаве знали: Жозефина придерживается монархических воззрений, и потому ее держали в плотном оцеплении роялистов. (В скобках добавим: Жозефина в эпоху Директории была платным агентом министра полиции Жозефа Фуше.) Через директора Барраса, своего любовника, эта женщина добывала шпионам Людовика XVIII легальные паспорта для пребывания их во Франции. Анжу отвечал королю, что поведение Жозефины далеко не безупречно, эта вульгарная креолка как бы сознательно афиширует все то, что иная женщина старается скрыть.

— И если Бонапарт вернется, ему предстоят черные дни испытания ревностью. Недавно на курорте в Пломбьере под Жозефиной обрушился балкон верхнего этажа, она сильно разбилась, но теперь снова танцует... Нам, — продолжил Анжу, — еще неясно, как поведет себя Моро, а потому, сир, побережем мадам дю Шансене, ибо ее связи с Жозефиной Бонапарт уведут нас далеко... очень далеко!

— Вы правы, — не возражал король. — Пусть с Моро повидается ваша невестка... как ее зовут сейчас?

— Ныне она затаилась под именем Блондель.

— Вот и отлично. Итак, любезный Анжу, я расставлю сети на Моро, а вы готовьте в дорогу барона Ги де Невилля...

Невилль, по мнению англичан, был образцовым конспиратором, менявшим Париж на остров Джерси, а Неаполь на Петербург с такой же завидной легкостью, с какой пассажиры из кареты пересаживаются в дилижанс, чтобы ехать далее.

— Да хранит вас Бог! — сказал ему король. — Это письмо, заверенное мною, вы доставите на улицу Раве, дом восемь, мадам Блондель передаст его генералу Моро. Но при этом она обязана напомнить ему о судьбе генерала Пишегрю...

Павел I выделял на содержание двора Людовика XVIII «пенсию» в размере 200 000 рублей ассигнациями (что равнялось 600 000 французских ливров), но двор бедствовал, ибо все денежки вылетали на борьбу с революцией, а шпионы короля посыпали свои тайные тропы золотыми луидорами.

Все дороги Франции вели в Париж — дороги превосходные, по ним мчались желтые почтовые мальпосты, тащились возы с сеном, перегонялись табуны лошадей для «ремонта» кавалерии, босиком шагали галдящие войска. Путников поражало обилие яблоневых садов; но, сорвав яблоко, следовало съесть его, не отходя от дерева, иначе тебя сочли бы вором. Поля засеивались маисом, считавшимся символом революции. Возле деревенских кузниц висели на шестах красные фригийские колпаки — в знак того, что кузнецы еще не потеряли веры в якобинские идеалы. Колокола Франции молчали; на дверях запущенных храмов висели ржавые замки, монастыри опустели, в них разместились различные депо (склады) или общественные клубы, которые никто не посещал. Годы беспощадного террора со знаменитым тезисом: «Щадить людей — вредить народу!» — эти годы вызвали во французах отвращение ко всякой политике. Народ, запуганный и обнищавший, просто устал.

— Нам теперь безразлично, — говорили люди, — кто будет занимать покои в Сен-Клу или в Люксембургском дворце, лишь бы эти горлопаны не мешали нам своими декретами...

Вандея, извечная житница Франции, была обескровлена. У крестьян отбирали скот, возвращали же хозяевам, когда они складывали оружие. Но, сложив оружие, шуаны получали с острова Джерси

новое — от англичан, и кровавая «шуанерия» (партизанская война) продолжалась. Вожди Вандеи погибали в боях, их вешали, топили, калечили; Жорж Кадудаль, организатор восстаний, тоже свирепствовал... Мирно и безмятежно ворковали над Францией голуби со своими голубками!

Трудолюбивый и жизнерадостный народ, разбросавший камни Бастилии, теперь существовал впроголодь. Париж с ночи выстраивал очереди возле лавок, чтобы утром получить кусок хлеба. Зато неслышанно раздобрела буржуазия, имевшая от революции столько благ, сколько не могла бы иметь раньше. Они, эти буржуа, голосовали за казнь короля, они казнили аристократов, но потом сами становились хозяевами королевских угодий, делили меж собой дворянские замки и поместья. Теперь нувориши измывались над трагической нищетой рабочих предместий, а голодным женщинам кричали:

— Эй, вдова Робеспьера! Спляши карманьолу...

Куда же делись пламенные героини революции, зовущие мужей на подвиг? Неужели, высеченные в подворотнях, поникшие от стыда, они дежурят в очереди за хлебом? Теперь на смену им явилась новая героиня — бесстыжая Тереза Тальен в прозрачном хитоне, чтобы все видели ее сытое похотливое тело, и она цинично говорила владыкам Франции:

— Ах бедняжки! У вас была революция, был Робеспьер и террор, были славные победы, а теперь буду у вас... я!

Террор (сначала необходимый, затем бессмысленный) лишил Францию лучших, выдающихся людей. Уцелели изворотливые хамелеоны, менявшие убеждения ради собственной шкуры. Они-то и оказались теперь на Олимпе власти.

Но уже никакие ухищрения Директории не могли спасти Францию, да она и не собиралась ее спасать. Облаченные в малиновые тоги римлян, директоры, эти пышные патриции Реакции, думали только о себе, о сворах гончих собак, о конюшнях породистых лошадей, о своих любовницах, которыми они дружески обменивались, словно интересными книгами.

Поль Баррас открыто хвастал, что свои покои в Люксембургском дворце покрыл золочеными обоями:

— Заходите ко мне — вы сразу ослепнете!..

Полотна Рубенса из дворца давно похищены, статуи в Люксембургском парке испохаблены, а роскошные покои отданы танцорам, делающим позы перед расколотым зеркалом, в которое когда-то смотрелась Мария Медичи... Здесь, в этом дворце, и воцарился Баррас — беспринципный хищник и циник, каких не знала мировая история. Что ему древность мира и эта пошлая дура Мария Медичи?

— Я вам уже рассказывал про свои обои? Короли не имели даже таких гобеленов, какие я имею обои. Мы победили, чтобы отнятое у врагов народа досталось друзьям народа...

Офицер Национальной гвардии, всю ночь дежуривший у заставы Пасси, с трудом отыскал в тупике улочки Раве старый дом со скрипучей лестницей.

— Мадам Блондель? С вас луидор. Моро — в Париже!

— Он один? — спросила женщина.

— С ним Лагори и Рапатель, но Лагори с гитарой пересел в наемный экипаж, а Рапатель остался с генералом. Кажется, они поехали в отель Шайо близ Елисейских Полей...

Покинув свое убежище, мадам Блондель обратно уже не вернулась. Так она поступала всегда, идя на смертельный риск, и потому десять лет оставалась неуловима. На этот раз она не заметила, что маляр, работавший на лесах соседнего дома, энергично постучал кистью по ведерку, после чего цветочница на углу Раве стала нюхать свои фиалки. Из соседнего переулка выехал старенький кабриолет, и вскоре на набережной Вольтера министр полиции Фуше уже знал, куда направилась мадам Блондель.

— Я это предвидел, — пробормотал Фуше...

3. Пхе, пхе, пхе...

Доминик Рапатель, по чину адъютанта командующего армией, носил на левой стороне груди бело-красную ленту. Моро был в сером сюртуке с медными пуговицами, на ногах — короткие кавалерийские сапожки с желтыми отворотами. Генерал и его адъютант заняли скромные комнаты в отеле Шайо. Наконец-то можно задвинуть в угол гремящие сабли, захлопнуть футляры с пистолетами. Рапатель от самой Савойи не смыкал глаз.

— Пожалуй, мне надо выспаться, — сказал он. — Я вам не нужен? Наверное, вы навестите улицу Единства?

На этой улице размещался девичий пансион Кампан.

— Вряд ли, — отвечал Моро. — Меня пугает даже мысль об Александрине Гюлло, столь изящной и юной. Я никогда, Рапатель, не трогаю за столом воздушное безе, боясь раскрошить его в огрубевших пальцах солдата... Иди спать, Рапатель.

Служанка принесла воду, свечи и белье.

— Что нового в Париже? — спросил ее Моро.

— Все старое. Ломбарды трещат от всякого хлама. Иные бедняки закладывают даже башмаки с ног, чтобы иметь су на хлеб. К мясу теперь и не подступиться — на кусок говядины люди глядят, как на знатную принцессу! А в подворотнях по утрам полно всяких подкидышей, в полиции им дают имена: мальчикам — Эгалите и Либерте, все девочки — Гуманы.

Моро остался один, размышляя: что-то с ним будет? Невольно припомнились те, кто головами расплатились за поражения: Кюстин, Гушар, Богарне... многие! Их отослали на гильотину, как отсылают загнанных лошадей на живодерню. Правда, Директория убрала гильотину с площади Революции, ее отвезли в сарай под замок, как отвозят на зиму косилку, ненужную до следующего урожая... Моро даже не заметил, как на пороге появилась незнакомая, нарядная женщина.

— Я устал, — произнес Моро. — Оставьте меня.

— Вы напрасно решили, что я искательница интимных приключений. И не старайтесь угадать, кто я такая. Вам будет достаточно, если я назовусь — мадам Блондель.

Дама уселась поудобнее, всем видом показывая, что от нее не так-то легко будет избавиться.

— Все, что Наполеон Бонапарт три года назад завоевал в Италии, все разрушено дыханием северных вандалов.

Моро показалось, что она ему сочувствует.

— Да. Я разбит Суворовым в тех же краях, где в глубокой древности Ганнибал растоптал слонами легионы римлян...

— Исторические аналогии — утешение скверное. В несчастиях вашей кампании одни видят гениальность Суворова, другие вашу уступчивость... подозрительную! Граф Прованский из далекой Митавы следил за вашей титанической борьбой с русскими. Если мнение короля что-то еще значит для вас, то он, скажу, выражал свое восхищение вашим талантом. Но теперь все кончено. Ваша карьера остановилась, как изношенные часы. Но иногда, — сказала женщина со значением, — часы, стоит лишь встряхнуть посильнее, и они застучат дальше.

— С чем же вы, мадам, пришли ко мне?

— С этим я и пришла — встряхнуть вас...

После словесных эзерциций мадам Блондель вручила ему письмо, в котором Людовик XVIII признавал громадные заслуги Моро перед Францией (пусть даже республиканской!); он писал, что эти заслуги плохо оценены Конвентом и Директорией; когда он, граф Прованский, вернется на престол, Моро сразу будет сделан и маршалом, и графом, и пэром королевства.

Генералу вдруг стало невыносимо скучно.

— Я ведь не просто генерал Моро — я еще и гражданин Моро! В вашем змеином клубке, очевидно, стало не хватать лишней изви- вающейся гадины, и в Митаве решили, что этой гадиной могу стать я! Вы не боитесь, — спросил он, — что я сейчас позову адъютанта, дабы он арестовал вас?

Блондель проявила стойкое мужество.

— Пхе! — фыркнула она с презрением. — Жан Виктор Моро из- вестен Франции за благородного человека, и он не станет обижать женщину, как не станет и огорчать своего короля отказом от его предложений... На худой конец, мне легко доказать полиции, что вы заманили меня к себе, пытаясь меня изнасиловать. Смотрите, как просто это делается...

Юбки полетели с нее, в глаза ударило ослепительной белизной женского тела. Моро, присев к столу, разложил бумагу.

— Оденьтесь, мадам... Если вам известна дорога от Митавы до Парижа, вы не заблудитесь и по дороге от Парижа до Митавы. Я буду просить короля не тревожить меня далее, ибо всегда останусь верен заветам нашей революции*.

Он слышал за своей спиной, как женщина перед трюмо застегивала крючки корсажа. Пауза была нарушена ее словами:

— Вашей дерзостью король, пожалуй, и не будет слишком удивлен. Но зато вы очень удивите... *Пишегрю!*

Это был выстрел в упор. Шарль Пишегрю, талантливейший полководец-республиканец, давний приятель Моро, был разоблачен в связях с роялистами-эмигрантами. Моро сказал, что на каторге Гвианы удивлениям Пишегрю пришел конец:

— А из Кайенны еще никто не бегал. Никто...

Тогда последовал второй выстрел, тоже в упор:

— Пишегрю *бежал!* Он сейчас в Лондоне. А кто предал его? Его предал генерал Моро, и Пишегрю знает об этом.

— Только теперь, мадам Блондель, наша беседа становится за- бавной. Но я не стану тревожить сон усталого адъютанта. Я не пре- давал Пишегрю! Документы, обличающие его связи с принцем Конде, я огласил лишь тогда, когда об измене Пишегрю генерал Бонапарт оповестил Директорию. Следовательно, я подтвердил лишь то, что стало известно от Бонапарта.

* Ответ Ж.-В. Моро не сохранился, зато известна реакция Людови- ка XVIII на его отказ содействовать реставрации. 18 сентября 1799 г. он пи- сал по этому поводу принцу Конде: «Дело было в очень хороших руках, но, судя по ответу генерала, я не имею более надежды на успех...»

— Отчего такая снисходительность?

— Я не верил в измену Пишегрю, считая все клеветой завистников, желавших видеть талантливого человека без головы. Но Бонапарт не имел подобных сомнений. В армии тогда говорили, что он даже был рад избавиться от соперника.

— Значит, — с усмешкою произнесла женщина, — Бонапарт оказался более предан революции, нежели вы. Вас не страшит его прозорливая бдительность? Этот корсиканец и в случае с Пишегрю опередил вас... Не так ли, Моро?

— *Suim suique*, — отвечал Моро.

Юрист, он знал римское право: КАЖДОМУ СВОЕ.

Только теперь роялистка собралась уходить.

— Вы еще о многом пожалеете, генерал Моро.

— Но всегда останусь гражданином Франции.

— Пхе, пхе, пхе...

Он хотел разобраться с гравюрными увражами, вывезенными из Италии, но внизу вдруг возникла перебранка, и Моро вышел на лестницу. Швейцар гнал от дверей человека, явно желавшего проникнуть на кухню.

— У нас нет обедков! — визгливо кричал старик. — Все обедки с кухни мы доедаем сами.

— Погодите, — сказал Моро, спускаясь вниз...

Он увидел человека своих лет в ошметках мундира, рука его была обмотана тряпкой, лоб пересекал рубец от сабли; под кожей, едва затянувшей рану, пульсировал мозг.

— Судя по остаткам мундира, вы... русский?

— Честь имею — колонель Серж Толбухин.

— Где вас пленили, при Треббии или на Рейне?

— Под Цюрихом! Я из корпуса Римского-Корсакова.

— Вы, колонель, померете, — сказал Моро. — Я опытный солдат и знаю: с такими ранами в голову не выжить.

— Но я уже смирился с этой дурной мыслью.

— В наше время дурные мысли недорого и стоят...

Моро предложил подняться к себе. Из походного кофра достал свежую рубашку. Несмотря на ужасные ранения, Толбухин ел и выпивал охотно. Охотно и рассказывал:

— Проклятые цесарцы! Они бросили наш корпус и удрали, тогда-то Массена и навалился на нас, словно дикий кабан на пойнтера. Теперь Суворов оставил Италию, и не знаю, как он перетащит артиллерию через Швейцарские Альпы?

— В горной войне пушки погребаются в могилах ущелий. По себе это знаю. А много ли вас, русских, во Франции?

— Тысяч пять-шесть... Пленные англичане и австрийцы имеют в Париже своих комиссаров, озабоченных их нуждами, их лечением. А мы разбрелись кто куда. Я бежал из Нанси... пешком, пешком, как дергач! Император Павел объявил всех пленных изменниками. Возвращаться в Россию права не имеем. А потому, сударь, я мало озабочен дыркой в голове...

Все-таки пришлось потревожить Рапателя:

— Доминик, сейчас ты отвезешь русского полковника в военный госпиталь. Если там осмелятся не принять его, ты скажи — приказ дивизионного генерала Моро...

Сейчас он никого не хотел видеть. Однако пронырливый Сийес обнаружил его пребывание в отеле Шайо, встреча с директором состоялась. Высокомерный интриган, Сийес втайне жаждал личной власти над Францией и уже брал уроки верховой езды, дабы Париж видел его галопирующим перед войсками... Подбородок Сийеса утопал в кружевах пышного жабо.

— Я молчу о кампании, вами проигранной, но... Где же деньги? Неужели не смогли выжать из итальянцев больше одного миллиона? Что это за война, если она не приносит доходов? Бонапарт на вашем месте засыпал бы Директорию золотом. Ладно, прощаем... Отчего вы сами не явились ко мне?

Рушились режимы, искажались программы клубов, гильотины стучали, как станки на фабриках, поставляя продукцию для кладбищ, а Сийес снова и снова оказывался на верху власти, живой и невредимый, богатеющий дальше. Для Моро это оставалось загадкой... Он думал: «Что отвечать этому аббату?»

— Но я же не явился и к Баррасу, — сказал он.

— Баррасу плевать на вас и на ваши дела, — грубо ответил Сийес. — Этот плут помышляет только о том, как бы развязаться с одной шлюхой, чтобы срочно завести другую... Директория, Моро, потеряла в народе последние остатки доверия.

— Так кому же теперь я нужен? Одному вам?

— И... Франции! — ловко подметил Сийес. Вдруг он начал жалеть Жубера: — Такой молодой, красивый, талантливый... и пуля в сердце! Скажите, Моро: успел ли Жубер перед гибелью одарить вас дружеской искренностью?

Моро отлично распознал подоплеку ухищрений Сийеса, искавшего замену убитому Жуберу, и решил про себя, что Сийес вряд ли заслуживает точной исторической правды.

— В канун роковой битвы при Нови, — сказал он, — мы с Жубером так запьянствовали, что я ничего не помню.

Кажется, и такой ответ устраивал Сийеса.

— Значит, вы не слышали от Жубера, что Франция нуждается в человеке со шпагой, смелом и популярном? Сейчас вполне возможен крутой поворот в любую сторону — хоть в угол, хоть за угол... Но прежде всего нужна ваша шпага!

— Не слишком ли она коротка для ваших целей?

— Если коротка, сделайте фехтовальный выпад вперед, и тогда острое вашего оружия поразит любого...

Беседу прервало появление секретаря. Сийес предложил продолжить разговор вечером в Люксембургском саду.

— Вы там встретите немало общих знакомых, но... мадам Рекамье, должен вас огорчить, там не бывает.

Из шиньона аббата выпала гребенка с жемчужиной, и Моро не поленился поднять ее. Он знал, что его Жюльетта не унизит себя общением с распутной Директорией. Она лишь катается в открытой коляске в Лонгшоне, вызывая в публике восхищение. «Это мое царство! — говорила она как-то Моро. — И оно сразу закончится, когда я замечу, что даже грязные трубочисты не оборачиваются вослед мне...»

В саду звучала музыка Чимарозы, между деревьев феерично вспыхнули люстры, высветив потемки аллея. Моро казалось, что он попал на вернисаж, где элита Директории — буржуазия! — выставила напоказ свое богатство, свою пустоту, свои туалеты, свое невежество, свое бесстыдство. Лакеи королей в Версале, конечно, были одеты намного скромнее, нежели лакеи Директории, сновавшие среди публики в красных фраках с голубыми кушаками, а шляпы их украшали султаны — трех расцветок революционного флага... Скинув на руки одного из них плащ и треуголку, Моро сказал:

— Когда я уезжал в Италию, дамы в газовых платьях еще не забывали носить трико и закрывать грудь... Неужели не вернуться блаженные времена декольте, скромно укрытого веером?

Подле приятеля Бернадота сидела одноглазая Элиза Форстер, маскировавшая свое уродство пушистым локоном. Бывшая герцогиня Девонширская, она пила ликер из чёрной смородины, а генерал Бернадот мрачно насыщал себя гоголем-моголем.

— О! — воскликнула кривая красавица, завидев Моро. — Ты слышал новость? Твой друг вытащил из марсельского трактира какую-то девку, которая была невестою Бонапарта... ну, этого, что пропал в Египте! Бернадот, расскажи нам о ней.

С трудом друзья-генералы отвязались от пьяной женщины, у которой на большом пальце ноги красовался перстень с громадным бриллиантом. По этому поводу Бернадот сказал:

— Когда дура не знает, куда деть красивое перышко, она втыкает его себе в зад... Садись, Моро. Вчера в Манеже собирались старые бунтари, и Журдан говорил о твоей героической Итальянской армии... Как она сейчас?

— Я вывел ее во Францию босиком, без артиллерии, без обозов. Из всей амуниции остались одни лишь ранцы.

— Верю. Очевидно, тебе досталось?

— Да. Только при Нови подо мною рухнули три лошади, у четырех сабель вышибло клинки из эфесов.

— Представляю, какая была там свалка...

Жан Бернадот был давним другом Моро, их роднило прошлое революции. Моро спросил о трактирщице из Марселя — правда ли, что болтала о ней эта одноглазая шлюха Форстер?

— Дезире Клари была невестою Бонапарта, и он надавал ей столько клятв, что теперь она не верит моим словам. Оставим это, — попросил Бернадот. — Лучше скажи о Суворове...

Моро так часто спрашивали о Суворове, что его мнение, облеченное почти в формулу, сохранилось: «Что сказать о человеке, способном довести напряжение боя выше человеческих возможностей? Суворов скорее положит костями всю армию и сам ляжет с нею, чем отступит хотя бы на шаг. Его марш-марши — великолепны, они мне кажутся шедеврами воинского искусства...»

Бернадот спросил:

— Ты уже получил новое назначение?

— На плаху истории... за Италию!

Бернадот утешил: неудачи в Италии уравновесились успехами Массена в Швейцарии, и этот успех представляется столь значительным, что Директория решила закрыть глаза на все погромы и грабежи, которые Массена обрушил на мирное население. Однако, продолжил Бернадот, после отхода армии Суворова в Италию, словно воды Вселенского потопа, хлынули венские войска, уничтожающие следы республиканства:

— По слухам, знаменитый Доменико Чимароза уже сошел с ума от пытки на огне... Скажи, ты любишь его мелодии?

В тени кустов Моро разглядел Жозефа Фуше, который издали ему кивнул (как якобинец якобинцу), а Бернадот указал на Жозефину Бонапарт: «мадонна Победы», как прозвали ее журналисты, с уни-

зительным подобострастием раскланивалась перед Терезой Тальен, названной «богородица Термидора».

— Жозефина выглядит великолепно, — сказал Моро.

— Никто не спорит, — согласился Бернадот.

— А кто вон там крутится с костылем?

— Ты не узнал Талейрана? Мадам де Сталь слезно выпросила для него у Барраса портфель с иностранными делами. Впрочем, Талейран уже оставил этот портфель на столе в кабинете, и это верный признак того, что Директория издыхает.

— Послушай, дружище, — сказал Моро. — Париж это или не Париж? Куда делась суровая простота прежних нравов? Если революция уже «чихнула в мешок», так ради чего же мы, ее наследники, продолжаем посылать людей на явную смерть в атаках? Неужели ради вот этой гнусной толпы обезьян, которая отчаянно лорнирует, чтобы рассмотреть оттопыренные сосцы великолепной Терезы Тальен?..

Лакей вручил записку от Сийеса — тот ждал. В большой чаше искрилось мороженое. Моро, подогретый ликерами и зрелищем нравов Директории, от порога заявил директору:

— Кажется, вы пожелали, чтобы я свою честь и славу принес в жертву вашей политической феруле? Но я против разнузданной Директории, против и любой диктатуры, в какие бы приятные формы она ни облекалась.

— Нет лучше формы, чем форма республиканского генерала, — отвечал Сийес. — Франция знает вас, Франция уважает вас, Франция пойдет за вами...

Сийес убеждал его долго, но Моро чувствовал, что где-то очень далеко (пусть даже в бесконечном пространстве будущего!) речь Сийеса обязательно должна сомкнуться с теми словами, которые он слышал от роялистки мадам Блондель.

— Если Франция, как вы утверждаете, пойдет за мною, то скажите, за кем собираетесь идти вы? Или следом за Францией, идущей за мной, или... впереди меня? Хорошо, — сказал Моро, выхватывая шпагу, — я согласен уничтожить всю грязь, что налипла на колеса республики. Но при этом сразу договоримся: ни я, ни вы не будем хвататься за власть!

Это никак не входило в планы Сийеса:

— Если не нам, так кому же она достанется?

— Мы вернем ее... *народу!* — отвечал Моро.

— Вы были на улице Единства? — спросил Рапатель.

— Нет, — мрачно ответил Моро, — я не был на даче Клиши у мадам Рекамье, не был у бедной Розали Дюгазон, боюсь и притронуться к нежному безе в пансионе мадам Кампан... Ах, Рапатель, Рапатель! Ты думаешь, мне так легко забыть Жубера, его слишком коротенькое счастье?

Утром Рапатель разбудил своего генерала:

— Только что «зеркальный» телеграф принял известие с юга: Париж ликует — Бонапарт высадился во Фрежюсе и летит прямо сюда на крыльях новой славы... Снова триумф!

Моро, как в бою, просил набить табаком трубку.

— Какой триумф? О чем ты говоришь? Если Бонапарт во Франции, то где же его армия? Вся армия? И если он оставил ее в Египте, какие же лавры могут осенять чело дезертира?..

4. Пожалеем собачку

Уильям Питт-младший, глава сент-джемского кабинета, полагал, что возвращение Бонапарта во Францию чревато для Англии худшими опасениями, нежели бы из Египта вернулась вся его армия. Адмирал Нельсон осаждал Мальту, крейсируя у берегов Франции, но блокада была прорвана: «Я спасен, и Франция спасена тоже...» — с этими словами Бонапарт ступил на берег. Никто у него не спрашивал, почему оставлена в Египте армия. Народные толпы выходили на дорогу, приветствуя его, французы уже привыкли к мысли, что Бонапарт является в самые кризисные моменты. Его героизм оведала фантастика Востока, всегда возбуждающего воображение европейцев, и маленький генерал, опаленный солнцем пустынь, казался пришельцем из иного, волшебного мира...

Лошади остановили свой бег в Париже возле особняка на улице Шантрен, Бонапарт отстранил от себя Жозефину:

— Я все знаю.

Он в шепки разнес обстановку комнат, двери кабинета захлопнулись за ним. Жозефина, рыдающая, билась о них головою, взывая к милосердию. Бонапарт молчал. Наконец, к дверям Жозефина поставила на колени своих детей, Евгения и Гортензию Богарне, теперь и они, плачущие, умоляли отчима простить их беспутную мать... (Много позже, уже в Лонгвуде, император говорил о Жозефине: «Это была лучшая из женщин, каких я встречал. Она была лжива насквозь, от нее нельзя было услышать и слова правды. Но, исполненная самого тонкого очарования, она внушала мне сильную страсть. Жозефина

никогда не просила денег, но я постоянно оплачивал миллионы ее долгов. Она покупала все, что видела. Правда, у нее были дурные зубы, но она умела скрывать этот недостаток, как и многие другие. Даже теперь я продолжаю любить ее».)

Двери открылись: все продумав, он... *простил!*

В самом деле, не смешно ли уподобляться жалкому рогоносцу, когда на него взирает сейчас вся Франция? Бонапарт держал себя скромно, со всеми любезный; его видели в саду, он гулял по улице с пасынком и падчерицей. Ни бушующий Мирабо, ни даже неистовый Робеспьер не удостоились при жизни, чтобы о них писали в газетах, а теперь любой француз в Гавре или Марселе читал о приятном загаре на лице Бонапарта, о короткой стрижке его волос, о том, что он сказал Сийесу и какой завтрак устроил ему Баррас... В черед празднеств и банкетов Жозефина во всем блеске зрелой женственности, очаровывая, тонко интригуя, появлялась с мужем, умело скрашивая его угрюмость, и Бернадот однажды сказал Моро:

— Не пора ли нам арестовать Бонапарта?

— В чем ты его подозреваешь?

— В стремлении быть выше нас. Но разве я поступлюсь принципами равенства? — Бернадот обнажил грудь, на которой красовалась зловещая татуировка: голова Людовика XVI, прижатая ножом к доске гильотины, а внизу было начертано: «СМЕРТЬ КОРОЛЯМ».

— Да, — сказал Моро, — с такой вывеской на фасаде здания тебе осталось одно: жить и умереть республиканцем!

...Моро, сын адвоката, жил и умер республиканцем, а якобинец Бернадот, сын трактирщика, умер королем. Не всегда можно верить наружным вывескам.

А флегма — тоже добродетель. Моро хладнокровно рассудил, что именно корсиканец способен вывести республику из тупика Директории. При встрече с Сийесом он сказал:

— Явился человек, которого вы искали.

— Боюсь, его шпага длиннее, чем требуется...

Потерпев крах с Жубером и Моро, директор даже не заметил, как и когда Бонапарт вовлек его в свои планы, а все выдумки Сийеса о создании новой конституции он отверг: «Я нуждаюсь не в словах, а в действиях...» Люсьен Бонапарт, брат героя, уже пролез в президенты Совета Пятисот, и этим Наполеон Бонапарт прикрыл оголенный фланг от нападения «избранников народа»... Он всюду утверждал, что отечество в опасности, а он прибыл из Египта — спасать его! В этом

случае сами по себе отпадали обвинения в дезертирстве. Но Франции ничто не угрожало, спастись было нечего. Угроза отпала — значит, угрозу надо выдумать. Исподволь Бонапарт и его сторонники сеяли всюду коварные слухи о заговоре против республики.

— Ни красных колпаков якобинцев, ни красных каблуков аристократии не потерплю! — утверждал Бонапарт...

Его тайные поиски не укрылись от бдительного Манежа, где еще уцелели крепкие головы, и генерал Журдан, ощутив тревогу, призывал Париж к оружию санкюлотов — к пикам:

— Смерть тиранам! Все на защиту республики... Франция не нуждается ни в Цезарях, ни в Кромвелях!

Журдана поддерживал генерал Пьер Ожеро — безграмотный храбрец, сын лакея, дезертир из трех армий (в том числе и русской); заносчивый фанфарон, всегда полупьяный, он осыпал Бонапарта и его «когорту» самой отъявленной бранью:

— Корсиканца — на Корсику! Конечно, Бонапарт не лишен способностей, но где ему угнаться за мною?

Это вывело из себя генерала Массена; невежественный и грубый, он часто моргал крохотными глазками:

— Что вы слушаете этого громилу? Разве Бонапарт или Ожеро могут сравниться со мною?.. А ты, Журдан, вообще иди к чертям: твоя слава — слава битого генерала!

В церкви Святого Сюльплиция парижане устроили пир в честь Бонапарта, но Журдана и Ожеро там не было. Однако Бонапарт в эти дни нарочно повидался с Журданом.

— Ты, — заявил ему Журдан, — никогда не посмеешь тронуть священные принципы свободы, равенства и братства.

Обращение на «вы» презиралось, как отрывка аристократизма, в те времена даже солдаты говорили своим генералам ты! Бонапарт, обнимая Журдана, успокоил его:

— Я рад, что в тебе не угас дух прежней свободной Франции, и ты, Журдан, будь уверен во мне. Я не пойду за вами, за идеями Манежа, но все исполню в интересах народа...

Баррас считал себя хитрейшим человеком Франции, которого никому не обмануть, не провести. Нет, он своего не отдаст! После беседы с Талейраном Баррас сразу обрел спокойствие, уверенный, что ради его же будущих благ хлопочут с утра до ночи все эти убогие людишки — вроде Сийеса, Бонапарта и Талейрана... Между прочим, именно Сийес уже высказывал сожаление, что не удался сговор с Моро:

— Плод давно созрел. Я вам предлагал сорвать его с ветки, но вы не пожелали. Теперь плод достанется другим.

— О чем сожалеть? — смеялся Моро. — В наше время политика осуждена плестись за фургонами грандиозных армий. Стоя под знаменами Франции, я не думаю об авторах декретов...

Боевые дороги Моро и Бонапарта еще не пересекались. Моро никогда не заграждал Бонапарту его путей к славе, Бонапарт еще не видел в Моро соперника, — их слава хлопотала в одном кипящем котле, и потому первая встреча двух полководцев была самой сердечной... Моро, приветливый, сказал:

— Здравствуй, коллега Бонапарт! Я завидую твоей бодрости, я радуюсь твоим успехам...

Они пожали руки. За их спинами выросло «красное привидение» — недавние грозы над Францией, закаты кровавых штурмов, чудовищные поля битв. Гильотина убрала с пути самых талантливых полководцев, другие сами отошли в иной мир.

Бонапарт сразу отстегнул от пояса кривую саблю:

— С нею я прошел от пирамид фараонов до Палестины, и она ни разу не подвела меня. Моро, прими эту саблю мамелюкского бея, и пусть она станет залогом нашей приязни...

Для Моро не оставалось сомнений, терзавших Журдана, не было и тени зависти, мучившей Ожеро, — для него Бонапарт оставался единоутробным братом, рожденным из того же лона Революции, которое однажды породило и его, Моро! Но Бернадот, увидев дареную саблю, обвинил друга в предательстве:

— И ты предал Манеж за железную дешевку?

— Это дамасская сталь! Бонапарт же способен исполнить все то, чего не способен сделать я, не способен и ты...

Бернадотом вскоре занялся сам Фуше.

— Слушай, приятель, я ведь тоже из якобинцев. Глупый человек, куда ты лезешь? Сейчас все наше, пойми. А будет у нас еще больше. Или ты решил быть умнее других? Не лучше ли остаться живым и богатым аристократом, нежели больным и нищим якобинцем?.. Я никого не пугаю. Но двери вашего Манежа заколочу гвоздями. А твоя шея не крепче других...

Бернадот был парализован — угрозами и, наверное, страхом. Зато идеальным казалось состояние генерала Моро, безоговорочно примкнувшего к лагерю бонапартистов. А солдаты? Они-то уж точно радовались:

— За Бонапартом — спасать республику от тиранов!

И буйствовала и гремела огненная «Марсельеза».

Париж не был еще прекрасен. Елисейские Поля уже существовали, но это был запущенный пустырь, кое-где заросший группами деревьев. Там, где позже воцарилась артистическая богема Монмартра, в ту пору была бедная деревня, жители которой трудились в каменоломнях. Отвратительная грязь покрывала закоулки древних улиц. Миллионы крыс населяли подвалы складов и подземелья кладбищ; иногда к водопою двигалась шуршащая и повизгивающая в тесноте фаланга; неистребимая, она злобно посверкивала красными воспаленными глазками. На центральных улицах Парижа колеса экипажей ломались среди ухабов. Богатых женщин переносили в портшезах (так было удобнее). Редкие фонари, висящие на веревках, едва рассеивали мрак переулков. Старинные здания, уцелевшие со времен Генриха IV, были очень красивы, но кучи мусора у подъездов и дурные лестницы могли испортить любое впечатление... Примерно таким был старый Париж, вступающий в день 18 брюмера, что означало 9 ноября.

Бонапарт, если в этот день у него и были колебания, упрятал их в глубине непроницаемой корсиканской души, наполненной честолюбием, презрением к людям и суевериями. Артиллерия еще с ночи была расставлена в дворцовых садах, заставы перекрыты, а курьерская почта задержана. Рано утром улицу Шантрэн заполнила толпа генералов. Бонапарт вышел к ним в статском платье (но при сабле):

— Какой я оставил Францию и какой я ее застал? Своими победами в Италии я добыл миллионы, а что увидел, вернувшись? Только нищету... Этот порядок не может продолжаться. Пора избавить нацию от болтунов адвокатов! — Бонапарт обратился лично к Моро: — Я буду в Тюильри, ты замкнешь Люксембургский дворец в осаде со всей его нечистью, и пусть в него входят, но никто уже из него не выйдет...

Кавалькада всадников в красочных мундирах промчалась в сторону Тюильри, а Моро явился в Люксембургский дворец.

— Закрыть все выходы, — велел гренадерам.

Баррас не сразу выразил свое недоумение:

— Почему никто не едет ко мне? Я не вижу депутатий народа. Меня никто в этот великий день не приветствует.

— А почему он великий, Баррас?

— Сегодня я стану *президентом* Франции.

— Это вспышка фантазии Талейрана?

— Но и сам Бонапарт меня в этом лично заверил...

Наконец до Барраса дошло, что Талейран, повивальная бабка 18 брюмера, ласково завернул его, Барраса, не в пеленки будущей славы, а закутал сразу в покойницкий саван.

— Если так, — решил Баррас, — я... приму ванну!

Во дворец пробилась через охрану Тереза Тальен.

— Я должна видеть негодя... Моро, где он?

— Отмывает с себя кровь своих жертв...

Он сопроводил «богородицу Термидора» до купальни, где Баррас при виде красавицы так сильно всплеснул руками, что окатил ее с головы до ног ароматной водою:

— Полезай ко мне, моя прекрасная наядя!

Тереза Тальен отпустила ему хорошую оплеуху:

— Подлец! Я думала, ты умираешь героем, а из вонючей воды торчат твои ослиные уши... Где же всемогущий Баррас, еще вчера пировавший, как Лукулл в термах Трапезонда? Твое имя уже оплевано Парижем, генерал Бонапарт в Тюильри вещает всем о твоём убожестве, а ты... ты...

Барраса трудно было вывести из прострации.

— Вечером мы увидимся в Опере, — решил он.

— Вы никогда не увидите, — вмешался Моро.

— Вот и первая новость, дорогая: вечером в Опере нас уже не будет, вечером в Оперу поедут другие...

Моро задержал убегающую Тальен.

— Назад! Приказ — никого не выпускать.

— Надеюсь, меня-то ничьи приказы не касаются...

Но гренадеры Национальной гвардии перегородили двери штыками, и Тальен кинулась в ноги генералу:

— Моро! Отпусти меня... сжался. Хочешь любви моей? Я уже твоя. Назови любой дом в Париже — он уже твой дом... Отпусти! У меня же дети. Наконец, я снова... беременна.

— И снова от Барраса?

— На этот раз от банкира Уврара... Сжался, Моро!

К воротам подкатила карета, запряженная шестеркой белых прекрасных лошадей. Мюрат отворил дверцы, из них выставилась наружу маленькая нога в лайковом сапоге. Это была нога Бонапарта, который легко спрыгнул на землю.

— У меня все отлично. А как твои дела?

— Никто и не пискнул.

— Пищать станут потом. Я никогда не забуду твоей услуги, Моро... благодарю! А где Баррас?

— Чисто вымытый, он покорился судьбе.

— Его бесстыжие глаза больше не увидят ни этого дворца, ни Терезы Тальен, ни Парижа. Он меня всегда считал простачком-

провинциалом с Корсики. Но смеется только тот, кто стреляет последним. Пора этот навоз вывозить на свалку...

Баррасу объявили о пожизненной ссылке.

— Жаль! — сказал Баррас, оглядев стены своих интимных покоев. — Ведь я совсем недавно покрыл их такими обоями, каких не было даже у королей... Очень жаль!

Жалоба вписалась в протокол его политического ничтожества. Ни король Людовик XVI, бегущий из Версаля, ни сам Наполеон, которому суждено потерять великую империю, никто из них не стал бы сожалеть об искусном декоре стен.

Но только теперь Париж стал волноваться.

— А почему вдруг Бонапарт, а не Моро? Слава у них одинакова, но Моро — природный француз из Бретани, а Наполеон Буонапарте — корсиканец, жена у него — креолка с Мартиники. Откуда мы знаем, какие бабочки порхают у них в головах?

Перед воротами Люксембургского дворца, безучастная ко всему на свете, бедная женщина продавала самодельные вафли, возле ее подола зябко дрожала старенькая болонка.

— Я знаю, что меня уже не стоит жалеть. Но хотя бы ради собачки купите мои вафли... пожалейте мою собачку!

5. Скрестим оружие

Об этих днях Моро позже вспоминал: «На меня смотрели с особенным вниманием и доверием... Мне предлагали раньше, и это всем известно, стать во главе движения, чтобы произвести переворот, какой был сделан 18 брюмера... Мое честолюбие, если бы его оказалось достаточно, было бы оправдано общей пользой нации и чувством любви к отечеству... но я — отказал!» Наверное, Моро отказал напрасно, и не в этом ли отказе заключалась очень сложная трагедия его жизни?

О событиях в Сен-Клу он узнал позже, увлеченный делами сердечными. В плеяде славных, вернувшихся с Бонапартом из Египта, был и молодой еще генерал Луи Даву, с которым Моро встретился случайно.

— Слушай, Моро, — сказал Даву, — я не хочу вмешиваться в твои дела, но знай, что по тебе... плачут.

— Плачут? Кто? Где? Когда?

— Девушка Гюлло. Вчера в пансионе. Я навещал там свою прелестную Любу Леклерк. Неужели ты снова кипятишь остывший бульон с

увядающей актрисой Дюгазон? Не смейте нас, Моро... Александрина Гюлло знает, что ты в Париже. Учти, — предупредил Даву, очень сметливый, — у ее матери плантации сахарного тростника на Маскаренских островах, и я не пойму, что еще тебя, невежу, смущает?

— Чужие глаза. Чужое внимание. Чужие сплетни.

— Не дури, Моро! Сахар приносит большие доходы. Из-за морской блокады англичан цены на сахар подскочат еще выше. Чтобы не было сплетен, я не пользуюсь калиткой. Для чего же для нас, храбрецов, существуют заборы и окна?

Мысль о том, что он поступил несправедливо с наивным существом, влюбленным в него, была для Моро невыносима. Он посоветовался с адъютантом о наряде:

— Рапатель, я должен быть неотразим...

Он и без того умел нравиться. Держался прямо, с большим достоинством. Глаза большие, серые. Красивый изгиб рта. Жесты скупые, но выразительные. Моро натянул тесные замшевые панталоны. Доминик Рапатель собрал волосы в пучок на затылке генерала, перевязал их красивой ленточкой. Мундир украшало золотое шитье, с голенищ свисали длинные, вычурные кисти с бахромою. Генерал сел в карету.

— Квартал Сен-Жермен, — велел кучеру, — улица Единства, закрытый пансион мадам Кампан... прямо к калитке!

Писательница Жанна Кампан (из придворных дам казенной королевы), по сути дела, готовила в своем пансионе жен, давая им уроки кокетства, чтобы вернее пленять мужчин с завидным положением в обществе. Это ей удалось! Ни одна из учениц Кампан не стирала потом бельишко, не моталась по базарам с корзиной, выискивая луковицу подешевле и покрупнее. Весь выводок мадам Кампан впоследствии дружно расхватали маршалы и придворные Наполеона, делая своих жен герцогинями и маркизами... Кампан одобрила выбор Моро:

— Девица Гюлло достойна вашего обожания. За благонравие она отмечена бумажною розой для ношения возле сердца. Я разрешаю Александрине выйти в сад для прогулки с вами. Но будьте благоразумны, генерал, с невинностью...

Наконец-то он увидел ее — застенчивую смуглую креолку — и снова поразился, как она молода, как она хороша. От девушки исходил нежный запах пачулей, напоминавший о родине, затерянной в Индийском океане...

— Вы жестокий... — упрекнула она его.

Наивная умиленность юного создания восторгала Моро, и генерал сочувственно ахал, когда Александрина, округлив глаза, сообщила ему:

— Сегодня за обедом мне стало дурно... Вы не поверите, генерал: в моем шпинате сидел паук, сидел и убежал...

За ними, отстав шагов на десять, чинно шествовала гувернантка и, поджав губы, на ходу довязывала длинный чулок. Моро шепнул девушке, что еще не потерял надежд на семейное счастье и одно лишь ее «да» может решить судьбу. Но при этом (осторожный, как все бретонцы) он предупредил, что торопить Александрину тоже не желает:

— В любой первой же атаке я могу оставить голову, а свою жену вдовою. Мысль о том, что вы с моим именем станете устраивать новое счастье, эта мысль невыносима для меня.

Александрина протяжно вздохнула:

— Мадам Кампан учит нас, что в любви самое приятное не любовь, а лишь признание в любви... Правда, генерал?

— Возможно. Но где же ваше «да»?

Положительный ответ прозвучал иносказательно:

— Я родилась на островах, о которых, как о рае земном, писал Бернарден в своих волшебных романах. И мальчика следует назвать Полем, а девочку — Виргинией...

Надзирательница, не сокращая приличной дистанции, проявила беспокойство.

— Мадемуазель Гюлло, не пора ли вам вернуться в свою келью и прочесть молитву? Вечер сегодня холодный.

— Пхе! — фыркнула с досадой девица.

Моро вздрогнул. Это резкое «пхе» сразу напомнило ему недавнюю встречу с роялисткой мадам Блондель...

Сен-Клу — загородная резиденция королей, в верхнем зале Марса собирался Совет Старейшин, в нижнем зале Оранжереи — Совет Пятисот с президентом Люсьеном Бонапартом. Все два этажа до предела насыщены возмущением: насилие над Директорией угрожало насилием и над депутатами.

— Нас окружают войсками и артиллерией, ссылаясь на заговор, о котором никто и ничего не знает.

— Директоры сами ушли в отставку, — убеждал Люсьен, — а Сийесу ничто не угрожает. Но подлая рука врагов народа уже протянута к горлу Франции, чтобы удушить священные права свободы... Спокойствие, граждане, спокойствие!

Перед Советом Старейшин с растерянным лицом, похожий на лунатика, предстал Наполеон Бонапарт, и его от самых дверей затолкали, выкрикивая в лицо ему проклятья, — он видел перекошенные от яро-

сти рты депутатов, его рвали сзади за воротник мундира, чьи-то очень сильные пальцы пытались схватить за горло... Всюду слышалось:

— Для чего ты приносил Франции победы? Отвечай! Чтобы затем стать тираном Франции? Отвечай!

Бонапарт стал жалок в своем бормотании:

— Я только солдат. Пришел спасти... нет, я не Цезарь, нет, я не Кромвель... солдат... спасти Францию!

Его крутило в тесноте, в давке.

— Где ты видишь опасность? — спрашивали его.

Бормотания делались бессвязнее и глупее:

— Я рожден под сенью богини счастья... меня вел бог удачи. Я говорю вам о божестве... я вижу свою звезду!

Кто-то (преданный ему) шептал в ухо:

— Сумасшедший! Что ты несешь? Здесь не мамелюки Каира, а представители Франции... опомнись, глупец!

Бонапартисты, увидев, что их кумир заврался и уже не понимает, что мелет, выдернули его из этого зала. А в нижнем этаже Люсьен Бонапарт звонил в колокол, требуя тишины. Журдан надрывался в крике, что не потерпит деспотов:

— Лучше смерть! Бонапарта — вне закона...

Коридоры дворца наполнил грохот барабанов, в зал Совета Пяти-сот явился Бонапарт, а с ним — четыре гренадера.

— Вот он! Объявить его вне закона...

Шум, неразбериха, гвалт, вопли, звоны колокола. Уже взметнулись кулаки, где-то блеснул кинжал.

— Зарезать тирана! Мы — свободные граждане...

Это был день 19 брюмера. Толпа скандировала:

— Вне за-ко-на... в Кайенну его, в Кай-енну!

На первом этаже было страшнее, чем на втором. Бонапарт вмиг потерял загар, обретенный в Египте, и упал в обморок. Гренадеры вынесли его на руках. Люсьен Бонапарт трясущимися руками слагал с себя инсигнии — знаки президентского достоинства. Рядом с ним бушевал Журдан:

— Нет, не удерешь, скотина! Прежде утвердим декрет о незаконности твоего братца, которого и сошлем завтра в Кайенну — на потеху кобрам, вампирам и москитам...

На улице Наполеон Бонапарт упал с лошади (обморок повторился). Люсьен проник в кабинет, где бледный Сийес прощался с жизнью. Сийес и сказал ему:

— Если не очистить зал, мы... мы погибли!

Выбежав на площадь, Люсьен обратился к войскам:

— Во дворце засели убийцы... агенты английской плутократии! Еще мгновение колебаний, и они убьют Бонапарта, моего родного брата и вашего доброго отца!

Войско не колыхнулось, и тогда Люсьен, выхватив кинжал, занес его над своим полуживым от ужаса братом.

— Клянусь! — возгласил он. — Я сам зарежу его, если он осмелится когда-либо нарушить права граждан!

По рядам солдат пробежал трепет, минута была решающей, и Мюрат понял, что промедление губительно.

— Я всех пошвыряю в окна! — обещал он.

Наполеона еще шатало. Глаза блуждали.

— Да, да, — велел он Мюрату, — не бойся колоть штыками. Сегодня для Франции я должен стать божеством...

Люсьен спрятал кинжал и — шепотом:

— Дуралей, что ты опять бредишь о божестве?

За плечами Мюрата моталась пятнистая шкура барса. Двери палаты разлетелись настежь, выбитые ударом ноги:

— Эй вы, дерьмо! Вы... отсюда, пока не поздно!

Виртуозная грубость выражения ошеломила депутатов. Увидев, как надвигаются ряды штыков, они бросились в окна.

— Помогите им прыгать, — указал Мюрат солдатам. — Хотя и невысоко, но я хочу слышать хруст их костей...

Через минуту зал опустел. Никто не задавал вопроса: «А если бы не хвастун Мюрат? Что было бы?..» Наполеон Бонапарт с трудом, еще бледный, взобрался на статную лошадь:

— Выдайте солдатам деньги и водку...

Он ехал молча. За ним шагали восемь тысяч гренадеров в мохнатых шапках и распевали «Марсельезу».

— Все в порядке! — кричали они прохожим. — Мы спасли своего капрала, а он спасет республику.

Обо всем, что произошло в Сен-Клу, генерал Моро узнал позже и уже в ином освещении, более героическом. Не довелось Моро присутствовать и при следующей омерзительной сцене, когда пьяный Ожеро явился на улицу Шантрэн, где Бонапарт, уже свежий и бодрый, выдрал его за ухо:

— А, храбрец Ожеро! Теперь ты будешь паинькой, и передай крикуну Журдану, что Бонапарт всех прощает. Пора уже знать в Манеже, что я выше всех партий... Партия, к которой я принадлежу, состоит из одного человека — это я!

Вместо Директории было учреждено Консульство из трех консулов: Дюко, Сийеса и Бонапарта. Если власть завоевана, ее надо делить. Бонапарт сказал Сийесу:

— Я думаю, среди трех консулов кто-то из нас должен быть ПЕРВЫМ, дабы от имени нации воспринять всю полноту власти. Учитывая особые заслуги Сийеса перед революцией, именно ему и доверим назвать имя первого консула...

После такого деликатного предложения Сийес уже не мог показать на себя пальцем, он уступал власть Бонапарту:

— Я предполагал, что ваша шпага длиннее обычной.

— Дело не в шпаге! Тут надобна метла...

Под скромным титулом «первого консула» зарождалась единоличная диктатура будущего императора. Он обещал:

— Мое правление будет правлением ума и молодости. Я ничего не желаю для себя, готовый служить народу...

Французы ждали порядка и — мира, мира, мира!

Настал 1800 год; в самом его начале английский король Георг III отверг мирные предложения Франции. Ответ из Лондона был грубым, бестактным, чудовищным. Главный смысл его был таков: мир в Европе невозможен, пока на престол Франции не вернуться Бурбоны... Бонапарт созвал генералов.

— Видит Бог, как я хотел мира, но Францию снова принуждают к войне... Готовьтесь снова скрестить оружие!

Закончив одну войну, армия не расходилась по домам, ожидая второй и третьей. Ветераны, давно оторванные от семей и регулярного труда, изучили одно ремесло — воевать, и мир в Европе их уже не устраивал. Так постепенно солдаты буржуазной Франции превращались в профессионалов войны, ничего, кроме войны, не знавших и знать не желающих. В тихом Дижоне, вдали от посторонних глаз, генерал Бертье уже формировал резервную армию, о чем тогда догадывались немногие. Бертье был правой рукой Бонапарта, его мозгом, его канцелярией, даже его «чернильницей». Мундир этого человека оставался незапятнан. Когда Массена обчистил кладовки даже у папы римского, он хотел взвалить вину за грабеж на Бертье, на что Бертье спокойно отвечал: «Пусть он не врет...»

Бонапарт ожидал возвращения из эмиграции Лазара Карно, которого он и встретил щедрыми, великодушными словами:

— Для вас что угодно, когда угодно, сколько угодно...

Лазар Карно, ученый и математик, стал его военным министром. Он предупредил Бонапарта: закон воспрещает первому консулу водить армии. На это Бонапарт ответил:

— Я поручаю армию Бертье, а в законе не сказано, что первый консул лишен права находиться при армии...

Карно был автором доктрины революционных войн, именно он научил французов побеждать опытного противника с генералами-дилетантами и солдатами-недоучками. Моро и Карно были проповедниками будущего авиации, но, встретившись, они беседовали совсем о другом.

— Я всегда считал вас умным человеком, — начал Карно, — и мне не понять, отчего вы сгруппировали 18 брюмера, пропустив Бонапарта впереди себя? Я ведь лучше вас знаю этого человека, в душе которого бушуют вулканы непомерного честолюбия и таятся бездны презрения ко всему человечеству...

Карно сам был членом Директории, знакомым с ее секретами. Он сказал, что Бонапарт, одерживая победы, слал в Париж кучи награбленного добра, не требуя отчета у Барраса, почему и Баррас не требовал отчета у Бонапарта.

— Это был, если хотите, негласный альянс двух матерых разбойников, и Директория, обставляя свои комнаты антикварными ценностями, расплачивалась с поставщиком ценностей нещадным воскурением ему фимиама... К чему мы пришли? — рассуждал Карно. — Теперь вместо прежнего братства с народами Европы явилось чувство превосходства над другими народами. Это упоение опасно для самих же французов! А тяга к военной добыче стала для генералов естественна — как желание есть, пить и спать. Я иногда с ужасом спрашиваю себя: чем это кончится? Завоевательная политика Франции сначала приведет к диктатуре армии над народом...

— Кажется, уже привела, — заметил Моро.

— А затем армия породит и диктатора — и над собою, и над народом... Не думаю, чтобы Бонапарт мог быть человеком вроде Вашингтона, который, свершив необходимое для страны, отступил в тень инжирного дерева, наслаждаясь прохладой... Кстати, Моро! А какие у вас отношения с Бонапартом?

— Ни одного упрека за поражения в Италии от него я не слышал. Я принят в Мальмезоне, Бонапарт прост и любезен, а Жозефина крайне мила... Он покоряет, она обвораживает!

О войне старались тогда не думать, хотя Бонапарт все чаще уединялся с Бертье, раскладывая карты Италии:

— Придется снова отбирать у австрийцев все то, что Моро сдал русским, а русскими победами воспользовались в Вене. Бертье, где это дурацкое место, возле которого даже не Суворов, а князь Багратион всыпал Моро как следует?

— Это случилось у деревни Маренго, вот здесь.

— Именно здесь я разрушу австрийское могущество в Италии, Маренго войдет в МОЮ историю, а имя генерала Моро сохранится лишь в комментариях к этой битве...

При свидании с Карно первый консул велел:

— Распорядитесь, чтобы всех русских, плененных в Голландии и при Цюрихе, собрали в лагерях Милле и Камбре. Я не желаю ссориться с Петербургом, а война с Россией — это бессмыслица! Что она даст Франции, если нам с русскими нечего делить? Мальту я решил вернуть России, а из пленных составим два русских полка — это, считайте, уже готовый гарнизон для размещения его в фортах Ла-Валлетты...

Париж долго говорил о безумном расточительстве Талейрана, давшего в своем доме праздник в честь семьи Бонапарта. Гости были удивлены, когда хозяин с салфеткою через плечо, подражая лакею, появился с подносом, на котором шипел в бокале прозрачный оршад. Прихрамывая, этот инвалид протащился через зал, и Бонапарт принял от него напиток, а Талейран застыл перед ним в выжидательном поклоне. И тут все поняли, что Бонапарт для Талейрана — это не только первый консул, он для него что-то иное, что-то высшее...

Среди многочисленных гостей была и Жюльетта Рекамье. На ней не было никаких драгоценностей: красоту не украшают — красота сама по себе. Правда, в прическе женщины была скромная ленточка, но ее выдернул из волос Бернадот, сказавший, что это — ценный сувенир для его погибшего сердца:

Подвинувшись ближе к Моро, женщина шепнула ему:

— У Талейрана глаза мошенника, торгующего из-под полы фальшивым жемчугом, а руки красные, как у прачки, которая не успевает перестирывать чужое белье.

Моро был человеком наблюдательным:

— На тебя очень пристально глядит Бонапарт.

— Да. Я тоже это заметила...

Рекамье поникла с таким видом, будто хотела у всех мужчин выпросить прощения за свою красоту.

— Слишком любима всеми, — тихо сказал ей Моро, — способна ли ты любить только одного?

Через складки веера он услышал ее шепот:

— Я истосковалась в разлуке с тобою... приезжай. Я как раз обещала гостям показать Авейронского дикаря!

6. Нетерпение

Утром грязный трубочист, спускаясь по веревке с крыши, заглянул в окно спальни Рекамье:

— Ку-ку! Я ведь тоже большой ваш поклонник...

Муж мадам Рекамье был старше ее на тридцать лет, а ранее — любовник ее же матери. Нет, он не женился по страстной любви. Банкиру требовалась отличная реклама для конторы, чтобы клиенты, увидев Жюльетту, стали покладистее в финансовых сделках. Парижане говорили, что муж оставался для нее только отцом, говорили, что у Жюльетты имеется один тайный телесный изъян, мешающий ей наслаждаться любовью. Банкир облицевал комнаты жены громадными зеркала, чтобы она никогда не забывала о своей красоте:

— Такой товар на тротуарах Парижа не валяется...

Доминик Рапатель пристально наблюдал за рассеянным поведением своего генерала. Осторожно спросил:

— Кажется, пора закладывать карету?

Моро назвал ему адрес — улица Мон-Блан.

— Карету подать к дому банкира Рекамье, где раньше жил банкир Неккер, отец Жермены де Сталь. Кучер знает, где надо остановиться. Запрягай не белых лошадей, а черных.

— Черных лошадей в черную карету?

— Согласен. Но лицо я не стану мазать сажей...

Но прежде он решил сделать то, что подсказывала ему совесть, и навестил Розали Дюгазон. Любящая женщина, она прошла по жизни достаточно сложный путь, и нельзя было обижать ее на прощание. Когда-то балерина, затем певица, потерявшая голос, она «скатилась» до жалкой драмы. Усталые глаза актрисы были расширены от множества чашек крепчайшего кофе, и они расширились еще больше, когда на пороге ее жилища появился генерал Моро... С жалобным криком, как подстреленная птица, Розали кинулась к зеркалам, чтобы скорее поправить на голове кружевной «фюшю».

— Так я и знала! Ты не мог не проститься со мною, ты не мог не прийти ко мне... правда?

Моро с нежностью всмотрелся в увядающее лицо.

— Ха! Ты ищешь морщины? Их нету, еще нету...

— Все морщины вот здесь. — Моро провел рукою по своему лбу. — Это после Треббии, это Нови, это ущелья Овадо.

— Но я была там вместе с тобою. — Розали показала ему газеты, в которых писалось о Моро и его армии. — Я собрала все. Даже то, что не следовало читать... в конце!

— В конце, дорогая, пишут только о мелочах.

— Да! Но для женщины мелочи — самое главное...

Моро огляделся. Нет жилищ печальнее на свете, нежели квартиры стареющих актрис. Какой безнадежной грустью веяло от лавров, полученных Дюгазон еще в ранней юности, когда она порхала Сильфидою с крылышками на плечах; тоска исходила от портретов, подписанных: «С любовью» — знатными музыкантами Буальдьё и Гретри... Куда делся ее волшебный голос?

Увы, он стал почти хриплым, трагическим.

— Все кончено, Моро, и мне давно пора задуматься о прощальном бенефисе. Любящая тебя, что оставлю тебе? Хочешь, изучу роль солдата — командуй мною, генерал Моро!

— Не играй, — сказал Моро.

— Я, кажется, смешна... Подмостки театра, к сожалению, не трибуна. Но как бы хотелось мне, брошенной тобою, объявить Парижу со сцены, что я любила Моро.

— Прошу тебя, Розали...

— Моро любил меня, а я люблю Моро и теперь!

Она была возвышенна, как в классической трагедии.

— О любви шепчут, Розали, — отвечал он.

— Неправда! Иногда надо кричать...

В этот момент (почему?) она показалась ему прекрасна, как никогда, и Моро вдруг вспомнил другую героиню своей безумной юности — легендарную Олимпию де Гуж, когда-то сказавшую: «Если женщина получила право кидаться под нож гильотины, кто откажет ей в праве всходить на трибуну?..»

Моро с любовью расцеловал забытую Розали.

Ее теплое плечо осыпали солнечные веснушки.

Она закрыла ему глаза, как покойнику:

— Ты больше никогда не увидишь меня.

— Так не бывает, Розали.

— Но так будет, Моро... Мир слишком жесток, а ты слишком добр. Я была только возлюбленной. Но теперь я хотела бы стать твоей матерью, чтобы спасти тебя.

— Надо ли спасать меня? О чем ты говоришь?

— Я внимательно изучила твои победы вначале, но увидела в конце твое поражение... Твою *гибель*, Моро!

Моро прочел о себе в газете, что он посетил заведение мадам Кампан и имел счастье представиться благовоспитанным кузином — Гортензии и Эмилии Богарне; по слухам, которым редакция не осмеливается верить, генерал Моро выказал к одной из кузин особое внимание. Подобных сплетен он и боялся! Не об этих ли «мелочах» предупреждала его Дюгазон?

Первый, кого он встретил в салоне мадам Рекамье на улице Мон-Блан, был неустрашимый Даву, продолжавший лазать через заборы к несравненной и обожаемой мадам Леклерк... Газетная утка не произвела на Даву впечатления:

— Ну и что? Все газеты — гнилье, а Жозефина с Бонапартом будут рады иметь такого зятя, как ты... Говорил же я тебе об английской блокаде! Можешь забыть этот сахар... Есть в этом мире кое-что и послаще сахара!

Моро уклонился от Жермены де Сталь, очень любившей поговорить, никого не слушая (в отличие от своей подруги Рекамье, которая больше слушала). Среди гостей был и первый консул, примостившийся на краешке кресла, как бедный родственник на богатых именинах. Темный взор корсиканца напряженно преследовал хозяйку салона.

Мадам де Сталь, верная нравам бывлой Директории, откинула шаль, обнажив перед Бонапартом мускулистые плечи.

— Когда я по вечерам разглядываю свое роскошное тело, которое у мужчин вызывает столько тайных вожделений, я всегда с ужасом думаю, что все это — вот это! — она потрясла плечами, как цыганка на морозе, — в будущем непременно станет добычей гадких могильных червей...

Подобное изливание могло бы иметь бешеный успех при Баррасе, но генерал Бонапарт был человеком иного склада, и вожделения к будущей добыче червей он не испытал.

— Если желаете избавиться от глупых мыслей, рожайте детей, толстых и горластых! Но рожайте их только от мужа, ибо незаконные дети отягощают бюджет республики и служат недобрым примером для нравственности...

Моро слышал, как мадам де Сталь обругала консула:

— Авейронский дикарь... пожалуй, еще хуже!

В углу теснились живописцы — Давид и Жерар. Бонапарт с искренним интересом спросил Давида, над чем он работает.

— Над картиной «Переход через Фермопилы», где спартанский царь Леонид был повержен персидскими ордами Ксеркса.

Бонапарт не скрыл своего неудовольствия:

— К чему тратить краски и силы на изображение побежденных? Давид, ваша кисть должна служить победителям...

— Но кто же сегодня равен классическим героям?

— Вы увидите его, Давид, это я вам обещаю...

Заметив Моро, первый консул пожелал с ним уединиться.

— Война неизбежна. И с англичанами и с австрийцами. У меня нет сомнений в том, что ты желал бы отыграться за Италию.

— За Италию — да, но только не в Италии, — возразил Моро. — Я гораздо лучше знаю области Рейна и Мозеля, в древних лесах Германии мною изучены все тропы и поляны.

— Об этом мы вскоре и поговорим... Генералов во Франции много, но полководцев осталось лишь двое — ты и я! Не нам ли, Моро, и решать судьбы Франции на полях чести?

Мадам Рекамье призывно похлопала в ладоши:

— У меня для всех вас, дорогие друзья, имеется маленький сюрприз — Авейронский дикарь. Он еще ребенком был украден волчицей, которая и вскормила его своим молоком. Его недавно поймали в лесу охотники, он не может освоить нашу речь, зато он прыгает по деревьям, как белка...

Дюжие лакеи втащили в салон здорового парня, на котором штаны держались так же неестественно, как на обезьяне, которую показывают в уличном балагане. Попав в закрытое помещение, Авейронский дикарь испуганно мычал. Посреди зала поставили блюдо с едой, и это существо, опустившись на четвереньки, долго и подозрительно обнюхивало пищу... Бонапарт сказал Моро:

— Не так ли были осторожны с едой и первобытные предки?

Моро испытывал чувство брезгливости.

— По-моему, зрелище отвратительное. Эта скотина в несуразных штанах лишний раз доказывает, что человеку без человеческого общества нечего делать на этом свете...

Улучив момент, Моро шепнул Рекамье:

— Моя карета будет ждать на углу сада.

— Я рада. Но после ужина...

Звали к столу. Первый консул повел себя несколько странно. Возле себя он оставил кресло свободным.

— Это... для мадам Рекамье, — заявил он.

Сестра консула, Элиза Баччиокки, заманила Жюльетту в глубину комнат, объясняя ей все то, что за этим последует. От Моро не укры-

лось смущение Рекамье, но красавица миновала свободное кресло возле первого консула и с показной решимостью села подле некрасивого Камбасереса.

Бонапарт не был готов к такому поражению:

— Смотрите! Ей понравился этот урод...

Моро незаметно удалился. На темной улице Мон-Блан его ожидали черные лошади, впряженные в черную карету.

— Я давно жду, — сказал кучер. — Куда поедем?

— На дачу в Клиши и обратно. Поедем быстро...

В актерских способностях мадам Рекамье он не сомневался. Так бывало уже не раз; пообеднев, она вдруг теряла сознание, и лакеи на руках уносили ее, бесчувственную, в спальню, после чего гостям объявляли:

— Мадам Рекамье уснула. Легкий сон оживит ее ослабевшие силы, и она скоро порадует нас танцем с шалью...

Но в спальне женщины уже не было. Закутанная в плащ, она тихо выскользнула из калитки сада, Моро принял ее в свои объятия, кучер не жалел лошадей...

...Жюльетта вышла к гостям, чуть смущенная, нежным и тихим голосом проворковала, что ей стало лучше.

— Вы ждете от меня танец с шалью? Хорошо, друзья...

Она звонко ударила в бубен и прошлась по кругу, изгибаясь тонким телом, концы шали текли вдоль нее, как струи воды, и все мужчины при этом испытали некоторую тревогу. Элиза Баччиокки снова преследовала ее:

— Мой брат смотрит на все это вполне серьезно. У него есть официальная супруга, теперь он, как первое лицо в государстве, нуждается в официальной фаворитке. Вас ожидает блистательная судьба Дианы де Пуатье, судьба мадам Монтеспан.

— Благодарю. Но я решила остаться мадам Рекамье...

Из ночного сада слышался рев — это рычал во мраке Авейронский дикарь, который до утра будет спать на дереве.

XIX век вступал в свои исторические права!

В это переломное время, на самом срезе эпохи, знаменитый Роберт Фултон, не сумев заинтересовать Лазара Карно идеей создания подводных кораблей, решил заработать деньги иным путем. Предприимчивый американец, по профессии живописец и ювелир, он открыл на Елисейских Полях павильон, в котором и расположил обширную панораму под названием:

«ПОЖАР МОСКВЫ»

Парижане охотно платили Фултону деньги, чтобы посмотреть, как в огне пожаров корчится, сгорая, русская первостолица, в языках дымного пламени погибают колокольни древнего Кремля... Это не было гениальным пророчеством — лишь случайное совпадение, от которых история мира никогда не была и не будет застрахована!

7. Начало века

Светило солнце, крыши Петербурга купались в розовом снегу. Перед Зимним дворцом (ради обогрева извозчиков) полыхали громадные костры, сложенные из массивных бревен, их пламя вздымалось высоко. Через окна деловых апартаментов император Павел I наблюдал, как над куполом Академии художеств кружатся вороны...

Звонок — время докладов. Явился Федор Растопчин — умнейший прохвост (которого через 12 лет народная молва сделает «поджигателем Москвы»). При нем — портфель, подозрительно толстый. «Нет ли опасности... из портфеля?»

— Жду новостей с Мальты, — сипло сказал Павел.

Французский гарнизон Мальты, засев в цитадели Ла-Валлетты, выдерживал осаду англичан. Адмирал Нельсон не раз брал на эскадру Эмму Гамильтон, чтобы нежная леди насладились унижением республиканцев. Но крепость не сдавалась, на гласисах ее фортов плясали воздушные французские балерины, самым дьяволом занесенные на Мальту, и эскадра, обескураженная, отворачивала к Неаполю. Об этом и шла беседа.

— Британцы, штурма робеючи, ожидают, покудова французишки сами не передохнут. Дровишек на Мальте нету, так они, твари, корабли на дрова ломают. Водка у жакобинцев давно кончилась, а рисом они танцорок своих кормят...

Растопчин умолк. Павел сказал:

— Если я гроссмейстер Мальтийского ордена, Мальта моя, как и Россия. Скажите британскому послу Чарльзу Уитворту, что Мое Величество гневается... А что из Парижа, граф?

— Фабрики заработали, всем нашлось дело. Мясо подешевело, и хлеб появился. Видать, Бонапартий спекуляторов душит. Сам же он не ужился во дворце Люксембургском и устроил для себя и родственников квартиры в Тюильри королевском. По слухам же, престолу вашему он выражает решпект солидный, из чего мнение складаваю: вражды к нам не имеет.

— Что у тебя в портфеле? — вдруг крикнул Павел.

Растопчин предъявил хитрое сооружение:

— Извольте видеть, замок «французский». Хитроумность его с полезностью сочетается. Ежели покуситель открывает двери снаружи, то пистолет, в замок вделанный, производит выстрел, пламя коего запаливает свечу у дверей. Хозяин дома просыпается от выстрела в покоех, уже освещенных, а покуситель удирает... Что бы и Вашему Величеству в замке Михайловском такие замки поставить?

Рыцарское строение Баженова должно было в новом царствовании затмить славу Зимнего дворца — растреллиевского. Белый супервейс, брошенный поверх мундира гатчинского, был украшен на груди Павла Мальтийским крестом.

— На что мне фокусы? — спросил Павел. — Пусть Бонапартий в Тюильри этикие замки вкручивает... Дело говори!

— Дело, Ваше Величество, прискорбное. Зачем Россия с Францией воевала? Ваша мудрейшая мать всю Европу взбулгатила, чтобы душили сообща извергов парижских. А сама при этом дома сидела, кофий пила да кошек гладила. Ни единого солдата противу жакобинцев не дав, она на Востоке русские дела в порядок приводила... Какие претензии мы можем иметь к Франции, разделенные с нею Германией? — настаивал Растопчин. — Нашими-то жертвами мы насытили алчность банкиров Сити, мы губили лучшие войска за интересы кабинета венского... Есть ли резон строить политику внешнюю на разногласиях с Францией, ежели причин для разногласий не имеется? Хотят они жакобинствовать, ну и пушай бесятся. Перебесятся — и сами притихнут. Нам-то што с того?

— Ты прав, и об этом я мыслю. Паче того, кабинеты сент-жемсский и венский одни подлости нам делают...

В самом начале апреля, обходя гулкие залы недостроенного замка, Павел сердито указал графу Растопчину:

— Велю отозвать послов российских из Вены и Лондона, Чарльза Уитворта гнать вон... Всюду убрать портреты сумасшедшего Георга английского и заносчивого Франца цесарского. Взамен им в аудиенц-залах желательно видеть личину первого консула Бонапартия, и пусть все с прилежностью и вниманием на нее взирают... Слава богу, ЦЕЗАРЬ ЯВИЛСЯ!

...Екатерина II перед смертью не раз восклицала: «Ну, где же Цезарь? Когда явится? Чего же он медлит?» Женщину не обманывало политическое чутье; она ожидала прихода к власти диктатора, который погребет останки революции. Екатерина писала, что Франции «нужен человек, выходящий из ряда обыкновенных смертных, ловкий,

храбрый, стоящий не только выше современников, но, может быть, и выше самого века. Родился он или не родился? Если таковой сыщется, время остановится там, где он будет стоять...»

Суворов был еще жив!

Он был еще жив, а Италия уже растерзана. Австрийцы истребляли патриотов безжалостно. Обнаженных женщин секли на пнях, оставшихся от спиленных «деревьев свободы». Армия венского барона Меласа не могла взять лишь Геную, где засел генерал Массена. На юге Италии, в королевстве Неаполитанском, адмирал Нельсон украшал реи своих кораблей гирляндами повешенных республиканцев, а прекрасная Эмма Гамильтон рукоплескала одноглазому и однорукому любовнику...

Бонапарт бывал откровенен с Бертье:

— Вы думаете, французам так уж дороги прежние идеалы свободы, равенства и братства? Они уже объелись ими при Робеспьере и теперь желают только удовольствий, ибо все они легкомысленны и тщеславны. Любой народ — это сырая, бесформенная глина. Слепи из нее шар — и кати куда хочешь! Шар покатится... Прежние девизы можно теперь заменить иными: честь, слава, богатство!

Бертье доложил, что русское оружие отдано в мастерские для ремонта и чистки. Бонапарт спрашивал у Карно:

— Как дела с русскими пленными?

— К ним послали врачей. Хорошо кормят. Они пьют вино. Военные швальни Парижа озабочены скорейшим пошивом новых русских мундиров — в точности по форме полков. Павел Первый, очевидно, не страдает дальтонизмом, и нам никак не подобрать расцветку воротников — абрикосовых, селадоновых, изабелловых и песочных. Русские сами в них не разберутся!

Бонапарт залез пальцами в табакерку Бертье.

— Помнишь ли, я вывез из Италии шпагу, которой римский папа Лев Десятый одарил мальтийских магистров? Вели золотить ее заново — мы пошлем шпагу в Петербург, чтобы доставить удовольствие этому курносому чудаку... Где Моро?

Когда Моро явился, Бонапарт сказал ему:

— Примешь ли команду над Рейнской армией, которая в случае успеха станет на Дунае? Вена зазналась. Не пора ли нам снова проучить ее палками? (Карно вмешался в их разговор: «Только не бейте Австрию сильно, иначе Россия начнет пересчитывать ее синяки».) Нам, — продолжал Бонапарт, — не предстоит страдать совестью.

Война будет справедливой. Не мы ее вызвали. Я за мир в Европе, но меня оскорбили: мои предложения к миру отвергнуты. Гордость Франции не позволяет сносить ни лондонского чванства, ни венской надменности...

Моро снова получал армию! Он переехал на улицу Анжу, где во дворе дома держал конюшни и кареты для выездов. Стены кабинета украсил видами пейзажей родимой Бретани и гравюрами с изображением скаковых лошадей. Моро ощущал в себе большой запас сил и здоровья, а нежность к милой Александрине (спокойная и ровная) заставила его представиться ее матери.

Госпожа Гюлло оказалась в том приятном возрасте, что и Жозефина Бонапарт. Революция уничтожила обращение к женщине «мадам», но генерал не желал именовать будущую тещу *citoyenne* (гражданка). Моро еще не просил руки ее дочери, но женщина сама догадывалась, чем вызван его визит. Зная о славе генерала, опытная дама с трудом скрывала материнскую радость по случаю такой великолепной партии. Конечно, мадам Гюлло не преминула коснуться и газетных сплетен:

— Правда ли, генерал, что вы ездили на поклон к этим выскочкам — кузинам Богарне? Я очень далека от этой семейки, но слышала не раз, что Гортензия не может найти мужа по причине дурной репутации матери...

В неприязни ее к Жозефине Моро легко обнаружил чисто женскую зависть. Колониальная аристократия, особенно креолы с их смешанной кровью, всегда имела большую склонность к вражде и склокам. Моро очень хотелось бы повторить мнение Даву о газетах, но он благо разумно сдержался.

— Вы, генерал, бываете и у мадам Рекамье?

Ответ Моро не вызвал и тени подозрений:

— Я, как и все, очень уважаю эту умную женщину...

Проверка нравственности закончилась, и мадам Гюлло обратилась к содержимому генеральского кошелька. Сначала она дала понять, что острова Бурбон с Иль-де-Франсом*, лежащие к востоку от Мадагаскара, можно считать, почти отрезаны от метрополии блокадою английских пиратов.

— Доходы с плантаций непостоянны, — сказала она, — а моя Александрина не привыкла сносить бедность...

* Французская революция переименовала остров Бурбон в остров Соединения (ныне заморский департамент Франции — Реюньон); остров Иль-де-Франс с 1814 г. стал английской колонией, ныне самостоятельное государство Маврикий.

Тут же, испугавшись, что жених сочтет их семейство нищенским, Гюлло заявила, что приданое дочери обеспечит замок Орсе в зеленых предместьях Парижа. Моро отлично распознал все ее меркантильные ухищрения.

— Мадам, — сухо произнес он, — мои кошельки от золота еще не лопаются. Но положение командующего Рейнской армией сулит мне сорок тысяч франков. Поверьте, что пальцы избранницы моего сердца не станут вылезать из рваных перчаток.

Он как раз сегодня был приглашен в Мальмезон, но теперь, ощутив соперничество Гюлло с семьей Богарне, умолчал об этом. По дороге в имение Жозефины генерала дважды задерживали возле кордегардий. Это удивила Моро, при встрече с Бонапартом он спросил:

— Отчего набережная обрела новые заставы?

— Я часто езжу этой дорогой и недавно узнал, что по дороге в Мальмезон на меня готовится покушение.

— Откуда это стало известно?

— От Фуше.

— Наверное, знать об этом очень противно?

— Я испытываю брезгливость, и только...

Жозефина, очень оживленная, показала оранжерею с тропическими растениями, домашний зверинец с редкостными животными, которых она закупила в Африке и Америке. Столы в ее комнатах были завалены ботаническими атласами.

— Когда я была бедной вдовой, я часто глядела на другой берег Сены, размышляя о счастье семьи Куте, жившей в Мальмезоне... Теперь он мой, и я безмерно счастлива!

Ужин за столом Бонапартов был скромен. Первый консул имел теперь пятьсот тысяч франков жалованья, и Моро было приятно слышать от Бонапарта, что он всем-всем доволен:

— Главное, чтобы желания не опережали возможностей. Даже если меня лишит консульских достоинств, у меня останется дом в Париже и дача в Мальмезоне... Что еще человеку нужно? — дружески спросил он Моро. — Может быть, гражданке Жозефине и мало, но гражданину Наполеону достаточно...

Бонапарт рассуждал, как преуспевающий буржуа, загодя считающий свои доходы; наверное, так же в корсиканском Аяччо сидел вечером его отец, обдумывая с женой Летицией, как прожить со скромной адвокатской практики. В золотистых сумерках Мальмезона желтый лионский бархат на мебели отливал старомодным уютом. Жозефина, посверкивая прекрасными глазами, рассказывала об успехах Гортензии в живописи:

- Мою дочь обучает сам Батист Изабе.
- А это ученик Луи Давида, — напомнил Бонапарт.
- Изабе лучше Давида и Жерара.
- А мне нравится Давид... он сдержаннее.

Только сейчас Моро сообразил, что художник Изабе — двойник Бонапарта: лицо, фигура, походка — все было схоже! Не затем ли Изабе и катается в Мальмезон, чтобы ввести в заблуждение заговорщиков, если слухи о покушении на Бонапарта не выдуманы самим Фуше? В эту ночь Моро снились разбитые дороги отступления армии, умирающие лошади с красивыми страдальческими глазами. Наконец, кузнечный фургон, опрокинутый в канаву, стал для него кошмаром! До рассвета генерал Моро собирал гвозди и подковы, сыпавшиеся из фургона, он пихал в рваные мешки куски угля. Проснулся же разбитый, обессиленный и долго сидел на постели, пытаясь сообразить, что случилось вчера; доходы с плантаций сахарного тростника перемешались с миниатюрами Изабе, а колючки дикобраза из Мальмезона перепутались с гвоздями для подковки кавалерии. Наконец память нечаянно воскресила фразу Бонапарта, произнесенную им вчера: «Я не хочу, чтобы меня только боялись, — я хочу, чтобы меня еще и любили...»

8. Улица Победы

Лазар Карно уже заметил, что между разгромом Моро в Италии и крахом восточных иллюзий Бонапарта в Египте история может смело ставить жирный знак равенства. А теперь борьба за первенство, казалось, будет продолжена. В армиях уже возникали споры: кто лучше — Моро или Бонапарт?

Моро хотел понять, почему консул доверил ему большую армию, а Бертье в Дижоне тайно готовил для консула резервную — меньшую. Перед отъездом Моро в Страсбург состоялось свидание с Бонапартом, который начал беседу с того, что банкир Уввар, отец детей Терезы Тальен, уже давит клопов в тюрьме. По мнению консула, каждый миллионер время от времени обязан отгрыгивать излишки доходов в общественную бочку, если он не хочет всю жизнь поедать тюремную чечевицу.

— Вена палит из пушек английскими фунтами стерлингов, нам для стрельбы тоже необходимо золото. — В разговоре Бонапарт пощелкивал хлыстом по голенищу своего сапога. — Твоя Рейнская армия по четырем наплавным мостам между Базелем и Шафгаузеном форсирует Рейн. Отбросив австрийцев к Верхнему Дунаю и отрезав их от Франконии, нельзя позволить венским мудрецам помогать их армии барона Меласа в Италии...

Моро ответил, что план, очевидно, великолепен для Бонапарта, но он, Моро, привык воевать по своей системе.

— От венских шпионов не скрыть переправу в четырех местах сразу, как не построить сразу и четыре моста. Пусть Рейн спит, — сказал Моро. — Я не стану тревожить его по ночам стуком молотков, сколачивая понтоны. Зачем же тогда в Страсбурге, Бризахе и Базеле стоят нерушимые мосты из камня, сооруженные еще римлянами? Через городские мосты тремя колоннами я двигаю армию к Шафгаузену, и этим же маневром я прикрываю форсирование Рейна остальными войсками.

Бонапарт хлыстом больно высек штабные карты, как Александр Македонский высек когда-то море.

— Ты споришь? Я не желаю возражать. В любом споре между нами многие пожелают видеть лишь наше соперничество. Одним до безумия нравится генерал Моро, а другие готовы умереть за консула Бонапарта... Зачем нам давать смешные поводы для злоречия? Кто у тебя главным в штабе армии?

— Отличный генерал Виктор Лагори.

— Пришли его! С ним я договорюсь скорее...

Лагори с умным видом рассматривал карты, на которых отпечатались страшные рубцы бонапартовской плети.

— Все бретонцы, — сказал он о Моро, — упрямые верблюды. Если моему генералу навязывать чужую волю, он свалит армию на Бернадота, а сам уедет в деревню Гробуа, где и уподобится Цинциннату, бредущему за плугом... Моро таков!

— Бернадот для меня — пешка в шахматах. Я уступаю тебе, Лагори! Но в любом случае, — настоял Бонапарт, — австрийцы должны быть отброшены армией Моро к Регенсбургу, а корпус Лекурба вплотную придвинут к Швейцарии...

Очевидно, консулу не хотелось произносить последней фразы, его вынудили к тому обстоятельства. Виктор Лагори, повидавшись с Моро, высказал ему свои подозрения:

— Не станут ли доить нашу армию со стороны швейцарских кантонов?

— Увидим. Я выезжаю. Через Шалон и Нанси...

В Страсбурге уже началась лагерная жизнь. Здесь квартировали генералы — Декан, Ней, Гренье, Ришпанс, Лекурб. Моро был рад видеть Груши, который при Нови получил тринадцать ран, едва живым его подняли солдаты Суворова. Груши днями отсыпался на солнечных лужайках, а по ночам кутил в шатре с молодой маркитанткой.

Готоя армию, Моро не щадил себя, не щадил и людей.

— Рапатель, покажи новобранцам-конскриптам, как можно ускорить шаг, держась за хвост лошади кавалериста.

Рапатель, вцепившись в хвост драгунской кобылы, исправно шлепал по лужам. С карабином в руке Моро разбежался и, подобно вольтижеру из цирка Франкони, вспрыгнул с земли на круп лошади.

— Учитесь падать... вот так! — Командующий армией плашмя рухнул наземь. — Не бойтесь! — крикнул Моро, вскакивая и стреляя. — У хорошего солдата все кости целы...

Знаменитая «Марсельеза» имела существенный подзаголовок: «Боевая песнь Рейнской армии». Рейнская армия была лучшей во Франции, в ней еще свято соблюдались заветы революции, она была, не в пример другим армиям, спаяна идеями свободы и дисциплиной. Мародерство каралось. Лишь в редких случаях, чтобы напугать человека, в него стреляли холостыми патронами. Обычно же казнили боевыми — сразу в яму! Ветераны имели страшнейшие усищи, в их ушах качались тяжелые серьги. Пионеры (саперы) еще пудрили головы, у них были очень длинные бороды. А гусары отращивали длинные косы, но не с затылка, а от висков; свитые в две верёвки, перевязанные лентами, эти косы спадали до плеч вдоль щек... Но эта армия опять шлепала без обуви, раздетая и разутая еще со времен Директории, и потому Моро был прав, обращаясь к ней так:

— Босяки и голодранцы, республика ожидает от вас подвигов, чтобы народ Франции обрел спокойствие мира...

Своры собак сопровождали войска республиканцев. Австрийской армией руководил барон Край фон Крайов, и Моро поклялся перед всеми искалечить его карьеру.

— Подумайте! — говорил он генералам. — Вена за битву при Нови дала Краю лавры, отняв их у Суворова, из чего получается, будто меня в Италии разбил не Суворов, а этот старый недоносок... Посредственность не умеет побеждать!

К спинным ранцам австрийцев ремнями были привязаны караван круглого крестьянского хлеба, и, когда они удирали, республиканцы, нагоняя их, видели перед собой только одно — хлеб, хлеб, хлеб, много хлеба! Почти все пленные не знали немецкого языка: кроаты, украинцы и русины. Недавно взятые под ружье из белых хаток, они, попав в неволю, сильно плакали. Им было жалко и хлеба, который испекли для них матери и жены, провожая на войну с какими-то непонятными «якобинцами». Наконец к Моро доставили австрийского генерала — без штанов, схваченного в постели.

Он был преисполнен возмущением:

— Жене­раль, вы за­ставили меня по­терять честь!

Моро не стал выра­жать ему со­чувствия:

— Мож­но ли гово­рить о по­тере того, чем вы, ка­жется, не об­ла­да­ли?

Лучше ска­зать ина­че: вме­сте со штанами вы по­те­ря­ли все, что у вас было до­ро­го­го... Где ваш Край?

Раз­битый уже триж­ды, Край стра­дал нерв­ной эк­зе­мой.

— Ка­кое ме­сто у него че­шется? — спро­сил Моро.

— *Corpus delicti*.

— Со­чувствую ему, — ска­зал Моро. — Имен­но это ме­сто в по­ря­дочном об­ществе че­сать не при­ня­то...

Он от­вер­нул­ся к ок­ну, на­блю­дая, как сол­да­ты опали­ва­ют на ко­стре боль­шую сви­ню, от­чуж­денно про­сле­дил за су­пру­жеской че­той аистов, ко­то­рые, тре­ща клю­ва­ми, устраивали гнез­до на кры­ше до­ма. Плен­ному да­ли ста­рые пан­та­лоны, и, на­дев их, он сразу об­рел са­моуверенный тон:

— У меня нет с со­бой ко­шелька, чтобы рас­платиться за эту рвань! Вы спро­сили: где Край? Так я ска­жу, что его ар­мия ук­ры­ва­ется в Уль­ме, где ко­ло­с­саль­ные ма­га­зины Ду­найской ар­мии, и вам ни кре­пости Уль­ма, ни сла­вного Мюн­хена не взять...

Но фран­цузская речь бы­стро за­пол­ня­ла ули­цы дере­вень, ху­торов и го­ро­ди­шек Ба­ва­рии, на­ко­нец по­ка­зался и Мюн­хен, в его во­ро­тах уже вы­страивались де­пу­та­ты.

— Де­кан, — ска­зал Моро, — ты ведь еще ни­ко­гда не брал го­ро­дов? По­ди, друг, от­бери у них клю­чи Мюн­хена...

Мюн­хен был го­ро­дом бо­га­тым, Моро ве­лел вы­дать войс­кам жа­ло­ванье, его сол­да­ты об­ве­ша­лись кру­гами ко­л­ба­сы, ги­р­ляндами жи­рных со­сисок, та­щи­ли на шты­ках сви­ные око­рока. Но еще до взятия Мюн­хена став­ку рейн­ской ар­мии на­ве­стил ге­не­рал Бер­тье, и Моро спро­сил, с чем он при­был.

— С при­казом пер­вого кон­сула: ле­вое кры­ло Рейн­ской ар­мии под зна­ме­нами Ле­курба оста­вить в Швей­царии.

— Это не­спра­вед­ливо, Бер­тье! Про­тив меня — пол­то­ра­ста ты­сяч шты­ков и са­бель Кра­я. Если от­дать трид­цать две ты­сячи сол­дат Ле­курба, ска­жи, Бер­тье, с чем я оста­нусь?

— Тре­бо­ва­ние пер­вого кон­сула не­укос­нительно: ле­вое кры­ло твоей ар­мии дол­жно за­пи­рать Швей­царию от Ита­лии.

— Или на­обо­рот — Ита­лию от Швей­царии?

— Ты до­гад­лив, дру­жище...

Все ясно! До этого иг­ра­ли в лег­кую так­тику, но те­перь в бой по­шла тя­желая стра­те­гия. Бо­на­парт глав­ную Рейн­скую ар­мию об­ра­тил во

вспомогательную, чтобы вся нагрузка побед досталась резервной — в Италии, куда он сейчас и торопился, явно недовольный быстрыми (очень быстрыми!) успехами армии Моро...

Моро пригласил Бертье к обеду.

— Как генерал, я против ослабления своей армии, но, как гражданин, покоряюсь обстоятельствам, надеясь, что эта жертва необходима для общего блага республики...

Победив себя, не уступал ли он победу другим? Он еще ничего не проиграл. Но кто-то уже, наверно, выиграл?

.....
Певица миланского театра Ла Скала, очаровательная Грассини, давала концерт в доме маркизы Кавур (внука этой маркизы, Камилло Кавура, еще не было на свете, а бабушка знаменитого патриота была далека от патриотизма). Послушать певицу собрались не только местные аристократы, но и австрийские оккупанты во главе с престарелым, но еще довольно-таки бодрым живодером итальянского народа, бароном и фельдмаршалом Бенедиктом Меласом. Пока Грассини чаровала гостей руладами своего бесподобного контральто, хозяйку дома развлекал молодой и очень красивый шваб, венский офицер и граф Адам Нейперг*.

— Кажется, Грассини отпеваает нашу любовь. Не вскрикивайте от страха и не делайте резких жестов, если я вам скажу: с Альп сюда сваливается армия Бонапарта, и мы будем... побеждены. С нашими дураками иного нельзя и ждать!

Аристократка Кавур давно смирилась с австрийским владычеством в Италии, новые перемены ее только пугали:

— Помилуйте, в Альпах еще не растаял снег, и быть того не может, чтобы французы осмелились перевалить через неприступный Сен-Бернар. Как они протащат свою артиллерию?

— Французы сняли пушки с лафетов и устроили для них «гробы», выдолбленные из толстых деревьев. В этих «гробах» и волокли пушки... Бонапарт обманул всех! Он вывел армию из Дижона, где она считалась резервной, и в Вене на нее даже не обращали внимания. Все силы нашей великой империи были устремлены против Рейнской армии, против генерала Моро...

Нейперга вскоре подзвал генерал Антон фон Цах, начальник штаба армии Меласа, он же и профессор математики.

* А.-А. Нейперг (1775—1829) — впоследствии муж второй жены Наполеона Марии-Луизы, в бою с французами лишился глаза. Позже состоял министром в Парме, где Мария-Луиза после свержения Наполеона была герцогиней.

— Отчего маркиза Кавур сначала смеялась?

— Я рассмешил её новеллой о повадках вашей лошади, которая в битвах носит вас, как подлинного героя.

— Но что было вами сказано хозяйке дома потом, отчего она проявила такое сильное волнение?

— Я сказал ей, что под жезлом непобедимого барона Меласа Бонапарт будет растрепан нами быстрее, нежели Моро Суворовым...

Бонапарт покинул Париж, когда в далеком Петербурге народ прощался с Суворовым. Через перевал Сен-Бернар консул проехал верхом на муле. Солдаты имели в ранцах еды на восемь дней, сорок патронов на ружье — и все! Спустившись в цветущие долины, Бонапарт выслушал доклад Бертье о положении в Генуе:

— Горожане едят траву и падаль, Массена уже не ставит к пленным караулов, боясь, что часовые будут съедены.

— Пусть Массена сожрет под собой даже землю, Бертье, я появился здесь не ради кормления голодающих...

2 июня он вошел в Милан; здесь Бонапарту принесли сумку венского курьера, подстреленного в пути. Из бумаг выяснились планы барона Меласа, который активно группировал войска недалеко от деревни МАРЕНГО.

— Я обещал дать битву у Маренго, и я ее дам! Дезе, — позвал он своего любимца, — бери шесть тысяч и ступай к Нови, чтобы Мелас не смог опереться флангом на Геную. Где Виктор? Ему выдвигать дивизию прямо к Маренго...

Виктор с дивизией ушел. Дезе ушел тоже.

— Бертье, у вас недовольное лицо? Почему? Или маркиза Висконти забыла покормить своих собачек?

— Мы излишне распылили свои силы, консул.

— Не так ли поступил и Мелас? Мне нужна ваша улыбка, Бертье... Помните: в случае моего поражения всю вину за него я без церемоний свалю на вас. Ибо, по праву консула, я лишь присутствующий при вашей армии... Поняли?

Бертье давно это понял. Но и Бонапарт понимал: проиграв битву, он проиграет *сам себя*. Не будет ни первого консула, ни роскоши Тюильри, ни тропиков Мальмезона, ни его славы, ни его будущего. Он останется на мели с женой-растратчицей и громадным кланом жадных сородичей, которым всегда мало и всегда надо много. Увидев пыль на дорогах и послушав, как стучат австрийские барабаны, он спокойно сказал Бертье:

— А вот и Мелас... не пора ли начинать?

Мелас обрушил на него свои войска, словно прокатывая чудовишные жернова, меж которых он мгновенно перемолол французов. Все было кончено так быстро, что Бонапарт едва опомнился. Он видел бегущих солдат, бежал стойкий Келлерман, бежал даже хвостун Мюрат, все бежали... Драпали!

— Держитесь! — призывал консул. — Держитесь из последних сил. Дивизия Дезе спешит обратно... Бертье, — резко повернулся он, — жертвуем консульской гвардией.

И гвардия пошла под огонь, чтобы погибнуть. Австрийская картечь осыпала французские каре, мадьярская пехота расстреливала всех в упор. К трем часам дня Мелас полностью очистил поле битвы от французов; барон ощутил вдруг голод и сказал Цаху, что часть армии может уже обедать.

— Цах! Картина дописана до конца. Вам остается добить Бонапарта, а я поеду в Александрию, дабы составить победные реляции для Его Величества императора Франца...

Мелас, отъехав, слышал усиление пальбы, но не придал ей значения. На самом же деле это вернулась из-под Нови дивизия генерала Дезе, и Бонапарт притворным смехом пытался скрыть от него весь трагизм своей неудачи:

— Дезе, тут неплохая куча... видишь?

Дезе поздравил Бонапарта с... поражением.

— Первая битва консула проиграна. Но вторую битву при Маренго я, генерал Дезе, еще могу выиграть.

Без особого пыла он повел дивизию за собой. Но вдруг остановил лошадь и (по словам очевидцев) покачал головою:

— Кажется, тут уже ничего не исправишь...

Вдоль фронта растягивалась плотная колонна австрийцев, преследуя побежденных, а Дезе... упал.

— Дезе выбит из седла, — доложили Бонапарту.

— Можно ли его спасти?

— Пуля в сердце.

— Ах, почему я не могу плакать сегодня?..

В этот момент лошадь под Цахом взбесилась, занеся генерала в ставку Бонапарта, где Бертье и принял у него шпагу:

— Надеюсь, вы сдались без принуждения?

Начальник штаба армии в плену. Что тут скажешь?

— Да, мсье Бертье, — сказал Цах, — если вы имеете в виду мою кобылу, то она сдалась добровольно...

Между тем в глубокой лощине, заросшей виноградниками, не совсем трезвый Келлерман собрал свою потрепанную кавалерию.

Тяжелую! Заметив в войсках Дезе колебания, Келлерман обнажил свой страшный палаш для сокрушения касок:

— Видите колонну? А вдруг повезет? Пошли... марш!

Громадные кони (а всадники в кирасах), сокрушая изгороди виноградников, галопными взмахами выскакивали из ложины. Келлерман в свирепом наскоке рассек колонну противника.

Место убитого Дезе заступил генерал Буде:

— Французы! Не наш ли последний шанс? Вперед...

Фельдмаршал Мелас отослал в Вену курьеров с известием о победе и сказал, что теперь не мешает вздремнуть, когда к нему ворвался граф Нейперг:

— Спасайтесь! Идут французы... мы разбиты!..

Когда все было кончено, к генералу Буде подъехал верхом молодой генерал Жан Савари, и вот что он сказал!

— Ну, Буде! Ты спас Францию при Маренго, ты спас честь Бонапарта, и потому карьера твоя закончилась...

Бонапарт уже начал очаровывать фон Цаха:

— Вы профессор математики? Ах, как я вам завидую, я люблю алгебру... Не кажется ли вам, что мы сегодня занимались не тем, чем нужно? Но я счастлив видеть вас, коллега...

Он с Бертье обсуждал текст победного бюллетеня, когда их беседу нарушил вопль адъютанта Лефевра:

— Помогите, там Мюрат дерется с Келлерманом!

Бертье поспел вовремя: пламенный Мюрат в малиновом бурнусе араба уже приставил острое сабли к горлу Келлермана:

— Это моя конница все сделала, это я победил!

Келлерман рукою отбил от себя оружие:

— Разве не я развалил колонну, которую и стал потрошить Буде? Если не я выиграл, так выиграл Буде...

Бонапарт спросил вернувшегося Бертье:

— О чем там спорили эти петухи?

— Не могли поделить славу.

— Славу буду делить я, — сказал Бонапарт...

Он воздал должное мёртвому Дезе, бюллетень для Парижа был составлен в таких выражениях, что никто бы не усомнился в личной победе консула. Только через полвека возникли первые робкие сомнения. А через сто лет в Александрии собрался международный конгресс историков, посвященный юбилею Маренго; историки были озадачены — кто же решил судьбу этой битвы? Бонапарт? Но он проиграл сражение. Дезе? Но он погиб, не успев вступить в битву. Келлерман? Но его драгуны лишь опрокинули австрийскую колонну.

Неужели... Буде? Простите, господа, а кто такой этот Буде? Кто его знает? И не прав ли был Савари в своем пророчестве? Буде вычеркнут из истории, из энциклопедий, из справочников. О нем говорили все участники битвы при Маренго, но Бонапарт о Буде молчал, именно это его молчание особо подозрительно для истории...* На конгрессе вспомнили и певицу Грассини. Поле битвы еще дымилось кровью, когда Бонапарт велел Бертье ехать в Милан и доставить ему красавицу.

— Но я же вам не сводня! — вспыхнул Бертье.

— Бертье, — отвечал Бонапарт, — если вы отказываетесь, я сегодня к ужину приглашу маркизу Висконти, а вас отошлю в Париж с известием о моей победе при Маренго...

Бертье приехал в Милан. Молодая женщина никак не могла взять в толк, почему три года назад Бонапарт не обращал на нее никакого внимания, а сейчас она вдруг срочно ему понадобилась. Бертье объяснил певице: «Синьорина, но тогда наш первый консул гонялся за другими зайцами...»

Утром Грассини спросила победителя при Маренго:

— Скажи, чем я тебе понравилась?

— Своим именем — Жозефина...

Впрочем, по-итальянски она звалась Джузеппиной.

Париж и Вена пережили страшное нервное напряжение. Сначала «зеркальный» телеграф передал французам известие о полном разгроме армии Бонапарта, а курьеры, посланные Меласом, сообщили Вену о блестящей победе над французами. Затем зеркала просверкали Парижу о победе, а следующие курьеры Меласа погрузили Вену в мрачную бездну отчаяния...

Что там дорога от Фрежюса? Подлинный триумф Бонапарт извещал после Маренго, когда вернулся в Париж, обуянный всеобщим ликованием. Французы радовались, как дети, а рабочие, набрав камней, выбивали стекла в окнах тех домов, которые не были украшены, не были иллюминированы:

— Эй! Кто тут живет? Уж не роялистская ли гадина? Почему не радуются вместе с народом? Да здравствует наш великий консул, давший нам славу, порядок и дешевое мясо...

Улица Шантрэн была переименована в улицу Победы!

* Зависть Бонапарта к чужим успехам коснулась тогда не одного Буде: «Келлерману Наполеон никогда не мог простить его быстрое и решительное движение при Маренго (сказывают, вполпьяна совершенное)», — писал А.И. Тургенев, хорошо знавший многие секреты французского общества той эпохи.

9. Всаднику оставаться спокойным

— Ну, вот и все, — говорил Бонапарт жене. — И как все просто... Люди боятся катастроф, но они нуждаются в них: сильные потрясения оживляют мир, и люди начинают боготворить тех, кто эти катастрофы вызывает... Каждое поколение французов нуждается в хорошей кровавой бане!

Отныне власть Бонапарта покоилась уже не только на 18 брюме-ра — она обрела нерушимый фундамент. Но после Маренго он стал более сдержан, даже суховат, привык держать правую руку за отворотом жилета, чтобы избежать пожатия других рук, — ему, первому консулу, уже неприлично это приветствие, означающее равенство и братство. Правда, Бонапарт оставался и теперь крайне любезен с народом, он запросто хлопал солдат по плечу («Как живет, старый ворчун?»), генералов брал за ухо или отпускал им легкие приятельские пощечины, и эта ласка заменяла им награждение орденом.

После Маренго бедная Италия снова подверглась разорению. Лувр обогатился множеством живописных сокровищ, взятых из монастырей, из городских пинакотек, просто сорванных со стен частных квартир. Через заставы Парижа тянулись тяжелые обозы генералов: груды старинной мебели, посуда и серебро, ковры и ткани, картины и скульптуры — все это победители бессовестно растаскивали по своим особнякам, уже распухшим от пресыщения. Сыновья мелких нотариусов и трактирщиков, внуки мельников и бочаров, наследники лавочников и конюхов, генералы уже не знали, чем украсить своих жен и метресс. Не знали, чем украсить и себя: на их шляпах сверкали дамские эгреты, в плюмажах треуголок колыхались громадные перья страусов. Бонапарт не обращал на этот безбожный карнавал никакого внимания, поступая так, очевидно, из принципа: «Если танцуешь сам, не мешай танцевать другим».

Луи Давид был вызван им в Тюильри:

— Надеюсь, вы оставили свой «Переход через Фермопилы»? Франции нужно показать переход через Сен-Бернар. Можете внизу картины написать мое имя подле имен Карла Великого и Ганнибала... Позировать? Но у меня, Давид, нет времени. Натяните на манекен мой мундир, пропахший порохом Маренго, нахлобучьте на любого болвана мою шляпу... Наверное, вы, Давид, уже распознали мой гений?

— Да, гражданин Бонапарт.

— Зовите меня проще: мсье...

Давид поспешил исполнить персональный заказ великого человека. Художник-якобинец превращался в придворного с неизменным:

чего изволите? Так тростник сгибается ветром. Бонапарт желал видеть себя на кручах Сен-Бернара верхом на вздыбленном жеребце. «Лошадь вы сделайте горячей, — диктовал он, — но всадника оставьте спокойным...»

Лагори с генералом Неем увели кавалерию вперед, а Моро задержал свою лошадь. На этой безлюдной дороге ему казалось, что он досматривает вещий сон: перед ним валялся кузнечный фургон, опрокинутый в канаву, из него неряшливой грудой высыпались гвозди с подковами, через рваную мешковину виднелись куски угля. Сердце кольнуло дурным предчувствием, и тут Моро увидел австрийцев — их белые мундиры, их полированные до блеска штыки; молодой венский ротмистр, улыбаясь, целился из пистолета, другая рука его картинно опиралась на великолепную трость с рукоятью из голубого оникса, и Моро удивился, что даже в такие моменты жизни сознание может четко фиксировать подобные мелочи.

— Какая честь для меня! — воскликнул офицер. — Я лишь ротмистр, а пленяю дивизионного генерала Франции.

Ну, в таких случаях лучше идти вперед... Моро тронул лошадь шенкелями, в жестоком посыле она перемахнула канаву.

— А вы не подумали, сударь, какая честь сложить оружие перед генералом Моро? Успокойте своих солдат...

Опытный воин, он вмиг уронил голову к холке коня, и пуля прошла над затылком. Палаш — вон, вон, вон...

— А! — с надсадой произнес Моро и видел как развалилась медная каска. — А! — повторил он, рубя снова, и видел, как голова стала отделяться от шеи...

Один штык погрузился в круп лошади, как в тесто, другой болью пронзил ногу Моро, и он усакал прочь, провожаемый пулями. Лагори сначала заметил ранение животного:

— Из нее хлещет, будто кагор из дырявой бочки.

— Да, Лагори, да, дружище... Но еще не отлита пуля, на которой было бы начертано: гражданин Моро!

Кампания затягивалась. Моро был вынужден подчинить свою тактику общей стратегии войны. Одним флангом он упирался в крепость Ульма, где засел Край со своей экземой, другим флангом прикрывал армию Бонапарта в Италии — со стороны альпийских проходов. Генералы, не всегда зная истинные причины его сдержанности, упрекали Моро напрасно...

Кавалерия долго ехала ореховым лесом.

— Лагори, у меня набежал полный сапог крови, а кобыла стала хромать. В первой же деревне устроим ночлег. Хочу выспаться на хорошей и мягкой постели... Заодно напишу первому консулу о наших делах в Тироле.

Деревня была богатой, чисто выметенной, улица вымощена, как в городе, для Моро отвели каменный дом. Молодая хозяйка с ворохом бус на шее проколохла перед генералом «колоколом» пышной тирольской юбки. Настала ночь.

— Вы долго будете еще писать?

— Нет, фрейлейн. Я разве мешаю?

— Мне все равно, — безразлично отвечала она...

Решительно раздевшись, женщина легла в постель. Моро перечитал письмо к Бонапарту: «Мы тут с Краем играем в жмурки (nous tâtonnos), он с целью держаться при Ульме, я — чтобы удалить его оттуда... теперь я принудил противника отодвинуться к Тиролю, стало быть, он уже не опасен. Что можно сделать еще в вашу пользу?..» Крестьянка терпеливо ожидала его на громадной постели — молодая, здоровущая, доступная, как вода из вечной реки человеческой жизни.

— Ну, ладно, — сказал ей Моро, — а где твой жених?

— Он капралом в крепости Ульма.

— Если так, чего ты развалилась передо мною?

Ответ крестьянки отражал историю всей Европы:

— Сколько веков все армии шляются через нашу деревню, а для женщин все кончается одинаково. Так лучше с одним генералом, нежели тебя завалят в хлеву десять солдат.

Моро обмакнул перо в чернила, выделив фразу о том, что не берет контрибуций с Баварии, Вюртемберга и Франконии, дабы не возмущать жителей насилем. Задумался.

— А разве тебе не стыдно? — спросил он.

— Так поступала прапрабабка при ландскнехтах герцога Валленштейна, ложилась прабабка при походах великого Тюренна. Зато из наших сундуков не тягали приданое.

— Ах, сундуки! — догадался Моро. — Но я не Валленштейн, даже не Тюренн, и веду за собой не шайки разбойников... Ты лучше встань и сочини письмо для своего жениха. Когда я возьму Ульм, я сыщу его среди пленных, пусть радуется...

Только теперь женщина разрыдалась, и эти рыдания тоже были отголосками проклятой европейской истории. Утром, застенчивая, она принесла ему вино, сыр и хлеб с тмином. К завтраку пришли Ней и Лагори, генералы долго жевали молча.

— Дурак! — вдруг четко произнес Моро.

Ней, поднимая кубок с вином, захохотал:

— Ага! Теперь жалеешь, что спал один...

— Нет. Я вспомнил этого венского ротмистра. Поверьте, мне было противно рубить его, дурака. Но я озверел! Это бывает со мною не часто, но иногда все же бывает...

Доминик Рапатель вернулся из Парижа с новостью:

— Первый консул — кто бы поверил? — виделся с Жоржем Кадудалем, он предлагал ему сразу чин генерала, если Кадудаль погасит пожары «шуанерии» в бунтующей Вандее.

— Бонапарта можно уважать, — рассудил Моро. — Он не побоялся, что Кадудаль задушит его в кабинете Тюильри, а кулаки у этого мужлана величиной с мою голову.

Рапатель сказал: Кадудаль шел на свидание, уверенный, что 18 брюмера Бонапарт для того и захватил власть над Францией, чтобы вскоре передать ее Бурбонам.

— Когда же понял, что Бонапарт далек от этого, тогда они разлазались, как собаки, и Кадудаль, сильно рассерженный, снова убрался в леса и болота Ванден.

— Он еще натворит бед, — заметил Лагори...

Барон Край все время подбрасывал в штаб Моро ложную информацию о разгроме в Италии армии Бертье — Бонапарта, желая вынудить французов к отходу. Рейнская армия дважды форсировала Дунай, расчлняя коммуникации между Ульмом и Веною, — в искусстве маневра Моро оставался непревзойденным мастером, как и знаменитый Филидор в шахматах. Наконец Край убедился, что Моро не отстанет от него пододру-поздорову, и прислал в лагерь французов своего адъютанта:

— Фельдмаршал Край фон Крайов предлагает вам встречу в деревне Парсдорф под Мюнхеном, дабы предложить конвенцию о перемирии, схожую с той, какую фельдмаршал Мелас заключил с Бонапартом в итальянской Александрии.

Моро, как и вся его армия, еще не знал о битве при Маренго, в предложении противника он усмотрел ловушку.

— Возвращайтесь обратно, — сказал Моро. — Я согласен на встречу в Парсдорфе, когда этого пожелаю я сам... Прелиминарии подпишу лишь в том случае, если ваш фельдмаршал передаст мне крепости на Дунае вместе с Ульмом, дабы их обладание мною послужило гарантом для перемирия.

— Это слишком жестоко, — сказал адъютант.

— Но это же война... не я ее придумал!

Отзвуки ликования в Париже наконец докатились до германских деревень, и 15 июля Моро, прихватив с собой Декана и Лагори, встретился с фельдмаршалом Краем в Парсдорфе. У бедного старика подрагивали пальцы, глаза слезились.

— Венский гофкригсрат признал мои воинские таланты гораздо выше суворовских, и мне, не скрою, не хотелось бы шагать под суд военного трибунала... Декан, это вы взяли Мюнхен?

— Да, ваша честь. Но к пиву я равнодушен.

— Знаю вас... пьяниц. Моро, сколько вам лет?

— Тридцать семь, ваша честь.

— Странно! Я смолоду сражался с Фридрихом Великим, но в ваши годы едва вытянул до полковника... Не было ли у вас дядюшки-палача в революционном Конвенте?

Лагори в ярости треснул кулаком по столу:

— К делу! Мы собрались здесь не для ругани...

Край, подписав перемирие, зашвырнул перо в угол.

— Я ратифицировал свой позор в истории... И пусть я унижен, — заплакал Край, — но умру с непоколебимою верою в то, что великая Римско-Германская империя — под эгидою венских Габсбургов! — не сейчас, так позже разрушит ваше мнимое республиканское могущество... Прощайте!

— Suum cuique... прощайте, — ответил Моро.

Он приехал в Париж — тихо и незаметно. Все внимание парижан было приковано к Италии, о войне на Рейне и Дунае не поминали. С конвенцией Парсдорфского перемирия генерал навестил Талейрана, который даже не глянул на подписи.

— Место для нее подле Александрийской, — сказал он, хлопывая бювар. — Пусть вас не смущает отсутствие оваций. Тут столь много кричали во славу Маренго, что вконец охрипли, и для генерала Моро осталось одно шипение. Хочу преподать дружеский совет. Ваши бюллетени чрезмерно скромны. Изучите технику их составления по отчетам Бонапарта, который не стыдится признать свой гений. В наше время скромность — удел посредственных дарований. Я не желал обидеть вас, но, извините, так уж складывается жизнь: успеха в ней достигает только тот, кто показывает пальцем на себя.

Моро спросил, виден ли конец войне?

— Венский кабинет связан союзом с Лондоном, и Францу не выбраться из войны, не получив прежде на это согласия кабинета

сент-жемесского. Чтобы в венском Шенбрунне образумились, вашей армии предстоит нанести Австрии очень сильное поражение. — На прощание Талейран произнес очень странные слова: — Хотя первый консул из шестидесяти трех газет Парижа оставил лишь тринадцать, вы все-таки поройтесь в этом навозе, в котором иногда попадаются жемчужные зерна...

«К чему это предупреждение?» Моро отправился к себе на улицу Анжу, где его навестил тихий, бледный Фуше.

— Если у тебя есть матримониальные планы, — намекнул он, — ускорь события. Это говорит тебе друг, который знает больше того, нежели смеет сказать...

Фуше не был другом Моро, но Моро не возражал, когда Фуше называл себя его другом. Их «дружба» началась в Италии, куда Фуше поставлял для армии шинели, служившие солдатам одну неделю, и башмаки, служившие с утра до вечера.

— Что еще ты можешь сказать? — спросил Моро.

— Бонапарт вызывает из Милана певицу Грассини.

— Думаю, Жозефина не взвоет под облака от восторга. Говорят, она стала очень ревнива.

— Ревность не мешает ей желать наследника — от любой женщины, пусть даже от собственной дочери, Гортензии Богарне, лишь бы утешить отцовские чувства Бонапарта... Кстати, Моро, — вдруг спросил Фуше, — эти подлые роялисты не пытались связываться с тобою... из Лондона?

Более того, что ответит Моро, говорить нельзя, ибо Фуше обладал особой разновидностью эгоизма — политического: для него хороша любая политика, которая хороша для него. Сейчас, очевидно, Фуше было бы выгодно признание Моро.

— Нет, — сказал Моро, — такого не припомню.

— Я так и думал, — просиял Фуше, — ни граф Артуа, ни принц Конде из Лондона тебя еще не тревожили.

Упомянув только Лондон, он оставил Митаву (а значит, и мадам Блондель!) в глубокой тени, но Моро все равно испытал чувство неосознанной тревоги. Он поспешил переменить тему разговора.

— Меня тревожат слухи об отставке Карно.

— Господин Карно умный человек, но он напрасно полагает, что Франция при Бонапарте на гибельном пути...

Моро еще не совместил в своем сознании двух намеков, сделанных ему Талейраном и Фуше, но скоро все выяснилось. Ему надо было лишь помнить: истина, пусть даже немислимая, откроется на стра-

ницах «Монитора». Но в любом случае всадник должен оставаться спокойным!

Во время приемов, чтобы не путаться в именах, Бонапарт называл людей по их мундирам: «Здравствуйте, господин сенатор» — и не ошибался. Но консул иногда попадал впросак с людьми, мундиров не носивших. Однажды в Тюильри он восторженно встретил академика Амельюна:

— Мне приятно видеть вас, Ансильон.

— Простите, я не Ансильон — Амельон.

— Да, да, Амельон! Я вас хорошо знаю. Вы продолжили римскую историю Лебона, достойную общего внимания.

— Не Лебона — Лебо, господин консул.

— Именно Лебо, я так и сказал. И вы продлили его хронику до падения Константинополя под ударами аравитян.

— Не аравитян — турок.

— Правильно, Амельон! Турок я и имел в виду...

Моро представлялся Бонапарту в группе других генералов, но командующего Рейнской армией консул сразу увел в свой кабинет. Масляные лампы инженера Карселя, снабженные часовым регулятором, давали ровный устойчивый свет.

— Я знаю, о чем ты подумал, входя сюда: да, в Тюильри легко въехать, но трудно в нем удержаться... Успокойся, Моро, я остаюсь прежним республиканцем и указал, чтобы королевский дворец назывался «Дворцом Правительства».

Он усадил Моро, а сам продолжал стоять.

— Ты слышал о моей встрече с Кадудалем? Я слово сдержал: позволил ему скрыться, не преследуя его. Но из лесов Вандеи Жорж перебрался в Лондон, где в его честь дан банкет русским послом Семеном Воронцовым... Там собирается неплохая шайка бандитов — Жорж Кадудаль и Пишегрю!

Упоминание о Пишегрю было для Моро неприятно, а первый консул сознательно выжидал от Моро реакции.

— Мне возвращаться на Дунай? — спросил Моро.

— Сейчас в Люневиле мой брат Жозеф уже стряпает мир с Австрией. Если политика венского кабинета увязнет в пышных тирадах и остроумных репликах, Парсдорфское перемирие станет пустой бумажкой, и ты снова скрестишь оружие. — Бонапарт сознался, что сейчас его тревожат два насущных вопроса. Первый: выдержит ли осаду Мальта? Второй: кого поставит Вена на место старого дурака Края? Ни маршала Монтекукули, ни принца Евгения Савойского на

берегах Дуная не видится. — Я согласен гадать на картах: какую же шваль вытащит император Франц из своих затхлых кладовок?

Моро ответил, что без мира с Англией невозможно спасти остатки Египетской армии, на это Бонапарт сказал:

— Я и сам бы хотел избавить Средиземное море от эскадры Нельсона, чтобы она не торчала у Мальты и не мешала эвакуации армии из Египта... Что говорил тебе Талейран?

Моро домыслил будущее мира за Талейрана:

— Вынудив Австрию к миру, мы оставим Англию без союзников на континенте... Следовательно, — завершил беседу Моро, — я должен быть на Дунае! Независимо от болтовни в Люневиле нам следует снимать с петель ворота Вены, и тогда сами по себе откроются ворота для мира Европы...

Бонапарт пружинисто покачался на носках сапожек.

— Сейчас мы вернемся в зал, у меня есть для тебя подарок. А в среду я жду тебя в Мальмезоне...

Бонапарт (сам полководец!) не мог не понимать, что победою при Маренго он обязан Моро, который, пожертвовав своими успехами, прикрыв его Итальянскую армию с фланга. В окружении генералов и придворных первый консул торжественно объявил о заслугах Моро перед республикой. Моро вручили богатый футляр, в котором на розовом муаре лежали превосходные пистолеты, украшенные бриллиантами.

— Ты достоин и большего! — сказал Бонапарт. — К сожалению, республика еще не терпит блеска орденов и пышности эполет. Так пусть всегда сверкает твое оружие, как и твои замечательные победы на Рейне и на Дунае.

Вскинув руку, он дернул Моро за мочку уха.

— Итак, в Мальмезоне, — напомнил консул...

Рапатель ожидал Моро с новостью:

— Странно, что в Тюильри ничего не знают. А в Париже даже на улицах говорят, что гарнизон Мальты, изнуренный голодом, уже капитулировал... Если это правда, то никогда Франция не останется в мире с Англией.

— Наверное, слухи, — не поверил Моро...

Рука и сердце его еще оставались свободны. Конечно, он повидал Александрину в пансионе, но событий не ускорил. А задержка с настулением генерала стала беспокоить мадам Гюлло. Желая обострить любовный кризис, эта опытная дама начала откровенно торговать прелестями дочери:

— Моему зятю (каков бы он ни был!) достанется сокровище. У моей дочери аристократическая ножка. Под подъемом ее ступни

свободно пролезает маленький котеночек. А кожа такая, что в десяти шагах на ее фоне невозможно различить ожерелье из жемчуга... Любой зять будет счастлив!

Моро не спешил заковывать себя в цепи Гименея.

— Мадам, я могу только завидовать этому счастливцу... Увы, меня сдерживает предстоящая кампания на Дунае.

— Так сколько же можно сдерживаться? — вспыхнула мадам Гюлло. — Сдерживались на Рейне, сдерживаетесь на Дунае, затем будет Одер и Висла, и так доберетесь до Волги...

События ускорил визит в Мальмезон. Отчасти предупрежденный Фуше и Талейраном, генерал, однако, не думал, что все будет построено столь бестактно и даже авантюрно, с таким грубым нажимом на его честь. Талейран правильно подметил, что число газет во Франции сокращалось, всю прессу Бонапарт желал бы свести к единственной газетке, но и эта газета, по его мнению, не должна превышать размера носового платка. Парижская «Монитор», какие бы она ни получала оплеухи от цензоров, все-таки устояла на ногах. Конечно, парижане знали: «Монитор» вещала миру лишь слова консула...

Приехав в Мальмезон, Моро задержался в приемной, пока лакеи не доложат о нем. В самом углу комнаты стояли напольные часы с громадным маятником. Поверх часов лежал свежий номер «Монитора», развернутый таким образом, что не заметить было просто невозможно. Моро взял газету, и в глаза сразу бросилась фраза: «СЛУХИ ПАРИЖА: наш славный генерал Моро сделал брачное предложение прекрасной Гортензии Богарне...»

В этот же момент вошел Бонапарт. Оба молчали.

Моро положил газету. Бонапарт схватил ее.

— О! — сказал он, будто не веря своим глазам. — Новость интересная. Если это не газетная утка... поздравляю!

За столом он сразу обратился к Жозефине:

— Смотри! Оказывается, мы даже не заметили, когда этот генерал успел покорить нашу Гортензию...

Корсиканское либретто было составлено заранее, и Жозефине оставалось лишь развить его генеральную тему:

— Лучшие генералы Франции — Мюрат, Леклерк и... даже Бернадот уже породнились с нами. Мы с душевной радостью примем в нашу семью и знаменитого генерала Моро!

— Учти, дружище, — сказал Бонапарт, снова потянув Моро за плечающую от гнева мочку его уха. — Мы, корсиканцы, люди старинных понятий. Для нас нет ничего выше чести семейного клана, мы, кор-

сиканцы, свято бережем семейные узы. Я могу наорать на Леклерка, могу треснуть Мюрата коленом под зад, но они всегда знают, что со мной не пропадут.

— В этом не сомневаюсь, — ответил Моро. — Но из моей памяти время еще не выветрило Жубера с его кратким, как молния, семейным счастьем. Боюсь, как бы и мне на полном скаку лошади не вылететь из седла под шелест знамен...

Пистолеты с бриллиантами и семейные узы — звенья одной цепи: Бонапарту желалось сделать из Моро родственника, чтобы раз и навсегда подчинить его себе. После ужина беседа была продолжена, но уже без Жозефины, чего, кажется, хотел и сам Бонапарт, чтобы вести разговор с мужской откровенностью. Странно, что он, отличный психолог, еще не ощутил внутреннего, но яростного сопротивления Моро.

— Так ты войдешь в нашу семью? — спросил он.

Моро раскурил трубку от свечи. Сказал:

— Твоя падчерица, и об этом в Париже знают, страстно влюблена в твоего красивого адъютанта Дюрока.

— Мы же не дети! Если Дюрок тебе мешает, я завтра же пошлю его в Петербург с мальтийской шпагой для Павла, и, пока он там развлекается, Гортензия забудет его.

— Мне мешают еще два обстоятельства.

— Назови их. Все они легко устранимы.

— Не все! — сказал Моро. — Разве можно устранить то, что Гортензия Богарне — твоя падчерица и твоя же любовница? Об этом казусе много разговоров в Париже.

Бонапарт несколько не смутился:

— Ну, это сплетня... стоит ли верить?

— Наконец, и второе обстоятельство: я обещал мадам Гюлло сегодня же быть у нее с предложением руки и сердца ее дочери Александрине...

Моро повел себя далее в том же духе, как когда-то Жубер со своей женьбой. Он заявил будущей теще:

— Я настаиваю лишь на том, чтобы Александрина завтра же стала моей женой... Теперь не церковные времена, а гражданский брак при свидетелях займет минуты две-три, не больше. Поверьте, Парсдорфское перемирие близится к окончанию, и сейчас не время обсуждать брачные туалеты...

Вернувшись к себе, Моро сказал Рапателю:

— Завтра ты и генерал Лагори станете свидетелями моего брака... Нет, я не Бернадот, который больше всех кричит о правах народа, а

сам исподтишка лезет в постель Дезире Клари, нагретую для него самим Бонапартом...

Даже покойный Жубер мог бы позавидовать той скорости брачного маневра, какой произвел Моро! Но с этого времени Бонапарт обращался к нему только на «вы»...

Лазар Карно, покидая пост военного министра, был назначен в сенаторы. Он всюду откровенно зывал:

— Пока не поздно, генерал Моро должен заменить генерала Бонапарта на его посту первого консула республики... Вы спрашиваете — почему? Я вам отвечаю: республикой должен управлять республиканец, каковым Моро и является.

Тогда же Карно писал: «Моро — единственный сейчас человек во всей Франции, способный стать во главе дела». 11 ноября 1800 года Париж объявил о разрыве Парсдорфского перемирия, и Моро отъезжал к Дунаю — для открытия боевых действий. Его мучила, его терзала необъяснимая тревога:

— Черт побери, все-все... все как у Жубера!

Но всадник в бою должен оставаться спокойным.

10. Его звездный час

Александрина (уже на правах жены) невозмутимо наблюдала, как ее муж с Рапателем укладывают вещи в походные кофры.

— Вы чем-то огорчены, мой друг? Вы озабочены?

Ну, как объяснить этому наивному созданию всю ответственность, которая тяжкими гирями налегла на плечи? Моро сказал, что в битве на Дунае решится очень многое:

— Мир так устроен, моя прелесть: у каждого человека бывает свой звездный час. Писатель в такие часы создает бессмертную книгу, живописец дарит шедевр, полководец выигрывает грандиозную битву, — без этого никто из них не получает матрикул для вхождения в Пантеон бессмертия...

За ним числилось немало побед. Каждая из них была замечательна для своего дня. Но в биографии Моро отсутствовала та роковая битва, память о которой отложится на полках Мировой Истории, о которой будут писать в школьных учебниках. Настал политический момент, когда от его успеха (или от неудачи) на Дунае зависело — быть ли миру в Европе?

— Пойми, — говорил он жене, — если я сейчас разобью Австрию, Англия тоже будет вынуждена пойти на мир...

Александрина провожала мужа до первой заставы. Моро дернул шнур сигнального звонка, чтобы кучер задержал лошадей. Супруги вышли из кареты. Над Францией пролегла черная-черная, но звездная ночь. Было тихо. Страшно тихо.

— Мне холодно, Моро, — сказала жена, прильнув к нему; трогательная в своей нежности, Александрина отыскала на самом краю небосвода трепетную звезду. — Она моя... и такая же маленькая и беззащитная, как я!

Моро широким плащом опахнул ее слабые плечи.

Его рука в боевой перчатке вскинулась вверх:

— А вот и моя... та, что отсвечивает кровью.

— Назови мне ее, Моро.

— Это огонь войны, это бранный Марс...

Если война есть логическое продолжение политики, только иными средствами (это не мои слова — Клаузевица), то генеральная битва — спрессованный ступок политики, когда в кратчайшее время, иногда в считанные минуты, разрешаются мучительные проблемы, затянувшиеся в кругу дипломатов на целые столетия... Карета командующего Рейнской армией остановилась возле древней ратуши Страсбурга, засуетились лакеи, вспыхнули факелы, пламя осветило фигуры конвойных драгун, поникших от безмерной усталости; из их седельных кобур торчали рукояти заряженных пистолетов.

Виктор Лагори встретил его у крыльца ратуши.

— Какие новости? — спросил Моро на лестнице.

— Командующим Дунайской армией Вена назначила эрцгерцога Иоанна, отпрыска Леопольда Габсбургского.

— Победы за ним числятся?

— Никаких.

— Поражения?

— Он еще небитый.

Ковер на ступеньках глушил тяжелую поступь ботфортвов.

— Кто его менторы? — спросил Моро.

— Герлонд, Буржуа, Лауэр.

— Я их не знаю. Сколько лет герцогу?

— Восемнадцать.

— Кто шутит? Ты или Вена? — рассмеялся Моро.

Он стронул в поход свою армию, ее сопровождали шорники, хлебопеки, кузнецы, коновалы, интенданты, чиновники, маркитантки и, наконец, просто приبلудные шлюхи, от которых было не отвязаться,

даже если остричь им волосы. Предзимние дожди обмывали громадные валуны, переплетенные вереском, по ночам фыркали в лесах дикие кабаны. Моро ехал на лошади, иногда его окликали дружеские голоса солдат-ветеранов:

— Моро, правда ли, что ты женился?

— Да, на вдове... Жубера! А как твои дела, Питуэ?

— Моя убежала с лудильщиком. Конечно, с кастрюль прибыли вернее. А что возьмешь с меня, топающего за тобою?

— Не горюй, Питуэ! Бывает и хуже...

Армию сопровождали собаки: испанские спаниели с добрыми глазами, могучие канадские ньюфаундленды, умные и преданные пудели, разделявшие судьбу хозяев. Дожди всем надоели... Возле сельской мельницы драгун Бертуа громадной перчаткой хлестал по лицу жену мельника, и она зывала к своему мужу, чтобы скорее пришел на помощь:

— Михель, Михель... меня бьют! Где ты, Михель?

Моро надвинул на драгуна свою тяжелую лошадь:

— У тебя серьезные причины, Бертуа?

— Еще бы! Эта баба оплевала меня.

— Так плюнь в нее сам и не задерживайся...

Вдали затихали вопли разъяренной мельничихи:

— Проклятые французы... убийцы короля! Все вы сдохнете. Будь проклята вся ваша латинская раса!

Доминик Рапатель уютно покачивался в седле, его длинная сабля мелодично позванивала, задевая шпору:

— Ах, чего только не наслушаешься в этих походах! Если все запоминать, можно сойти с ума. Но если все записывать, то можно стать новоявленным Фукидидом...

За Мюнхеном дороги выводили армию к сердцу Габсбургов — к Вене, ослепительной и злочной, как хороший кабак. Но все случилось иначе, нежели думал Моро. В конце ноября эрцгерцог Иоанн — этот мальчик! — искусным маневром протиснул свою гигантскую армию между реками Инн и Изар, обрушив неожиданно мощный удар на левое крыло французов.

Это произошло возле деревни Ампфинг.

— И французы побежали, — доложил Лагори. — Гренье еще выпутывает свою дивизию, но крови уже хватает...

Моро срочно выехал в местечко Анциг: на широкой крестьянской скамье перед ним сидели ждущие расправы генералы.

— Ней, Легран, Гренье... Очевидно, — сказал им Моро, — вам просто не повезло. Иоанн умный ребенок, и, если Вена не вывихнет

ему мозги, из него со временем получится хороший скандалист. Рапатель! Достань корзину сырых яиц. Нам предстоит много орать, не мешает заранее смазать глотки...

Мишель Ней отказался пить сырые яйца:

— Мне бы чего-либо покрепче, Моро.

— Выпей, Мишель. Сейчас я отодвину армию.

— Ты знаешь, куда этот табор двигать?

— Назад! Есть одна хорошая поляна у Гогенлиндена, мне очень не хватает воздушного шара для слежения за Иоанном...

Австрийцы, упоенные успехом при Ампфинге, радовались, что генерал Моро отступает, — на самом же деле он завлекал их в глубину Эбергсбергских лесов, давно ему знакомых, на равнину близ селения ГОГЕНЛИНДЕН, где в буреломах, пронизанных быстрыми ручьями, догнивали столетние дубы. Из шапок ветеранов торчали оловянные ложки, готовые окунуться в любой котел... Вечно несытые, они мрачно ворчали:

— Куда нас тащат? Мы переломаем все ноги.

— Не мы, а кавалерия эрцгерцога.

— Если Моро ищет позицию пострашнее, так он уже нашел ее в этом лесу, где не хватает только патлатой ведьмы...

Тропы заросли хмелем, сырость пропитала ранцы солдат, покрытые грубым мехом. С высоты седел молодые гусары высокомерно поглядывали вниз — на усатых «ворчунов», бредущих по грязи. Мокрые косы, плетками свисая из-под киверов, ритмично хлестали гусар по давно не мытым щекам.

В доме лесника Моро собрал генералитет. Назвав себя, генералы отступали в тень, опираясь на шпаги, палаши и сабли. Над картой Эбергсбергских лесов склонился Моро.

— Я не утверждаю, — сказал он, — что отечество в опасности. Мы ведем войну на чужой земле, мы едим чужой хлеб, наша кавалерия пожирает овес с чужих полей. Но судьба мира должна завтра решиться именно здесь, у Гогенлиндена. Я не требую от вас невозможного, но возможное прошу исполнить.

Среди ночи он разбудил Поля Гренье:

— Слушай! Эскадроны Груши я оставлю у Гогенлиндена, вели седлать свою кавалерию. Австрийцы уже близко. Я слышу в лесу их крики. Собаки беспокойны. Одна из колонн Иоанна обходит нас от Майтенбеттенского шоссе. Ударь по ней, Гренье! Сделай все, чтобы эта колонна была сразу потеряна для эрцгерцога. Помни — твое направление главное... главное!

Рассветало. Гренье выстроил эскадроны:

— Кто сегодня останется живым, тот не гусар, а вонючее дерьмо... Рысью — в галоп, марш-марш-марш!

Уже стало видно, как из Гогенлиндена гнали стадо баранов, и Моро велел Рапателю сказать наперехват:

— Быстро заверни все стадо за опушку леса. Я сам расплачусь с жителями, нам после боя потребуется много мяса.

— На ужин — баранина! — пронеслось над армией, и то, что он, командующий, уже точно определил вечернее меню, вселяло уверенность в исходе битвы.

Собаки стервенели от лая, крики австрийцев приближались. В восемь часов утра эрцгерцог Иоанн выкатил армию из гущи Эбергсбергских лесов, и австрийцы сразу наткнулись на прочную позицию Моро, глядящую на них пушечными жерлами. Легкий туман струился между фронтами противников, в порьжжевшей осоке вскрикивали испуганные птицы. И тут Моро вспомнил, что вчера за картами подрались два генерала.

— Ришпанс, — сказал Моро, — помирись с Неем.

— Лучше сдохну, — отвечал гордый Ришпанс.

— Ней, — сказал Моро, — помирись с Ришпансом.

— Пошел он к чертовой матери...

Пушки заработали. Пустили в дело инфантерию.

Офицеры дубасили отстающих саблями плашмя. Кто ложился, того сразу пристреливали из пистолетов в спину, — все было так, как было всегда, и ничего нового в этом не было. Моро отослал эскадроны Ришпанса в обход фланга, предупредив, что его направление главное. Самое главное!

— Рапатель, где Ней? Давай сюда Нея.

Он указал Нею начинать движение дивизией в обход другого фланга австрийцев. Ней насторожился, спрашивая: где это сцепились?

— Это дерется Гренье, я желаю тебе в конце боя пожать руку Ришпансу, который заходит слева... Не дури, Ней! И помни — твое направление главное. Самое главное. Ней, иди... Декан, что ты торчишь за моей спиной, как Фемида?

— А где мне еще торчать? Я жду приказа.

Декан что-то еще дожевывал, его лошадь, выдрессированная лягать всех, кто приблизится, пугала Моро копытами.

— Слушай, обжора! — крикнул Моро издали. — Есть одна тропа, о которой знают только звери, ходящие по ней к водопою. На картах она не значится. Этой тропой выходи к шоссе, но с другой стороны Майтенбеттена, и тресни австрийцев по затылку, чтобы у них киве-

ра посыпались... Помни, Декан: твое направление главное, самое главное!

Рапатель крутился перед Моро на лошади:

— Все главные направления вы раздали своим генералам, а что же, черт побери, останется для командующего?

— У меня останется мой верный адъютант...

Пушки уже насытили воздух серой золой, пугливые лошади вставали на дыбы, молотя в едком дыму передними копытами. Из леса выползали раненые, они спрашивали — где фургоны с хирургами? Моро заметил солдата, у которого штык, словно турецкий ятаган, уже согнулся в рукопашной.

— Питуэ! — позвал его Моро. — И ты? И тебя?

— И меня тоже... Прикладом — все зубы. Вмятку!

— Есть бутылка бордоского... дать?

— Дай, Моро... мне сейчас паршиво!

Кавалерия выходила из боя с размятыми киверами, от гордых султанов остались жалкие перья. Страдая от боли, люди рвали на себе ремни амуниции, и кожа лопалась, как бумага. Все было, как всегда, и ничего нового Моро не наблюдал. Гусары возвращались из атак без лошадей, их головы были замотаны рубашками. На вопросы генерала они отвечали:

— Мы с шоссе... там уже навалили... гору!

— Как держатся австрийцы? — спрашивал Моро.

— Их полон лес, но разбегаются... Мародеры из деревень уже пошли с мешками, всех подряд раздевают догола.

Лагори вырос из-за плеча Рапателя, строгий:

— Моро, за Анцигом у нас не все ладится.

— Я чувствую. Скомандуй драгунам — марш...

Фаланга кавалерии пошла в бой, гневно выкрикивая:

— Да здравствует Франция... честь, слава!

Впереди мчался юный полковник с трубкой в зубах.

— Заставлю плакать венских дам! — орал он.

— Глупец, — сказал Моро. — С трубкой и без оружия?

— А, ему плевать... тут все равно не выживешь!

Болезненно напрягая слух, Моро с Лагори пытались определить источники боевого шума, дабы распознать лабиринты движения колонн, эпицентры атак и взлаи собачьих свор, следующих за колоннами, — так, наверное, дирижеры в оглушительном реве оркестров улавливают отдельные звучащие мелодии. Неожиданно повалил мокрый снег. Со сбитыми на живот седлами из леса выбегали ржущие от ужаса кони — без всадников.

— Лагори, — сказал Моро, — надо обуздать мародеров. Если они сейчас раздены раненых, бедняги замерзнут. Пошли в лес солдат — пусть расстреляют всех, кто с мешками...

Лошадь вынесла из гущи боя драгуна Бертуа, нога которого застряла в стремени, и Бертуа бился головой о кочки и лесные коряги. Моро кинулся наперерез взбесившейся лошади, ударил ее кулаком в глаз, освободил ногу драгуна, потащил его в санитарный фургон.

— Бертуа, милый, — говорил он, — потерпи... еще немного. Терпи, друг, терпи. Мы побеждаем. Ты будешь жить...

В тылу эрцгерцога Иоанна возникла сильная пальба, над лесом взметнулись огненные дуги, — это дивизии Нея и Ришпанса сомкнули свои ряды среди павших и побежденных.

— Вот теперь они помирятся, — сказал Моро.

— Или опять подерутся, — отвечал Лагори...

Лай собак в лесу утихал. Трубачи эрцгерцога уже играли общее отступление — обратно, через колдовские чащобы, к нерушимым дунайским мостам. Молодой еще человек, Иоанн был недурно воспитан своими менторами. Он указал:

— Во что бы то ни стало необходимо спасти раненых. Грех падет на мою душу, если оставим их под снегопадом.

Юноше отвечали, что лазаретных лошадей нет:

— Остались одни першероны, впряженные в пушки.

— Берите лошадей артиллерийских.

— Как? Тогда наши пушки достанутся французам.

— Да, но люди дороже бронзы...

Рапатель доложил, что эрцгерцог Иоанн поступил благородно, бросив на поле боя 87 орудий — ради спасения несчастных. Моро дал ответ, вошедший в историю гуманизма:

— В эти пушки запрягите наших лошадей и отправьте их Иоанну, чтобы французы разделили великодушие противника...

Уроки Талейрана не пошли впрок: Моро очень кратко изложил в бюллетене для Парижа известие о победе, как о самом рядовом столкновении с противником. Зато его армия солдатским инстинктом уже оценила значимость битвы при Гогенлиндене, она пожелала устроить в честь Моро иллюминацию, чтобы в пышном венке красовалось его краткое имя.

— Мои убеждения республиканца, — с гневом возражал Моро, — не позволяют мне принимать восхвалений лично себе. Будет лучше, если я завтра сам поздравлю всех!

Вдоль шоссе выстроились полки. Моро им сказал:

— Как солдат не забывает цвет мундира, который носил на себе, так и мы, граждане и солдаты Французской республики, не забудем день Гогенлиндена! Благодарю вас...

Вверх взлетали раскромсанные каски, иссеченные кивера и простреленные шапки из звериных шкур:

— Слава Моро... Да здравствует наша республика!

Это был его звездный час — уже неповторимый...

Рейнская армия преследовала австрийскую, всюду разбивая ее на маршах. Наконец завиднелись и венские пригороды — до столицы Габсбургов оставался один суточный переход. Из ножен вылетели сабли, торжествуя в салютах.

— Ура! Завтра мы уже пируем во дворцах Шенбрунна... будем гулять по Пратеру с венскими красотками...

Но здесь армия и была остановлена Бонапартом, который не мог вынести, чтобы вступление Моро в Вену затмило его славу победителя при Маренго. Очень сухо он указал с курьерскою почтой, что Франции необходим мир. Только мир... И напрасно генералы умоляли Моро сделать последний рывок к столице врага — Моро бестрепетно подчинился приказу:

— Подавим в себе низменные порывы честолюбия. Мир для народа Франции сейчас важнее новых триумфов...

...Французские историки с горечью писали об этих незабываемых днях: «Победа при Гогенлиндене была последней республиканской победой. Никогда больше Франция не видела такой скромности в своих военачальниках, такой почтительной преданности со стороны солдат, таких трогательных проявлений патриотизма...» Дребезжа на зимних ухабах стеклами, карета увозила Моро в древний уют тишайшего Страсбурга, где его ожидала Александрина и новый, 1801 год. Моро чувствовал себя хорошо: Рейн оставался естественным рубежом Франции. И пока Моро едет, маховые колеса истории вращаются гораздо быстрее, нежели колеса его расхлябанной кареты.

11. Обострение

Падение Мальты привело Бонапарта в уныние:

— У меня гадкое состояние, Бертье! Мне было бы легче, кажется, видеть англичан на высотах Монмартра, нежели знать, что они торчат в Ла-Валлетте... Нельсон убрался из Неаполя, но — куда? Лучше спихнуть мальтийские дела на Павла, и пусть он сам разбирается с англичанами.

— А нам уже пора убрать Массена из Италии, где он слишком увлекся «собираaniem подарков от благодарного населения».

— Да, Бертье! Массена с его наклонностями вскоре понадобится нам в иной части света, совсем в иной...

Бонапарт не скрыл от общества большие успехи Рейнской армии, личными письмами поздравил Ожеро и других генералов — только не главнокомандующего! Увы, битва при Гогенлиндене стала поводом для глупейшего скандала, в котором, к счастью, не были замешаны ни генерал Моро, ни сам первый консул. Тщеславной теще взбрело в голову, что лавры зятя обязывают Жозефину немедленно принести ей личные поздравления. Не дождавшись Жозефины у себя дома, она сама поехала в Мальмезон, уже распаленная гневом несправедливым. Мадам Гюлло прихватила и дочку, но Жозефина, как на грех, в это время принимала ванну: через лакея она просила гостей подождать, пока она приведет себя в порядок. Для тещи это промедление послужило сигнальным выстрелом из пушки:

— Как? Мы, Гюлло, должны ждать, пока она моется?

Забрав пристыженную Александрину, она в ярости покинула Мальмезон и теперь по всему Парижу трезвонила:

— Мы, Гюлло с острова Бурбон, ничуть не хуже этой креолки с Мартиники... Не такая уж она святая, какой притворяется. Мы, Гюлло, по тюрьмам не сидели, а она уже насиделась. Все знают, как она надоела Баррасу, который, чтобы от нее отвязаться, и устроил партию с этим корсиканским прощельгой. У нее тогда было всего шесть драных юбок, а перчатки она одолжила у Терезы Тальен... Про мою Александрину никто не скажет дурного. Бонапарты хотели бы сбить Гортензию за моего зятя, но у них ничего не вышло!

Моро приехал в Страсбург, и ему было явно не по себе, когда при жене он обнаружил и тещу. Она стала учить зятя, как лучше действовать, чтобы эти жалкие Бонапарты и Богарне вели себя поскромнее. Моро признался Декану:

— Уверен, вся эта возня с ванной не могла бы возникнуть, если бы Жозефина и мои Гюлло не были креолками. Этот шальной народец всегда вносит в отношения столько страсти и пыла, что мне кажется, легче остричь догола дикую кошку, нежели примирить их... Я целиком на стороне Жозефины!

На тещу он просто цыкнул:

— В чем провинилась гражданка Бонапарт? Только в том, что, не ожидая вас, забралась в ванну, а когда вы явились, она не выскочила из воды нагишом, чтобы скорее перед вами раскланяться! То, что в

порядке вещей для нравов колоний, в Париже выглядит смешным и нелепым...

Возникла семейная сцена — с заламыванием рук, с призывами всевышних сил в свидетели. Александрина надула губы, и без того распухшие от слез, а Моро впервые заметил в ее лице наследие грехов предков — что-то негритянское. Жена еще не забыла уроков мадам Кампан и, подавая мужу бульон, выкладывала поверх чашки изящную гирлянду из живых фиалок. Сначала Моро умилился, потом ему надоело выплевывать лепестки, попавшие в рот вместе с бульоном.

— Не сердись, дорогая, — сказал он. — Мне очень приятна забота обо мне, но ты забываешь, что я солдат, приученный у ночных костров разрывать горячее мясо руками...

Виктор Лагори отпросился в Париж, и Моро догадывался, что сердце его изныло от любви к мадам Софи Гюго, муж которой служил при штабе Рейнской армии. Лагори вскоре же вернулся в штаб, он рассказал, что полиция Фуше схватила в Опере четырех кинжальщиков, которые подкрадывались к ложе первого консула, чтобы его зарезать.

— Театр в этот день был переполнен, а ведь билет в Оперу стоит десять франков... Всюду говорят, что кинжальщиков подначивали на убийство генералы — Массена и Бернадот!

Массена, смолоду пират и контрабандист, всегда имел склонность к авантюрам, а что касается Бернадота...

— Я думаю, — сказал Моро, — он больше корчит из себя якобинца, нежели является им на самом деле... Да и куда деть Бернадота, если он стал шурином Жозефа Бонапарта?

Прогуливаясь по городу, возле почтовой конторы Страсбурга, где путникам меняли лошадей, Моро встретил русского офицера. Чтобы в низкой карете не помять высокий султан, он вынул его из кивера и укладывал в красивый футляр.

— Какого полка у вас форма?

— Конной гвардии, еще со времен Потемкина.

— Хм. У вас отличный парижский выговор.

— Он и должен быть таковым. Еще ребенком я вывезен родителями от ужасов революции, теперь делаю неплохую карьеру в России... Жерар де Сукантон! — назвался молодой человек. — Мне оказали честь, отправив курьером до Парижа, чтобы передать письма для наших пленных. Заодно я могу навестить в Париже и могилы несчастных родственников.

— А ваша семья пострадала от террора?

— Вероятно, если ничего нам не пишут.

— Ищите их на кладбище Пикпус. Но лучше не искать. Там устроили свалку мусора, а природа сама уже озаботилась, вырастив над мусором кусты яркого шиповника.

Моро не скрывал любопытства: как устроились в России французы-эмигранты, каково к ним отношение в дворянстве и простом народе, где бывают, что едят, что пьют.

— Пьем все и едим все, кроме блинов с черной икрой, вы не представляете, генерал, какая это мерзость! Франция всегда останется для нас прекрасна, как и Европа для тех бедняков, что населяют в Америке берега Огайо и Миссисипи. Вы, наверное, извещены, как мучителен процесс вживания наших соотечественников в Голландии или Испании — они страдальцы! А в России все иначе: кто не принял ее сразу, тот и бежал из нее, осыпая проклятьями, и такие люди навсегда остаются злыми врагами России. Но кто остался, кто вкусил всех прелестей ее безалаберной, но интересной жизни, тот с Россией уже не расстанется и везде ему будет скучно.

— Чем это объяснить? — спросил Моро.

— Это ничем и не объяснить...

Лошадей подали. Можно ехать. Моро сказал:

— Вы много обяжете меня, если напомниме в Петербурге военным людям, сражавшимся со мной в Италии, что я сохранил о русской армии самые лучшие впечатления.

Жерар де Сукантон щелкнул каблуками:

— Повторите, как называется это кладбище?

— Пикпус... Я, — добавил Моро, — никогда не одобрял разгула террора, когда людей преследовали за приставку «де» перед фамилией, тем более что такое же «де» поставлено перед всей Историей Франции, перед всей ее культурой...

Жерар де Сукантон натянул узкие перчатки:

— Судя по вашим словам, на кладбище Пикпус, среди роз и мусора, лежат, наверное, и ваши родственники?

— Нет. Мой отец успокоился на родине в Морле. Он был адвокатом и умел защищать людей. Но когда очередь дошла до него, он не смог защитить себя. Так ведь тоже бывает, что среди небритых людей чаще всего мы видим парикмахеров.

Жерар де Сукантон отдал ему честь:

— Простите, мсье! Если вашего отца постигла столь жестокая участь, как вы можете служить всей этой сволочи?

Лицо генерала Моро исказилось как от боли:

— Если вы называете так революционеров, то я тоже из этой «сволочи». В том-то и дело, что я всегда служил только народу Франции!

Именно чувство гражданина и помогло мне перешагнуть через тело обезглавленного отца...

Зима выдалась холодной, но Париж веселился, до утра гремела музыка танцевальных клубов, в Пале-Рояле одуряюще пахло из парфюмерных лавок... Сидя в кресле, обтянутом утрехтским велюром, Александрина на решетке камина поджаривала гренки к обеду. Моро не удивился, когда она заговорила о том, что в Париже проносится красочный вихрь удовольствий, а она прозябает в Страсбурге — при его штабе:

— Все мои подруги по пансиону тоже вышли за генералов, но у них совсем иная жизнь... Им сейчас не до гренок!

За жалобами юной женщины угадывалась и материнская подсказка: мадам Гюлло хотелось бы мутить воду в Париже, а в Страсбурге она шалела от чтения английских романов. Моро ответил, что дивизионных генералов во Франции не так уж много и быть женою одного из них, наверное, совсем недурно для красивой женщины, едва вступающей в жизнь.

— Пойми меня. Когда пушки замолкают, в гостиных едва слышен шепот дипломатов, и, пока в Люневиле не оформят прочный мир с Австрией, я останусь при армии, а ты — при мне. Газеты справедливо пишут, что Рейнская армия, составив оружие в козлы, охраняет приятное затишье в Европе...

Жители Страсбурга часто видели генерала Моро; он катал жену в детских саночках по улицам города, целовал в переулках ее замерзающие щеки. Возле памятника Морицу Саксонскому с пафосом рассуждал о величии его души, о любви, которой одарила полководца знаменитая Адриенна Лекуврер.

— А сейчас, — говорил он, — навестим часовню, где стоят два гроба, заполненные коньяком, и в крепком коньяке много веков плавают, как живые, древний рыцарь и дама его сердца... Она все-таки дождалась его из Палестины!

— Как это ужасно: дожидаться, чтобы умереть...

Между тем в штабе копилось недовольство среди офицеров — честолюбие их страдало оттого, что Бонапарт лишил их наград и призов, которыми столь щедро осыпал Итальянскую армию... Декан откровенно жаловался Лагори:

— Хуже нет иметь дело с такими идеалистами, как наш Моро! Что он застрял в Страсбурге? Ему бы ехать в Париж, бывать на приемах в Тюильри, показываться публике, иначе ведь Франция просто забудет о Гогенлиндене...

Виктор Лагори входил к Моро без доклада.

— Я не хочу никого пугать, но поговаривают о выделении двух особых армий: одну с Леклерком во главе для Сан-Доминго, чтобы подавить восстание негров Туссен-Лувертюра, а другую... Не удивляйся, Моро: другую — в Индию!

— Леклерк в Сан-Доминго, а в Индию... я?

— Нет, решено послать Массена.

— Чтобы он собрал «подарки» с Великих Моголов?

— Кажется, выбор сделан русским царем. Россия обязана выставить тридцать пять тысяч, Массена забирает у нас столько же, по Дунаю он спустится в Черное море до Таганрога, оттуда — в Астрахань... Дело поставлено на широкую ногу! Кроме воздушных шаров Монгольфьера, берут ещё роту балерин из Парижа, ибо Бонапарт считает, что сложные пируэты с задиранием ног выше головы действуют на Востоке лучше, нежели грохот осадной артиллерии.

— И что ты думаешь об этом, Лагори?

— Вряд ли этот план составлен в бедламе. Если расстояния не страшили в древности Македонского, почему же наши ветераны с казаками не могут достичь Ганга?..

Моро страдал: недовольство офицеров Рейнской армии пренебрежением Бонапарта к их заслугам становилось уже слишком вызывающим. Ему пытались доказывать уже доказанное:

— Как же так? Маренго — лишь частный успех в Италии. Маренго не выбило Австрию из седла, напротив, ожесточило. Мы же, победив ее при Гогенлиндене и распалив бивуаки под стенами Вены, заставили Франца признать свое поражение... Мы вынудили Вену отказаться от борьбы с республикой!

Моро, конечно, догадывался, почему Бонапарт держит Рейнскую армию в черном теле, но ему не хотелось возбуждать горячие головы опасными сравнениями. Он обещал:

— Я пошлю в Париж своего Рапателя, он отвезет списки награжденных, которые я давно составил. Бертье человек порядочный, он, уверен, воздействует на Бонапарта.

— Сейчас уже не те времена, — заметил Гренье, — прежде пусть Рапатель понравится маркизе Висконти, без которой Бертье дышать не может... Увы, но это так!

Моро признавался Александрине:

— Боюсь, нашу армию раскассируют. Мы, кажется, на плохом счету у Бонапарта, он считает нас республиканцами... А как же иначе? Кем нам быть? — спросил Моро. — Или ему приятнее было бы видеть в нашей армии роялистов?

— Пхе! — отвечала Александра...

Роялисты, вдохновляемые из Лондона, трудились в поте лица. Неумолимый Ги де Невилль снова прибыл из Митавы в Париж, тайные агенты проводили его в неприметную конюшню. Здесь, укрытая от чужих глаз, хрумкала сеном старая лошадь, тут же стояла обычная тележка, на ней — бочка, ничем не примечательная. Это была «адская машина», набитая порохом, перемешанным с пулями и гнутыми ржавыми гвоздями. Конюшня принадлежала Сен-Режану, бывшему офицеру королевского флота, а помогал ему матрос Франсуа Карбон, убежденный роялист. Закаленные в бурях на море, они надеялись устроить ураган в Париже... Ги де Невилль осмотрел бочку.

— Так чего же вы ждете? — спросил он.

— Гастролей миланской певицы Грассини. Корсиканец находит ее завывания прелестными, а за Бонапартом в Оперу потащится и его бешеная креолка...

— Надеюсь, вами все продумано тщательно?

— Все будет как в хорошем театре, — обещал Карбон. — Тележка с бочкой, оставленная на улице Сен-Никез, не привлечет внимания полиции. Допустимо ведь, что хозяин тележки устал и решил взбодрить себя винцом в ближайшем трактире.

Ги де Невилль заглянул в зубы лошади:

— Если она будет впряжена в тележку, то Жозеф Фуше может сразу напасть на ваш след. У этой развалины изъян в зубах очень характерный... Где вы ее достали?

— Купили на окраине у одного пьянчуги. Кажется, она краденая. Вы не волнуйтесь, Невилль: лошадь обречена, от нее даже зубов не останется.

Сен-Режан особо отметил: улица Сен-Никез, по которой обычно Бонапарт проезжает в Оперу, очень узкая.

— А дома там высокие, отчего взрыв в этом ущелье разобьет все вокруг. В гроб Его корсиканского Величества положат мундир со шляпой. А от Жозефины уцелеет один лишь веер, чтобы в пекле сатаны она навела на себя прохладу...

Ги де Невилль приподнял над головой шляпу:

— Желаю успеха! Ваши имена, господа, уже вписываются золотыми буквами на скрижали французской истории.

12. Адская машина

Быстро минуют годы, и юные офицеры (те, что погибнут у Бородина или на высотах Монмартра, те, что позже выстроятся в железное каре на Сенатской площади) не раз еще будут спрашивать на лесных бивуаках донского атамана Платова:

— Граф Матвей Иванович, а как ты в Индию-то ходил?

Один штоф был прикончен. Платов открывал второй.

— А чо? Сижу это я в крепости. Петропавловской, конечно. За чо — сам не знаю. И никто не знает. Но сижу. Ладно-сь. Мы люди станишные, ко всему привышные. Сижу! Вдруг двери — нараспашку. Говорят — к анператору. А на мне рубаха, вошь — во такая. И повезли. Со вшами вместе. Тока тулупец накинули. Вхожу. Павел при регалиях. Нос красный. Он уже тогда здорово употреблял. Больше меня! Анператор спрашивает: «Атаман, знаешь ли дорогу до Гангы?» Я впервой, вестимо, слышу. Но в тюрьме-то сидеть задарма кому охота? Я и говорю: «Да у нас на Дону любую девку спроси о Гангах, она враз дорогу покажет...» Тут мне Мальтийский крест на рубаху — бац! Вши мои ажно обалдели. Велено иттить до Индии и хватать англичан за шулята. Должно было нам Массену поддерживать. Как раз о ту пору из-за Мальты перегрызлись...

...Английский флаг реял над яркою желтизной Мальты, Павел I пыхтел сердито, ботфорты его скрипели: «Мой духовный патрон, Христов апостол Павел, спасался от бурь на Мальте, и я останусь патроном Мальты...» Император круто изменил курс своего кабинета, поворачиваясь лицом к республиканской Франции, — смелый шаг, очень смелый! Павел открыто восхищался Бонапартом, публично пил во славу консула, в Эрмитаже, проходя мимо бюста Бонапарта, он — монарх — даже снимал шляпу... Петербург с Парижем еще не обменялись послами, зато император с консулом обменивались дружественными письмами. Михайловский замок еще наполняла строительная сырость, в непросохших залах пылали огромные каминьы.

Генерал Егор Максимович Спренгпортен явился в замок.

— Поедешь в Париж! Бонапарт, к нам благожелательный, возвращает пленных — с оружием и знаменами, не требуя от нас, чтобы мы вернули пленных французов. Ты возьмешь этих солдат, и они станут моим гарнизоном на Мальте...

Отправив Спренгпортена, Павел задумался — чем отблагодарить Бонапарта за все его любезности? Принял решение:

— На что нам эти нахлебники версальские? Гнать из Митавы графа Прованского без пенсии, чему, я думаю, господин первый консул Франции чрезвычайно возрадуется...

Сказать, что Людовик XVIII был удален из дворца Биронов, нельзя: его просто «вытурили» на улицу со всем барахлом, строжайше наказав, чтобы убирался куда глаза глядят. В лютую морозную ночь, утопая в глубоких сугробах, королевский «двор» тронулся в санях до

прусского Полангена. Но король Фридрих-Вильгельм III, уже получивший трепку от республиканцев, боялся вызвать гнев Бонапарта и потому отказал в приюте своему коллеге по королевскому ремеслу.

Тогда расплакалась прусская королева Луиза:

— Скажи, что он может ехать в нашу Варшаву.

— Да, граф Прованский может ехать в Варшаву. Если в Париже у моего посла Луккезини спросят, пусть он сваливает вину на бедного Мейера, нашего варшавского бургомистра...

Варшава в ту окаянную пору входила в состав прусских владений, безлюдная и унылая. Урсын Немцевич, поэт и патриот, оставил ее описание: «На улицах масса нищих... В городе редко встретишь прохожего, еще реже экипажи, дома развалились и опустели; иногда слышен бой барабанный — это проходят отряды пруссаков. Вот караульные ведут полуживого человека, закованного в железные цепи; на его теле видны потоки крови...» В школах преподавали только на немецком языке, а в цукернях все время дрались — поляки волтузили оккупантов. Город был насыщен французскими аристократами. Дюки, маркизы, графы и виконты стали в эмиграции зубодерами, шулерами, сводниками и просто нахалами-попрошайками. «А вот у нас в Париже...» — эта фраза чаще всего слышалась на улицах и в ресторанах. Такова была тогда Варшава!

Людовик XVIII поселился в Краковском предместье. Измученный подагрой, он еще в Митаве привык к русским валенкам, в которых часто сидел на балконе. Но даже теперь стойкость духа не изменяла ему, он продолжал свои интриги:

— Анжу, какие новости от Ги де Невилля?

— Хорошие, сир. Певича Грассини уже в Париже, значит, дни консула сочтены. Но есть и неприятность для нашего двора: Павел, этот безумец, отправил в Париж генерала Спренгпортена, и этот человек уже принят в Мальмезоне...

Да, русскому посланцу оказывали немалые почести. В день его приезда стреляли пушки, генерал стал модной темой для бульварных песенок. Массена скрестил перед ним флаги монархической России и республиканской Франции, выражая этим союзное единение. Спренгпортен сказал ему:

— Любопытно глянуть на человека, который — первый после Карла Двенадцатого! — отважился побеждать русских...

На приеме в Мальмезоне возникла беседа как раз о графе Прованском, у которого Павел I забыл отнять русские валенки. Жозефина удивила русского посла слезами. Это никак не укладывалось в русско-финской

голове Спренгпортена: казалось бы, жена республиканского консула и вдруг рыдает над королевской судьбой. Но Бонапарт сказал:

— К чему обижать старого человека? Лишенный пенсии от Испании и России, он скоро станет кланчить пенсию у меня. — Далее зашла речь об Индии. — Ваш государь согласен со мною, что, отобрав у Англии владения в Индии, можно ослабить ее могущество. Сказочная Индия, этот алмаз Востока, дала миру гораздо больше философской мудрости, нежели вся эта пьяная и порочная Англия с ее лавочниками...

Спренгпортен заметил, что Париж доволен правлением Бонапарта. Город казался оживленным, магазины были переполнены лучшими товарами, цены были умеренны и не били по карману даже бедняка. Но посол был удивлен наплывом аристократов, возвратившихся из эмиграции. Все они быстро находили место в армии, в учреждениях республики, их нежно баюкали в Сен-Клу и Мальмезоне. Парижане исподтишка посмеивались над замашками четы Бонапартов, желавших видеть себя в окружении старых дворянских фамилий. В подворотнях, тайком от агентов Фуше, торговали карикатурами на первого консула. Спренгпортен посетил и парижскую Оперу, где Джузеппина Грассини поразила его своей красотой и своим дивным голосом. Но ложа Бонапарта и Жозефины была пуста...

— Что-то они опаздывают, — сказал матрос Карбон.

— Кажется, едут, — ответил ему Сен-Режан...

Их расчет оказался верным: в тихой улице Сен-Никез никто не обращал внимания на тележку с бочкой. А слабо тлеющий фитиль, подкрадывавшийся к начинке «адской машины», был замечен, кажется, только кучером Бонапарта. Впоследствии выяснили, что в этот вечер он «сел за руль» в пьяном виде, но именно алкоголь придал ему решительности. Что-то почуввав, он круто изменил маршрут, завернув лошадей в Мальтийский переулок, сшибая колесами тумбы на тротуаре. В этот же момент взрыв будто расколол улицу пополам. Жозефину осыпало стеклами из заднего окошка кареты, где-то уже полыхнуло пламя, слышались вопли искалеченных людей.

— Бежим! — воскликнул Сен-Режан...

Всюду лежали мертвецы. В дыму ползали оружие раненые. От бочки с тележкой ничего не осталось. Отброшенная к стене, валялась голова лошади с жутким оскалом зубов, и по этим зубам отыщется хозяин лошади, и тот, кто ее продал, и тот, кто ее купил, — это будет Сен-Режан...

— Едем дальше... в Оперу, — велел Бонапарт.

Бледнее обычного, но внешне спокойный, он появился в театре. Внутри его ложи находилась система увеличительных зеркал, поворачивая которые консул видел все происходящее в зале, он читал даже выражения на лицах зрителей. Публика, уже прослышав о покушении, устроила ему бурные овации. Жозефина нервно играла веером, из тьмы возникла тень Фуше:

— Отчаянный роялист, матрос Франсуа Карбон, уже схвачен в приюте монахинь, что близ Нотр-Дам, вместе с канониссой Дюшен. Мне очень не хватает Ги де Невилля, изворотливого, как минога. Взрыв на улице Сен-Никез — дело роялистов!

Фуше, мастер своего дела, точно назвал роялистов.

Но похвалы хозяина верный пес не заслужил:

— Фуше, я лучше тебя знаю, кто подкатил под меня эту бочку. Ты можешь ловить кого хочешь, но я-то уверен, что фитиль бочки подпалили твои друзья... якобинцы!

Фуше не отступался от своих выводов:

— Лондон не стал бы платить деньги якобинцам, а матрос Карбон уже сознался, кто их подкармливал. Наконец, и граф Невилль — его никак не назовешь другом Робеспьера, как называли вас. Какое отношение к взрыву имеют якобинцы?

— Я не нуждаюсь, Фуше, в твоих доводах. Мне нужны лишь прокрипции, чтобы вычеркивать из списка уничтоженных, и мне нужна массовая депортация, чтобы очистить Францию... Разве якобинцы поумнели, Фуше? Нет, они и сейчас ведут себя так, будто каждый день к завтраку им подают читать газеты Марата! Им, наверное, хочется, чтобы гильотина, извлеченная из сарая, снова торчала на площади Революции...

Фуше (даже он!) не мог прийти в себя от изумления. Министр умоляюще глянул на Жозефину, и, прежде чем ответить, женщина прикрыла веером некрасивые острые зубы.

— Конечно! — сказала она. — Мы разрешили аристократам вернуться к их замкам и угодьям, в их фамильных прудах снова заплескались жирные карпы, они благодарны нам, разве же роялисты, люди благородной крови, способны на такое злодеяние? У меня, Фуше, до сих пор осколки битых стекол в волосах, и я уже не знаю, как их вычесать.

— Уходи, ты надоел мне, — сказал Бонапарт министру. — Мне нужна полиция, а не юстиция!

Фуше удалился, в ложу шурина вошел Мюрат, сверкая множеством застёжек, шнурков и тесемок. Бонапарт сказал:

— Эта бочка взорвалась кстати. Если бы такой бочки не было, ее бы надо мне самому взорвать под своей кроватью. Мой мундир обле-

пили всякие насекомые, и пора его как следует вытрясти... Пусть эти якобинцы оплакивают свое прошлое — в будущем я им отказываю. Будущее принадлежит нам!

Мюрат питал какую-то необъяснимую злобу против Моро. Он и сейчас стал доказывать шурина, что армию у Моро надобно отобрать, Рейнскую армию лучше доверить Бернадоту.

— Бернадот наш родственник, — сказал Мюрат.

— И такая же сволочь, как этот Моро...

В эти дни на приеме в Тюильри консул публично назвал Мюрата не мой шурин, а — *наш* шурин. Жермена де Сталь обрадовалась этому поводу для сооружения остроты:

— Ага! Первое королевское «мы» над республикой уже прозвучало. Его услышали там, где надо, — именно в Тюильри. Скоро это «мы» будет печататься с большой буквы...

Пусть не было орденов и эполет, но в Рейнской армии еще выжидали наград от имени республики — подзорных труб с отличными линзами, именных пистолетов, позлащенных шпаг, дарственных дипломов, удостоверяющих боевую храбрость, наконец, люди ожидали просто внимания к себе.

— Уверен, — говорил им Моро, — Рапатель вернется не с пустыми руками, вы все это получите...

Из Люневилля сообщали, что мирные переговоры близятся к завершению, Австрия навсегда отказывается от захватов в Италии, которая, несомненно, подпадет под французское влияние... Александрина уже настроилась на отъезд:

— Скажи, мы будем танцевать в Тюильри?

— Если ты этого желаешь... — отвечал ей муж.

А Лагори он с грустью признавался:

— Бедная девочка! Ей хочется кружить в бальных аллюрах... Она еще не может понять, что эти дни в Страсбурге на старости лет станут казаться ей днями безмятежной и тихой радости, когда все прохожие на улице улыбались нам, не было средь нас суеты и зависти...

Потеплело, и всю ночь пласты подталого снега обрушивались в провалы улиц с крутизны готических крыш древнего Страсбурга. К утру Мориц Саксонский, стоя у городского фонтана, сбросил с себя последний снег, от его бронзовых плеч, прогретых весною, медленно парило. Красивые молодые эльзаски, зашнурованные в талии до предела, сыпали зерна на подоконники, и голуби приятно ворковали. Моро осторожно покинул постель, чтобы не потревожить утренний

сон Александрины. Лакей с кувшином воды ожидал его в туалетной. Несколько взмахов бритвы, взлетающей, будто сабля, и с бритьем было покончено. Моро отогнул манжеты на белоснежной сорочке, застегнул пуговицы на атласном жилете.

— Доминик Рапатель вернулся из Парижа?

— Да, сегодня ночью...

По лицу адъютанта Моро сразу догадался, что его поездку в Париж удачной считать нельзя. Он предложил ему:

— Ну, Рапатель, глоток крепкого ликера?

— Не откажусь...

Они выпили по рюмке шартреза, сели за кофе.

— Наверное, — начал рассказ Рапатель, — теперь нам не нужно никаких наград. Мы желали получить их от имени республики, но она, кажется, издала последний вздох...

Он рассказал о взрыве «адской машины», о том, что Фуше проводит по ночам аресты граждан, не имеющих никакого отношения к этой «машине», но зато имеющих заслуги перед революцией. Бонапарт дал пенсию сестре Робеспьера.

— Но этой пенсией он завуалировал аресты вдовы Бабёфа, даже вдовы Марата! Консул не сидел в тюрьмах на чечевице, но... Почему не остановила его Жозефина, которую в годы террора не миновала сия горькая чаша?

Моро плотно набил табаком трубку:

— Почему же не сидел? Бонапарта тоже не миновала чаша сия. После казни Робеспьера он был посажен как его сподручный, но тут же проклял своего покровителя как «тирана» и получил свободу... Давай, Рапатель, подумаем вместе: если Бонапарт не лишен логики, он сейчас должен бы арестовать сам себя. У него ведь тоже было прошлое в революции, ведь тоже были заслуги перед нацией...

В рюмках снова вспыхнул золотистый шартрез.

— Я всю дорогу от Парижа мучился, — сказал Рапатель. — Самовластье становится невыносимо. Иногда мне начинает казаться, что лучше пусть вернется граф Прованский из Варшавы, граф Артуа с принцем Конде из Лондона, даже ничтожный герцог Энгийенский из Бадена — легче сносить королевскую спесь, нежели наглость корсиканского выскочки!

Моро долго рассасывал огонь в трубке.

— Ошибаешься, Рапатель: Бурбоны вряд ли поумнели за годы скитаний... Разве способны они засыпать пропасть между престолом и народом Франции? Буду откровенен: даже если возможна реставра-

ция монархии, французы все равно никогда не примут монархической власти.

— Генерал! — воскликнул Рапатель. — Но они же приняли власть первого консула... единоличную, как у монарха! А в Париже опять разговоры: почему Бонапарт, а не Моро? Мы на Рейне — это граница, жена с вами, я тоже с вами.

— К чему ты готовишь меня, Рапатель?

— Поезжайте в Россию: вас там примут...

Мимо окон пролетела последняя глыба снега.

— Кто говорит в Париже, почему Бонапарт, а не я, тот оказывает плохую услугу не только мне, но и всей Рейнской армии, последней республиканской армии Франции...* Нет, Рапатель, Россия меня не примет: я остаюсь убежденным врагом монархий, я должен умереть гражданином!

— А я, позвольте, останусь вашим адъютантом...

13. Призраки

Коварного Чарльза Уитворта в Петербурге уже не было, но ядовитые зубы его агентуры сохранились на берегах Невы в целости. Заговором теперь руководила любовница Уитворта. Она получила из Англии два миллиона, чтобы не было ни союза с Францией, ни похода на Индию, ни, тем более, императора Павла I, политика которого угрожала сент-джемскому кабинету потерей главной колониальной кормушки — Индии.

Это не басня, это не анекдот, это не фантастика!

Угроза потери Индии была реальна: Лондон в 1801 году имел в своих гарнизонах на Востоке всего лишь около двух тысяч солдат — сушая капля в возмущенном море угнетенных народов. Конечно, появившись в Индии казаки Платова с ветеранами Массена, и Лондон навсегда забыл бы туда дорогу.

Именно страх за Индию и решил все остальное...

Вокруг заговорщиков группировались в Петербурге не только чересчур лихие гвардейцы, недовольные строгостями службы при Павле I, но и видные сановники-крепостники, для которых сама мысль

* Советские историки подчеркивают именно политическую суть в конфликте между штабами Бонапарта и Моро. «Офицерство Рейнской армии, ближайшей к Парижу, было более якобинским и менее анархичным, нежели офицерство южной армии, воевавшей на Итальянском театре, католическом и полным бытовых соблазнов» (Скопин В.И. Милитаризм. М.: Воениздат. 1957, с. 574).

о союзе с Францией — нож острый, ибо в Бонапарте они видели лишь наследника революции.

Казаки атамана Платова уже развили походный темп — до пятидесяти верст в сутки! Англии угрожал правительственный кризис. Европа дружно заговорила о «вооруженном нейтралитете» времен императрицы Екатерины II, дабы совместными усилиями морских держав пресечь разбой на морях английского флота.

«Пресечь? Разбой? На морях? Англии? Ха-ха!...»

Копенгаген, союзный России и Франции, мирно спал при открытых окнах — была весна. На спящую столицу Дании адмирал Нельсон — без объявления войны! — обрушил с эскадры ураган раскаленных ядер. В грохоте боя и треске разгоревшихся пожаров англичане заставили датчан отрешиться от своих союзов с «варварской» Россией и «кровожадной» Францией... Горацио Нельсон сделал заявление:

— Датчане, вы должны знать, что Англия — ваш лучший друг, и она желает Дании только добра...

Снова были воздеты паруса — Нельсон повел эскадру прямо на Ревель, чтобы уничтожить Балтийский флот, затем разгромить с моря Крондштадт и повторить с Петербургом все то, что проделано с Копенгагеном... Он рассуждал:

— Когда мы бросим якоря на Неве, а ядра наших пушек полетят прямо в окна царского Эрмитажа, тогда русские грязные собаки догадаются сами, что нельзя изгонять благородного джентльмена сэра Чарльза Уитворта, дабы любезничать с этим подлейшим мерзавцем и негодяем Бонапартом...

Ах, как жаль, что Эмма Гамильтон не могла любоваться им в эту волшебную минуту.

Показался и Ревель.

— Но гавань Ревеля совершенно пуста, сэр.

— Странно! Куда же делся весь русский флот?..

Накануне, ломая хрупкие пластины льда, русские корабли перешли в Кронштадт, а сам Ревель — Таллин (древняя русская Колывань) встретил пришельцев сотнями пушек, которые и смотрели на британцев отовсюду, готовые наделать дырок в бортах, способные размочалить все паруса. На борт английского флагмана поднялись два человека: пожилой — граф Пален, молодой — Балашов. Последовал вопрос:

— Чем вы можете оправдать свое появление здесь?

Нельсон не привык давать отчеты. Но солидная важность русских и обилие батарей на берегу — с этим приходилось считаться. Из его мундира еще не выветрился дым пожаров Копенгагена, а он уже заговорил о мирных намерениях:

— Мое королевство испытывает самые теплые чувства к России, а мой визит в Ревель прошу расценивать как визит вежливости, и не более того, господа.

Балашов (военный губернатор!) сказал:

— К чему вежливость подкреплять заряженными орудиями? Искренность свою подтвердите, адмирал, не только закрытием пушек, но и немедленным удалением отсюда, иначе...

В море Нельсон встретил фрегат, спешивший в Петербург, на нем плыл в Россию новый посол — Сент-Эленс.

— Не мешайте мне делать новую политику! — наорал посол на адмирала. — Убирайтесь с этого моря... Сейчас в Петербурге все изменится, ваша эскадра уже не нужна мне!

В эти дни камин в Михайловском замке пылал особенно жарко, негасимые ни днем, ни ночью: свежая каменная кладка не хотела расставаться с сыростью. Живописные полотна коробились от плесени, зеркала запотевали, давая нечеткие отражения, и Павел I в эти дни не узнавал сам себя:

— Странно! Я вижу себя со свернутой шей...

Фуше напомнил Бонапарту тот вечер в Опере, когда возле его ложи арестовали кинжальщиков. Именно в тот вечер парижане брали билеты в Оперу нарасхват, чтобы посмотреть, как будут убивать первого консула. Бонапарт сказал:

— Какое трогательное проявление народной любви! Они платят по десять франков, чтобы не проморгать, когда меня станут резать... Фуше, готовы ли проскрипции?

— Несомненно, консул.

— В пять дней все будет кончено. — Бонапарту стало смешно. — Но каково Питту? Ведь этот убогий не уставал бубнить обо мне как о злостном выродке якобинских теорий. Что скажет Лондон теперь, когда я ссылаю якобинцев в Кайенну? Наконец, у меня есть в запасе Сейшельские и Коморские острова, где бегают ящерицы величиной с теленка, и все они любят пожирать падаль... Не забавно ли это, Фуше?

— Это очень забавно, — согласился бывший якобинец Фуше.

Бонапарт вовремя распознал момент, с которого оппозиция его режиму станет усиливаться, он предчувствовал и направление, откуда ему грозит главная опасность. Спасибо роялистам — они развязали ему руки! Ни минуты не сомневаясь в том, кто устроил взрыв на улице Сен-Никез, Бонапарт все свое могучее актерское дарование, весь жгучий пыл мстительной корсиканской натуры обратил против

республиканцев. Пусть и далее вливается внутрь Франции поток аристократов из эмиграции, но через другие шлюзы, пройдя обработку в тюремных подвалах, будут выплеснуты из Франции сотни непримиримых, все протестующие... Бой общественному мнению Бонапарт дал в Законодательном собрании:

— В пять дней, говорю я вам, все будет кончено. Несогласных со мною я разгоню по углам, как разогнал Директорию, и на свободные места расажу не выборных, а назначенных мною полковников, уважающих военную дисциплину...

Ропот в зале переходил в злоеший гул. Неужели и сейчас (как в дни брюмера) станут его трепать за воротник, требуя поставить вне закона? Адмирал Лоренц Трюге, начавший службу еще юнгой, сидевший в тюрьмах при всех режимах, какие были во Франции, этот смелый Трюге встал и честно сказал:

— Когда же конец насилиям и злодействам? Мы уже налюбовались всякими казнями. Неужели и теперь Франция настолько беспомощна, настолько глупа и настолько слаба, что подчинит свою гордость тирании гражданина первого консула?

Бонапарт сразу потерял самообладание.

— Молчать! — закричал он на старика... — И вы, гражданин Трюге, не рассчитывайте на пощаду... Мы не станем комедианствовать в вопросах морали. Мне уже безразлично, кто прав, кто виноват. Такие вопросы следовало задавать раньше — еще при королях. Но только не теперь, когда вся Франция смотрит на меня, одного меня! И нация поверит мне, а не вам. А кто давно знал Трюге, тот скоро Трюге забудет. Если я утверждаю, что нужны проскрипции, нужна депортация, то народ поверит мне, а вас просто вышвырнут вон. Да, скажут французы, если это нужно для самого Бонапарта, значит, это необходимо для спасения отечества...

— Кто виновен конкретно? — спросили из зала.

— Даже тот, кто осмелился спрашивать об этом...

Началось массовое изгнание революционеров в ссылку. Фуше объяснял это так: «Не все они схвачены с кинжалами в руках, но все они известны за людей, способных кинжалы отточить». На Гренельском поле, во рвах Венсеннского замка по ночам стучали выстрелы — там кого-то уже убивали. Кого? За что? — узнавать даже страшно. Лучше молчать. И совсем незаметно для Парижа опустился нож гильотины, дабы умертвить подлинных виновников взрыва на улице Сен-Никез — роялистов Сен-Режана и матроса Франсуа Карбона. Их казнили на рассвете, потому зевак не было... Только в отдалении стоял Ги де

Невилль, и, когда секира дважды блеснула, разрубая шейные позвонки казнимых, он приподнял над головой шляпу.

— Золотыми буквами... во имя короля, — шепнул он.

...Я иногда думаю, что Ги де Невилль совсем не был неуловимым — просто Фуше не желал ловить его. Этот оборотень, страдающий малокровием, всегда вел двойную игру!

Клубок из нескольких сюжетов истории, туго связанный единством времени, неслышно катился далее — до Петербурга. Павел I напрасно окопал Михайловский замок глубокими рвами, напрасно расставил у дверей верные караулы, напрасно не защелкнул в спальне «французский» замок с пистолетом, вовремя стреляющий и зажигающий свечи...

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года, играя в карты у княгини Белосельской-Белозерской, старый сенатор Алексеев мельком глянул на часы и сказал партнерам:

— У меня пики! Кто сдает, господа? Вы, князь?.. Кажется, сейчас наш курносый чувствует себя не в своей тарелке...

Осыпанная бриллиантами табакерка в могучем кулаке графа Николая Зубова, обрушенная на висок императора, и прочный шарф поэта-сатирика Сергея Марина, затянутый на шее императора, мигом разрешили все мучительные вопросы внутренней и внешней политики. Мальта перемешалась с обломками постельной ширмы, а проекты завоевания Индии растеклись в луже из опрокинутого ночного горшка...

Сенатор Алексеев снова глянул на часы.

— Я пас, мадам! — сказал он очаровательной хозяйке. — У кого пики? Поздравляю всех с новым императором — Его молодым Величеством Александром Павловичем...

На столе Павла был найден черновик его планов о дальнейшем развитии франко-русского альянса: «Склонить Бонапарта к принятию им королевского титула, даже с престолонаследованием в его семействе. Такое решение с его стороны я почитаю единственным средством... изменить революционные начала, вооружившие против Франции всю Европу». Павел не был глупцом: из его планов видно, что он уже разгадал самые тайные вожеления гражданина первого консула...

Но и Бонапарт разгадал, кто убил его союзника:

— Эти проклятые, бессовестные англичане! Они промахнулись по мне на улице Сен-Никез, но они попали прямо в мое сердце... там, в Михайловском замке Петербурга...

Парижская газета «Монитор», отлично осведомленная, спрашивала читателей: разве случайно убийство Павла I совпало по времени с

заходом в русские воды эскадры Нельсона; разве не подозрительно, что при известии о гибели царя весь Лондон пришел в движение, устроив праздничное гулянье на улицах, а в парламенте открыто вещали, что теперь Англия спасена? Убийством русского императора милорды выдали перед миром свой главный страх — боязнь потерять Индию...

— Бертье, — сказал Бонапарт, — Индия уже не нуждается в армии Массена, как и Мальта не нуждается теперь в русском гарнизоне... Я желаю видеть Спренгпортена.

Спренгпортену он почти невозмутимо сообщил:

— Русские войска можно отводить в Россию... Надеюсь, перемены в Петербурге не смогут переменить добрых отношений между Парижем и вашим новым кабинетом. Убедите своего молодого государя в том, что Россия всегда найдет во Франции лучшего друга... Наши могучие государства должны стоять по флангам Европы, готовые действовать сообща. Я, — сказал Бонапарт, — особо подчеркиваю наше выгодное географическое положение, удобное для Парижа и Петербурга...

В лагере Камбре генерала встретил полковник Сергей Толбухин; голова его была накрыта шапочкой из черного конского волоса. Спренгпортен наивно полюбопытствовал:

— Это новая мода скрывать облысение?

— Да, теперь это очень модно — скрывать на черепе большую дырку, в которую парижские лекари вставили платиновую блямбу, чтобы не вылезал мозг... Прикажете командовать?

— Будьте любезны, полковник.

— Домой... в Россию... арш!

Пропели фанфары, и качнулись ряды штыков. При знаменах и при оружии — пешком через всю Европу — русские полки двинулись в Россию. Франция провожала их цветением яблоневых садов, улыбками кокетливых крестьянок, струями благовонного вина, щедро заполнявшего солдатские кружки... Им суждено вернуться сюда через тринадцать лет — с грохотом ликующих барабанов, через поля грандиозных битв, через задымленные высоты парижского Монмартра.

Полковник Толбухин не дожил до этих дней. Едва добравшись до любимой родины, он в первой же русской деревне, входя в крестьянскую избу, забыл пригнуться пониже и головою задел дверную притолоку... Успел лишь крикнуть:

— Эх, жизнь моя... красота! — И рухнул замертво.

14. «Мое сердце — тебе...»

3 прериаля IX года (иначе 23 мая 1801 года) генерал Моро вернулся из Страсбурга в Париж и сразу же поехал в замок Орсэ, полученный им в приданое за женою. Из «Монитера», прочитанного еще в Шалоне, Моро узнал, что его обвиняют в дурном управлении интендантством армии, и это его задело... В нижнем вестибюле замка, пока лакеи таскали наверх багаж, он бегло ознакомился с почтой. Нет, пока все оставалось по-старому. Его ожидали два пригласительных билета: из Мальмезона — к завтраку, из Тюильри — для представления первому консулу.

— Что мы наденем для Тюильри? — спросила теща, будучи уверенной, что Бонапарты без нее не обойдутся.

— После случая с ванной вряд ли Жозефине желательно вас видеть. А я зван в Тюильри с начальником штаба Лагори.

Чтобы побыть одному, пока в замке устраиваются, он поселился в старой квартире на улице Анжу. Обедал у Веро или в садах Руджиери, впервые соприкоснувшись с обновленным лексиконом парижан. Словами «исключительные» или «бешеные» отныне именовали республиканцев, а якобинцев называли совсем уж гаденько — «подонки»! В кафе и ресторанах, на зеленых террасах Руджиери к Моро подходили даже незнакомые люди, выражали свою приязнь, в публике не умолкали разговоры о его добродетелях, гражданских и воинских. Иногда — какой же человек без слабостей? — Моро было приятно слышать, что его «ставят выше всех военных без исключения» (именно в таких словах тайная агентура докладывала Бонапарту). И в Сен-Антуанском предместье, где жило рабочее простонародье, и в богатых кварталах Сен-Жермена, где селилась элита общества, всюду бытовали пересуды о том, что для Моро уже готовится в Булони мощная армия — для десантной высадки на берегах Англии, дабы покарать плутократов Сити.

Лагори предупредил своего генерала:

— Надо быть готовыми! Я возьму в Тюильри карты, пусть Рапатель не забудет отчеты по армии. Думаю, Бонапарту вряд ли сейчас приятно возвращение в Париж «исключительного» генерала «бешеной» армии да еще с начальником его штаба — «подонком» Виктором Лагори.

— Я буду в статском, — скупно отвечал Моро...

5 прериаля (на третий день после приезда) Моро прибыл в Тюильри, попав во взволнованный и красочный сонм полководцев Франции, громяющих саблями и здоровым животным хохотом; особое внимание привлекали сабреташи — отчаянные головы, рубаки и хвастуны, пья-

ницы и бабники, идущие на смерть легко, как на вечеринку с дамами; именно сабреташи, сроднившиеся с войной, и были главной опорой консула, который любил этих забулдыг, готовых умереть за него хоть сегодня, но Бонапарт держал их в чинах не выше полковника.

Сегодня он принимал одновременно военных, актеров, живописцев, математиков, ученых. Каждый по степени симпатии Бонапарта получал от него — кто улыбку, кто окрик, кто ласку, кто выговор. Но все, кажется, оставались довольны... В ряду актеров находился представительный старик в напудренном парике — Жан Дюгазон-Гурго, вышедший из той же театральной династии, к которой принадлежала и Розали Дюгазон. Этот прославленный актер когда-то был близок якобинцам.

Бонапарт вдруг резко хлопнул его по животу.

— Ты все округляешь, *сынок?* — спросил он.

Самолюбивый Дюгазон не уронил славы «Комеди Франсез»: с такой же силой он больно треснул по животу Бонапарта:

— Все-таки не так быстро, как ты... *папочка!*

Это неслыханное «папочка» отбросило Бонапарта в сторону. Заметив Моро, он не взял отчетов у Рапателя:

— Оставьте у Бертье, на досуге он их просмотрит. Впрочем, я все уже знаю... Лагори, у вас ко мне вопросы?

— Я шел сюда с ответами на ваши вопросы.

— Их не будет. — Бонапарт торопливо пожал руку Моро. — Если я поручу Рейнскую армию Бернадоту, как вы думаете, способен ли он справиться с вашей «шайкой»?

После «подонков» следовало учитывать и «шайку». Но Моро решил, что будет не прав, обостряя отношения.

— Армия вполне дисциплинирована, — ответил он (понимая, что, отдав армию Бернадоту, он механически выбывает в отставку). — Все проступки наказаны расстрелами еще на войне. Так что Бернадоту будет не трудно командовать...

К их беседе подозрительно прислушивались сабреташи. Кажется, они ждали скандала, но скандала не получилось.

— Сорок тысяч франков жалованья, — громко объявил Бонапарт, — я оставляю за вами по чину командующего армией, и, надеюсь, вам пока хватит... до нового назначения!

— Благодарю, — сухо кивнул Моро.

После приема к нему подошел старик Дюгазон:

— Не везло мне в Тюильри при королях, не везет и при консулах... А вы хотя бы изредка навешайте бедную Розали. Я все понимаю, дорогой Моро, но она вас так любит!

— Любила, — согласился Моро.

— Нет, она вас любит и сейчас...

Вечером дивизионный генерал вернулся в замок Орсэ, где Александрина с трепетом ожидала его. Моро крепко обнял молоденькую жену:

— Война окончена. Мы победили. Армию отобрали. Сорок тысяч франков оставили. Теперь можно и танцевать...

Нет, Франция не унывала! Продлевалось тревожное время битв, флирта, романтики. Своим возлюбленным военные люди писали тогда: «Мое сердце — тебе, жизнь — ради чести...»

Недавно Бонапарт расстрелял художника-якобинца Лебрен-Топено, любимого ученика Луи Давида, и Париж был в недоумении — как мог Давид, запросто входящий к консулу, не остановить убийство своего талантливейшего ученика?.. Конечно, военные толпою стояли перед последним полотном Давида «Переход Бонапарта через Сен-Бернар». Событие недавнее, свидетели еще живы, а Келлерман сказал Моро, что это чепуха:

— Красок много, но... где же правда? Я-то знаю, что Бонапарта трясло на старом ишаке, а здесь его уносит горячий конь. Да случись такое на кручах Сен-Бернара, и кости нашего героя валялись бы на дне пропасти вместе с лошадиными...

Но заядлых бонапартистов, даже верного Мюрата, явно шокировало то, что Давид внизу картины выписал имя их божества подле имен Ганнибала и Карла Великого.

— Неужели, — шептались они, — даже умники не могут обойтись без дешевой лести? Как же наш Бонапарт не догадался велеть Давиду замазать эти нескромные сравнения?

Художник Жерар уже писал однажды портрет Моро, между ними были хорошие отношения, и Моро спросил его:

— Жерар, а что вы-то скажете?

Жерар, далеко не трус, затащил Моро в угол:

— Критиковать Давида опасно, ибо волею Бонапарта Давид в живописи, как и Тальма в театре, стал непогрешимым, вроде апостола истины. Из прежнего доброго товарища Давид обратился в диктатора, он уже не дает советов — он рассыпает декреты, как надо писать и что надо писать, если хочешь остаться живым и сытым... По секрету скажу вам, Моро: в этой картине Давид бездарен и фальшив, как нигде. Даже фигуру коня, чересчур уж горячего, он наглейшим образом похитил из-под Петра Великого с памятника Фальконе в Петербурге... Вы, — просил Жерар, — не говорите никому, что я вам сказал, иначе у меня могут быть крупные неприятности.

— Благодарю, Жерар. А бретонцы не из болтливых...

По случаю ухода из армии Моро на улице Анжу устроил пирушку для друзей, сослуживцев, приятелей. Полковник Максимилиан Фуа, прозванный «рыцарем революции», явился первым, обещая хозяину как следует напиться.

— У меня дурные предчувствия, — сказал Фуа.

Шарль Декан пришел позже всех, но принес бутылку английского бренди, чем и вызвал дружный хохот генералов.

— Ах проклятый шуан! — кричали ему. — Сознавайся, что продался в Вандею, чтобы сам Жорж Кадудаль таскал для тебя через Ла-Манш бутылки с такой крепкой жидкостью.

— На гильотину его... в Кайенну! — рычал Даву.

Бертье пытался направить хмельной разговор в академическое русло: он выражал удивление, что революция до сих пор не уничтожила уставов королевской армии:

— Наши атаки — от гонора, но мы плохо стреляем... По сравнению с русскими мы совсем не умеем стрелять!

Декан рассказал мрачному Нею о том, что творилось в Швейцарии, когда он там дрался:

— В кантоне Унтервальдена мерзкое было дело у Станцштадта. Три дня бились и в живых не оставили даже раненых. А когда мародеры пошли собирать барахло, под плащами и панцирями убитых открылись женские животы и груди... Женщины Швейцарии дрались с нами, как безумные львицы!

Максимилиан Фуа с брезгливостью отряхнулся:

— Спору нет, мы, французы, победили и заставили швейцарок признать нашу конституцию... самую лучшую в мире!

Из трубки Моро с треском сыпались искры.

— Я помню одну речь Карно, и хотя я здорово пьян, но еще могу цитировать: «Война извинительна лишь в тех случаях, если она имеет целью защиту отечества, но она становится бедствием, если ее цель — покорение соседних народов. Гуманность — первый долг полководца, который даже в своем ужасном ремесле должен отыскивать поводы для проявления человеколюбия...» Друзья! — сказал Моро. — Все мы хорошие республиканцы. Но не слишком ли мы далеко забрались со своими принципами, наколотыми на окровавленные штыки?

Ни Даву, ни Ней не ведали подобных сомнений.

— Главное — бить всех! А когда все эти королевства и герцогства свалим в одну вонючую кучу, тогда и разберемся — что оставить, а что выбросить на свалку истории.

— Не спешите, — вмешался Фуа. — Все эти королевства, все эти герцогства населяют такие же люди, как мы с вами. И немец не виноват, что родился немцем, как и я не чувствую за собой вины за то, что я — француз... Сначала мы вызвали в Европе удивление, которое сменилось страхом. Но страх обязательно обернется ненавистью к нам, французам.

— Да, — подхватил Рапатель, — сейчас мы колотим Европу по голове, и у нас это здорово стало получаться. Но где-то уже растут елки, из которых настружают палок...

— Отчего ты вспомнил елки? — удивился Ней.

— Потому что, помимо трухлявой Германии князей, епископов и герцогов, существует еще и великая страна Россия...

Пьяный Даву выплеснул в лицо Рапателю вино:

— Как ты смеешь сравнивать французов с русскими? Мы свободные граждане, а все эти русские — жалкие рабы.

— Но эти рабы несут на своих знаменах не идеалы рабства. А мы, французы, уже превратились в насильников и грабителей...

Ней ударом в лицо опрокинул Рапателя на пол:

— Мерзавец... подонок... получи от меня!

В руке генерала Моро блеснула шпага:

— Это не твой адъютант! Я убью тебя, Ней, защищайся...

Максимилиан Фуа встал меж ними:

— Вы с ума сошли... Ней, убирайся к чертям!

Доминик Рапатель, бледный от унижения, шатался:

— Мне, капитану, при генералах лучше молчать...

Лакей, встревоженный, шепнул Моро:

— Там кто-то пришел... просит вас...

Это был Жозеф Фуше, который и сказал:

— Ты знаешь, Моро, как замечательно я к тебе отношусь. Но ты сегодня нарушил правила поведения в Париже.

— Какие? Объясни.

— Ты не имел права созывать гостей, прежде не прислав мне список — кто будет, один ли, с женой, с любовницей? Я не стану мешать вашей попойке, но впредь ты учти это... Тем более и консул Бонапарт требует соблюдения этих правил.

— Фуше, так, может быть, заранее готовить протоколы речей, которые будут сказаны за столом по пьянке?

— Этого не нужно, Моро, ты и сам понимаешь, что все речи завтра же станут известны мне и без твоих протоколов...

.....
Моро утаил от Александрины, что ни он сам, ни она, его жена, не получили от Бонапартов приглашения на большой бал в залах королевского Тюильри. Однако яркая молодость жены, жаждущей удовольствий света, ко многому обзывала, и Моро оправдывал ее и себя перед Максимилианом Фуа:

— А что делать, если в Александрине, при всей ее любви ко мне, крутятся всякие чертенята? Конечно, ей хочется «поддать пару», как говорят русские, или «поддать дыму», как говорят турки... Я ни в чем не отказываю ей, Фуа!

Париж в те годы был перенасыщен сотнями танцевальных клубов. На окраинах в полутьме трактиров топали башмаками торговки овощами, грудастые няньки вели ногами любовные диалоги с ночными ворами или солдатами-«ворчунами». Были и великолепные дорогие клубы, где не жалели музыки и свечей, здесь можно было встретить всех сестер первого консула. Но я, читатель, был, признаюсь, удивлен, когда в мемуарах одной русской путешественницы встретил такую фразу: «Г-жа Моро, красивая, стройная и грациозная, была царицей бала; ее муж, одетый простым гражданином, пожирал ее глазами». Наверное, так и было... Шоколадный негр Жюльен из колонии Сан-Доминго (знаменитый скрипач Европы) руководил с эстрады оркестром, флейты с барабанами сообщали публике веселейший ритм. Полина Леклерк, самая распутная сестра Бонапарта, безумно отплясывала с актером Пьером Лафоном, самым красивым мужчиной Парижа, и среди танцующих можно было слышать:

— А, вот она где! Первый консул затем и уснул в Сан-Доминго ее мужа, чтобы он не мешал ей блудить в Париже...

После таких вечеров, после грохота музыки Моро всегда было приятно вернуться домой, освободить шею от галстука, присесть к камину и подумать о том, что ему скоро уже сорок лет... Однажды в чудесном настроении он сказал Александрине, что Париж начинает надоедать и не пора ли им провести зимний сезон в тишине деревни Гробуа?

— Пхе! — отказалась жена.

Это «пхе» всегда напоминало ему мадам Блондель.

— Не спорь со мною и поцелуй меня.

— Пхе! — отвергла она его ласки.

Моро, недолго думая, развернул ее и всыпал жене хороших полновзвучных «нанашек»:

— Вот тебе, вот тебе! Сколько раз говорить, чтобы в моем присутствии ты оставила это дурацкое «пхе»...

Александрина ловко укусила мужа за ухо и, отбежав подальше, издали показала ему розовый язык.

Тут Моро не выдержал и весело расхохотался:

— Ребенок! Я всегда забываю, сколько тебе лет...

Вскоре молодая женщина ощутила признаки беременности. Кто-то будет у них — Польша или Виргиния? Какие блаженные острова ожидают их в будущем?

Будет ли знать их Виргиния, что останется в дневниках русского поэта А. С. Пушкина, который однажды, вернувшись с бала у Салтыковых, второпях запишет: «Ермолова и Курваль (дочь ген. Моро) всех хуже одеваются...» Тогда был конец 1834 года, и уже выросло новое поколение.

Молодую красивую иностранку, закутанную в русские меха, русские кони увозили в блеск и сияние русских снегов. А ее отец, генерал Моро, отлитый в бронзе, стоял над своей могилой, держа в руке боевую шпагу. На его надгробии было начертано все: когда родился и где родился, когда умер и где умер. Не было, пожалуй, сказано главного: «Мое сердце — тебе, Франция!»

Часть вторая СОПРОТИВЛЕНИЕ

Храбрые товарищи по оружию! Республика... сейчас только пустое слово: вскоре, несомненно, Бурбоны будут на троне или Бонапарт провозгласит себя императором... По какому праву этот незаконнорожденный ублюдок Корсики, этот республиканский пигмей хочет изображать собою Ликурга или Солона?..

Из обращения Рейнской армии

Второй эскиз будущего с высоты Монмартра

Почитаемый в нашей истории декабрист Михаил Федорович Орлов, мыслитель и литератор, был адъютантом генерала Моро в самый трагический период его жизни. Весна победы 1814 года застала Орлова уже в чине полковника, в звании флигель-адъютанта царя, в возрасте двадцати шести лет. Жизнь еще только начиналась,

и Орлов не мог предвидеть ее конца — тоже трагического, но осеннего уважением русского общества, дружбою Чаадаева, Пушкина и юного Герцена...

Шампань удивила русских бедностью жителей и богатством винных подвалов. Наполеон еще готовил поход на Москву, когда мир ошеломило появление ярчайшей кометы, под знаком которой Шампань в 1811 году дала небывалый урожай крупного сочного винограда. Теперь шипучее «vin de la comete» русские казаки растаскивали в ведрах и давали пить измученным лошадям — для взбодрения:

— Лакай, хвороба! До Парижу осталось недалече...

Армия наступала. Вровень с конницей, волоча за собой пушки и зарядные фуры, двигались калмыцкие верблюды, посматривая по сторонам с презрением. Деревенские кюре спрашивали Орлова — почему войска коалиции носят на рукавах белые повязки, уж не символ ли это заядлого роялизма?

Орлов объяснял им казусы коалиционной войны:

— Не умея разбираться в мундирах, наши казаки перекололи столько союзников, что пришлось ввести это отличие. Все простыни, все нижнее белье давно разодрано, и нам уже поздно менять повязки на розовые или голубые. Белый цвет — не признак роялистских воззрений. Я не поручусь за венценосцев Европы, но мы, русские, склонны оставить во Франции республиканское правление... без тирании Наполеона!

Наконец перед армией смутно забрезжили очертания громадного города, вдали угадывались башни Нотр-Дам и Монмартрские высоты. Солдаты стали креститься:

— Ну, здравствуй, батюшка Париж... пора! Давно уж нам пора расквитаться с тобой за матушку Москву...

Авангард генерала Раевского занимал Бондийский лес, прусский корпус Блюхера вливался в рощи Сен-Дени, Ланжерон выводил русских прямо к Монмартру, на холмах которого ветер раскручивал крылья мукомольных мельниц. Орлов видел, как восемь израненных канониров, все в кровище, с матюгами и стонами уже вкатывали на крутизну первую трофейную пушку.

— Пойдет ли в бой лейб-гвардия? — спросил он.

Александр I был в отличном настроении, издали лорнируя Париж, как волшебную декорацию в театре:

— Пока одни павловцы! Остальную гвардию и кавалергардию побережем для въезда в Париж, дабы не осрамиться перед прелестными француженками нашим рваньем и босячеством... Кстати, милейший

Орлов, узнайте, не нуждается ли в ваших услугах фельдмаршал Барклай-де-Толли?

— Сюрприз! Разве он... фельдмаршал?

— С этого момента. С горы Монмартра...

В садах предместий Парижа сами по себе падали деревья, переломленные от самых корневищ чудовищной вибрацией воздуха. Задержка произошла лишь под стенами Венсеннского замка, где на призыв русских солдат сдаваться на фас цитадели выбрался одноногий комендант.

— С удовольствием сдамся! — прогорланил он, размахивая костылем. — Но с одним условием: я вам — крепость, а вы мне — ногу, которую я нечаянно оставил у вашей деревни Бородино...

Дивизия Раевского штурмовала Бельвиль, пруссаки ломили напролом — безумно дерзкие в соседстве с русским союзником. Барклай-де-Толли сказал:

— Господь Всевышний вознаградил меня за все мои унижения двенадцатого года... Конец моей жизни прекрасен!

И в этом грохочущем аду битвы, в нервных криках команд и воплях умирающих Орлову было так страшно, было так больно слышать его трудные, мужские рыдания...

.....
Государственная машина империи работала четко. Каждый француз, будь то спекулянт или рабочий, ежемесячно платил налоги для смазки этой сверкающей машины, не знающей перебоев. Но чем хуже становились дела Наполеона, тем труднее было инспекторам выколачивать подати. В январе 1814 года парижане платили уже неохотно, в феврале обещали рассчитаться с казной в следующем месяце, а в марте чиновников императора просто спускали с лестниц:

— Зайди в апреле! Поглядим, кто тогда будет...

Из денежного оборота парижан вдруг исчезли золото и серебро, базарные торговки не брали ассигнаций. Мошенники сбывали наполеондоры, зато зажимали королевские луидоры. Магазины работали, как раньше, но продуктов не было. Пустые полки украшали бутылки с вином и детские сладости. Однако двери Лувра по-прежнему открывались по утрам, впуская под свою сень говорливые толпы художников-халтурщиков, живших тем, что они копировали полотна великих мастеров на продажу (каждый буржуа не прочь был иметь своего Караваджо или Мурильо). Вся эта богемная шушера, расставляя подрамники и отбивая на ладонях ворс кистей, вольготно рассуждала о последних событиях, как о событиях на Луне:

— А где император? Говорят, в Мо? Но ведь от Мо остались руины после взрыва арсеналов... Плевать, что будет! И пусть Давид,

любимец Наполеона, мечется со своей гениальной палитрой, а нам одинаково паршиво при любом режиме...

Иногда художники подходили к окнам Лувра, озирая из них обширные дворы Тюильри, заставленные массою экипажей:

— Наша австриячка уже собирает чемоданы, чтобы бежать под защиту своего папеньки... Ей-то что! Пожила в Тюильри, теперь не пропадет и в родительском Шенбрунне...

В залах Тюильри заранее паковали в дорогу груды золота, серебра, фарфора и драгоценностей. Ящики нумеровали. Два ящика, № 2 и № 3, заполнили фамильными бриллиантами (фамильными они были, правда, лишь до того момента, пока не оказались в руках династии Бонапартов, ограбивших прежних владельцев). Мария-Луиза, дочь императора Франца, молоденькая жена Наполеона и мать его наследника — Римского короля, перетряхивала свой гардероб. Камеристку спросила:

— Как вы думаете, что надеть мне для выезда?

— Вашему Величеству в дороге приличествует черная амазонка, выделяющая стройность идеальной комплекции, а шляпа с черными перьями какаду послужит причиной для неподдельного восторга парижан перед вашей скромностью.

— Я такого же мнения, — сказала Мария-Луиза. Оборону столицы Наполеон доверил тогда своему брату Жозефу, бывшему королю в Неаполе и Мадриде:

— Жозефина уже бежала в Наварру, но честь молодой жены должно беречь особо. И пусть болтуны в Париже примолкнут: моя армия еще будет стоять на Висле! Впрочем, — поник император, — я теперь согласен заключить мир и на берегах Рейна, если бы не упрямство русского царя.

На улице Рошуар экс-король Жозеф видел раненых, лежащих на тротуарах, среди них скорчились мертвецы.

— Кто вы и откуда? — спросил он (тут были искалеченные при Фер-Шампенуазе, обожженные чудовищным взрывом пороховых арсеналов в Мо). — Что вы тут валяетесь?

— Госпитали переполнены. Нас уже не берут.

— Вы же умрете на земле.

— Мы и умираем... за императора!

Возле церкви Св. Лазаря была устроена свалка русских раненых, попавших в плен; отсюда их грузили на большие телеги, мертвых вместе с живыми, и отвозили прямо на кладбища, где и сбрасывали на землю, как мусор. Мертвые оставались мертвыми, а живые еще окликались редких прохожих:

— Эй, Париж! Не знашь ли, далече ль наши-то?..

Через заставы Клиши, Пасси, Пантен, Сен-Жак и Сен-Мартен тянулись длиннющие обозы беженцев, между колес бежали собаки, за телегами тащились, опустив головы, недоенные коровы. У застав возникали драки — никто не хотел платить в казну пошлину за въезд в столицу империи.

— А по чьей вине мы бросили свои дома, сады и могилы предков? — кричали беженцы. — Мы разорены вконец этими войнами, и теперь с нас же дерут последние деньги. За что? Чем мы виноваты, если наш великий император обклялся?

В кварталах Сен-Жермена аристократы провозглашали двусмысленные тосты за «последнюю победу» Наполеона. Ночью роялисты наклеили на Вандомскую колонну призыв: «Она уже шатается — приходите скорее!» Жозеф начал оборону столицы с того, что пытался изнасиловать жену своего брата, а Мария-Луиза обратилась к помощи министра полиции Савари:

— Сейчас только вы можете оградить мою честь...

Толпы рабочих уже громили винные лавки; пьяные, они шатались по улицам, требуя у Жозефа оружия:

— Мы все умрем за великого императора! — Проспавшись, рабочие уже не просили ружей, они издевались над студентами Политехнической школы, которым оружие вручили. — Эй, образованные! Вам больше всех надо? Ну сейчас и получите...

Жозеф велел строить у застав оборонительные тамбуры (нечто вроде современных дотов), из бойниц которых удобно простреливать внешние бульвары и подступы к городским стенам. Все слухи о близости русских Жозеф пресекал.

— К чему волнения? — говорил он. — Да, русские приближаются. Но только потому, что их впереди себя гонит, как стадо, мой брат император, а мы их здесь доколотим...

Генерал Кампан наспех формировал дивизию, куда запикивали всех, кто попадался под руку. Парижский комендант Гюллен поставлял Кампану дезертиров, инвалидов, бродяг и висельников. Наконец, в Париж втянулись остатки разбитой армии, с ними два маршала сразу — Мармон и Мортье.

— Вы прямо с небес? — спросил их Гюллен.

— Мы едва спаслись из-под Фер-Шампенуаза. Дайте нам хотя бы одну ночь, чтобы мы выпались...

Появление маршалов, пусть даже битых, помогло Жозефу избавиться от ответственности за оборону столицы. 29 марта он созвал высший совет, на котором председательствовала Мария-Луиза. Здесь

же был и Талейран, делавший вид, что он крайне озабочен спасением империи. Но что путного могли сказать чиновные души, жалкие рабы Наполеона, приучившего французов слепо повиноваться, и только. Правда, речей было сказано много, каждая из них несла в себе мощный заряд ораторского пафоса, но все речи, как одна, были построены по затверженному шаблону. И кончались одинаково: мы готовы умереть за императора, но мы ничего не можем решить без согласия императора... «Ах, так?» — Жозеф с облегченным сердцем достал письмо Наполеона от 16 марта, в котором указывалось, что в случае опасности следует вывезти из Парижа императрицу с сыном.

— Ваше Величество, — обратился Жозеф к невестке, — в восемь часов утра последняя карета вашего кортежа должна выкатить последние колеса за ворота Тюильри...

Возле Тюильри не расходилась толпа, наблюдая через окна за суматохой придворных; парижане видели, как в дворцовых люстрах дымно оплывали догоревшие свечи, слышался дробный перестук молотков рабочих, забивавших последние гвозди в последние ящики с сокровищами Наполеона. И всю ночь над встревоженным Парижем колыхалось зловещее зарево — это края облаков проецировали на город отражение многих тысяч бивуачных костров российской армии, стоявшей наготове к решительному штурму. Мармон, злой и крикливый, увел свои молчаливые батальоны на защиту Монмартра, возле казарменных депо гремели барабаны, созывая из квартир ветеранов-инвалидов, добровольцев-студентов. Извозчики выпрягали лошадей из колясок, тащили к заставам пушки. Наконец толпа парижан напряглась в суровом осуждении, когда из дворца скорой походкой вышла Мария-Луиза в черной амазонке с черными перьями на шляпе, она силком тащила римского короля, который капризничал, отбрыкиваясь от матери. Шталмейстер отворил дверцы кареты, помог женщине справиться с ребенком.

— Трогай! — махнул он перчаткой...

Рессоры карет с хрустом просели от тяжести груза, в охрану длинного кортежа императрицы вступили мрачные кирасиры, закованные в латы. Стало тихо.

— Вот и все, — сказал нищий старик, держа под локтем старенькую флейту. — Видел я, как бежала от революции Мария-Антуанетта, а сегодня имел счастье наблюдать, как бежала ее племянница... Добрые французы, но Франция остается, а наш Париж всегда останется Парижем!

К нему подошел агент тайной полиции:

— Ты чего взбесился? Или чечевицы не пробовал?

— Иди-ка ты... выпись, — ответил музыкант.

— Талейран сообщает, что Париж беззащитен, а роялисты возлагают на меня особые надежды по реставрации престола для Бурбонов. Елисейский дворец, кажется, заминирован. Талейран предлагает мне кров в своем отеле на улице Сен-Флорентан... Европа должна завтра же ночевать в Париже! — таковы были напутственные слова Александра.

Едва не погибнув под шальными пулями, Орлов выбрался на вершину Монмартра, увидев Париж у своих ног — во всей его прелести. «На этот раз, — вспоминал он позже, — мне суждено было представлять Европу...»

— Прекращайте стрельбу! — кричал он французам.

В передней цепи обороны стоял маршал в боевой позе. Размахивая призывно шпагой, он сам подошел к Орлову:

— Я — Мармон, герцог Рагузский, а вы кто?

Орлов, назвав себя, сказал маршалу:

— Я прислан из русской ставки, чтобы спасти Париж для Франции, а Францию спасти для мира.

Мармон с лязгом опустил шпагу в ножны.

— Без этого, — сказал он, — мне лучше здесь же, на Монмартре, и умереть... Каковы условия?

На яростные крики бонапартистов «Vive l'empereur!» оба они не обращали внимания. Орлов предложил отвести войска за укрепления застав, заодно очистив и местность Монмартра, с чем Мармон, кажется, согласился:

— Я с маршалом Мортье, герцогом Тревизским, буду ожидать вас у заставы Пантен... К делу, колонель!

Орлов вернулся на аванпосты; здесь возле своих лошадей спешили император Александр с прусским королем, а где-то еще стучали пушки, и король сказал Орлову:

— Это у Блюхера, нам старика никак не унять...

Выслушав Орлова, царь жестом подозвал к себе чиновника Нессельроде, которому и поручил всю ответственность за политическое содержание капитуляции Парижа:

— Вы сопроводите Орлова до заставы Пантен...

Был пятый час вечера, пушки Блюхера, плававшего хронической ненавистью к Франции, еще гремели, но с русской стороны воцарилось спокойствие. Шумы большого города достигали вершины Монмартра, Орлов хорошо различал звоны колоколов, музыку оркестров, даже цокот лошадиных копыт, женские вскрики и мужскую брань. Мармон ожидал парламентариев у заставы, но Мортье с ним не было.

Возле палисадов, опираясь на стволы ружей, стояли плохо одетые молодые конскрипты и национальные гвардейцы, пожилые, в отличной обмундировке. Всюду валялись битые бутылки из-под вина, в кострах догорала разломанная мебель из соседних жилищ.

Мармону подвели лошадь.

— Если герцог Тревизский не едет, мы сами поедem к нему, — сказал он, легко заскакивая в седло...

Мортье встретил их возле Виллетской заставы, и Орлову был неприятен этот человек, который при отступлении из Москвы взрывал и калечил стены Кремля. Все четверо проследовали в пустой трактир. Мортье отмалчивался, говорил Мармон:

— Мы понимаем, что о сопротивлении сейчас можно рассуждать только как о гипотезе. Но просим не забывать, что Париж обложен вами лишь с одной стороны...

Нессельроде настаивал на капитуляции гарнизона.

— Тогда нам лучше погибнуть, — отозвались маршалы. — Мы можем покинуть Париж вместе с гарнизоном, но мы не сдаемс я вам вместе с Парижем. Южные заставы для нас открыты...

Уже темнело. Вдалеке раскатывался гул артиллерии, треск ружейной пальбы — это войска Ланжерона всходили на высоты, обратив с Монмартра на Париж стволы пушечных орудий. Но маршалы и теперь не стали уступчивее, в один голос они соглашались оставить Париж вместе со своими войсками, которые — несомненно! — укрепят армию самого Наполеона:

— Дайте нам уйти со знаменами через ворота, которые еще свободны. Сейчас уже вечер, а скоро ночь...

Орлов понимал: взятие Парижа может состояться под утро, а ночью гарнизон все равно может убраться куда ему хочется, так стоит ли ломать копья в напрасной полемике? Именно сейчас требовалась смелая политическая импровизация; Орлов сказал Нессельроде, чтобы тот возвращался в ставку:

— А я останусь в Париже представлять победившую Европу... Герцог Рагузский, вы слышали? Если вы согласны оставить меня заложником, наша армия не предпримет никаких атак на Париж... Устраивает ли вас подобная вариация?

— Да. Но как быть с ключами? Сдай я вам ключи от Парижа, и позор не будет смыт даже с моего потомства.

— Россия, — ответил Орлов, — не желает лишнего унижения для Франции, мы не нуждаемс я в поднесении нам ключей Парижа, но с условием, чтобы эти ключи не достались музеям или арсеналам Вены, Лондона, Берлина!

— Отлично, — заметно повеселел Мармон. — Тогда поедем ко мне в отель. Заодно поужинаете... Мне, честно говоря, даже не верится, что я вижу адъютанта генерала Моро...

Париж казался мертвым, а группа всадников — патрулем, объезжающим его вымершие улицы. За все время пути не было сказано ни единого слова, достойного сохранения для истории. Отель герцога Рагузского, ярко освещенный во всех этажах, показался Орлову волшебным фонарем, зажженным изнутри. Возле подъезда теснились экипажи, из окон слышался оживленный говор — не женский, а только мужской.

Мармон любезно пропустил заложника вперед:

— Прошу. Вами займутся мои гости и адъютанты...

Залы отеля были переполнены публикой — военной и статской, взоры всех устремились на русского заложника, которому именем Европы доверено принять от Парижа капитуляцию.

Орлов еще раньше хорошо изучил окружение Наполеона, но он знал его в периоды могущества империи; повадки этих людей всегда отличала внешняя вежливость, за которой укрывалось пренебрежение к слабейшему, безразличие к судьбе побежденного. Но теперь равновесие было беспощадно разрушено русским оружием. «Вежливость, — писал Орлов, — истощенная превратностями, стала менее сообщительна, более холодна...» Сабреташи из наполеоновской элиты стали задевать Орлова колкими насмешками, и, если бы Орлов не владел всеми нюансами французской речи, ему бы, наверное, пришлось нелегко парировать наглые выходки бонапартистов... Честнее всех оказался бывший часовщик, а ныне парижский комендант граф Пьер Гюллен, который всю душу вкладывал в страшную ругань по адресу будущего декабриста. Вспоминая об этой ночи, Михаил Федорович писал, что Гюллен, наверное, имел повод для брани, но все-таки (все-таки!) мог бы лаяться и поменьше.

— Это вы были адъютантом Моро? — спрашивал он.

— Честь имел. И горжусь этим.

— Попадись вы на глаза Наполеону, он бы вас сразу пристрелил... Вот! — кричал Гюллен, показывая на челюсть, жестоко раскромсанную пулей. — Вот, смотрите... в меня стрелял бешеный генерал Мале! А что генерал Мале, что ваш любимый генерал Моро — это одна яковинская шайка!

Орлов сдержался. Стоит ли тревожить память его сиятельства яковинским прошлым, когда Гюллен гордился славой героя штурма Бастилии? Орлову помогло разумное вмешательство других офицеров, которые высказали сожаление, что Наполеон отошел от мирной политики Тильзита и Эрфурта:

— Все несчастья Франции с того и начались... Мы знаем вашу храбрость: когда сто французов бьются с сотнею русских, то по телам павших ступают одинокие счастливыцы.

Вежливость требовала ответной вежливости.

— А разве мы, русские, — сказал Орлов, — не ценим храбрость французов? Я напомяну, господа, что в битве при Бородино князь Багратион, пораженный натиском ваших колонн, невольно воскликнул: «Браво, французы, браво!...»

После этого напряжение спало, а разговор сделался мягче и человечнее. Орлов добродушно сказал:

— За что вы на меня сердитесь? Этим визитом в Париж русская армия лишь благодарит французскую за ее посещение Москвы... Разница вся в том, что мы прибыли спасти Париж от разорения, а вы оставили от Москвы одни головешки.

— Мы не сердимся, — отвечали ему. — Ваша армия ведет себя благородно, этим она и отличается от озверелого Блюхера с его гусарскими бандами, от свирепых баварцев, стреляющих в детей и насилующих женщин на глазах их мужей...

Между тем Мармон не выходил из кабинета; Орлов догадался, что там обсуждают условия капитуляции. Мармон в своих мемуарах тоже не забыл этой ночи: «Разговор шел о безнадежном положении дел. Все, казалось, были согласны, что спасение — в низложении Наполеона, уже говорили о возвращении Бурбонов...» Наконец в кабинет Мармона проковылял человек, появление которого вызвало в залах отеля давящую тишину, — Орлов узнал в этом калеке Талейрана.

Талейран, переговорив с Мармоном, снова появился в зале и, выждав момент, вдруг быстро подошел к Орлову:

— Возьмите на себя труд повергнуть к стопам своего государя выражения глубочайшего почтения, которое питаю к его особе я — Талейран, князь Беневентский.

За этой пустой фразой затаилась целая политическая программа будущего Франции и, может быть, всей Европы.

— Ваш бланк будет передан по назначению...

Талейран удалился, Орлова обступили французы:

— Какой бланк? Что это значит? Как понимать?

Вовремя вышел из кабинета Мармон, сказавший:

— Я вижу, никто так и не догадался покормить русского полковника. Мсье Орлов, прошу к столу...

За ужином, столь поздним, французы горячо обсуждали непомерные требования к Франции стран-победительниц: их возмущала

наглость Австрии, претензии Пруссии и вероломство англичан, грабивших французские колонии за океаном.

— А какковы, мсье Орлов, требования России?

— Никаких... кроме мира! — отвечал Орлов.

После ужина он прикорнул в углу на диванчике. Сквозь дремоту слышал, как над ним остановились два генерала.

— Сон победителя, — произнес первый.

— И честного человека, — добавил второй...

Утром с курьером пришло решение русской ставки, которое Орлов и довел до сведения маршалов и генералов:

— Мы разрешаем гарнизону Парижа удалиться из столицы в любом направлении, но мы оставляем за собой военное право преследовать войска гарнизона на любых дорогах его отступления. Надеюсь, это не вызовет никаких сомнений.

— Нет, — сказал Мармон, — война есть война!

Орлов взял лист простой почтовой бумаги и, присев к столу, окруженный множеством любопытных, составил набело пункты капитуляции. Мармон взял бумагу с очень мрачным лицом, но по мере ее прочтения лицо маршала прояснялось.

— Из вас вышел бы толковый дипломат, — сказал он.

Акт был подписан. Мармон получил с него копию. Орлов с подлинником вернулся в лесной замок Бонди, где его сразу провели в спальню императора.

— Поцелуйте меня, Орлов, — сказал Александр, лежа в постели. — Вами выполнена высокая историческая миссия, а ваше имя отныне принадлежит истории... Рад поздравить вас с производством в генерал-майоры моей свиты.

Орлов не забыл сказать о «бланке» Талейрана.

— Старый он жулик! — брезгливо вздрогнул Александр. — Мне в Тильзите было не до него, зато в Эрфурте я купил эту мерзость со всеми его прогнившими потрохами...

После этого император резко повернулся на левый бок, лицом к стенке, и, как всегда, мгновенно уснул. А днем русская армия вошла в Париж... Охраняя бессмертные сокровища Лувра, на мостовых сидели в лисьих малахаях башкиры с луками, держа стрелы в колчанах. Сбережение дворца Тюильри было доверено калмыкам и казакам, на площади разместился их шумный бивуак, и парижане, проходя мимо, с недоверием принюхивались к незнакомому запаху плова с бараниной. А рядом с усталыми лошадьми на мостовых Парижа лежали утомленные астраханские верблюды...

Когда король Людовик XVIII вернулся в Париж, он, дабы выразить заботу о французах, посетил школу для бедных детей. Кладя руку на голову мальчика, король спросил:

— Дитя мое, расскажи нам о битве при Маренго.

Мальчик отвечал уже в новом духе истории:

— Победа при Маренго одержана нашим великим королем Людовиком Восемнадцатым, который поручил свою армию генералу Бонапарту, но этот вероломный корсиканец позже изменил своему долгу, и наш добрый король сослал его на остров Эльбу.

— Ты знаешь историю. Да благословит тебя Бог!

1. Париж — Петербург

Париж спит; до чего же тихо в Париже, только на рынках полаивают таксы, гоняющие крыс по павильонам; на берегах Сены всю ночь дежурят огромные псы-нюофаундленды, приученные вытаскивать из реки утопленников. Париж спит; опочил в Тюильри первый консул, отдыхает мозг Бертье, уснувшего подле маркизы Висконти, спит нежная Александрина в крепких объятиях генерала Моро, дрогнут под мостами бродяги, дрыхнут в тюрьмах кандидаты на тот свет, в казармах досыпают усатые «ворчуны» гвардии. Античные светильники на треногах освещают благоуханные потемки спален в Сен-Жермене, чадят вонючие огарки в рабочих предместьях...

Но всю ночь оживленно у набережной Берри, куда подплывают из провинций баржи и лодки, наполненные алкоголем. Быстро буравятся в бочках дыры — для пробы. Акцизные чиновники, испытав на языке крепость, указывают, куда выкатывать бочки. Здесь не церемонятся с созданием «букета». В чаны льется бордоское, красное с белым, красители из бузины и ежевики довершают процесс природы, а знатоки будут щелкать потом языками от удовольствия: «Ах, какой аромат...» В молодые коньяки (еще зеленые и противные на вкус) мастера бухают ведрами крепкий раствор чайного листа, добавляют сиропов — и коньяк из молодого моментально обретает возраст двадцатилетнего, бархатистого. Вода по-прежнему играет главную роль, а сделать из одной бочки вина две бочки — пара пустяков! Наконец, у Берси есть такие вина, которые без лишних разговоров сразу выливают в Сену, и река уносит их в море. В реку же выливали с боен Парижа и кровь больных животных, бросали в омут негодное мясо. Но, как заметила полиция, бедняки его тут же вылавливали.

Ночь пошла на убыль. В моргах столицы разбирают трупы — опознанные отделяют от неопознанных; в конторах полиции тоже идет опознание — рецидивистов отделяют от тех, кто сегодня ночью впервые приобщился к этому ремеслу. Лавочники, позевывая, уже отворяют ставни магазинов. В притонах Парижа звенят цепи, которыми прикованы к стенам оловянные кружки с черным кофе за одно су. Париж не привык бросаться кусками. К услугам бедняков продавцы черствого хлеба и мяса, вынуженного из бульона, продавцы хлебных корок и бульона без мяса. В переулках началась раздача бесплатного супа для голодающих. Прошли, посвистывая, расклейщики афишек — Бонапарт поощрял коммерческую рекламу; при нем не только мост Понт-Нефф, но и все дома обклеили призывами не жалеть денег на отечественные товары. По улицам Парижа покатались пассажирские дрожки с автоматами-таксометрами (в такси их теперь называют «счетчиками»). В кафе Режанс азартные игроки уже расставили шахматные фигуры, а на Рю-де-Пулли за плату играет с желающими шахматный автомат. Во дворе Лувра, где раскинулась Вторая промышленная выставка, появились первые посетители. Публику привлекает осмотр одежды без единого шва. Изобретатель одежды выворачивает ее наизнанку, и сюртук в его руках превращается в плащ, а из жилета получаются брюки... Лошади-тяжеловозы, ступая копытами по набережным Сены, влекут за собою вверх по реке нагруженные баржи, а навстречу им уже поспешает первобытный пароходик. В общественных купальнях в воде плещутся аристократки, обязанные платить за купание особый налог — на тех бедных, которых Бонапарт кормит дешевым супом... Ну, ладно! Кажется, Париж проснулся, теперь всем найдется дело. Вот уже разлетелись по магазинам Пор-Рояля говорливые стайки модниц, и продавцы раскручивают перед ними рулоны новых материй:

— Очень приятен цвет «лягушки, упавшей в обморок». К вашим глазкам, мадам, подходит цвет «мечтательной блохи». Вчера получен муслин из Пондишери — «паук, замышляющий убийство мухи». Все это не устраивает? Вы находите, что это слишком дорого? Тогда, позвольте, я предложу вам самый модный шелк из Лиона, имеющий оттенок «влюбленной жабы»...

Для меня, читатель, эти названия загадочны так же, как и странности денежного курса, о котором я уже говорил. В женских модах начиналось засилие «ампира», при котором силуэты женщин все больше совпадали с фигурами на барельефах, бегущими по краям древних этрусских ваз.

Ах, если бы моды были только частным капризом! Но в том-то и дело, что на историю одежд накладывается политическая патина времени. Екатерина II уже пыталась вырвать у Парижа монополию моды, она заполнила Париж детскими распашонками по своим выкройкам, диктовала парижанкам новые вкусы — к охобням и сарафанам, а дамские шубы из русских мехов («витшуры») никогда не выходили из моды. У себя же дома Екатерина боролась с уродствами моды посредством их оглушения. Заметив несуразные фракы, в такие же фракы она велела наряжать дворников, метущих панели. Чтобы отучить «петиметров» от упорного лорнирования дам в театре, она раздала лорнеты извозчикам. А когда молодежь сочла очки украшением лица, она указала носить очки чиновникам полиции. При Павле I борьба утратила юмор: модников сажали на гауптвахты, из городов высылали на лоно природы. В круглых шляпах императору виделись явные признаки якобинства. При Александре старые вельможи еще донашивали туфли маркизов Версаля с красными каблуками, а их внучки, поспешая на бал, уже раздевались в духе Директории. Мода на излишнее оголение сумела побороть даже страх перед крещенскими морозами, а пример Терезы Тальен оказался чересчур заразителен. «Московский Меркурий» оповещал читателей: «Ни один кавалер уже не говорит о красоте плеч или груди; кто желает оказать даме учтивость, тот хвалит формы ее нижних частей...» Громкие победы Бонапарта в Италии обогатили шкатулку Жозефины старинными камнями, и с тех пор ношение античных камней стало почти обязательным для богатых женщин. Египетский поход Бонапарта вызвал интерес к восточным шальям и тюрбанам. С головы мадам де Сталь тюрбаны перешли на головы русских дам, засвидетельствованные на портретах лучшими живописцами эпохи. Наконец, из салона мадам Рекамье танец «па-де-шаль» покорила Москву и Петербург, потом на тройках с бубенцами прокатился по стылым сибирским трактам; «па-де-шаль» танцевали мещанки в Иркутске, жены флотских офицеров в гарнизоне Петропавловска-на-Камчатке...

Конечно, при всей любви русского барства к халатам и колпакам фригийский колпак — символ якобинства! — в России не прижился. Чтобы подразнить старцев, его иногда надевал только граф Павел Строганов, бывший член якобинского клуба, участник штурма Бастилии, а теперь интимный друг императора. Александр, человек образованный, заметил, что форма фригийского колпака с клапанами на ушах встречается на древних скульптурах, изображающих Париса.

Но как фригийская шапка Париса, судящего о красоте Афины, Геры и Афродиты, могла сделаться признаком революционных воззрений?

— Это знак позора и унижения, — пояснил ему Строганов. — При королях Франции такие вот колпаки носили солдаты штрафного полка Шатовье, избившие своих офицеров за воровство денег. Санкюлоты переняли от них эти шапки в знак солидарности с бунтарями...

Россия переживала время отмирания петровских коллегий, страна заводила министерства, и, гуляя однажды с императором вдоль Невы, граф-якобинец сказал ему:

— Люди у нас, государь, лучше, чем в Европе, но порядки у нас хуже европейских. Я скорее соглашусь быть адъютантом при генерале Бонапарте, нежели министром в России, где продлевается гнусное крепостное право.

Александр I, ученик либерала Лагарпа, сказал графу Строганову, ученику монтаньяра Жильбера Ромма:

— Ловлю тебя на слове, Попо, вот ты и станешь моим министром внутренних дел, дабы облегчить нужды народа...

Была мода на всяческие шатания, словесное свободомыслие, безумное фрондерство юности. И старый Гаврила Державин, сидя в своем саду на Фонтанке, допевал ветхие песни:

— Якобинцы треклятые! Навезли из Парижу сраму всякого, куды ж нам, русским людям, деваться? Хоть топись...

По наследству от бабушки Александру достались вельможи, продолжавшие «екатеринствовать». Это были деловые политики, приученные думать, что Россия — пуп земли и, если в Петербурге чихнули, Европа обязана переболеть простудой. К числу «екатерининцев» принадлежал и граф Аркадий Морков, ставший послом в Париже. Бонапарт еще не был развращен всеобщим поклонением, но уже привык видеть в Тюильри согбенные спины германских дипломатов, и ему не совсем-то был понятен этот русский гордец. Первый консул решился на маленькую провокацию, дабы проверить стойкость духа посла. Проходя мимо Моркова, он как бы нечаянно уронил свой платок. Морков это заметил, но спины не согнул.

— Вы что-то уронили, — заметил он равнодушно.

Между ними, как между дуэлянтами, лежал платок, казалось определяя тот нерушимый барьер, который нельзя переступить при выстреле. И первый консул сдался.

— Хорошо, — сказал он, поднимая платок с пола, — я надеюсь, подписание трактата менее затруднит вас...

Вскоре Морков и Талейран составили договор — первый после революции договор России с Францией; Петербург расписался перед всем миром в том, что Россия отныне признает не только новую Францию, но и все те изменения, которые произошли во Франции — как итог революции. Выиграл, скорее, Бонапарт, ибо теперь, признанный авторитетом России, он мог потребовать от Европы такого же признания. И сразу же после подписания трактата в Париж поехали русские — не только ради любопытства, не только по делам службы, но и всякие моты-обормоты, жаждущие приключений, отнюдь не героических. Фуше был недалек от истины, докладывая консулу:

— В головах этих «бояр-русс» прыгают всякие зайчики, а русские дамы воспаляются вроде «греческого огня», секрет которого наукою еще не разгадан...

Бонапарт не терпел иностранцев в Париже, но, коли эту нечисть никаким порошком не вывести, он хотел бы сплотить всех туристов в единую послушную колонну. Для этого Фуше разработал групповые экскурсии по музеям, антикварным лавкам, даже на фабрики, в больницы и в бедлам для женщин, которые свихнулись от неразделенной любви. Немцы, датчане и прочие нефранцузы дружно шагали по улицам, разевая рты в указанных гидами местах, но русские... Русские, прошу прощения, разбежались по Парижу, как тараканы по избе. Кто в игорный дом, кто вставлять фарфоровые зубы, кто бежал не зная куда, и вообще всем видам массовых развлечений россияне предпочитали личную свободу! Целомудренно молчавшие у себя дома, в Париже они развязывали языки до такой степени, что французы иногда принимали их за опытных агентов Фуше: ругая своих царей, уж не хотят ли эти «бояр-русс» вызвать ответную брань по адресу Бонапарта? Облаяв свои порядки, русские тут же брались за критику порядков французских. Обедая у Веро, они уже были недовольны:

— Что за пулярка? Обнищали вы... да. У нас в России покажи такую пулярку коту — он же расхохочется!

От Веро критика подкрадывалась к Тюильри:

— Чего это консул мелюзгу в свиту набрал? Одна фанаберия. Разве ж это двор? Вы к нам приезжайте, мы вам покажем. Фрейлин у нас тысяча, и каждая — на цыпочках... от Рюрика, от Гедимина, от Византии свет получившие!..

— А я вчера на приеме в Сен-Клу маркизу Висконти разглядывал. И чем это она Бертье соблазнила? Ведь у нее вместо бюста вата напихана. А у нас на Руси — без обмана, натурель. Опять же этот... как его? Ну, Бонапартий! Наговорили мне: Маренго там и прочее. А я на

параде своими глазами видел, как он с лошади кувырнулся. Да у нас его и в корнеты бы не выпустили. Кому он нужен такой?..

Лувр уже ломился от художественных ценностей. Бонапарт велел издать на разных языках отличные путеводители. Семнадцать театров Парижа ежевечерне манили зрителей. В театрах русские бывали шокированы: вдруг ни с того ни с сего в зале гасили свет, зато ярко освещали сцену с актерами, и «бояр-русс», оказавшись в темноте, озирались на соседей — карманников в Париже хватало. Фуше присмотрелся к этим господам и оставил их в покое. Зато с русскими дамами ему пришлось повозиться. «Греческий огонь», однажды вспыхнув, тушению не поддавался. Вчера, допустим, она приехала в Париж, сегодня обедает у Талейрана, ужинает в Мальмезоне, завтра разводится с мужем, ее уже видели с Мюратом, потом надолго исчезает и вдруг обнаруживается в Шароне с паспортом на имя мадам Фрежери. Начинают проверять — все верно. Вот и ее муж, мсье Фрежери. Хватают обоих, везут в Париж, где оказывается, что мсье Фрежери — Мюрат, женатый на сестре Бонапарта, и теперь он готов загрызть министра:

— Фуше, что ты лезешь не в свое дело?..

Когда же русские дамы проматывались, они открывали в своих квартирах игорные пристанища, за сокрытие которых платили поквартально... Кому, вы думаете? Самому министру полиции Фуше! За это Фуше поставлял им своих шулеров, чтобы доходы повысились. Скоро в это финансовое предприятие затесался и министр иностранных дел Талейран, соблазненный русских провозить во Францию запретные английские товары, бельгийские кружева и фальшивый жемчуг. Сам он стоял в стороне — деньги собирала мадам де Гран, страшная взяточница — холодная, как лед, и прекрасная, как Венера... На этом рассказ о развитии «туризма» можно закончить. Но еще возможны всякие комбинации, ибо фантазии у русских было хоть отбавляй! Для Фуше навсегда осталось загадкой, каким образом русские аристократки оказывались в Тюильри и Мальмезоне раньше французских. Они умудрялись запросто бывать даже там, куда и Фуше не пускали. Он вызвал писака Фулью:

— Хорошо бы свалить русского посла. Для этого войди к нему в дружбу, гневно порицай Бонапарта и меня, и будешь сочинять все, что он хочет, а я добавлю...

Скоро Морков провинился в глазах Бонапарта — он выписал для себя (за деньги, конечно) из Лондона конскую упряжь и сбрую. Ничтожный эпизод, но Бонапарт уже повысил голос, говоря, что у него тоже есть мозоли:

— И не советую на них наступать... даже вам, посол. Разве неизвестно, что я нахожусь в войне с Англией?

— Россия с Англией не воюет, — отвечал Морков.

— Но Россия подписала трактат о дружбе со мною.

— Да. Но она не отвергает дружбы и с Англией, — доказывал Морков. — Я был бы согласен купить уздечку для лошади в Париже, если бы они были у вас такого же отличного качества, как и в Лондоне...

Бонапарт писал о Моркове: «Он не дал ни одного обеда, и мне едва известно его местожительство...»

Но среди русских в Париже были и серьезные люди, скупавшие ценные книги и картины, приятные собеседники в научных и литературных салонах, их часто видели гостями у мадам Рекамье и мадам де Сталь; им не стоило большого труда выяснить, что связи продажного журналиста Фулью выводят прямо к Фуше, о чем и было доложено Александру.

— Предупредите графа Моркова, но отзывать его из Парижа — доставить удовольствие Бонапарту. Мы этого делать не станем, — распорядился император. — Заодно прикажите, чтобы для мадам де Гран, любовницы Талейрана, приготовили партию английских товаров...

В это же время Бонапарт, желая показать свою Францию в лучшем виде, отправил в Петербург адъютантов — Дюрока с Коленкуром. Выбор был удачен: если Дюрок, приятель консула, был просто обворожительный человек, то маркиз Коленкур выгодно представлял ту аристократию, которая перешла на сторону Бонапарта... После частной беседы с Коленкуром царя навестил его брат — цесаревич Константин.

— Саня, о чем ты болтал с маркизом Арманом?

— Арман Коленкур интересно рассказывал о Моро, под началом которого воевал на Рейне. Маркиз умный человек, мы перебирали с ним судьбы французских эмигрантов...

Константин был участником походов Суворова.

— Саня, — сказал он брату, — меня давно терзает одна история. Настолько странная, что в нее трудно поверить. Когда я с Суворовым отступал из Италии, я задержался в Мейнингене, где проживал тогда герцог Луи Энгийенский, сын принца Конде. Рано утром меня разбудил шевалье де Жуанвиль, сообщивший, что герцог немедленно должен меня видеть. Я вскочил в седло и поскакал... Энгийенского я застал в страшном волнении. Вот его подлинные слова: «Бонапарт вернулся из Египта, и Бурбоны спасены, я преклоняюсь перед его гением и почту за счастье служить ему!» Мне пришлось напрячь свое красноречие,

дабы убедить Энгиенского не делать этого, ибо кровь Бурбонов обязывает его к мести...

— Напрасно ты его отговаривал. Аристократы сейчас делают при Бонапарте хорошие карьеры. Дюроки способны рубиться и танцевать, но управлять будут маркизы Коленкуры. Уверен: предложи тогда Энгиенский шпагу к услугам Бонапарта, и этот жест, к выгоде консула, сразу подорвал бы влияние эмигрантов в Лондоне... Мне странно иное, — продолжал Александр, — Энгиенский никак не может оторваться от рубежей Франции, часто проживая в пустынном отеле баденского Эттенхейма... почти в лесу! Как он не боится?

Александр был женат на принцессе из Бадена, через переписку жены он узнавал все баденские новости.

— Это меня не удивляет, — ответил ему цесаревич. — У герцога давний роман с Кларой Роган де Рошфор, она живет в Эттенхейме, и он не перестает за ней волочиться...

Ни цесаревич Константин, ни император Александр, ни даже сам Бонапарт еще не подозревали, куда их заведут лесные тропинки от Эттенхейма, и не тогда ли между Парижем и Петербургом сверкнет первая молния?..

2. Торжественная месса

Приняв яд, покончил с собой писатель Радищев, а философ Сен-Симон выпустил книгу о том, что мир нуждается в справедливости; Сен-Симон выстрелил себе в голову, но остался жив. Эти люди опережали свое время, неспособное остановить их, и не потому ли они сами останавливали себя?.. Но был в мире еще один человек, считавший, что родился как раз кстати, — это Филипп Буонарроти, потомок великого Микеланджело, монтаньяр и якобинец, а ныне коммунист-утопист.

Буонарроти возили в железной клетке, как опасного зверя. Ему везло на острова! С адмиралом Трюге он сражался на Сардинии, жил на Корсике, сослан на остров Олерон, а теперь в Париже хлопочут, чтобы его сослать еще дальше — на Эльбу! На Олероне собралась коммуна республиканцев, изгнанных, униженных, оскорбленных, непокорных... Над островом вечерело. Друзья по несчастью сидели в хижине. Их стол украшали хлеб, виноград и рыба. Буонарроти сказал, что только в тюрьмах и ссылках чувствует себя свободным среди равных.

— Я расскажу вам самое смешное. Когда я жил в Аяччо, на Корсике, семье Бонапартов нечего было есть. Я давал им деньги, чтобы

голодные были сыты. Я спал с молодым Бонапартом на одной постели, как брат с братом...

Журналист Меге де Латуш спросил:

— Вернул ли Бонапарт долг, став консулом?

— Железная клетка стоит тех денег...

Буонарроти имел славу гения конспирации. Друзья спросили его — что составляет сущность Бонапарта?

— Еще в Аяччо я уже предвидел, что этот хилый стручок растет только для себя. В душе этого корсиканца нет ничего святого. Я видел, как он пресмыкался перед Паскуале Паоли, вождем Корсики, и предал его, заискивал у Робеспьера, и тоже предал, он унижался перед Баррасом, даже перед Терезой Тальен, и уничтожил их... Сам по себе очень сильный, он признает в других только силу, — сказал Буонарроти. — Горе тому, кто расслабится перед ним!

Шумело море, за горою кричал петух. Меге де Латуш сказал, что, будь он на месте Буонарроти, он бы написал первому консулу просьбу об амнистии:

— Кто откажет в свободе Буонарроти?

— Нет, Меге, не я консулу, а сам консул написал мне. Бонапарт предложил мне высокое положение в правительстве со всеми благами жизни, чтобы я признал его режим, отступившись от своих идеалов. Но мне что этот Олерон, что остров Эльба — мне все равно где мыслить, лишь бы мыслить...

Петух все кричал за горою, и республиканцы пришли к выводу, что он распелся не к добру:

— Таких петухов, мешающих спать, режут.

— Этот петух, как и мы, тоже опережает время... А монархи Европы, — вдруг сказал Буонарроти, — оказались глупее, нежели я о них думал. Бонапарт ведь уже дал им понять, что, покончив с революцией, он просится в их монархическую семью. Не настал ли момент для его свержения? Но если сейчас этого не случится, наше движение должно расколоться: слабые поникнут перед грубой силой диктатора, а с сильными мы еще встретимся — в тюрьмах, на эшафотах!

...На острове Святой Елены император не забывал о Буонарроти: «Я раскаиваюсь, что не привязал его к себе... Это был человек выдающихся талантов... итальянский поэт, как Ариосто; он писал по-французски лучше меня; рисовал, как Давид; играл на пианино, как Паизиелло». Но всю жизнь Бонапарт (и даже Фуше!) не мог проникнуть в тайну «Общества филладельфов», связанных с Филиппом Буонарроти. Он лишь догадывался, что после 18 брюмера филладельфы

дали клятву вернуть Франции свободу, им, Наполеоном, разрушенную. Генерал Моро втайне был великим архонтом (вождем) Общества под античным именем Фабия; после Моро архонтом станет полковник Уде, погибший при Ваграме. Система конспирации была разработана идеально, и потому историки филаделффов до сих пор блуждают в потемках неведения... Франция между тем наполнялась прокламациями, их находили на столиках кафе, на диванах карет, в партерах театров. Вот что писали тогда: «Тиран узурпировал власть. Кто этот тиран? БОНАПАРТ. Какова наша цель в борьбе за республику? Восстановить священное равенство...» В казармах солдат висели плакаты: «Да здравствует республика! Да здравствует генерал Моро! Смерть первому консулу Бонапарту!»

А над Францией, как и раньше, снова звонили колокола.

Господин первый консул восстановил религию во всех ее правах, церковь он соединил с государством.

— Я это делаю для себя, — цинично объяснял Бонапарт. — Но и для спокойствия французов. Одна лишь церковь способна доказать людям неравенство, при котором бедняк варит на ужин бобы, а другие поедают омаров...

Но перезвоны воскресных колоколов всегда радостны сердцу крестьянина, и, что бы ни говорил Бонапарт, взывая к рассудку, он уступал предрассудку деревню, чтобы она охотнее давала ему сыновей для армии, как отдает и хлеб для той же армии! Но именно армия и восстала против религии. Однажды из рядов гвардии шагнул к Бонапарту седой драбант:

— Мы шли за тобой, куда ты вел нас, и мы принесли победы, которые тебя возвысили. Мы, старые ворчуны, плюем смерти в лицо, и ты сам знаешь, что с нами надо быть вежливее. Попробуй только освящать наши знамена именем церкви, и мы растопчем знамена своими ногами!

В гарнизоне Версаля солдаты начали бунт:

— Пора кончать с этой лавочкой Бонапартов...

Недовольство начиналось с вопросов: «Почему Франция попала под власть выскочки-иностранца? Неужели не нашлось честного француза? Почему его корсиканские родственники занимают первые места? Почему им все дозволено? Почему они так ненасытны?..» Жозеф Фуше предупредил Моро, что Мюрат все время клеветает на него Бонапарту. Моро ответил:

— Я виноват перед Мюратом лишь тем, что не родился в харчевне среди винных бочек и кружек. Его окружали крики пьяниц, а меня звуки

лютни, на которой играла моя мать... Нет, я еще не забыл того времени, когда Мюрат, охваченный лихорадкой новизны, переделал свою фамилию. Он изменил в своей фамилии букву «ю» на букву «а» и писался «Маратом»! Мюрат-Марат был и останется для меня хамелеоном.

— Мюрат желает быть вторым после Бонапарта, но, пока вторым остаешься ты, он будет тебя преследовать...

Этот разговор состоялся в Орсе; узкая винтовая лестница скрученной улиткой кружила вокруг столба, поднимая Моро в башню замка, где тишина библиотеки не мешала ему разобраться в своих подозрениях. В один из дней Моро все-таки решил повидаться с Бонапартом.

— Я, — сказал Моро консулу, — прошу избавить меня от низкопробных кляуз вашего шурина Мюрата.

Бонапарт сунул ладонь за отворот жилета.

— Мюрат — гений кавалерийской войны, пока он на лошади, но стоит ему сойти на землю, как он становится последним дураком на свете... Так стоит ли обращать внимание на его плоские эскапады? Мне, в свою очередь, могут не нравиться ваши беседы с русским послом Морковым.

Моро признал, что ему тоже не нравится граф Морков, видящий во Франции только дурное, а хороший дипломат не станет критиковать нравы и порядки той страны, в которой он аккредитован. Но, встречаясь с ним в обществе, Моро вынужден оказывать внимание послу дружественной державы.

— Советую генералу Моро, — сказал Бонапарт, — навести порядок в своем доме. Ваша теща постоянно оскорбляет честь моей семьи. На последней церемонии в Тюильри мадам Гюлло пыталась занять место впереди Жозефины, идущей в паре с Талейраном... Талейрану пришлось отталкивать ее ногою. Хорошо, что это была кривая нога Талейрана, а если бы вмешалась нога отважного Мюрата?..

Вернувшись домой, Моро внушил теще:

— Вам не следует показываться там, где бывают Бонапарты. Ваши пошлые претензии на первенство в свете Парижа оскорбительны для моей репутации, и Бонапарт, учинив мне сегодня выговор, оказался прав, как была права и Жозефина в дурацком случае с ванной в Мальмезоне...

Александрина отпустила камеристку, убиравшую ей волосы в красивый «газон», на котором голубенькие ленты должны означать течение ручьев; она сказала:

— Если нигде не бывать, так где же нам быть?..

Конечно, такой роскошный «газон» нуждался в особом внимании публики, но Моро не уступил любимой жене:

— Вели запрягать лошадей и катайся в открытой коляске где тебе хочется. Но я очень прошу не ездить с поздравлениями ни к Гортензии Богарне, ни к ее мужу...

Моро вовремя отказался от родства с консулом через брак с Гортензией. Правда, он не предвидел так далеко, как предвидел Буонарроти даже с острова Олерон: первый консул уже готовил престол Франции для своей династии. Но как обеспечить будущее престола, если судьба не дала наследника? Беспокойство мужа разделяла и Жозефина, женским чутьем понимавшая, что именно ее бездетность может стать причиной развода. Чтобы этого не случилось, лучше усыновить ребенка от своей же дочери. Именно эти династические планы и связали Бонапарта с падчерицей — с согласия самой Жозефины! Убедившись в беременности Гортензии, консул насильно выдал ее за своего брата, меланхолика Луи Бонапарта, которому и обещал:

— Первый же твой сын станет моим сыном...*

1802 год стал для Бонапарта решающим. Он вывел Австрию из войны, он выправил отношения с Петербургом; теперь и заносчивый Лондон, стоя над руинами поверженной коалиции, склонялся к миру. Французский народ, далекий от тайных замыслов Бонапарта, уверенней смотрел в будущее, прославляя консула как миротворца, и эту радость французов разделяли все европейцы... Решающий год в политике был самым опасным для личной карьеры Бонапарта! Теперь во главе оппозиции его режиму поднималась та грозная сила, которая его же, Бонапарта, и выдвинула, — *армия*. До сих пор судьба благоприятствовала ему, безжалостно убирая с дороги соперников славы — Жубера, Дезе, Клебера, но оставался в живых тот, которого он больше всего боялся. Как вытравить из сознания французов славу Моро? Мюрату он признался, что не может расправиться с Моро, как с рядовым республиканцем, — это не Лагори, не Фуа, даже не Массена:

— Популярность Моро давно положена на весы Франции: наши таланты полководцев уравновешены, но политическая чаша весов Моро начинает перевешивать мою чашу. И все мои враги прислушиваются — что скажет сейчас Моро?

— Но он же молчит как проклятый!

* Сын, рожденный Гортензией от своего отчима, был официально усыновлен Наполеоном как наследник его и Жозефины, но скончался в младенчестве от крупы. Гортензия — мать императора Наполеона III, рожденного ею от гусара Флахо (по другим сведениям — от голландского адмирала Вирюза).

— Тем хуже для меня. А я вынужден мириться с этим положением. Стоит мне задеть Моро, и я могу вызвать новую ярость якобинцев. Ты бы знал, как тягостно выжидать случая, когда Моро сам уничтожит себя...

О сомнениях консула Мюрат разболтал Фуше:

— Разве нельзя законно избавиться от Моро?

Фуше почти с ненавистью разглядывал длинные, как у женщины, волнистые локоны в прическе Мюрата.

— Можно и законно, — тихо ответил он. — Разве у меня руки не дотянутся до Лондона? Разве мои агенты так глупы, что не смогут обмануть Пишегрю и Кадудала? Да мне стоит лишь свистнуть, и роялисты из Лондона переедут в Париж.

— Зачем? — удивился Мюрат.

— Для свидания в Париже с генералом Моро.

— При чем же тут роялисты и... якобинец Моро?

— Связи роялистов с Моро сразу уронят его авторитет в глазах французов... Неужели еще не все ясно?

Все ясно! Противен карьерист, ищущий милостей у власти, зато подозрителен человек, который не ищет для себя ее милостей. Моро был именно таким человеком, и Фуше знал, чем завлечь Бонапарта:

— Мой агент сумеет доказать в Лондоне, что генерал Моро порвал с прошлым, мечтая о реставрации Бурбонов...

Любая активность противников Бонапарта всегда была выгодна Бонапарту, ибо давала ему повод для репрессий. Если активности не заметно, ее следует искусственно вызывать. Потому, выслушав Фуше, консул с ним согласился:

— Но кто же способен возмутить спокойствие?

Фуше на клочке бумаги быстро начертал имя — *Mehe'e de Latouche* — и протянул бумагу к глазам консула.

— Но я ведь чуть не казнил его! — сказал Бонапарт.

— Да, — кивнул Фуше, — он попал под депортацию, как злостное отродье якобинства, он наказан вами жестоко.

— Но он на Олероне, откуда не убежать.

— А почему бы не помочь ему убежать?

— Это мерзавец... это подонок! — воскликнул Бонапарт.

— Простите, это... *корифей*, — поправил его Фуше и тут же спалил в пламени камина бумажку с именем предателя.

Величественный Нотр-Дам в годы революции назывался Храмом Разума, а теперь снова стал собором Парижской Богоматери. На паперти собора букинисты торговали старинными инкунабулами, капуцины

сбивали дешевые распятия, нищие старухи просили купить у них цветочки, предлагали котят и щенков. На ступенях храма стоял робкий Сийес, и Бонапарт, поднимаясь в собор, решил узнать у него:

— А что вы делали в годы террора?

— Я оставался живым, и этого достаточно.

— Разрешаю вам оставаться живым и далее...

Бонапарт умел держать людей в страхе, хотя по-прежнему оставался доступен народу, он никогда не мешал людям обступать его на улицах, беседуя с ними. Пожалуй, только его личный секретарь Буриен знал его мысли:

— Когда общаешься с народом, надо иметь железное терпение. Всегда хочется прострелить несколько голов, чтобы не видеть этих безобразных, сюсюкающих физиономий... Что за люди? Из каких грязных помоев они рождаются?..

Среди множества забот, военных и политических, Бонапарт не забывал, что во Франции существуют еще силы, плохо подвластные его сказочному авторитету.

— Литература, — говорил он, — слишком капризная дама, и она не поддается воинской дисциплине. Не понимаю и газет! Они пишут в таком унылом тоне, будто все редакторы уже давно кастрированы мною... Если эти каналы не умеют сочинять, пусть идут в кровельщики или копают канавы. Я не позволю им болтать лишнего, но газеты обязаны хранить бодрый тон, будто они никогда не видели красных чернил. Пусть хоть камни летят с неба, газетеры должны писать, что во Франции все барометры показывают ясно...

Шестого мая Париж был извещен об Амьенском мире. Впервые за много лет Европа наслаждалась тишиной. Россия выступила гарантом независимости острова Мальта. Бонапарт на приеме в Сен-Клу прошел мимо Моркова, затем вернулся к нему.

— Я не понимаю вас! — сказал он. — Ваш император собирается в прусский Мемель, а какова цель поездки?

Морков и сам не знал, ради чего Александр тащится в Пруссию, паче того Романовы — не родня Гогенцоллернам.

— Очевидно, молодого государя побудили к визиту слухи о красоте молодой прусской королевы Луизы.

Это не объяснение. Бонапарт не верил в чары голубых глаз блондинки, заподозрив Петербург в кознях.

— Политика — это не флирт, — веско сказал он...

Амьенский мир обогатил Талейрана. Париж торговал княжествами, епископствами, рейхсграфствами, как на базарах торгуют капу-

стой или поросятами, а дошла мадам де Гран не успевала собирать урожай взятки. Бонапарт знал об этом:

— Я не сомневался, что германские князья — это грязь, но я никогда не видел такой отвратительной грязи...

Амьенский мир оживил дипломатию. Иностранные посланники с удивлением присматривались к новой аристократии Бонапарта, которая скандализировала старую грубыми солдатскими замашками, выводила на королевские паркетные Тюильри своих жен, бывших ранее прачками, маркитантками и трактирщицами. Но сабли звенели воинственно, голоса сабреташей звучали свежо и задиристо, как на веселом празднике, и княгиня Долгорукая, умная русская дама, выразилась очень точно:

— Это еще не двор! Но это уже большая сила...

К этому двору Англия прислала своего посла — Чарльза Уитворта, покинувшего Петербург не по своей воле. Бонапарт видел в нем только заговорщика, и вот этот джентльмен перед ним. Рослый, узколикий, губы тонкие, парик короткий, он умело драпируется в малиновый плащ. Что ему надо здесь? Почему Англия прислала в Париж убийцу? Если он покончил с Павлом, так неужели пришла очередь и его, Бонапарта?.. Обуреваемый такими мыслями, первый консул не выносил общества Уитворта, ему казалось, что любая оппозиция всегда сыщется в этом милорде опытного главаря-заговорщика...

По случаю мира готовились отслужить в Нотр-Дам торжественную мессу. Бонапарт заранее распорядился оставить для Жозефины трибуну в середине собора. Приглашительные билеты разослали всем членам правительства, такой же билет получил и Моро, но генерал не пожелал видеть этой церемонии:

— Я закоренелый деист, и я бывал в Храме Разума, но я не поеду в собор Парижской Богоматери...

Напрасно он не поехал. Мадам Гюлло взяла дочь, и, разряженные с креольской пышностью, женщины отправились на богослужение. В соборе было уже не протолкнуться от знатной публики, свободных мест не было, люди стояли меж рядами, и мадам Гюлло очень обрадовалась, заметив, что одна из трибун свободна. Служитель храма предупредил ее:

— Мадам, эта ложа сохраняется для супруги нашего почтеннейшего первого консула.

«О нет! Не на такую дурочку они напали...»

— А где же оставлена ложа для тещи и жены дивизионного генерала Моро, который всю эту войну выиграл для Франции?

Первый консул, подъехав к собору с большим опозданием, был крайне удивлен, увидев Жозефину сидящей в стороне.

— Ты почему здесь, а не в своей ложе?

— А где моя ложа? Ее уже заняли эти Моро...

Бонапарт через толпу протолкался к Фуше:

— Почему я не вижу здесь генерала Моро?

— Моро — деист и в церкви не бывает.

— Он может не молиться, но церемония благодарственного молебна обязательна для всего генералитета. Мог бы прийти сюда хотя бы ради того, чтобы обуздать тщеславие своих бешеных креолок. Они расселись с таким важным видом, будто я устроил эту мессу специально ради них...

Талейран тем временем шушукался с Уитвортом, который спрашивал у него, когда же Франция покинет Италию.

— Франция, — заявил Талейран, — не выведет войска из Неаполя, пока Англия не уберет свой флот с Мальты.

— Англия, — парировал Уитворт, — оставит корабли в Лавалетте, пока Франция остается в Неаполе...

Как быстро все прояснилось! Мир в Амьене — не мир, а лишь короткая передышка между миром и войной, чтобы, малость отдохнув, начать все сначала... Моро уже не ждал, что Бонапарт даст ему армию. И он не был особенно удивлен, когда в весенний день жерминаля мальчишки Парижа, торгующие газетами, всю раскричались на улицах:

— Каждый француз должен прочесть: генерал Моро не мог победить юного эрцгерцога Иоанна... генерал Моро сдал Рейнскую армию Бернадоту в состоянии хаоса, начальник его штаба Виктор Лагори — яacobинский подонок! Этим людям не место в победоносной армии нашего великого консула Бонапарта...

Александрина прижала ладони к пылающим щекам:

— Моро, что это? Моро, не уехать ли нам?

Бретонский характер проявился в деловом ответе:

— Мне очень жаль Виктора Лагори и... Мне жаль и мадам Софи Гюго, которая не может на Лагори надышаться. Но зато спасибо и моей теще, спасибо и тебе, моя волшебная радость: вы отслужили мессу как надо...

3. Почетный легион

В галерее Сен-Клу арестовали юного офицера Рейнской армии, горячо целовавшего мраморный бюст Марка Брута. Фуше сказал, что там были бюсты Демосфена, Гомера и Цицерона, почему он выбрал для лобзаний именно Брута?

— Потому что Брут зарезал Цезаря...

При штабе Рейнской армии обнаружился заговор против Бонапарта, которого генерал Симон называл «бесчестным рыцарем из Сен-Клу». Раскрыл заговор бдительный Савари, из адъютантов Мюрата ставший адъютантом консула. Между гарнизонами Франции работала военная почта. Прокламации, пробуждающие гражданскую совесть, из провинции пересылались в горшках из-под масла, столица отвечала провинции засургученными пакетами. Савари вникал в мысли заговорщиков: «Они говорят, что народ теперь лишен возможности высказывать свои мысли; собрания, установленные конституцией, состоят из людей, очень боящихся потери своих мест и боящихся откровенно высказаться...» Фуше арестовал многих офицеров Рейнской армии, но генерал Симон на допросах твердил:

— Один я устроитель комплота, один я желал быть Брутом, и потому требую свободы для своих товарищей...

Бонапарт, узнав о таком благородстве, радовался:

— Валите все на Симона! Пусть Европа думает, что дела у нас хороши, если бы не один помешанный Симон.

Фуше отчетливо видел картину следствия:

— Но если Симон помешался, а сообщники его неповинны, тогда я вынужден закрыть дело о заговоре.

— Именно так! — поддержал его Бонапарт. — Сейчас французы должны думать, что их мозги не отличаются от моих. А в любой армии мира всегда отыщется один сумасшедший генерал, за действия которого нация не отвечает... Но Бернадот! — терзался Бонапарт. — Но эта Рейнская армия!

Бернадот давно пугал ему карты. «Хуже нет иметь дело с проклятыми гасконцами», — не раз говорил консул. Их взаимная неприязнь возникла еще с первого Итальянского похода, когда Бернадот не подчинился приказам Бонапарта, а вражда генералов передалась солдатам, которые в кулачных драках доказывали совершенства своих начальников. После 18 брюмера Бонапарт сразу хотел спровадить горячего гасконца куда-нибудь подальше, но Бертье уговорил его не делать этого...

— Сколько в них шуму, в этих гасконцах, как много они мнят о себе только потому, что в их жилах дикая кровь басков, и эта кровь пьянит их, как вино пьяниц!

Наверное, консулу было неловко вспоминать и свои любовные клятвы перед наивной Дезире Клари, которая стала женой Бернадота, а мужская ревность к прошлому жены напитала гасконскую душу особым ядом. Однако Бернадот был опасен не ревностью: республиканец

не допускал мысли, что с идеями равенства покончено. Но так думали и другие генералы его армии, горланившие где угодно и когда угодно:

— Бонапарт? А что в нем? Такой же генерал, как и все мы, и любой из нас способен занять его место...

Раскассировать Рейнскую армию, как источник якобинской заразы, легче всего, но враги сразу заметят ослабление мощи Франции. Бонапарт нашел выход: лучшую часть офицерства и солдат он с берегов Рейна отправил в тропики Сан-Доминго — сражаться с неграми, и там они стали вымирать от малярии. Погиб и шурин Леклерк, освободив Полину Бонапарт для нового брака — с князем Боргезе. Самых активных генералов спровадили из Парижа — кого в колонии, кого в дальние гарнизоны. Лагори тоже получил отставку. Братьям и сестрам Бонапарт доказывал: «Я могу быть спокоен лишь тогда, когда в Париже останутся люди, верящие мне и любящие нас». Сам порождение военной хунты, Бонапарт по себе знал, какая это страшная сила — армия, и он льстил ей, но он и боялся ее силы... Бонапарт однажды сказал Буриену:

— Я не выдерживаю, где взять сил? Пора разделаться с Бернадотом! Вся эта якобинская банда Моро и Бернадота отвратительна. Я в лицо Бернадоту скажу все, что думаю, и пусть нас рассудит судьба...

Через широкое окно дворца Буриен видел, как подкатила карета Бернадота, он поспешил в приемную.

— Консул меня ждет? — спросил Бернадот.

— С нетерпением! Но я предупреждаю: если вы встретитесь сегодня, вы перестреляете один другого, а этого допустить я не могу... Очень прошу вас: возвращайтесь в карету!

Бернадот отступил, как отступил и перед Фуше 18 брюмера. Кто он был, этот гасконец, позже князь Понте-Корво? Как понимать его, будущего короля Швеции, с несмываемой татуировкой на груди: «СМЕРТЬ КОРОЛЯМ»?..

.....

Моро молчал. Наверное, в нем молчал не гражданин Моро, а великий архонт подполья филладельфов, морально ответственный за сохранность своих друзей. Но при этом, демонстративно сторонясь Цезаря и его окружения, он уже выглядел слишком подозрительно, а его неподкупность настораживала. Моро часто уединялся в деревне Гробуа. Полиция заметила, что в районе Сенарского леса проживали сплошь «исключительные» — Моро, Лекурб, Дельмас, Дюпон, Массена, под видом охотников они съезжались в лесу для разговоров, а подслушать их не удавалось. Но в салонах Парижа Моро высказывался:

— Быть первым гражданином в обществе равноправных граждан — этого, конечно, достаточно для человека большой духовной культуры. Но дикарям мало! Дикарь счастлив лишь в том случае, если заберется людям на головы, наслаждаясь их мучительным терпением... Каждый диктатор — дикарь!

Александрина родила ему сына, а вскоре забеременела снова. Лагори пришел и сказал, что в Безансоне у мадам Гюго тоже родился мальчик, которого назвали его именем:

— Виктор! Виктор Гюго... Уж я не знаю, Моро, какова выпадет ему судьба, вспомнит ли он меня?..

Моро не удивлялся любви Софи Гюго к этому стройному brunetu с живыми глазами, но, чтобы не вникать в чужие страсти, стал жаловаться на свою Александрину, которая была слишком далека от его убеждений:

— Правда, эта рознь еще не разделяет нас. Я всегда помню, что любимые жена и дочь Кромвеля были отъявленные монархистки, однако не ушел же он из дома... Такова жизнь!

Такова была жизнь, совместившая две разные натуры, даже слишком разные. Моро любил Александрину, и однажды на выходе из театра, когда генерал помогал ей справиться с длинным шлейфом платья, бродяга с тротуара злобно крикнул:

— Эй, гражданин! Скажи даме, что у нас была революция. Она уничтожила и пажей, шлейфы таскавших.

— Дурак ты, — ответил Моро. — Революция не уничтожила любви, а каждый мужчина обязан быть пажом любимой женщины...

Бретонец и креолка, они, конечно, не могли быть не разными. В стойком характере Моро угадывались леденящие ветры Бретани, желтые пески безлюдных пляжей, согнутые спины бедняков, тянущих сети из моря, выбирающих из земли жалкие картофелины. А пылкий говор Александрины благоухал, казалось, ванилью и пряностями, губы женщины складывались в дивные цветы тропиков. Шарль Декан, налюбовавшись женою Моро, размышлял о райских островах, где живут такие волшебные женщины... Моро сообщил Лагори, что Декан теперь каждое воскресенье торчит в саду Тюильри, желая встретити Бонапарта. Лагори ответил, что это естественно.

— Не все же в армии одобряют твое отчуждение, ибо ты отталкиваешь Бонапарта, а Бонапарт отпихивает от себя всех, кто служил с тобою. Винить ли нам честного человека Шарля Декана, если он желает остаться в армии?..

Декана в Тюильри неизменно встречал Савари.

— Как здоровье Моро? — спрашивал он. — Отчего его нигде не видеть? Не мало ли ему содержания? Если сорока тысяч франков не хватает, консул согласен прибавить...

Декан предупредил Моро, что Бонапарт, кажется, не теряет надежды снова вернуть доверие генерала, но Моро ответил, что отбивать поклоны в Тюильри не намерен. Декан доказывал: ограничивая себя только критикой правительства, вряд ли можно добиться серьезных результатов. Не лучше ли отряхнуть прах революции, чтобы приноровиться к новым условиям:

— И тогда, войдя в новую обстановку, открыто протестовать с высоты своего положения...

Бонапарт назначил Декана генерал-капитаном на острова Ильде-Франс и Бурбон, и Моро счел это назначение замаскированной ссылкой. Но своим обращением к Бонапарту Декан невольно приоткрыл двери в Тюильри для других офицеров Рейнской армии. Моро в эти дни предупредил Максимилиана Фуа, что сейчас в настроениях республиканцев возможен опасный кризис:

— Даже самые стойкие, увидев крах своих надежд, могут склоняться к мысли, что монарх, ограниченный рогатками конституции, даст народу права, каких еще не дал народу никто... Эти люди не пойдут ни вправо, ни влево. Они, как раки, станут пятиться назад. Я уже не осуждаю мадам де Сталь, которая сожалеет о прежних идиллиях Версаля...

Раскол среди офицерства продолжался — одни горой стояли за Бонапарта, бравирюя доблестью при Маренго, служившие в Рейнской армии гордились славою Гогенлиндена. Соперники покидали Париж на рассвете, пение птиц они встречали в Булонском лесу. Из ножен, тускло поблескивая, медленно выползали шпаги. Офицеры Рейнской армии кричали в азарте:

— Виват Моро... прими от меня, вот так!

Герои Маренго тоже были отличные рубаки:

— За консула Бонапарта... получай, каналья!

Возле дома Моро на улице Анжу лакеи однажды вынесли из кареты Рапателя, всего в крови, израненного.

— В чем дело, Доминик? С кем ты дрался?

— С братом... с родным же братом! Он меня здорово распорол, но я удачным выпадом выбил ему гардой передние зубы. Теперь мы враги... на всю жизнь! Рожденные от одной матери...

— Какова причина дуэли? Не поделили наследство?

— Да, наследство... революции.

Бонапарт изменил тактику борьбы: он уже не отвергал офицеров Рейнской армии, напротив, привлекал их к себе воздаянием тех заслуг,

которых ранее старался не замечать. Моро неожиданно ощутил вокруг себя чудовищную пустоту. Бонапарт оставлял его в изоляции: пусть он пашет под люцерну поля в Гробуа, пусть листает книги в башне замка Орсе, пусть попивает вино в холостяцкой квартире на улице Анжу, а две креолки пусть грызут ему темя... Пусть!

В эти дни на улице Анжу появился Фуше:

— Я слышал, у тебя налаживаются дела, Моро?

Вокруг Моро все разладилось, но он согласился:

— Да, у меня дела хороши.

— Так тебе и надо, — улыбнулся Фуше...

Если бы знать Моро, что напишет Фуше об этом времени в своих секретных анналах: «Мы очень много болтали о равенстве, но в сущности всегда оставались аристократами — более, чем кто-либо! Наша теперешняя система есть остановка революции, отныне уже бесцельной с тех самых пор, как мы добились личных выгод, на какие можно было рассчитывать». В этих словах, сказанных для себя, только для одного себя, бывший якобинец Фуше вывернул душу наизнанку, и сейчас, глядя на якобинца Моро, он загадочно повторял:

— Так тебе и надо... да, так тебе и надо!

Салоны оставались для Парижа «конторами общественного мнения»; министры и генералы ехали вечерами к Рекамье на ее дачу в Клиши, спешили на улицу Гренель в гости к мадам де Сталь; там обсуждались дела страны, политические и военные, что никак не устраивало первого консула.

— Кто управляет Францией? — возмущался он. — Неужели толстуха де Сталь или эта тихоня и недотрога Рекамье?

Бонапарт всегда считал, что женщины — «машины для производства детей», непременно толстых и жирных, они обязаны украшать торжество мужчин-победителей. Разведенных он сравнивал с уличными потаскухами, он растапывал их любовь к другим мужчинам. А мадам де Сталь доказывала, что искусству необходима свобода (в книге «О литературе»), она отстаивала право женщины на самостоятельность (в романе «Дельфина»), и Бонапарт по двум этим книгам выдвинул против нее юридическое обвинение — в безнравственности и безбожии.

Он снова прибег к большому опыту Фуше:

— Закрой салон на улице Гренель, как однажды ты запер клуб якобинцев на замок и унес ключ в кармане...

Его неприятно поразило, что мадам Рекамье отказалась от своего портрета кисти Давида, найдя его засушенным и невыразительным,

теперь с нее пишет портрет Жерар, исполнивший и портрет генерала Моро. «Это смешно, — сказал Бонапарт без тени улыбки. — Уж не любовный ли пандан?..» Через своих сестер он снова потребовал от женщины стать его официальной фавориткой. Но, получив отказ, обзлился:

— Фуше! Оповестите банкиров — я желаю видеть ее мужа вконец разоренным, чтобы эта кривляка завтра же проснулась нищей. Если она не уступит мне, я вышлю ее из Парижа...

Разорив дом Рекамье, наверное, он испытывал радость. Однако красавица с улицы Мон-Блан переехала на Rue du Passe, где снова открыла салон, хотя и бедно обставленный. В него снова устремились люди... Нашлись еще две смелые женщины. Креолка Реншо залепила Бонапарту пощечину, чтобы не болтал пошлостей, а мадам Фавье, уроженка Кастилии, в присутствии министров и генералов ударила его веером по морде.

В первом случае Бонапарт сказал:

— Сегодня я видел сон, будто ваш муж подал в отставку и вы следом за ним уехали в деревню...

Во втором случае он ограничил себя замечанием:

— О, да вы, я вижу, настоящая испанка...

А в Париже уже поговаривали, сначала шепотом, потом и громко, что Францию ожидает создание империи:

— Это будет империя галлов.

— Галлов? Тогда при чем же здесь корсиканец?

— Вот он и станет нашим императором.

— Уж лучше пусть вернуться Бурбоны...

И, словно в насмешку над Бонапартом, упрямые ветераны революционных войн кричали ему на парадах: «Да здравствует республика!» «Свобода, равенство, братство!» — эти слова еще украшали стены парижских зданий. Бонапарт велел их замазать, но маляры замазали столь жиденько, что эти призывы, проступающие наружу, прочитывались парижанами более внимательно, нежели ранее. А каково было консулу выносить крики на улицах: «Франция погибла! Да здравствует Моро...» Префект Парижа докладывал: «Исключительные» очень много говорят о Моро». Значит, Бонапарту тоже надо говорить о Моро.

— Да, — признавал он, — у Моро большой талант, который он и проявил в отступлениях. Не спорю, что именно Моро не раз выручал армию Франции из самых гибельных положений. Суворов был прав, называя его «генералом славных ретирад». Но австрийский эрцгерцог Иоанн намного превосходит Моро, которому при Гогенлиндене

повезло чисто случайно, как иногда везет нищему, нашедшему под мостом золотой луидор...

Бонапарт спешил и потому, как горячая лошадь, нетерпеливо брал барьер за барьером, чтобы скорее преодолеть несносное для него — и маловыразительное для политиков! — положение первого консула. Чтобы каждый солдат и офицер ощутил личную зависимость от него, от Бонапарта, он образовал орден Почетного легиона — не просто рыцарское единение награжденных, нет, возникла сложная организация с резиденциями и большим капиталом для инвалидов, имевшая даже свое административное деление. Моро говорил Лагори:

— В королевские мушкетеры брали за красоту, знатность и храбрость, а Бонапарту нужна слепая преданность ему.

Лагори ответил, что Бурбоны были скромнее:

— Они изображали на своих орденах лишь мучеников церкви, а Бонапарт сразу отчеканил свой профиль...

Франция встретила новый орден настороженно. Пренебрегая ропотом народа, Бонапарт стал появляться на парадах весь в шелку, в белых чулках, с пряжками на башмаках, окруженный свитой, а Жозефину сопровождали статс-дамы, помнившие правила этикета в Версале — при королях... Бонапарт запретил охоту в королевских лесах, сказав, что все зайцы, олени и лисицы должны пасть только под его выстрелами!

Бертье навестил Моро в его квартире.

— Кстати, — сказал он, — первый консул просил передать, что ему желательно видеть тебя в составе Почетного легиона. Что бы там ни болтали завистники, но Франция тебя любит, и каждый француз спросит: «А где же Моро?»

— Франция меня знает как республиканского генерала, а республиканцу не пристало носить на груди портрет человека, не оправдавшего надежд республики...

— Бретонский упрямец! — вспыхнул Бертье. — Я вижу, ты готов рассориться даже со мной. Не ставь меня в неловкое положение. Появись хотя бы на обеде у меня в доме...

На обед к военному министру съехалась элита Парижа, и всем этим людям стало неловко, когда среди них, разряженных и сверкающих, вдруг появился генерал Моро — в сером сюртуке простого покроя, в кавалерийских сапогах с острыми, как кинжалы, испанскими шпорами. Впрочем, даже это общество оказывало Моро внимание, его просили сказать тост.

— Скажу! Я предлагаю выпить за нищих Парижа, чтобы они каждую ночь находили под мостами золотые луидоры...

Это был намек — опасный. Обида за поруганный Гогенлинден все же прорвалась наружу, и Моро не пожалел об этом. А с улицы слышался дробный перестук башмаков, молотивших по булыжникам: полиция разгоняла по тюрьмам торговков и лавочников с рынка, решивших создать свой «почетный легион», и горластый мясник охотно объяснял прохожим:

— Я кавалер берцовой кости... шутка ли!

«Чрево Парижа» со времен Генриха IV породило особую касту женщин — непокорных «пуассардок», которые еще при жизни Мольера любили поскандалить назло правительству, а теперь они шли в тюрьму, с гневной бранью выкрикивая:

— Глядите на принцессу спаржи и шпината!

— Я из легиона моркови и брюквы!

— Кавалерственная дама кошачьих печенок!

— Что в Париже без нас жрать станут?..

4. Политика свободы рук

Ученый швейцарец Лагарп, пристрастив Александра к чтению по ночам, сделал его полуслепым, Аракчеев, приучая царя к грохоту артиллерии, сделал его полуоглохшим. Молодой император в разговоре прижимал ладонь к уху, он стыдливо пользовался лорнеткой. Все эти физические недостатки искупались приятной внешностью, ласковым вниманием к женщинам любого возраста, а голова императора была способна разрешать самые немыслимые политические ребусы.

При дворе Александра тоже существовала оппозиция, и пусть не такая, как при Бонапарте, но все-таки довольно сильная; его поездка в Мемель для свидания с прусской королевой Луизой вызвала сильное недовольство в русском обществе. «Екатеринствующие» считали, что визит к пруссакам унижителен для чести России; у стариков и доводы были внушительные: «Матушка Катерина дома сидела, а дела шли куды как лучше, нежели нонеча, и при виде рублей наших в Европе не плевались, будто им червяка гадкого показали...» Вернувшись из Мемеля, император сказал графу Павлу Строганову:

— Зоилы не сознают, в чем был главный просчет моего покойного батюшки. Император шел на союз с Францией, не имея в Европе иных союзников, кроме Бонапарта... Так нельзя! Союз с одною лишь Францией ставит Россию в опасное положение: Петербург будет тогда зависим целиком от мнения Парижа. Имея же в союзе Францию, мы должны обезопасить себя — от той же Франции! — альянсами с дру-

гими государствами. Вот ради чего, а не ради голубых глаз прусской королевы я ездил на свидание в этот унылейший Мемель. — Он с улыбкой показал Строганову дверной ключ, и Строганов не понял его назначения. — Это ключ от спальни Луизы, — сказал царь...

Павел Строганов уже не выражал желания быть адъютантом в свите Бонапарта, — даже издалека он ощутил угрозу диктатуры Бонапарта в той же степени, в какой испытывали ее и республиканцы во Франции. Недавно Петербург известился о том, что путем интриг и грубого шантажа первый консул стал консулом *пожизненным*; он потребовал себе шесть миллионов франков жалованья, а день своего рождения указал считать национальным праздником. Строганов подавленно рассуждал:

— Бонапарт, кажется, уподобляет себя богам Гомера, с трех шагов достигающих вершины Олимпа: первый шаг — орден Почетного легиона, второй — консул до самой смерти с правами монарха... Что сулит Франции его третий шаг?

Разговорами о реформах Александр искусно укреплял в обществе репутацию просвещенного монарха, идущего наравне с передовыми идеями своего века. Петербург, подобно Парижу, тоже имел салоны, где царствовали женщины ослепительной красоты, умные и начитанные, в этих «говорильнях» Александр возвещал, что пожизненное консульство Бонапарта опасно не только для Франции, но и для всей Европы:

— Отнимая свободу у французов, чем он может заменить ее отсутствие? Наверняка только войнами, увлекая нацию, и без того испорченную, к новым победам и новой славе...

Решающее слово при дворе Александра имел «негласный комитет», куда вошли его молодые приятели, и этот комитет возвышался даже над министерствами. Виктору Павловичу Кочубею было уже тридцать четыре года, в окружении царя он казался стариком. В доверительной с ним беседе император сказал, что Фуше, провожая Лагарпа в Петербург, просил воздействовать на него ради укрепления дружбы царя с Бонапартом.

— Я имел глупость сочинить Бонапарту любезное письмо, но Лагарп предупредил меня, что он вручит его консулу лишь в том случае, если убедится в его мирных настроениях. А в результате мое письмо осталось в кармане Лагарпа.

Кочубей заговорил об удалении Фуше, о том, что его министерство полиции, столь грозное, ликвидировано:

— Выплывает фигура Савари, которому поручено возглавить бюро тайной полиции. Что это значит?

— Хрен редьки не слаще, — отвечал Александр...

Русский кабинет был встревожен: Бонапарт уже тянулся к Босфору, он закреплял свое господство в Италии, Швейцария и Голландия раздавлены пятою французской оккупации, и, судя по всему, ни одну из этих позиций Бонапарт сдавать не собирался. Оппозиция русских вельмож хотела бы видеть в Александре продолжателя наступательной политики Екатерины.

— Но сейчас не те времена! — здраво говорил Александр. — Раньше моя бабушка была уверена: «Без разрешения России ни одна пушка в Европе не выстрелит». Теперь мы, русские, вынуждены благодарить Европу даже за то, что нас предупреждают о своем желании выстрелить... Будем иметь руки свободными!

Эта неопределенность русской политики Парижу была понятна. Бонапарт в эти дни открыто сторонился английского посла Уитворта, но ему были неприятны и встречи с графом Аркадием Морковым. Однако избежать общения с ним он не мог.

— Талейран передал мне о неудовольствиях вашего кабинета, — сказал он, сунув руку за отворот жилета и откровенно почесываясь. — Я же не интересуюсь делами в Грузии или Персии, так почему же ваш государь скорбит о моих делах в Пьемонте или швейцарских кантонах? Разве я не указывал выгоды географического распределения наших сил? Идите и воюйте с турками или китайцами, залезайте к испанцам в Калифорнию... Я потому и поклонник вашей Великой Екатерины, которая строила политику России, имея перед собой глобус! Но она изучала глобус лишь со стороны Азии...

В дурном настроении Морков навестил мадам Рекамье в ее новом убежище на Rue du Passe, сказал хозяйке:

— Нам следует ожидать скорой войны, мадам.

— Опять эти гадости, — ответила Рекамье...

Дамы в ее салоне восхваляли добрую душу Бонапарта, который, раскрыв недавно пустую табакерку, послал солдата в лавку за свежим табаком и не взял сдачи с десяти франков. Жермена де Сталь не удержалась, чтобы не съязвить:

— Какая тема для кисти Давида! Солдат, играя мышцами обнаженного торса, является под сенью античной колоннады с горстью табака, а Бонапарт в тоге римского патриция гневным жестом отвергает его руку с деньгами. Внизу же картины нужна золотая табличка с надписью: «Великодушные консула!» И, как всегда у Давида, главный герой будет изображен без штанов, а Жозефина останется без юбки...

К ней подошел генерал Лекурб:

— Ваши слова завтра же станут известны в Тюильри.

— Почему не сегодня? — удивилась мадам де Сталь...

Морков с интересом оглядывал женщин, талии которых поднимались все выше — по желанию консула, по приказу его... О, классицизм! Не есть ли он продукт деспотии?

— В моих глазах, — сказал Карно, — вы сейчас, пожалуй, единственный во Франции, способный возглавить ее демократию. Опасность вашего положения в том, что ваше имя слишком заманчиво и для роялистов. Берегите свои убеждения, Моро, чтобы их не колебали, как стрелку метронома, что недавно изобретен в Вене для глухого Бетховена...

Лазар Карно выступал против закрытия салона мадам де Сталь, против создания Почетного легиона, против обращения Бонапарта в пожизненного консула. Он разочаровался:

— Что случилось с французами, Моро? Я протестую, но я... *один*. Все молчат, боясь потерять оклады и служебные стулья. Кажется, я уже заработал себе право устать от политики и конец жизни хочу посвятить изучению воздухоплавания и тепловой энергии... *Suum cuique!*

— Карно еще может улететь под облака, а куда лететь мне? — тихо спросил Моро. — Республиканцы, даже мои друзья, прячутся в провинции, чтобы о них поскорее забыли в Париже, или, наподадившись, шляются на поклон в Тюильри...

— Нет, еще не поздно! — оживился Карно. — Пульс революционной Франции еще отлично прощупывается на ослабевшем запястье народа... Нужен ваш талант, ваша вера!

— Почему вы решили, что на это способен я?

— Алмаз режут только алмазом...

Моро объяснил, что за свою жизнь уже посмотрел на столько заговоров, на столько переворотов, что отныне он уверовал лишь в торжество общенародного плебисцита.

— Но восемнадцатого брюмера, — справедливо заметил Карно, — Бонапарт не ждал полномочий от народа.

— Однако сейчас в случае переворота, пусть даже удачного, возникнут новые потрясения — новые Конвенты, новые Вандеи! А я не желаю стать причиной новых кровопролитий...

Заговорив о Фуше, они пришли к выводу, что в его удалении с поста министра меньше всего виновен Бонапарт:

— Фуше знал, как никто, все плутни его братьев, все похождения его сестер. Консул не выдержал скандалов в семье, когда на него надели Жозеф и Мюрат, Элиза Баччиокки и Полина Боргезе, желавшие избавиться от слезки полиции. Наконец, и адъютанты консула — Дюрок и Савари...

Перед отъездом в свое имение Фуше зашел проститься к Моро, крах карьеры, кажется, не обескуражил его.

— Пока Бонапарт не оставил Жозефину, я буду необходим и Жозефине и Бонапарту... Вот я ухожу, — неожиданно произнес Фуше, — а тебе, Моро, будет намного хуже.

— Чем хуже, тем лучше, говорят иезуиты.

— Можешь верить мне или не верить, — продолжал Фуше, — но я все это время оберегал тебя... Убедишься сам, станет ли оберегать тебя Савари? — На прощание Фуше сделал предупреждение, суть которого Моро оценил гораздо позже. — Бойся появления секретарей Робеспьера, — сказал Фуше и ушел...

Морков депешировал в Петербург об отъезде Фуше в Прованс, он не забыл упомянуть, что 3 декабря 1802 года генерал Моро отмечал юбилей битвы при Гогенлиндене, но, пожалуй, самым веселым на этом празднике был фейерверк, запущенный из садов Руджиери его адъютантом Рапателем... Морков, конечно, не мог знать, что через три дня после этого торжества, а именно 6 декабря 1802 года, с острова Олерон убежит один «исключительный»... Фуше не стало. Но машина его работала!

Жан-Клод Меге де Латуш, тайный агент Версаля еще до революции, затем секретарь Парижской коммуны, в 1792 году он открывал двери тюрем, убивая пикаю всех подряд — женщин и священников, детей и аристократов. Сам угодивший в тюрьму, он позже издал памфлет: «Охвостье Робеспьера, или Опасность свободы печати». Бабеф сначала привлек Меге де Латуша к себе, затем отверг его, заподозрив в нем агента шуанов. Писатель-убийца стал выпускать демократическую газету, которую субсидировал... Фуше! После 18 брюмера Меге де Латуш резко выступил против Бонапарта, и первый консул, недолго думая, спровадил его на Олерон, как заядлого якобинца. Депортация редактора проходила через канцелярию Фуше, который, наверное, даже радовался, что на Олероне будет иметь своего шпиона для надзора за республиканцами...

Бискайский залив зимою страшен! Утлую лодку с беглецом вышвырнуло на берег. Меге де Латуша встретили шуаны — молчаливые крепкие мужики в крестьянских плащах, широких шляпах, с шарфами на шеях. Перед ними лежали тайные тропы в дремучих лесах Вандеи, где шуаны узнавали друг друга, подражая крикам ночных птиц. Меге де Латуш ничего о себе не рассказывал, а шуаны ни о чем не спрашивали; для них было важно, что он пострадал от власти ненавистного

Бонапарта. В феврале 1803 года беглец был переправлен на остров Джерси. Английский пакетбот с общей каютой на восемь пассажиров отнесло ветром в сторону Гарвича. Отсюда в наемном дилижансе Меге де Латуш отправился в Лондон; гладкое шоссе стелилось меж зеленых лужаек, улицы деревень напоминали городские. Въезд в Лондон всегда незаметен для путешественника; ему кажется, что он проезжает очередную деревню, но дома делаются все выше и выше, наконец ему объявляют:

— Лондон! Можете забирать свой багаж...

Ноги провокатора точно отыскивали адрес потаенного убежища, где скрывались Шарль Пишегрю, отступник от революции, и Жорж Кадудаль, главарь кровавой Вандеи. Нельзя сказать, чтобы встреча роялистов с бывалым пройдохой была сердечной. Кадудаль, человек звериной силы и неукротимого духа, сразу взял любителя литературы за глотку и, легко оторвав его от пола, подержал на весу в руке, встряхивая, как бумажку: — Ну, якобинская тварь... попался?

Иного приема Меге де Латуш и не ожидал (следовательно, и не обижался). Он сказал, что именно тайный якобинский клуб Парижа и прислал его в Лондон, дабы договориться о прочном союзе с роялистами. Мало того, якобинцы сейчас более всего заинтересованы в реставрации Бурбонов, ибо при королях они бы имели больше свободы, нежели теперь...

— Ты пьян или бредишь? — заорал Кадудаль. — С каких же пор эти мерзавцы возлюбили власть королей?

Меге де Латуш повернулся к спокойному Пишегрю.

— Времена изменчивы, как и люди, — мягко растолковал он. — И нет такой идеи, которой бы не смогли победить зависть, желание власти и денег... Откуда вам в Лондоне знать, что сейчас творится в Париже? Даже такие крепкие головы, как у Бернадота и Моро, даже эти головы, заверяю вас, начинают свихиваться направо после ужасов деспотии консула...

При имени Моро Пишегрю стал волноваться:

— Моро был моим другом, мы вместе сражались за революцию. Я слишком хорошо знаю его убеждения, и разве можно поверить, что этот человек способен изменить им?

— Отвечай, пес! — рявкнул Жорж Кадудаль.

«Пес» отвечал с завидным хладнокровием:

— О важных переменах во взглядах Моро мы были извещены даже на острове Олерон, и мне смешно, что в Лондоне об этом ничего не знают. Вы не забывайте, — сказал Меге до Латуш, — что генерал

Моро без памяти влюблен в молодую и красивую жену, воспитанную семьей и пансионом в монархическом духе. Все то, что Моро не узнал в якобинских клубах, то нашептала ему ночью жена в постели...

Пишегрю с Кадудалем обменялись тревожными взглядами, и это были взгляды умных людей, которые не устроятся идти на смерть ради своего торжества.

— Ну что ж, — сказал Пишегрю, — мы сведем тебя с милордом Хамондом, с русским послом Воронцовым, а что скажут в парламенте, так оно и будет...

Савари вскоре доложил Бонапарту, что тайный агент Фуше внедрился в святая святых роялизма, у него хватит ума на то, чтобы выманить главарей из их подполья.

— Теперь нам следует ожидать появления в Париже и Кадудала и Пишегрю, когда они, попавшись на нашу наживку, станут искать связей с генералом Моро.

Бонапарт никогда не забывал, что в Бриеннской военной школе он учился у Пишегрю, который считал его способным учеником. А консул терпеть не мог всех тех людей, что имели несчастье знать его в униженной юности.

— Если обо мне скажут, что я добр, значит, я занимаю не свое место. Дело не только в Моро! Надо раз и навсегда отвалить Бурбонов от престола Франции. — Но в беседе с Талейраном он, напротив, вдруг стал жалеть королей: — Граф де Лилль уже старый человек, а живет в Варшаве хуже последней собаки. Не пора ли предложить ему пенсию?..

5. Мальта или война?

Савари все понял. Талейран тоже все понял.

Талейран, действуя через посла в Берлине, начал провоцировать Варшаву, чтобы проживающий там Людовик XVIII отказался — за деньги, конечно! — от наследственных прав на престол Франции. Одновременно Бонапарт в письме к русскому царю просил его содействия в этом каверзном вопросе.

Александр на такие фокусы не уваливался:

— У меня хватает ума понять терзания этого мошенника, которому уже не сидится на обычных стульях. Опять он жалуется мне на графа Моркова, но Моркова я буду держать в Париже хотя бы потому, что он не нравится Бонапарту...

Иначе думал прусский король. По его настоянию варшавский бургомистр Мейер вступил в переговоры с королем, который принял его за столом, обутый в русские потертые валенки.

— Бонапарт отдает вам во владение княжества Лукку и Каррару в Италии с шестью миллионами ежегодного дохода.

— И что требует от меня взамен?

— Чтобы вся семья вашей древнейшей династии Европы навечно отреклась от престола Франции. В ином случае...

Но «граф де Лилль» в гневе затопал валенками:

— В ином случае я согласен есть черный хлеб!

Все Бурбоны, жившие в эмиграции, подписали особый акт несогласия на отречение, и Бонапарт, проглядев подписи, не обнаружил среди них имени Луи Энгийенского:

— Куда же делся этот молодой человек?

— Энгийенский, — пояснил Талейран, — проживает отдельно от родственников на самой границе с нами, в городке Эттенхейме Баденского герцогства, подле любимой женщины.

— Запомним этот городишко, Талейран! С Божьей помощью я там и закончу свой короткий роман с Бурбонами...

Бонапарта уже занимало иное. Александр отказался от звания гроссмейстера Мальтийского ордена, которым так дорожил его несчастный родитель. Но Россия оставалась гарантом мира на Мальте, и консул снова писал Александру, указывая царю на упорство Англии, с каким она, вопреки решениям Амьенского договора, цепляется за бастионы Мальты. Но если Россия выступила гарантом независимости острова, то «я, — писал Бонапарт, — настоятельно прошу вмешательства Вашего Величества...». Александр понял, что, втягивая Россию в конфликт из-за Мальты, консул желает рассорить его с Лондоном. Письмо Бонапарта было помечено 11 марта 1803 года. Но через два дня все разрешилось помимо вмешательства царя. Обходя послов, Бонапарт мельком спросил Моркова:

— Вы не получали инструкций из Петербурга?

— Еще нет. Но жду.

Бонапарт задержался возле посла Уитворта:

— О чем думаете, милорд? У меня хватит арсеналов еще на три Маренго и на четыре Гогенлиндена, чтобы разгромить вас и ваши планы... Итак, вы решили объявить мне войну?

Уитворт имел хорошие нервы. Он поклонился:

— Мое королевство живет мирными надеждами.

— Знаю о ваших надеждах! По вашей вине Франция воевала десять лет подряд, теперь вы хотите войны еще на пятнадцать лет... Если в Лондоне не уважают договоров о мире, мы завесим их черным флером. Мальта или война, посол?

— Мой король слишком дорожит благами мира.

— Я не об этом спрашиваю вас... МАЛЬТА или ВОЙНА?

Уитворт покинул шеренгу послов, и его удаление означало, что Англия с Мальты никогда не уйдет. Бонапарт спокойным тоном напомнил Моркову, что ждет реакции Петербурга.

— Сейчас на Руси Святки, затем Пасха, — ответил Морков, — мы, русские, не любим спешить с ответами на письма...

Как был ненавистен консулу этот чурбан! Все отвратно казалось Бонапарту — и это некрасивое лицо, тронутое оспой, и эти узкие щелки глаз, и даже трость посла, в набалдашнике которой затаился свисток, чтобы подзывать кучеров на улицах или освистывать пафос Тальма в театре.

— Я испытываю к вам самые лучшие чувства, — сказал Бонапарт. — В ближайшие дни мы обязаны поговорить...

Талейран очень хотел завлечь Моркова на свои ночные оргии с распутницами, но этот чудак предпочитал скромные забавы. Аркадий Иванович чувствовал, что Англия сознательно шла на разрыв Амьенского мира, а Бонапарт бушевал перед Уитвортом тоже небескорыстно. Во время войны консулу легче будет расправиться с остатками оппозиции, легче сделать последний шаг к высотам Олимпа. Две шестеренки сцепились зубьями и провернули колесо истории, не успевшее покрыться ржавчиной за эти краткие месяцы блаженного мира.

Россия еще надеялась предотвратить войну. Александр предложил Англии покинуть Мальту, для охраны же острова обещал поставить в Ла-Валлетте свой гарнизон, чтобы это «яблоко раздора» сохранилось пока в русских руках. Два посла, Морков в Париже и Воронцов в Лондоне, обретали при этом полномочия мирных посредников между Англией и Францией. Но ответ царя пришел 11 мая — за день до отъезда Уитворта из Парижа... Талейран встретил Моркова словами:

— Вы решили оставить Мальту для себя?

— Россия побудет лишь в роли сторожа, дабы уберечь Мальту для самих же мальтийцев, когда угроза войны исчезнет.

Талейран глядел загадочно, как оракул:

— Все знают, что лев может загрызть тигра, но схватка льва с акулою невозможна... Да, мы не можем покарать Англию на морях, но мы вводим войска в Ганновер, наследственную вотчину британских королей на континенте Европы...

Давид в живописи, Тальма в трагедии, а в мире возвышенной поэзии Бонапарт тоже имел своего «карманного» стихотворца — графа

Луи Фонтана, который уцелел только потому, что воспевал любой режим во Франции, лишь бы его не трогали. Бонапарт, вызвав поэта, удивил его каламбуром:

— Фонтан, от вас желательно, чтобы вы как можно скорее испустили зловонный фонтан в сторону Англии.

— Слушаюсь и повинуюсь, — отозвался маэстро.

Жозефина вскоре устроила вечерний прием в Сен-Клу, гостям была предложена трагедия Расина, но, когда занавес опустился, Бонапарт не покинул ложу, все ожидали второй пьесы. Однако на сцене явился Франсуа Тальма во фраке и с бумагой в руках. Трижды поклонившись, он хрипловатым голосом извинился, что стихи, сочиненные лучшим поэтом Франции, Луи Фонтаном, еще не успели переложить на музыку:

— Но стихи и без музыки достойны нашего внимания...

Тальма прочитал грязный памфлет против Англии, в котором непристойно говорилось о парламенте, издевательски об английской нации. Дипломатический корпус встретил эту грубую выходку гротовым молчанием. Затем к русскому послу подошла Лиза Дивова, из семьи Бутурлиных, которую считали интимной подругой Жозефины; она сказала Моркову:

— Ты не уезжай сразу, ты еще нужен...

Жозефина издала помахала послу веером. Как и следовало ожидать, гостей звали к столу, а Жозефина проводила Моркова до дверей кабинета, где Бонапарт начал странный разговор:

— Я согласен и на третейское решение спора с Англией во главе с вашим государством. Если царь сумеет убедить Лондон, чтобы его флот приостановил военные действия на морях, я обещаю сразу отвести войска из Ганновера, мало того, я даже верну сорок миллионов контрибуции, собранные мною с этих несчастных ганноверцев... Садитесь, граф!

Морков сел, немало удивленный: доверие Бонапарта к русскому кабинету — очень смелый политический шаг, и нет ли тут подвоха? Бонапарт между тем продолжал:

— Вы знаете, что Талейрана в Лондон я не пошлю, но пусть ваш посол Воронцов воздействует на английские головы. Поверьте, я абсолютно искренно желаю мира в Европе...

Беседа закончилась в три часа ночи. Утром невыспавшийся Морков сразу известил Петербург, что в желании Бонапарта подчиниться решениям России он угадывает скрытое желание «превзойти Англию», а мирные настроения консула, столь неожиданные, «приобретут ему

новую выгоду — как перед собственным народом, так и перед Россией». Талейрана утром он ознакомил с текстом своей депеши для графа Воронцова — в Лондон. Талейран ему посочувствовал:

— Вы не выспались, посол? А я спал, как дитя...

В разгар лета, взяв в дорогу семью, Мюрата с женою и Талейрана, консул отбыл на север страны, где у моря размещался Булонский лагерь — плацдарм для будущего нападения на Англию. Здесь на стапелях сооружались понтонные суда для высадки десантов — с пушками и кавалерией. Даву устроил для Бонапарта завтрак в роскошных шатрах, Ней не пожалел денег для карнавала в Монтреле, а булонские моряки чествовали консула в Дюнкерке. Все французы верили, что с «коварным Альбионом» скоро будет покончено и тогда для Франции настанет время вечного мира. Толпы наряженных зевак, мужчины и дети, бегали за каретой консула:

— Отечество и Бонапарт — вот наш боевой клич!

Наконец мэр Амьена поднес консулу двух лебедей ослепительной белизны и сказал, что это — традиция:

— Королям наш город подносил одного лебедя, но сейчас мы дарим двух при виде короля и его королевы...

Только недалекий Мюрат, кажется, не понял этого намека, пожелав видеть лебедей уже поджаренными к обеду. Отсюда, из шума Булонского лагеря, под свисты морских ветров, среди грандиозных сооружений Бонапарт снова написал Александру — чтобы он отозвал своего посла Моркова. Талейрану было сказано:

— Если Петербург решил держать в Лондоне англичанина, — подразумевался Воронцов, — то пусть в Париж пришлют мне француза, — он намекал на негодность Моркова...

В ту пору еще никто не задумывался, куда будет повернута Булонская армия. Жители Лондона ожидали от Бонапарта всяческих пакостей — и высадки головорезов Массена, и прилета воздушных шаров с бомбами в корзинах. Но Булонской армии суждено в будущем проделать немыслимый «пируэт» — для встречи с русскими: среди рыбных прудов Аустерлица.

Уитворт еще не успел покинуть Париж, когда флот короля Георга уже начал свирепый пиратский разбой на морских коммуникациях, захватывая торговые корабли Франции и Голландии, и, когда сияющий Уитворт появился в Лондоне, его встретил лорд Хаммонд, не менее сияющий:

— Поздравьте нас! С этой войны, едва она началась, мы уже имеем чистую прибыль в двести миллионов франков от корабельных призов. Спасибо вам за эту войну!

— А каково здоровье Уильяма Питта?

— Лучше! По совету врачей Питт, чтобы не спиться на бренди, перешел на коньяк. Но он сильно сбавил норму портвейна, обходясь лишь пятью бутылками в форме, и будем надеяться, что эта война с Бонапартом вернет его из отставки.

Бравый алкоголизм британской аристократии ужаснул бы любого жителя континента, но только не Воронцова, который уже привык иметь дело с пьяными. Абсолютный трезвенник, он поспешил утром застать Уитворта, пока он трезвый.

— Да, наши дела неплохи, — сказал Уитворт, — теперь Бонапарт сунул лапу в наш капкан, и такой глупой овечки, как на улице Сен-Никез, уже не случится...

Речь шла о заговоре! Якобинцы, обращенные в монархическую веру, казались Лондону более активной силой, нежели роялисты. Меге де Латуш оказался ловким агентом. Парламент обязался субсидировать заговор, не подозревая, кто стоит во главе заговора. В августе Жорж Кадудаль уже покинул берега Англии, удачно высадившись у Дьеппа, за ним последовал и Меге де Латуш... Пишегрю оставался еще в Лондоне, чтобы обсудить свое будущее поведение с генералом Моро: именно участие Моро в ликвидации Бонапарта казалось англичанам главным залогом успеха. Связаться же с Моро мог только Пишегрю! У англичан всегда было пусто в арсеналах, зато подвалы битв ломались от золота, и золото воодушевляло на подвиг даже бурбонских принцев — графа Артуа и герцога Беррийского, поклявшихся выпустить из Бонапарта все кишки.

— Мы обязаны быть вместе с вами, дабы упрочить свои права на престол Франции, — было сказано ими Пишегрю. — Но прежде вы и Кадудаль должны обеспечить нам безопасную высадку у мыса Бивилль... Уверены ли вы в Моро?

— Я был его начальником, при мне его имя впервые стало известно французам, мы с ним быстро сталкиваемся. Не забывайте, что его отец был гильотинирован.

— Перед отплытием вас желает видеть граф Воронцов...

Семен Воронцов был опытным дипломатом! Однако ненависть к революции во Франции он перенес на всю Францию. Для обозначения французов он использовал слова «проклятые мерзавцы» или «негодные каналы». Безвылазно просидев в Лондоне почти двадцать лет, породнясь с британской аристократией, Воронцов уже начал судить о своей родине как о туманной абстракции, откуда крепостные мужики еще не забывают слать оброк своему пропавшему

барину. Восторженный почитатель Питта, он проводил в Лондоне свою политику — в пользу Англии, а если Англия не соглашалась с Россией, Воронцов примыкал к мнению сент-жемского кабинета. Секретные инструкции о делах Мальты он давал читать парламентариям Лондона, сам и подсказывал, как лучше ответить в Петербург, чтобы Мальта оставалась в английских руках... Таким образом, если Бонапарт во время ночной беседы с Морковым и был честен, выражая желание мира, то все потуги к миру Парижа и Петербурга были заранее обречены на провал, ибо из Лондона они разрушались стараниями Воронцова, желавшего Франции, народу Франции, консулу Франции только гибели...

Его встреча с Пишегрю состоялась в Ком-Вуде, загородной усадьбе лорда Гоуксбери. Воронцов высказал удивление:

— С трудом верится, что Жорж Кадудаль, такой смельчак, и вдруг откажется убивать Бонапарта?

— Он желает его похитить, — ответил Пишегрю.

— Надеюсь, присутствие принцев крови сделает его активнее. Моро вовремя разрушил алтари, которым прежде поклонялся. Франция, конечно, пойдет за ним. И сразу, как только не станет Бонапарта, зовите из Варшавы Людовика Восемнадцатого...

6. «Французский» замок

Лагори получил анонимную записку, в которой его предупреждали, чтобы он остерегался секретарей Робеспьера.

— Представь, — сказал Моро, — я получил такую же. Но странно, что об этом меня предупредил еще и Фуше.

— Вспомним, кто были секретари Робеспьера.

— Первый, кажется, Демаре.

— А второй... Второго звали Симон Дюпле.

— Да, Дюпле, — кивнул Моро. — Но почему сейчас мы должны их бояться? Какая-то нелепая чертовщина... мистика!

Вскоре генерал Савари с неподражаемой вежливостью пригласил генерала Моро в свое бюро тайной полиции.

— Я хотел вас лично поздравить. Дело в том, что в морском департаменте Финистер... Вы же оттуда родом?

— Да, из города Морле.

— Вас не забыли! — просиял Савари. — В департаменте Финистер префектом контр-адмирал Ньелли... Вы его знаете?

— Нет, я очень далек от флота.

— Ньелли просил оповестить вас, что население единогласно выдвинуло вас в сенаторы Франции.

— Доверие земляков приятно. Тем более, — сказал Моро, — я давно не был на родине, а меня еще помнят.

Савари глядел открыто, честно и прямо:

— Надеюсь, вы слышали, что наш консул предлагает всем, кто им недоволен (это касается и вас, генерал), встретиться в Булонском лесу для благородного поединка... Лучший способ разрешить все сомнения оружием.

— Мои сомнения на шпагах не разрешатся.

— И вы желаете оставаться в когорте недовольных? Мне кажется, честнее стать к барьеру, нежели действовать исподтишка... остротами, издевками, каламбурами, пасквилями.

— Это не мой жанр, — возмутился Моро.

— Возможно. Но пасквили вышли из-под пера вашего адъютанта Рапателя. Он достоин сурового наказания, если бы консул Бонапарт не ценил заслуги его родного брата.

— А это уже смешно, — ответил Моро.

— Это очень серьезно. Недавно из уст консула я слышал фразу: «Несправедливо, чтобы Франция страдала, раздираемая между нами... Бедная страна, если в ней есть люди, считающие, что Францией может управлять генерал Моро!» Извините, я не хотел вас обидеть, я только повторил, что сказано...

Моро вернулся на улицу Анжу, и Рапатель сообщил ему, что заходили генерал Лекурб с братом-юристом, советуя Моро приискать убежище, чтобы не ночевать дома.

— Неужели, — отозвался Моро, — возвращаются времена, когда люди боялись вечером идти домой? — Он отсчитал Рапателю денег, подсказал нужные адреса. — Ты знаешь, Доминик, как мне больно с тобой расставаться, но в Париже тебе жить нельзя. Поезжай в наш тихий Морле, женись, сажай яблони и крыжовник, вычесывай клещей из собаки, читай газеты... Мы еще встретимся, но уже в другой Франции!

Александрина родила девочку, здоровую и крикливую. С детьми и матерью она проживала в Орсе, а Моро остался на улице Анжу. В двери спальни он врезал «французский» замок с сигнальным пистолетом. Может, он еще и выстрелит, зажигая впотьмах свечу, и тогда Моро увидит, кого надо бояться...

По возвращении в Париж провокатор Меге де Латуш был сразу же арестован, чтобы на него не пало никаких подозрений. При нем

нашли очень большие деньги, массу рекомендаций от самых влиятельных лиц сент-джемского кабинета. Но подлец не знал главного — планов заговорщиков (Кадудаль и Пишегрю оказались бдительны!). Моро проживал под негласным надзором полиции, и Бонапарт часто спрашивал Савари — почему его «бюро» еще не засекло в доме Моро роялистов из Англии?

— Все это очень странно, — рассуждал Бонапарт. — Можете ли вы заверить меня в том, что в Париже нет ни Жоржа Кадудалья, ни Шарля Пишегрю, ни принцев Бурбонов?

— Наверное, их просто нету во Франции.

— Тогда мои сомнения усиливаются. Меге де Латушу нет смысла обманывать нас. От подтверждения его слов — он и сам понимает это! — зависит его судьба...

Савари, раздраженный недоверием консула, ворвался в камеру, где томился писатель, и надавал ему пощечин:

— Свинья... что ты скрыл от нас?

— Клянусь! Тряхните еще разочек Креля.

— Крель все выложил и в январе будет казнен.

— Тогда страсбургский префект Ше.

— Ше отдал кучу денег, но связей не имел...

Бонапарт появился в Лувре на живописном вернисаже, его свита не смела судить о картинах, пока не выскажет о них мнение он, консул. Перед портретом мадам де Сталь он задержался, сказав, что в этой даме большой избыток мускулатуры. В руке Жермена любила держать веточку — регулятор речи, необходимый ей, как палочка дирижеру. Конечно, не ширина плеч писательницы, а ее остроты бесили консула.

— Если неугодных генералов я высылаю за сорок лье от Парижа, мадам де Сталь не смеет отныне приближаться к моей столице на сто лье... Савари, исполните это!

Шатобриан кисти Жироде произвел на него гадкое впечатление, а в руке писателя, заложенной за отворот жилетки, французы могли видеть пародию на самого консула. Бонапарт сказал, что Жироде не пожалел дешевой черной краски:

— Шатобриан похож на якобинца, который с ножиком в зубах проник ко мне в кабинет через трубу камина. — Но весь гнев консула достался Бенжамену Констану, которого связывали с мадам де Сталь слишком тесные узы. — Савари, я думаю, нет смысла разлучать горячих любовников. Доставим удовольствие и мускулистой даме. Если они оба не успокоятся, их можно сослать и дальше, пока они не превратятся в крохотные точки, исчезающие за чертой горизонта...

Ну что ж! — решил Бонапарт, закончив осмотр Салона. — Вернисаж в этом году оставил благоприятное впечатление, пусть мои живописцы трудятся и далее столь успешно...

Репрессии против писателей вызвали тревогу в русской колонии. Елизавета Дивова приставала к Жозефине с расспросами: «Неужели и мне расстаться с Парижем, без которого я не мыслю жизни?..» Петербург отзывал посла. Но курьер русского кабинета привез для Моркова орден Андрея Первозванного, высший орден империи, носимый с голубой лентой. С этим орденом Морков и появился в Тюильри на прощальной аудиенции... Самолюбие Бонапарта было задето. Он все время доказывал царю непригодность Моркова для его политики, а молодой русский император осмелился думать иначе.

— Я видел ваш портрет в Салоне, работы Изабе.

— Кажется, он вышел удачным, — ответил Морков.

— За исключением вот этой ленты...

В награждении своего недруга Бонапарт усмотрел вызов к политической дуэли, он сказал Талейрану, что можно готовить отозвание посла Франции из Санкт-Петербурга:

— Я согласен выстоять у барьера! Не понимаю Александра... или этот щеголь решил меня напугать?

Перед отъездом из Парижа граф Морков решил откланяться мадам Рекамье. Случайно встретив Моро, дипломат, не раскрывая источников информации, предупредил, что в Париже возможен заговор против Бонапарта, почему и посоветовал остерегаться всяких «случайностей»... Моро рассмеялся:

— Я знаю только одного заговорщика, от которого Бонапарт никуда и никогда не скроется... Это — *он сам!*

Был январь 1804 года, улицу Анжу замело снегом.

Пистолет не выстрелил, а свечка не загорелась.

В дверях спальни Моро стоял гигант матрос, закутанный шарфом, и держал «карублер» (связку отмычек). Глазами он показал на сложное устройство «французского» замка:

— Такие штучки не для меня! Позвольте представиться: Жорж Кадудаль, сын мельника из Бретани, мы с вами равны в чинах, но я стал генералом от королевской милости...

Моро не спеша одевался, он был спокоен.

— Кадудаль, вождь шуанов Вандеи, не может быть моим другом, хотя и достоин уважения, как храбрый противник.

Да, в храбрости ему не отказать. Стоя спиной к Моро, Кадудаль приник к окну и не боялся выстрела в спину.

— Что вы там видите? — спросил Моро.

— Я оставил на улице своего адъютанта Пико...

Опять-таки странно. И непохоже на шуана. Почему он назвал адъютанта, будто он, Моро, сообщник Кадудалья?

— Я привел к вам друга. Можно впустить его?

— Пусть войдет, — согласился Моро...

Внешне казалось, что Кадудаль — глыба мяса, костей и сухожилий, малоподвижная, но этот великан обладал почти изящной легкостью тела. Шагнув к дверям, он издал горлом странный звук, подобный крику филина в ночном лесу, и Моро услышал тягостный скрип лестницы под чьими-то неуверенными и замедленными шагами... Это был Шарль Пишегрю!

— Здравствуй, Моро. Знал бы ты, как противно видеть человека, который предал меня... Благодаря тебе, дружище, я совершил увлекательное путешествие в Кайенну, и мне еще повезло. Я сумел бежать из форта Сикхамори, откуда людей выносят только пятками вперед... бултых — в море!

Моро нервно набивал табаком свою трубку.

— Гадина ты, Пишегрю! — сказал он. — Прежде давай припомним, кто кого предал... Это не я, это ты, подлец, изменил народу ради служения Бурбонам, ненавистным французам... Бежал? Молодец, что бежал. Сидеть тоже никому не хочется. Я тебя даже поздравляю. Но мне тогда бежать было некуда. Я был разжалован, оплеван и едва не «чихнул в мешок»... Вот она, моя голова! Спроси — как она уцелела?

Под плащом Пишегрю обрисовались контуры пистолетов. Что они? Убивать его собрались? Пишегрю сказал:

— А кто из нас гадина? Не затем ли ты, Моро, и взялся за роль тюремщика в Люксембургском дворце, чтобы помочь чесночному корсиканцу вскарабкаться на свою же шею?.. Ну, каково тебе живется теперь? Где твои былые убеждения?

Громадный кулак Кадудалья опустил на стол:

— Хватит! Мы пришли сюда не для того, чтобы лаяться.

Моро засмеялся и распечатал бутылку с вином.

— Черт с вами, — сказал он. — Если уж вы подняли меня средь ночи с постели, значит, у вас ко мне дело...

Но, послушав Кадудалья и Пишегрю, Моро понял, что роялисты ошиблись адресом. Они говорили, и довольно-таки откровенно, уверенные в том, что генерал Моро забросил прежние идеалы, как гулящая девка забрасывает чепец за мельницу. Для Моро было новостью, что в обширном заговоре роялистов, состряпанном мастерами этого

дела в Лондоне, ему отводится заглавная роль, его имя должно стать знаменем роялизма, который каким-то непонятным образом должен сочетаться с поруганной революцией... Кадудаль охотно перечислял аристократов Парижа, назвал маркиза Ривьера и братьев Полиньяков, готовых хоть сейчас дежурить возле Мальмезона.

— А когда надо убить змею, палки найдутся, — сказал он, глотая вино фужерами и не пьянея. — Я сам скручу Бонапарта и потом за деньги буду показывать его в клетке...

Моро начал с признания: да, он противник Бонапарта в такой же, наверно, степени, как и они, но у него совсем иные к нему претензии, нежели у роялистов.

— Роялисты боятся за престол Франции, а я страдаю за народ Франции... Вас ввели в коварное заблуждение относительно моих убеждений, — сказал Моро. — Я могу поставить еще дюжину бутылок, я могу пьянствовать с вами до рассвета, но мы никогда не будем друзьями. Вы для меня останетесь врагами! Как бы ни презирал я Бонапарта, но я не пойду за вами ради его уничтожения, чтобы во Франции снова воцарились преступные Бурбоны.

— Ты всегда был идеалистом-доктринером, — ответил ему Пишегрю с раздражением. — Даже когда твоему отцу рубили голову, ты плакал навзрыд, но ты не пошел за мною в эмиграцию... А чего ты достиг? Ваша свобода за решетками тюрем, ваше равенство основано на неравенстве, ваше братство во всеобщей грызне за чины и деньги. Кто прав? Я или ты?

— Довольно слов, Пишегрю! — резко вмешался Кадудаль. — Моро честный человек, и он честно сказал нам все. А мы не виноваты, что нас действительно обманули, как дураков. Потому, — решил Кадудаль, — лучше всего нам встать, извиниться за беспокойство и уйти, затворив за собой двери.

Кадудаль замотал шею шарфом, снова становясь похожим на гуляку матроса. Он взвел курок на пистолете замка:

— Может, это вам еще пригодится.

— Теперь, — сказал Савари, — я уверен сам и могу уверить вас, что ни Пишегрю, ни Кадудаль в Париже нет.

— Куда же они провалились? — спросил Бонапарт.

— Меге де Латуш провел нас...

Консул не поверил в это, ибо по опыту жизни знал, что все ренегаты служат лучше прозелитов.

— Вы ничего не умеете, Савари! На ваше место я посажу именно Меге де Латуша, который не только обманул милордов Англии, но и

привез от них полные карманы золота... Придется, мне — мне! — доказывать вам, что Кадуваль в Париже.

Савари вскоре убедился, что у Бонапарта, помимо бюро тайной полиции, существует где-то в преисподней еще одна полиция, более тайная. Не исключено, что под занавесом второй скрывается третья, а третью контролирует еще четвертая. В списках арестованных и подозреваемых он выделил фамилию Креля, которого должны казнить в январе 1804 года.

— Он знает об этом? — спросил Бонапарт.

— Знает и мучается страхом.

— Уже хорошо! Наконец, подозрителен и матерый шуан из дворян Буве де Лозье... Послушайте, Савари, я не понимаю: неужели из этих людей нельзя выжать последние соки?

— Из них уже ничего не вытечет.

— Моисей даже из камня в пустыне добывал воду...

Крелю объявили, чтобы готовился к казни.

— Нельзя ли пожить еще? — спросил Крель.

— Один ответ — один день, — отвечал Савари.

— Так не пойдет. Это не деловой разговор.

— Чего же вы от меня хотите?

— Мой ответ будет стоить всей моей жизни.

— Где Кадуваль? — спросил Савари напрямик.

— Глупцы... он с августа гуляет в Париже.

— Вся жизнь! — напомнил Савари.

— Ладно. Братья Полиньяки добыли форму консульской гвардии. Переодетые в эту форму, роялисты устроят нападение на карету консула по дороге в Сен-Клу или в Мальмезон.

— Это мне известно, — сказал Савари как можно равнодушнее (хотя внутри у него все трепетало от радости). — Когда Кадуваль встречался с генералом Моро?

И тут допрос сразу же дал осечку.

— Такое невозможно, — ответил Крель. — Моро никогда не пойдет на связи с роялистами из Лондона...

С этого момента Бонапарт сам взялся управлять тайным сыском, проявив в этом деле тонкую проницательность, знание людской психологии, мастерство следователя. Скоро уже не Савари консулу, а консул Савари излагал точную обстановку развития англо-роялистского заговора.

— С августа, с августа! — кричал он. — Кадуваль уже полгода шляется по Парижу, а что вы знаете о нем? Англичане высадили в это время у мыса Бивилль четыре отряда головорезов, а где их следы, Савари? О чем вы думаете?

Савари склонился в глубоком поклоне:

— Мною сегодня взят опасный Буве де Лозье.

— Ах, какая добыча, Савари! Надеюсь, вы не забыли поцеловать его под хвостом? Так идите и поцелуйте...

Савари вернулся в тюрьму Тампля, велел снять с ног шуана обувь и посадить в кресло на колесиках. Буве де Лозье, сидящего в этом кресле, придвигали к пламени камина.

— Пишегрю в Париже! — закричал он, не вытерпев боли ожогов. — Я скажу, только отодвиньте кресло... Кадудаль и Пишегрю были на улице Анжу у генерала Моро...

Измотанный после допроса, Савари вернулся из Тампля во дворец Сен-Клу, где бал был в разгаре. Оббитый лентами серпантина, осыпанный блестками конфетти, Бонапарт оставил танцующих и справился у Савари — как дела?

— Они были у Моро... Буве де Лозье сказал правду: Моро отказался участвовать в заговоре и выставил их вон.

— Но этого уже достаточно, — сказал Бонапарт. — Теперь дело за вами, Савари! Я занят танцами, и мне, первому консулу, не пристало шляться по чужим квартирам.

Савари посмотрел на его довольное лицо:

— Черт поberi, но я тоже не занимаюсь этим...

В ночь на 15 февраля 1804 года дивизионный генерал Моро мучился застарелым военным кошмаром. Дороги отступления были разбиты копытами конницы, кузнечный фургон отбросило взрывом в канаву, из ящиков сыпались гвозди и подковы, из рванины мешков выпадали куски угля. Потом грянул выстрел, и Моро проснулся в комнате, уже ярко освещенной.

Надежный «французский» замок сработал.

— Генерал Моро, встань... ты арестован!

Он увидел перед собой секретарей Робеспьера. Два привидения погибшего мира — Демаре и Дюпле.

Оба держали в руках белые костяные палочки — принадлежность агентов бюро тайной полиции.

— Мы с вами уже знакомы, — сказал Моро.

— Да, мы состояли в одном якобинском клубе.

Сказав так, они разом шагнули вперед и одновременно коснулись плеч Моро белыми палочками, словно накладывая на генерала незримое клеймо вечного проклятья:

— Одевайся, Моро! Пришла и твоя очередь...

7. Французы, судите!

В пансионе мадам Кампан учили, что для прогулок в Лоншане годятся духи с запахом жасмина, в салонах Сен-Жермена неприличен даже слабый аромат пачули, парфюмерия Парижа готовила духи для театра, для вечерних журфиксов, но даже мадам Кампан не могла бы точно сказать, какие духи лучше подходят для посещения государственных тюрем.

Александрине Моро исполнилось двадцать два года. Мать сказала ей, что в роду Гюлло еще не было арестантов:

— И тебе не стыдно показаться в Тампле?

— Нет! Не было же стыдно Бонапарту отрывать от меня мужа, отрывать отца от детей...

Двор Тампля был переполнен публикой, нищей и богатой, простой и знатной, плач женщин сливался в один протяжный вой, здесь же весело играли дети. Иногда в окнах тюрьмы показывались руки — страшные, изувеченные. Лиц узников не было видно, но слышались их сдавленные голоса:

— Нас пытаются! Мы умираем в муках... Скажите всем — мы честные патриоты Франции! Да здравствует республика!

— Будь проклята эта республика! — звенело из других окон. — Пусть вернутся добрые короли...

Стоило во дворе появиться тюремному начальству, как толпа родственников обступала его с вопросами о своих отцах, братьях или сыновьях. Диалоги были одинаковы:

— Его в Тампле нет, ищите в Консьержери.

— Из Консьержери меня послали сюда.

— Тогда поезжайте в тюрьму Ла-Форс...

В канцелярии Тампля молодой чиновник-бонапартист (об этом легко было догадаться по красной гвоздике на его сюртуке, заменявшей отсутствие ордена Почетного легиона) вызвался проводить женщину до камеры свиданий. Следуя длинным коридором, он ловко вставлял в свою речь вопросы — а где же Рапатель? а где же Лагори? При всей своей наивности Александрина дала правильный ответ:

— Мы с мужем проживали всегда отдельно — я в замке Орсе, он на улице Анжу... Я не знаю, где эти люди.

Девочкой на острове Бурбон она видела, как ее отец привозил негров-рабов из Занзибара на свои сахарные плантации — в клетках. А сейчас сама оказалась в клетке, с другой же стороны (тоже через клетку) она увидела мужа.

— Моро, Моро! Жан... Жан, я пришла к тебе...

В нем было что-то совсем чужое, незнакомое, и Александрина не сразу догадалась, что он плохо выбрит. Моро крикнул ей через прутья решетки, чтобы она не плакала:

— Жившему у подножия вулкана, мне давно бы пора знать, что вся лава потечет на меня, весь пепел падет на мою голову. Не плачь... золото мое! Не плачь, счастье мое, глаза мои, губы мои, радость моя безмерная... Ну, будь так добра: улыбнись мне и скажи свое противное «пхе».

— Пхе, — ответила жена, глотая слезы...

Заплаканная, она вышла на двор тюрьмы, и здесь все эти люди, ждущие свиданий с родственниками, стали вдруг для Александрины родными и близкими: отныне она уже была сопричастна их страданиям. Но в Париже существовала еще одна тюрьма — Карм, в которой когда-то Жозефина Богарне томилась вместе с Терезой Тальен, и на стене их камеры долго сохранялись выцарапанные Жозефиной слова: «О блаженная свобода! Когда ты перестанешь быть пустым звуком?..» Об этом Александрина узнала со слов маркизы Идалии Полиньяк:

— Между нами есть нечто схожее: у вас двое детей, у меня — двое, у Жозефины тоже были сын и дочь, когда она писала эти слова. Ах, что нам политика? Мы только матери...

Контр-адмирал Ньелли, префект избирательного округа Финистер, еще ничего не зная, прибыл в Париж с делегацией земляков, даже с женой и детьми, чтобы лично доложить Бонапарту об избрании народом в сенат славного генерала Моро. Ньелли тут же со всей семьей заточили в мрачном Венсенском замке, и несчастный старик ничего не понимал:

— За что? Неужели только за то, что я возглавлял избирательный округ, почтивший Моро доверием? Но почему должны страдать моя жена, мои дети... Где же справедливость?

Афиши извещали парижан о расценках на головы Пишегрю и Кадудалья, — цены быстро росли, Пишегрю скрывался на квартире своего лучшего друга. Когда плата подскочила до ста тысяч экю, лучший друг привел полицию.

— Будь ты проклят, — оплевал его Пишегрю...

Это случилось 28 февраля. Пишегрю отказался давать какие-либо показания следствию, он говорил, что все мысли, все слова прибережет для публичной речи в суде.

— Я не тот бездарный актер, что подает реплики за сценой. — На вопросы о Моро он отвечал с крайним раздражением: — Оставьте Моро в покое! Да, я был у него. Да, я беседовал с ним. Моро несколько

не изменился за эти годы. Он такой же твердолобый якобинец, каким был и раньше. Моро сразу отрекся от наших дел. Теперь я молчу. А все, что народу надо услышать, будет сказано мною на суде...

Такое поведение Пишегрю насторожило Бонапарта:

— Но что он может сказать, этот изменник?

Сомнения, сомнения... Очевидно, за душою Пишегрю есть что-то еще такое, что способно потрясти не только своды суда, но заколеблются и колонны в Тюильри. Это понятно. Ведь соратники Пишегрю, вместе с ним осужденные, уже помилованы Бонапартом. Но Бонапарт не помиловал Пишегрю, на которого сам же и донес Директории. Теперь Пишегрю сядет на скамью подсудимых, а его бывшие друзья, благодарные Бонапарту, станут возвышаться над ним на прокурорских кафедрах... Что он скажет тогда?

— Мне это не нравится, — произнес консул...

Девятого марта Жорж Кадудаль ехал по улице Одеон в кабриолете, он ехал один — без адъютанта Пико. Тайный агент полиции узнал главаря шуанов и вскочил на подножку. Кадудаль убил его сразу же, прыгнув на мостовую. Но среди прохожих было немало агентов, и они, чтобы вызвать сочувствие толпы, закричали: «Опасный грабитель... держите вора!» Кадудаль насмерть уложил двенадцать человек только кулаками. Толпа сыщиков и прохожих неслась за ним. Он прыгал через заборы, сокрушал грудью ворота домов. Врезался телом в стекла магазинных витрин. Приводил всех в ужас силою и бесстрашием. Но сотни людей уже облепили его, как мошкара облепляет гигантскую тушу, обреченную на гниение. Следствию он заявил:

— Эй вы... не тыкать! Я хотя из мужиков, но чин генерала заработал не в лакейских. Знаю, в чем меня обвините. Но я не хотел убивать консула. Я хотел лишь похитить его и укрыть от людей, как укрывают чумных от здоровых, чтобы они не могли заражать других...

Следствие установило: Кадудаль хотел напасть на Бонапарта тем же числом роялистов, какое составляло бы и конвой консула. Он хотел сражаться один на один! В этой наивности крестьянина было что-то подкупающе-благородное. На вопросы о генерале Моро он отмахивался с улыбкой:

— Да бросьте! Этот подлец Меге де Латуш задурил нам в Лондоне головы, будто Моро спит и видит коронацию Бурбонов, вот мы, глупцы, и попались на эту вкусную приманку...

Савари вошел к Бонапарту с докладом:

— Так что же делать с Моро? Ни Пишегрю, ни Кадудаль не признают его участия в заговоре... Как же теперь строить его обвинение, если юридически он ненаказуем?

— Молчите, Савари! Моро имеет связи, ведущие далеко. Можно предполагать, что тут замешан и Буонарроти, и даже адмирал Трюге... Но для составления пышного букета недостает голов графа Артура или герцога Беррийского.

Савари погнал лошадей в Нормандию, там он много ночей дрожал от холода на утесах Бивилля, подавая фонарем сигналы всем кораблям, плывущим мимо. Однако принцы королевской крови, не оповещенные из Парижа о готовности к покушению, и не подумали рисковать в этой английской аванюре. Савари, жестоко простуженный, вернулся в столицу. Газета «Монитор» оповестила читателей: «Арестованы 59 бандитов, готовивших покушение на первого консула». В числе «бандитов» значилось и имя Моро — главаря роялистов. Никто не поверил этой клевете. Не было француза, который дал бы себя убедить в том, что их генерал Моро вдруг сделался роялистом, сами же роялисты смеялись над этой выдумкой, всюду говорили:

— Ну кто мог это придумать? Землетрясению мы удивились бы меньше... К чему пишут о «заговоре Моро»? Не лучше ли писать совсем иначе: «Заговор против Моро»!

Случилось обратное тому, на что рассчитывал Бонапарт. Вызвав террор, консул надеялся, что Франция притихнет, безголосая и покорная. Но в народе возникла совсем иная реакция. «Возможно, еще никогда за время тирании Бонапарта люди не высказывались так свободно и так смело, как тогда» — это, читатель, слова современника. По сути дела, Бонапарт нечаянно для себя вызвал во Франции войну мнений. На острове Святой Елены, уже умирающий, он признался: «Кризис был тогда из сильнейших, в общественном мнении началось брожение, клеветали на правительство по отношению к заговору и заговорщикам...» Исправить положение было нельзя.

Париж бесстрашно расклеивал прокламации:

**«СВОБОДУ МОРО или
СМЕРТЬ БОНАПОРТУ!»**

Бонапарт трусливо спрятался в загородном Сен-Клу, он обставил резиденцию караулами и (как писали очевидцы) часами просиживал в башне с подзорной трубой, наблюдая за дорогой в Париж, в каждом всаднике ожидая гонца, спешащего с известием о восстании в столице. Возле дверей спальни он укладывал на ночь верного мамелюка Рустама, а перед Мюратом консул даже не скрывал своих опасений:

— О, как призрачна власть в окаянной республике! Моя жизнь в руках того офицера, что командует караулом. Стоит ему свихнуть

мозги на республиканских идеях, и его сабля сегодня же будет торчать из моего живота... Я успокоюсь, когда подо мною будет массивный престол монарха!

Савари старался переломить общественное мнение Франции, он велел Меге де Латушу:

— Сочини брошюру, увлекательную, как роман. Отообрази в ней связи Моро с англичанами. И не бойся открыто писать о себе, что ты якобинец... тебя не тронут!

Брошюра называлась: «Союз якобинцев Франции с английскими министрами». Такое же задание получил Пьер Редерер, тоже бывший якобинец. «Я еще никогда не видал столь зловещего для правительства (Бонапарта) настроения», — в ужасе признавался Редерер под старость. Но состав суда был уже подобран, начались не только допросы, но и пытки заключенных. В подвалах Тампля страшно изуродовали молодого Пико — адъютанта Кадудала; парню так долго жгли ноги, что ступни обуглились, а кисти рук раздавили слесарными тисками. Бонапарт требовал от Савари крутого решения: или — или. Для успокоения публики нужно было что-то новое, необычное...

В канцелярии Тампля был сервирован богатый стол, Моро вызвали из камеры, Савари дружелюбно сказал:

— Бонапарту надоело... Он желает вас видеть.

— Зачем?

— Пора кончать этот анекдот. Напишите откровенно все, что известно о заговоре, поедем в Сен-Клу, консул простит, в «Мониторе» будет об этом объявлено, и вы — сенатор!

— Благодарю, — ответил Моро. — Никуда я не поеду, а писать ничего не стану. Вам желательно видеть меня раскаявшимся, чтобы моя слабость прикрыла ваши преступления?

— А если я сразу выпущу вас из Тампля?

— Нет, — отказался Моро. — Теперь я из Тампля не уйду. Теперь-то уж я должен довести дело до конца. Я послушаю, что скажет на суде Пишегрю, и сам скажу все, что я знаю. — Моро заговорил об аресте Фуа: — Для себя я ничего не прошу. Но всему есть предел. Зачем арестован полковник Фуа? Он весь изранен в битвах. Таких людей — и держать в тюрьме?

— Хорошо, — сказал Савари, — я выпущу Фуа...

Он вернулся в Сен-Клу, застав консула в обществе Талейрана и Коленкура. Талейран многозначительно заявил, что, судя по результатам заговора, эти бессовестные англичане ценят кровь Бонапарта дешевле крови Бурбонов. Эта фраза произвела на консула такое же

действие, как удар хлыстом по норовистой лошади. Он живо обернулся к Коленкуру:

— Берите драгун, ночью пересечь границы Баденского герцогства. Вы сами разберетесь, на месте, где ночует герцог Энгиенский — в доме прелестной Роган де Рошфор или в гостинице, что напротив ее дома. Эттенхейм — так называется, Коленкур, этот невзрачный городишко!

...Арман Коленкур был тогда инспектором его конюшен. Маркиз много делал для Бонапарта. Но делал и ради любви к мадам Адриенне де Канизи, которую он разводил с мужем, хотя Коленкур рисковал... даже очень рисковал.

Александрина открыла окно в сад, ей очень хотелось покоя... Неожиданно лакей сообщил, что внизу (дело было в Орсе) какая-то дама просит о свидании.

— Пусть поднимется, — разрешила Александрина.

Перед нею явилась незнакомая женщина уже в летах, она держала в руке дорожный сак.

— Знакомо ли вам имя Розали Дюгазон?

— По театральным афишам — да.

— Значит, от мужа вы обо мне не слышали?

— Никогда.

— Его молчание, наверное, извинительно.

— Присядьте, мадам.

— Благодарю. Дело в том, что я долго и безнадежно (мне об этом не стыдно сказать) любила генерала Моро... Нет, я пришла не для того, чтобы причинить вам лишние муки, которых у вас и без моих признаний достаточно... Моро пока еще в Тампле, но, когда следствие закончится, он окажется в Консьержери.

— Откуда, мадам Дюгазон, это известно?

— Милая моя, я ведь из «Комеди Франсез», а вся наша труппа во времена террора сидела по разным тюрьмам, ожидая казни со дня на день... Когда у вас свидание с мужем?

— В следующий четверг.

— В этот день останьтесь дома — за вас пойду я...

Из дорожного сака актриса извлекла мрачные одежды кармелитки, с профессиональной ловкостью переделалась, ее голову совершенно укрыл капюшон монашенки, давно отрешенной от мирских страстей. Дюгазон сказала:

— Я так много извела, столько перестрадала, что в конце жизни у меня ничего не осталось, кроме любви к вашему мужу. Простите,

что напоминаю об этом. Но иначе мне трудно объяснить свое поведение...

Дюгазон изложила свой план: она явится на свидание в Тампль под видом монахини, как сестра или тетка Моро: в камере она и останется, а Моро под глубоким капюшоном и в длинной рясе, скрывающей его фигуру, выйдет на свободу.

— Вы погубите себя и его, — заплакала Александрина. — Вам не позволят теперь видеть Моро наедине... Если вы так добры, мадам, прошу — не делайте ничего такого, что могут истолковать во вред вам и моему супругу.

Розали откинула капюшон, встряхнув волосами, и Александрина позавидовала ее поздней, но еще яркой красоте.

— Жаль, — ответила актриса. — Париж ожидает от меня прощального бенефиса, и я решила сыграть свою последнюю роль на подмостках тюрьмы Тампля... Если этот план неуместен, так что же я могу сделать еще для свободы Моро?

— Я давно уповаю только на Божью милость.

— А я буду уповать на трагедию «Серторий», в которой Помпей бросает в огонь список заговорщиков, не читая его...

Париж был заранее извещен, что Дюгазон выбрала для прощального бенефиса «Сертория». Все ждали появления Бонапарта, обожавшего трагедийную выпренность. О присутствии его в театре узнавали по караулу возле дверей, по задернутым шторкам на окошках из лож в коридоры, — он оставался невидим для других, огражденный от публики деревянной решеткой. Взвинченная Дюгазон играла Корнелию с небывалым накалом, а когда Серторий, не веря в заговор, швырнул в пламя список своих врагов, она обернулась лицом к ложе Бонапарта, в трагическом призыве вытянув к нему руки:

— О Серторий! Какие боги вложили в сердце тебе чувств пламень благородный, о, как велик ты стал...

Бонапарт понял, ради чего устроен этот бенефис, а публика, уже распознав интригу, устроила артистке овацию. Консул быстро удалился из театра. С верхних ярусов зала на головы зрителей плавно опускались белые батистовые платки, на которых было отпечатано типографским способом:

**ДРУГ НАРОДА, ОТЕЦ СОЛДАТ МОРО — В ОКОВАХ.
ИНОСТРАНЕЦ СТАЛ НАШИМ ТИРАНОМ.
ФРАНЦУЗЫ, СУДИТЕ САМИ!**

Дюгазон вызвал директор театра. Он сказал ей:

— Блестящий бенефис, мадам. Как уцелела моя голова? Но где была и ваша? Я вас искренно поздравляю: секретарь нашего консула Буриен велел оставить вашу старость без пенсии.

— В этом мире, — ответила женщина, — кроме ничтожной пенсии существует еще и большая любовь... Я сыграла свою последнюю в жизни роль. Французы, судите!

8. В очереди на смерть

Эттенхейм спал. Клара Роган де Рошфор проснулась от шума в два часа ночи. По стенам перебежали красные отсветы. Казалось, что в городе пожар. Она подбежала к окну. Вся улица была заставлена лошадьми, в руках драгун обгорали смоляные факелы. Женщина вдруг увидела Энгиенского: его вывели из отеля в нижнем белье. Он отыскал в окне любимую и сразу отвернулся, чтобы не привлечь к ней внимания французов. «На рысях... марш!» — скомандовал Коленкур.

Энгиенского везли через Францию очень быстро, никто не вступал с ним в разговоры, но молодой Бурбон, потомок «великого Конде», вел себя спокойно. Ночью кавалькада всадников въехала внутрь мрачного замка.

— Узнаю Венсенн — здесь я родился.

— Здесь и умрешь, — сказали ему.

Суда не было, а было судилище. Бонапарт прислал из Парижа сабреташей, жаждавших отличий, банду оголтелых бонапартистов возглавлял генерал Пьер Гюллен, раньше часовых дел мастер. Как можно быстрее Энгиенского обвинили в устройстве заговора на жизнь Бонапарта, в том, что живет на деньги, отпускаемые для роялистов банками Англии.

— В последнем я сознаюсь, — сказал Энгиенский. — А на что бы я жил иначе? Не воровать же...

Ему зачитали смертный приговор, который Савари немедленно утвердил. Молодой человек спрашивал:

— За что? Где же хоть малая доля моей вины?

Сабреташа стали над ним измываться:

— Он еще спрашивает — за что? Но если француз достиг чина полковника, значит, он уже способен обо всем на свете судить справедливо. Иначе и быть не может...

Энгиенский хотел отрезать прядь волос, чтобы переслать ее с запиской для любимой в Эттенхейм:

— Пусть обо мне останется у нее память.

Полковники-судьи лирики не признавали:

— Успокойся! От тебя даже памяти не останется...

Ночью в камеру Энгиевского вошел священник:

— Господь повелел мне сказать вам, что он давно ожидает вас...

Поспешим же, герцог, ближе к Богу!

Во рву Венсеннского замка было темно. Гюллен светил фонарем, но солдаты никак не могли прицелиться.

— Слушай, — сказал Гюллен, — нам трудно попасть в тебя в такой темноте. Не сможешь ли подержать фонарь?

Энгиевский прижал фонарь к своей груди:

— Надеюсь, вам так будет удобнее?

— Да, спасибо. Теперь мы видим тебя... пли!

После казни Савари и Коленкур стали хлестать вино в покоях Венсеннского замка. Коленкур спросил:

— Вам не кажется это злодейство бессмысленным?

— Похоже на то, — согласился Савари. — Нашему консулу захотелось взбодрить себя стаканом свежей человеческой крови. Уж теперь-то Англия моментально сколотит против Франции новую мощную коалицию... заодно с Россией!

— Я слышу голос женщины и плач детей... откуда?

— Да, — сказал Савари, — здесь в замке сидит семья контр-адмирала Ньелли... таков приказ консула!

Когда до провинции дошло известие о казни Энгиевского, Фуше сказал: «Это не просто юридическое преступление — это хуже: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА». Толкнул Бонапарта на преступление многомудрый Талейран, и Бонапарт, при всей своей жестокости, кое-что уже понял.

— Задали вы мне лишнюю работу! — сказал он Талейрану. — Теперь отзывают французов из Петербурга поскорее, пока русские не дали им хорошего пинка...

Коленкур сказал, что приема ожидает несчастная Идалия Полиньяк с просьбой о помиловании мужа.

— Да, маркиз! Теперь я вынужден быть милостивым...

6 апреля Савари был срочно вызван в Тампль, где ему сказали, что Пишегрю найден в казарме задушившимся собственным галстуком. Вечно полупьяный надзиратель Фонконье перебрал в эту ночь, кажется, лишку. Савари спросил его:

— А почему у Пишегрю не отняли галстук?

— А на чем бы ему тогда вешаться?..

Никто не поверил в самоубийство Пишегрю: человек, упорно молчавший на допросах, чтобы заговорить на суде, — конечно, такой человек опасен. Возможно, версия о самоубийстве и была бы правдоподобна, случись смерть Пишегрю ранее казни Энгиевского, но теперь Бонапарту уже не верили. Европа пережила нервное потрясение не потому, что Энгиевский был другом народов, — нет, политики справедливо указывали на грубое нарушение международного права: драгуны Коленкура перешли границу Бадена, схватив невинного человека на чужой территории. После смерти Пишегрю у Моро отобрали бритву, и он не упустил случая для создания каламбура: генерал требовал вернуть *rasoir national* («национальную бритву», как называли во Франции гильотину). Никто не оценил тогда его зловещего юмора... Демаре и Дюпле Моро не терпел, третируя их, оскорбляя. На вопрос о Буонарроти он дерзил:

— Я же не спрашиваю вас о ваших знакомых.

— Что известно о тайном «Обществе филаделффов»?

— Если оно тайное, пусть в тайне и останется...

Судя по тому, как часто поминали имя Виктора Лагори, Моро догадался, что Лагори, очевидно, был более видной фигурой в демократии, нежели он полагал о нем ранее. Моро чувствовал, что Лагори ищут. Наверное, он где-нибудь бродит сейчас по дорогам провинции, играя в трактирах на гитаре. Но спрашивали и о мадам Софи Гюго, и Моро понял, что полиции известно о любовном романе этой женщины с Лагори.

— Не приставайте! — отвечал Моро. — Я знал только ее мужа, служившего при моем штабе на Рейне, но где он сейчас... Кажется, в Италии — ловит в горах разбойников.

Демаре и Дюпле отказались иметь дело с Моро, и Савари прислал префекта полиции Этьена Паскье, который не мог раздражать узника ни прежним якобинством, ни теперешним роялизмом. Паскье сам и отметил эту общность:

— Наши отцы были адвокатами, и оба они «чихнули в мешок» на эшафоте неизвестно за что... Так, Моро?

— Причина была. Мой отец осмелился защищать в суде бедного крестьянина, засеявшего свое поле не маисом, а картофелем. Тогда у меня, — сознался Моро, — был очень тяжкий период жизни, и Пишегрю был уверен, что я последую за ним в эмигрантскую армию принца Конде.

— Почему вы сразу не донесли о его измене?

— А черт его знает! — честно отвечал Моро. — Я ведь думал, что бумаги о нем мне нарочно подкинули в карете, брошенной на дороге*. У Пишегрю всегда было много завистников его славы, и мне казалось, что враги решили его погубить...

В беседе с Паскье он не терял веры в лучшее будущее:

— Если бы у меня не было этой веры, стоило ли мне отдавать войнам юные годы? Хотя, по правде сказать, Паскье, я не вижу большой разницы между пушкой и гильотиной — и пушка и гильотина одинаковые орудия пытки... Однако, — засмеялся Моро, — большой опыт отступлений приучил меня при отходе армии заклепывать пушки противника!

Паскье отлично понял его намек:

— Вы желаете сказать на суде то, чего уже не может сказать Пишегрю? Предупреждаю: Бопапарт будет настаивать на смертном приговоре, чтобы затем помиловать вас и этим вердиктом поднять свой авторитет в народе. Но возможно и другое: он нарочно вводит судей в заблуждение, чтобы, добившись от них смертного приговора для вас, утвердить его! Кстати, знайте — Идалия Полиньяк уже была у Жозефины...

Об этом визите Александрина Моро уже знала, решив тоже ехать в Мальмезон, согласная на любое унижение — лишь бы спасти мужа от казни. Мадам Гюлло возражала:

— Пусть отрубят моему зятю голову и пусть мои внуки останутся сиротами, но мне, гордой креолке с Бурбона, не пристало терпеть унижений от этой вредной семейки...

В прудах Мальмезона, под нависшими купами деревьев тихо плавали черные лебеди. Маркиза Куаньи, придворная дама, забрасывала в пруд удочку.

— Не надо мне кланяться, — сказала она еще издали. — Вам еще предстоит немало кланяться в этом доме... Я все уже знаю, Жозефина тоже. Пройдите к ней сразу.

Жозефина сумела забыть прежнюю вражду с семейством Гюлло, проявив благородство. Это и понятно: она сама ожидала казни в тюрьме, сама потеряла мужа на эшафоте и по-женски лучше мужчин понимала, как тяжело терять близких.

Но она ничего не значила в государстве мужа.

* Бопапарт обнаружил документы, избличающие Ш. Пишегрю в связях с Конде, в карете русского шпиона графа Антрега; странно, что Моро нашел такие же документы тоже в дорожной карете. Нам встретится еще одна карета, но уже в 1813 г., о чем речь в романе пойдет позже.

— Могу лишь советовать, — сказала Жозефина. — Встаньте возле этих дверей, которых не миновать консулу. Если хотите добиться успеха, называйте его самым высоким титулом... хоть императорским! Этим вы его сразу растрогаете.

Заранее опустившись на колени, Александрина невольно сжалась в комок, покорная и готовая к унижению. Послышались шаги консула, женщина впервые увидела его так близко. Вот он — коротенькое туловище с уже выпирающим брюшком, Бонапарт быстро поправил на лбу реденькую челку.

— *Ваше величество!* — титуловала его Александрина. — Неужели вы не можете простить моего несчастного мужа?

Бонапарт не мог скрыть своего удивления:

— Мадам Моро? Почему вы просите за него? Ведь ваш муж собирался занять мое место.

Александрина вскочила с колен, крича и плача:

— Неправда, это клевета... Я знаю все! Моро мне рассказывал. Вы были еще в Египте, когда Сийес предлагал ему как раз то высокое положение, какое сейчас занимаете вы.

— Положение *Ego Величества*? — усмехнулся консул.

— Нет! — кричала Александрина, яростная от борьбы за своих детей. — Нет, нет, нет... Моро честный человек. Отказавшись от власти при Директории, как он мог бы желать власти при Консулате? Ради моих детей... умоляю...

— А сколько их у вас? — спросил Бонапарт.

— Двое.

— Они, наверное, жирные? Они толстые, да? — назойливо приставал консул. — Они много плачут, они мешают спать?

Жозефина помогла Александрине своими слезами:

— У меня тоже было двое, когда я томилась в Карме...

Бонапарт, уже не глядя на мадам Моро, обращался к жене, понимая, что здесь замешано ее доброе сердце.

— В чем дело? — заговорил он. — Я всегда уважал Моро, и я не собираюсь тащить его на Гренельское поле...

В душе Александрины возникла робкая надежда. Она велела кучеру кареты следовать за нею, а сама пешком пошла через Париж, и старая цветочница подарила ей букетик фиалок. В ответ на это сочувствие Александрина щедро отсыпала в сморщенную ладонь монет, а старуха удивилась:

— Такие большие деньги человек может отдать в двух случаях — в страшном горе или в большой радости.

— У меня сейчас и то и другое, — ответила Моро...

В этот же день Бонапарту заявил протест генерал Лекурб, сказавший, что держать Моро в тюрьме — преступление.

— Народ знает Моро, народ любит Моро...

Бонапарт вычеркнул Лекурба из списков армии.

— За сорок лье от Парижа, — велел он Савари.

Вряд ли французы заметили, когда и с какого рубежа их республика превратилась в военную диктатуру, но сторонние наблюдатели, глядевшие на Францию издалека, уже давно предсказывали обращение диктатуры в абсолютную монархию. Конечно, нужна большая дерзость, чтобы из недр революции вызвать нового идола со всеми атрибутами монархической власти — престолом и короною, наследственностью и «цивильным листом», который должен оплачивать народ... Карьеристы заранее учуяли, в чем нуждается душа корсиканская. Уже с весны в «Мониторе» публиковали письма из провинции. Их авторы, префекты и мэры городов, назначенные при Бонапарте, требовали, чтобы звание консула стало наследственным, как в монархических династиях. Они еще боялись произнести слово «император», но Бонапарт сам помог им: «Если Франция и народ нуждаются в упрочении порядка, я не могу отказать ни Франции, ни народу». Чтобы ускорить события, в Тайном совете он перешел к угрозам:

— Вы разве решили испытывать терпение моей армии? Пока вы тут болтаете, моя армия пустит в дело штыки...

О том, что штыки пойдут в дело, напоминал и «Монитор». Лазар Карно предупреждал в Сенате, что, какое бы ни возникло решение, оно всегда будет фиктивным, насильственным:

— Общественное мнение никогда не будет правильно выражено, пока во Франции отсутствует свобода печати...

Бонапарт вызвал из отставки Фуше, указав ему, что пора возобновить министерство полиции. Он предъявил ему бумагу, полученную из испанского Кадикса, где базировалась французская эскадра под флагом адмирала Трюге:

— Трюге слишком горячо порицает желание народа видеть меня императором. Все мы знаем, что на флоте полно парусины, канатов, цепей, меди и всяких красок... Не может быть, чтобы все сошлось точно по калькуляции. Если этого барахла не хватит, надо взбодрить Трюге судом за хищения. Странно, что адмирал столько раз сидел в тюрьмах, а все еще не наелся чечевичной похлебки...

18 мая 1804 года Бонапарт — с именем НАПОЛЕОНА — был провозглашен французским императором. Начиналась оргия празднеств,

самой низкопробной лести; в эти дни можно было слышать даже такие восклицания: «Корабль революции введен в спокойную гавань империи... Великий человек завершил свое творение... Он бессмертен, как и его слава! Долой оковы демократии, губящей свободу и равенство... Да погибнет невежество наших былых заблуждений!..» Только один Лазар Карно осмелился выступить против создания империи.

— Что с вами, французы? — спрашивал он. — Или вы... больны? Неужели Франция показала человечеству образцы свободы только затем, чтобы сама же Франция не могла вкусить от ее благ? Неужели природа, вложившая в душу каждого человека неугасимое влечение к свободе, поступает с нами, как злая мачеха? Мое сердце говорит, что свобода — это не фантазия, а любой порядок демократии всегда будет прочнее власти одного человека, власти личного произвола...

Речь Карно — как последний вздох революции!

Через десять дней в Париже открылся процесс Моро.

9. За Моро, против Моро

Восемнадцать генералов (в том числе и Бернадот!) стали маршалами, а Мюрата император удостоил еще и титула «великий адмирал». Всегда пылавший ненавистью к Моро, этот «адмирал» ретиво взялся за поручение Наполеона — оцепил Париж, замкнул заставы, задержал отправку почты, всех въезжающих в столицу обыскивали. Савари было поручено взять шесть тысяч штыков из гарнизонов, окружить здание суда, внутри его расставить караулы, дабы пресекать в публиче любое проявление сочувствия к подсудимым...

Бонапарт заранее устранил из суда присяжных заседателей, судивших по долгу гражданской совести, он назначил судей без совести, зато лично ему преданных. Цитирую: «Важно отметить, что весь процесс над Моро рассматривался правительством как процесс над лидером республиканской оппозиции, чье осуждение необходимо для дальнейшего усиления режима. Это обстоятельство хорошо понималось и в обществе, и бонапартистски настроенными судьями»*. Председательствовал Эмар, обвиняли Реаль, Тюрио и Гранже, защищать Моро взялся адвокат Лекурб — брат сосланного генерала.

— Мне уже терять нечего, — сказал Лекурб. — Шесть тысяч солдат на улице приветствуют Моро, их боится даже Савари...

Сушая правда: тех солдат, что стояли внутри здания, Савари за время процесса менял четырежды (наслушавшись речей, они из бо-

* *Турган-Барановский Д.М.* Наполеон и республиканцы. Изд. Саратовского ун-та, 1980, с. 90.

напартистов делались республиканцами). Заседания суда начинались в семь часов утра, когда ряды для публики еще пустовали. Маркиз Ривьер сказал Моро:

— Злая шутка! Волею Бонапарта мы записаны в одну шайку. Бандит, я заключаю вас в пылкие бандитские объятия.

— Обнимайте! Но я, маркиз, не рассчитывал грести с вами одним веслом на одной и той же каторжной галере...

Конечно, Моро было не по себе оказаться на одной скамье с роялистами. Но с Кадудалем он даже сдружился. Жорж вел себя с удивительным мужеством, беря на себя даже чужие вины; безграмотный крестьянин, он обладал хорошими манерами и, замечая в публике слезы женщин, всегда вставал, низко кланяясь в их сторону... Кадудаль намекнул Моро:

— Знаешь ли, что в гарнизоне Парижа не все спокойно? А если рискнуть, можно взбунтовать солдат. Меня они не поддержат — я роялист, но тебя вынесут отсюда на руках...

Да, во время процесса были замечены люди, рассыпавшие угрозы: «Если Моро осудят, императору не жить». Но суд продолжался, хотя обвинения рассыпались. Давшие показания против Моро теперь отказывались от них. Они говорили, что ложные показания вырваны у них пытками, их выводили к свежим могилам, где угрожали расстрелять сразу, если они не подпишут ложных обвинений против генерала...

Моро уже начал «заклепывать пушки» противника:

— Вся моя жизнь только Франции, только революции! Мне не было и семнадцати, а я уже командир батальона, не было двадцати, когда я стал дивизионным генералом. Сейчас моя жизнь стоит лишь капли чернил, необходимой для подписания смертного приговора. Но никто в этом мире не заставит меня раскаиваться в начале жизни, прекрасном, как и в конце ее. Клянусь — я жил и умру гражданином Франции!

Публика рукоплескала ему, женщины бросали цветы, через окна слышался гул солдатских выкриков: «Свободу Моро!», а Кадудаль позавидовал генералу:

— После таких слов надо было прыгать в окно. На твоём месте я сегодня же ночевал бы в Мальмезоне с Жозефиной, а император Наполеон подносил бы мне шампанское.

— История нас рассудит, Жорж, — ответил Моро.

— Э, нашли адвоката — историю! Разве эта беззубая старуха, рано облысевшая, способна быть справедливой?..

Москва была безумно далека от Парижа, в ее бабушкино-дедушкиных садах и огородах росли иные цветы и овощи, совсем иные

заботы одолевали наших предков, но за процессом генерала Моро русские люди следили по газетам. «Московские ведомости» извещали, что жена Моро теперь оказалась в самом центре внимания Парижа, французы горячо ей сочувствовали: «Вся улица, на которой дом ее находится, установлена была по обе стороны экипажами... Г-жа Буонапарте сделалась больна с печали. Она много раз изъяснялась, что отдала бы все на свете, только бы Моро оказался невинным...» В семье Наполеона мира не было, после расстрела герцога Энгиенского сестры закатили брату истерику, а Каролина Мюрат выразилась яснее всех родственников:

— Он с этим хромым Талейраном навредил сам себе. Но самое страшное, что увлечет в бездну и всех нас... Пусть он выпустит генерала Моро, и нам будет спокойнее...

Между тем скамью подсудимых Моро уже обратил в трибуну, он предупреждал Францию об опасности захватнических войн:

— Навязывая свою волю и свои взгляды соседним народам, мы искусственно вызываем кровопролития, от которых уже начала уставать Франция, а скоро устанет весь мир. Штыки хороши для атак, но штыки совсем непригодны для того, чтобы на их остриях переносить в другие страны идеи...

Заодно он отхлестал и Наполеона, обвиняя его Итальянскую армию в грабительстве. «Война под моим начальством, — говорил он, — была бедствием только на поле сражения. Когда победа открывала мне путь, я старался заставить неприятеля уважать французов... Много раз побежденные мною враги отдавали мне долг справедливости в этом отношении».

Тюрио бил и бил в колокол, требуя тишины:

— Мы уже немало наслышались тут о подвигах Рейнской армии и благородстве ее. Но пусть Моро ответит суду, кому он обязан успехами в своей головокружительной карьере. Не он ли продвигался по службе под эгидою изменника Пишегрю?

— Пишегрю мертв! — крикнул Моро. — Будьте осторожны со словом «изменник». Со времени штурма Бастилии революция наплодила столько «изменников», которые из друзей народа завтра становились его врагами. Гильотина, не успев обсохнуть от крови, обрушивала секиру и на тех, кто вчера судил за измену... Оглянитесь вокруг себя! — призвал Моро публику. — Люди, осужденные заодно с Пишегрю, оправданы при консуле Буонапарте, а сейчас, при императоре Наполеоне, они сидят в этом зале. Здесь меня осуждают за общение с Пишегрю, но ни одного камня не брошено в голову тех «друзей»

Пишегрю, которых мы наблюдаем довольными и благополучными. Вечером вы увидите их всех в Тюильри, они будут танцевать!

Эмар с Тюрио торопливо предъявили обвинение:

— Ваша измена Франции, и следствием это установлено, доказывається характером ваших свободных речей, в которых вы с завидным постоянством осуждали действия правительства, оскорбляя священную особу императора...

Моро не вытерпел подобного кощунства:

— Достоинство человека, свободно выражающего свои мысли, не старайтесь превратить в пункт его обвинения. (Из протокола суда: «Свобода речей! — воскликнул Моро. — Мог ли я предполагать, что такая свобода может считаться преступлением у того народа, который узаконил свободу мысли, слова и печати и который пользовался этими свободами даже при королях. Признаюсь, я рожден с откровенным характером и, как француз, не утратил этого свойства, почитая его первым долгом гражданина».) Меня упрекают здесь даже в моей отставке, — продолжал Моро. — Но допустимо ли, чтобы заговорщик, каким меня рисуют, уклонился от большой власти? Вы же знаете: ни Кассий, ни Брут не удалялись от Цезаря, чтобы легче и надежней его поразить...

Пришло время для адвоката Лекурба.

— Не только я, — начал он, — но и вся Франция испытала острую боль в сердце, узнав, что Моро арестован. Здесь его пытаются судить за то, что его мнение никак не согласно с правительственным. Но, помилуйте, общественное мнение всей нации тоже не согласно с правительством... Осуждая генерала Моро, вы осуждаете всю Францию, весь народ, принесший колоссальные жертвы ради тех принципов, за которые с юных лет сражался наш дорогой подсудимый. Но если правительство обвинит генерала Моро, общественное мнение Франции все равно оправдает генерала Моро...

Семью голосами против пяти Моро был оправдан!

Эмар, Гранже и Тюрио, всем обязанные Наполеону, собрались на закрытое совещание.

— Оправдание Моро, — заявил Эмар, — означает для всех нас и для всей Франции начало гражданской войны.

Тюрио охотнейше поддержал коллегу:

— Моро необходимо казнить. Процесс не имеет юридической основы, он зиждется лишь на основаниях политического значения. Торжество юриспруденции только мешает.

— Смерть Моро, — подхватил Эмар, — необходима для сохранения той формы правления, какая уже сложилась, и нет смысла менять ее ради сохранения жизни одного человека.

— Согласен, — сказал Гранже. — Какое сейчас имеет значение степень виновности Моро? Нам важно преподать урок страха французам, чтобы уцелела безопасность государства. Вспомним слова Робеспьера: «Всякий благоразумный человек должен признать, что страх — единственное основание его поведения; избегающий взоров сограждан — виновен...»

Моро не избегал взоров сограждан, но в головах юристов все уже перемешалось — и страх перед Наполеоном, и желание почестей от Его Величества. Что там Кадудаль? При чем тут Пишегрю? Главное — затоптать последние искры республиканского сопротивления. С этим пожеланием Эмар и Тюрио навестили Реаля, у которого застали и Савари. Именно Савари и сказал, что оправдание Моро погубит империю.

— Но император Наполеон — это не король Людовик Шестнадцатый, это не Робеспьер и это вам не Баррас: он станет драться за власть как бешеный, и тогда от Парижа останутся обгорелые руины. Разве выгодно возвращать историю к прошлому?

В стране возрождалось министерство полиции, Фуше вернулся из отставки. Он беседовал с Наполеоном вежливо, но твердо.

— Вы разве желаете спать на штыках?

— Почему? Я люблю мягкие перины.

— Тогда учитывайте силу народного мнения, — сказал Фуше. — Оно более влиятельно, нежели вы полагаете. Нельзя в процессе Моро идти наперекор нации. Если ошибка вами допущена, ее надо исправить. Умейте слушать ропот Франции!

— Моро лично виноват передо мною, — ответил Наполеон, — а Франция и ее мнение представляю я... только я.

— Моро тоже представитель Франции, и не последний.

— Савари все уладит, — обещал Наполеон...

Повторным голосованием Моро был осужден на два года тюрьмы. Народ встретил мягкий приговор с таким удовольствием, которое было чересчур оскорбительно для Наполеона. Но больше всех был оскорблен приговором сам Моро! По-человечески генерал должен быть счастлив, зато политически он стал мертв. Кажется, что в этот момент Моро даже завидовал Кадудалю, приговоренному к гильотине, который и встретил приговор несусветной мужицкой бранью... Держаться в таком напряжении, готовя себя к эшафоту, и вдруг узнать, что все напрасно, — это было нелегко, и Моро сразу обмяк. Но он выпрямился снова, когда понял, что в его оправдании не столько жалости к нему Наполеона, сколько страха перед народом, который сковал волю императора... Александрине он переслал записку: «Если

было установлено, что я принимал участие в заговоре, меня следовало приговорить к смерти, как вождя... Нет сомнения, что был приказ о моей смерти. Страх помешал судьям его осуществить». При свидании с Фуше он сказал, что оправдательным вердиктом его унизили, из полководца сделали жалким капралом.

— Два года тюрьмы! Это наводит на мысль, что главные персоны пошли на гильотину, а всякая мелочь вроде меня будет доедать чечевичу... Но кто же во Франции поверит, что я, генерал Моро, был жучком-точильщиком, прогрызающим дырки в престоле Наполеона? Где логика, Фуше?

— Так чего ж ты хотел, Моро?

— *Пулю!* А мне дали сладкую булочку...

Еще во время процесса над Моро полиция схватила в Париже подозрительного человека — с кинжалом и пистолетами.

— Будешь называть себя? — спросил его Савари.

— А почему бы и нет? Я драгун Бертуа, приплыл с острова Сан-Доминго, чтобы убить Наполеона и спасти Моро.

— А что он тебе? Родственник?

— Пожалуй, еще больше! Это он вынес меня на своих руках из пекла при Гогенлиндене, а я, простой солдат, хотел на своих руках вынести его из тюрьмы на свободу.

— Ты завтра умрешь, — предрек ему Савари.

— Ну и что? Я столько раз уже помирал...

Филадельфы действовали, кажется, из глубин подполья, и, если бы приговор Моро оказался более суровым, империя Наполеона могла бы погибнуть на том рубеже, на каком она только что возникла. Французский историк писал, что «тирания, которая могла пасть в тот день, продлилась еще десять лет, и этот приговор, губивший Моро, не убивая его, приговорил к смерти целое поколение, которое отдало потом свои жизни на полях битв...». Фуше, знаток психологии, при свидании с Наполеоном понял, что императора угнетает.

— Держать в заточении человека, к которому приковано внимание нации, противно и даже... даже опасно.

Наполеон стал бешеным оттого, что Фуше так легко проник в его опасения. Он крикнул ему:

— Так что мне делать? Ехать в Тампль, отворить камеру и сказать Моро, чтобы возвращался на улицу Анжу?

— А ведь придется! — ответил ему Фуше...

Александрина уже смирилась с тем, что два года супружеской жизни перечеркнуты роком, когда в замке Орсе появились два негодяя — Симон Дюпле и Демаре, сказавшие:

— Тюрьму можно заменить пожизненным изгнанием.

— Как? Бросить Францию... оставить здесь все?

Ответ превосходил всякую меру приличия:

— Все, что у вас есть, мадам, покупает... Фуше! Но вам следует написать письмо к Наполеону, в котором вы добровольно просите у него, как милости, замены тюрьмы изгнанием... Америка — чудесна! Вам там будет хорошо...

Голова шла кругом. Что делать? Как быть?

— Нет, нет, нет! — отказывалась Александрина.

И тогда к ней подсел ласковый Демаре.

— Напрасно упорствуете, мадам Моро, — сказал он угрожающим тоном, но вежливо. — Или вы желаете, чтобы с вашим мужем повторилась роковая случайность, как с этим Пишегрю? Вы, наверное, читали тогда в газетах, что Пишегрю отлично справился с помощью галстука...

Много ли надо, чтобы запугать растерянную женщину? В тот самый день, когда Жорж Кадудаль, отстранив палачей, с ужасным воплем — сам! — бросился под нож гильотины, газета «Монитор» известила Францию, что генерал Моро обязан ехать в Америку и забить дорогу на родину.

— Вполне счастлив только тот из моих недругов, — было сказано Наполеоном, — который скроется так, что я перестану подозревать о его существовании на нашей планете...

Фуше был подставной фигурой в скупке имущества Моро: замок Орсэ, полученный за женой в приданое, имение Гробуа, купленное на деньги тещи, — все это по дешевке досталось... императору! А капиталы Моро он конфисковал в пользу своего государства — под видом погашения судебных издержек.

— Фуше, — велел Наполеон, — предупредите Моро, что он имеет право отплыть в Америку через Барселону, расходы на путешествие в Испанию моя казна оплачивает, и Моро не получит от продажи имущества ни единого су, пока я не буду уверен, что его нога коснулась Американского континента...

Жена с детьми и тещей собирались выехать в Испанию позже. Моро отправился в дорогу один. Париж не провожал его, но возле заставы ему встретилась одинокая карета.

Подле нее стояла скорбная мадам Рекамье.

— Разве я могла не проститься с тобой?

— Не могла... это наша последняя встреча.

Жюльетта Рекамье всегда покорно сносила деспотию Бонапартов. Проводы Моро в изгнание — это первый и последний протест за всю

ее долгую жизнь, выраженный столь открыто, без страха перед полицией. Но Рекамье осталась верна себе. Она не захлебнулась рыданиями, она не цеплялась за колеса кареты Моро, как сделала бы другая любящая женщина... Нет, она спокойно вытерла слезы и вернулась к своему мужу, к своему привычному уюту, к своим поклонникам, к своим зеркалам, отражавшим ее красоту. Моро долгим взглядом проводил лакированную карету, спешащую в синеву вечернего Парижа. Еще одна страница жизни была безжалостно перевернута.

— Ну что ж... станем листать другие!

10. «Что осталось у короля?..»

Если в Париже был замечен юный офицер, лобызующий бюст Брута, то в Петербурге на Сытном рынке примечен ухарь-купец, который, рубя мясо, сказывал простому народу:

— Публики на Руси хватает. Ежели што, так себя не пожалеем. Нашей-то говядиной Бонапартий вмиг подавится...

Одновременно в Английском клубе взят полицией на заметку помещик Перхуров, кричавший за шампанским:

— А ну! Подать мне сюда мошенника Бонапартия, я его на веревке от Парижа до Москвы проведу...

Богатые люди снимали квартиры близ почтамтов, дабы скорее других узнавать самые свежие новости. А новостей было немало... Царь сообщал Лагарпу свое мнение о Наполеоне: «Завеса пала. Он сам лишил себя лучшей славы... ныне это знаменитейший из тиранов, каких находим из истории». Александру вторил граф Строганов, с удовольствием повторяя парижскую остроуту: «Какое низкое падение — из генерала Бонапарта превратиться в императора Наполеона!» Многие русские люди видели раньше в Бонапарте продолжателя дел революционной Франции. Теперь он стал для них не только монархом, каких много в Европе, — он стал угнетателем соседних народов, опасным паразитом, живущим чужими соками. Изменилось отношение к нему — изменилось оно и к Франции, из которой вынута душа революции. Александр просил при дворе не говорить ему более о «великом человеке»:

— Даже гений, служащий вульгарному честолюбию, достоин всеобщего порицания, и только. Но почему лучшие люди, придя к власти, превращаются в закоренелых злодеев? Я печалюсь от прискорбного вывода — миру совсем не нужны Аттилы и Цезари: народы лучше всего живут в те периоды истории, когда ими управляют жалкие посредственности, меньше всего озабоченные собственным величием...

Бессмысленное убийство герцога Энгийенского встревожило русский кабинет, особенно царскую семью. Цесаревич Константин, всегда излишне шумливый, расшумелся и сейчас:

— Энгийенский приезжал в Петербург свататься к моей сестре, а в Аугсбурге мы с герцогом четыре дня без просыпу пили... Это злодейство непростительно!

Румянцев спрашивал Константина:

— Оттого, что ваше высочество пили с несчастным герцогом, стоит ли России карать Францию оружием?

Александр созвал совещание высших сановников империи. Иностранными делами ведал в ту пору польский аристократ Адам Чарторыжский, предупреждавший царя, что положение Польши под гнетом Пруссии становится уже невыносимо, а Наполеон если вмешается в польские дела, то способен опередить Россию. «Для этого, — отвечал царь, — Наполеону надо прежде побывать в Варшаве, а сие невозможно по причине расстояния от Парижа до Варшавы...» Чарторыжский открыл совещание, призывая заявить Парижу решительный протест по случаю убийства Энгийенского, а при дворе объявить траур.

— Россия, — сказал он, — вправе открыто вооружаться, и нет страны в Европе, которая бы осмелилась возразить ей... Полный же разрыв с Францией сделает нас солидарными с державами, желающими отмщения Франции.

Того же мнения придерживался и Кочубей.

— Да! — сказал он. — Для нас разрыв с Францией неопасен, он даже полезен, ибо избавит от лишних забот, неизбежных в общении с государством, желающим стать выше других стран культурных.

Иное высказывал Николай Петрович Румянцев:

— В политике следует руководиться не личными страстями, а лишь выгодами государства. Касается ли убийство герцога до интересов России? Затронута ли этим событием честь русского человека? Не наблюдаю того.

Далее он продолжал в том же духе: «Сознает ли русское правительство все последствия шага (к войне), который собирается сделать? Идет ли оно на этот риск? Есть ли гарантия нашей безопасности от полного разрыва с Наполеоном?»

Возникло молчание. Александр спросил Румянцева:

— Что же ты предложишь моему кабинету?

— Надеть траур и... смолчать, — ответил Румянцев.

Отозванием послов Париж и Петербург как бы обменялись гримасами недовольства, однако Наполеон еще не планировал войну с Россией, зато

Александр (как и многие русские люди) эту войну уже предчувствовал. Но создание коалиции для борьбы с Наполеоном задерживалось. Пруссия явно страшилась Франции, Вена, униженная Люневильским миром, хотела бы вернуть себе прежнее положение в Европе, но еще не залечила синяков, полученных в битвах за Италию и на Дунае.

Александр часто убеждал австрийского посла:

— Вена должна быть готова! Россия — на особом положении в Европе: я могу хоть завтра закрыть на замок все границы, и со мною ничего не случится. Россию спасает дистанция между Рейном и Вислою, но с вами все иначе...

Вена кивала на Берлин: «Мы ждем первого шага от Пруссии, хотя бы ее нейтралитета», а Берлин кивал на Вену: «Пусть в коалицию сначала вступит Австрия, а мы... мы подумаем». Только осенью 1804 года русский кабинет уговорил венский к подписанию оборонительной декларации. Еще сложнее было договориться с упрямым Питтом, и граф Федор Ростопчин, пребывая уже в отставке, подал царю свой голос:

— Россия всегда может спасти Англию, но Англия Россию — никогда! Лондон из нас кровь выпустит, а Питт ихний из сухих держав коалиции мокрых курей понаделает...

Конечно, колониальная агрессия Англии на морях и в дальних странах была для человечества гораздо опаснее, нежели агрессия Франции на континенте. Но европейцы должны были прежде думать о своем наследственном доме, двери которого могли в любую ночь затрещать под ударами прикладов французских драбантов... Примерно так раскладывались козырные карты в политическом пасьянсе Петербурга, когда стало известно о вечном изгнании генерала Моро из пределов Франции. По газетам из Франкфурта узнали, что Моро принят в Мадриде с большими почестями. Фаворит королевы Годой заманивает его на испанскую службу. Но тут возник слух: Англия, нуждавшаяся в полководцах, желает переманить Моро на свою сторону. Александр встревожился. Он не любил Голенищева-Кутузова и потому не упомянул о нем, перечисляя генералов, которым мог бы доверить русскую армию:

— Багратион, Каменский, Беннигсен, Барклай, Буксгевден, ну и Михельсон с Корсаковым. — Александр решил, что привлечение Моро на русскую службу было бы желательно, и сказал князю Чарторьжскому: — Сообразитесь поскорее с мнением нашего посла в Мадриде, барона Григория Строганова, как нам лучше завлечь генерала Моро под наши знамена.

— Государь, — изумился Чарторыжский, — призывом Моро вы ставите себя в весьма неловкое положение. Разве неизвестно вам о республиканских настроениях Моро?

— Вот! — показал царь на графа Строганова, своего приятеля. — Перед вами стоит человек, бравший Бастилию, но, призвав его к себе, я не создал опасности для престола...

Они забыли, что маршрут Петербург — Мадрид даже для самых выносливых курьеров всегда был самым длительным.

Слово «республика» еще оставалось на почтовых штемпелях, клеймящих письма, его не успели вытравить с чеканов Монетного двора, штампующих звонкую монету. Конечно, возник вопрос о «цивильном листе». Наполеон должен был сказать, сколько он желает получать в год — как император:

— Столько же, сколько получал последний король.

Людовик XVI получал 25 миллионов. Но для Наполеона выписали «цивильный лист» на 30 миллионов. Луидоры были заменены наполеондорами (в шесть с половиной граммов золота), их чеканили уже с изображением императора. Когда актриса Жорж, восстав с его постели, просила осчастливить ее портретом, Наполеон расплатился с женщиной за любовь одним наполеондором, сказав: «Вот, возьми! Говорят, что я здесь вышел похож...» Самозванцы всегда слишком торопливы в закреплении за собой власти, на которую они не имеют законных прав. Свою коронацию Наполеон желал «освятить» личным присутствием папы Пия VII. Историки рылись в архивах, дабы отыскать в прошлом подобные примеры. Сам Наполеон историков не терпел, полагая, что цезарей способны судить только цезари (для французов, считал он, достаточно помнить, что вся история Франции началась с 18 брюмера). Но пришлось погрузиться в потемки древней Европы, дабы извлечь оттуда короля Пипина Короткого, который был для французов столь же реален, как царь Горох для нас, русских. Пипин стал для Наполеона сущей находкой, ибо в 754 году он воспринял корону из рук папы Стефана III.

— Пий должен быть, — наказал Наполеон. — Если не приедет, я вытряхну его из Рима, как поросенка из мешка...

Папа приехал. Париж готовился к неслыханному фарсу истории. Луи Давид по клеткам размечал на гигантском холсте проекцию будущей картины-апофеоза под названием «Коронация». Элиза Баччиокки обещала выцарапать ему глаза, Каролину Мюрат трясло от ярости, Полина Боргезе сулила Давиду ночь любви — сестры императора

жаждали быть помещенными на первом плане картины. Для Наполеона искусство делалось ненужным, если не возвеличивало его. Он уже возлюбил тарелки с видами триумфальных арок, ему не противно было доедать суп, под которым скрывалось изображение выигранных им битв — с трупами убитых. Коронационное платье Жозефины император создавал по собственным эскизам, чтобы отразить на нем героическое бытие его славной эпохи:

— Кружевам быть в виде античной колоннады, а спереди — римские квадриги со вздыбленными лошадьми.

Даже покорная Жозефина на этот раз возмутилась:

— Спереди? Так куда же заедет парадная колесница? Не хочу на платье и гренадеров, вышитых у подола...

Давид тоже получал деловые указания:

— А чего это папа расселся у тебя в кресле? Не затем я звал его в Париж, чтобы он отдохнул. Если папе нечего делать, пусть он жестом благословляет меня с женою...

Париж был иллюминирован, всюду сияла буква «N», она же украшала кареты и эфесы бранного оружия, над просцениумами театров взвивались орлы императора, а золотые пчелы — символ власти Наполеона! — уже были вшиты в ткань Дворцовых ковров, они порхали на кафтанах придворных. Коронация не обошлась без репетиций, а режиссером постановки был назначен художник Изабе, двойник императора. Каждый участник церемонии был представлен куклою из папье-маше, игрушки-люди были расставлены Изабе на паркете Тюильри, вроде шахматных фигурок, и Наполеон, скрестив на груди руки, пристально наблюдал, как передвигаются его маршалы, придворные, статс-дамы и фрейлины... Засмеявшись, он сказал Мюрату:

— Представляю, что было бы в Нотр-Дам, окажись там теща Моро с его женою: они бы устроили такой хоровод, что я с бедною Жозефиной остался бы стоять за папертью...

Коронация состоялась 2 декабря. Папа Пий VII и новоявленный «Пипин Короткий» в десять часов утра выехали из Тюильри в собор. Был очень сильный мороз, маршалы и сановники несли промерзлые регалии императорской власти — скипетр, меч и корону Карла Великого, а бедный папа продрог так, что, наверное, проклинал историю Стефана III, имевшего глупость вручать корону разбойнику Пипину Короткому...

Народ Франции оплатил это зрелище из своего кармана, выложив на коронацию 85 000 000 франков. Следовало как-то приличнее объяснить непредвиденные расходы, и сразу нашлись продажные ученые-экономисты, которые доказывали:

— Расходами на коронацию наш гениальный император дал внушительный толчок для процветания финансов и промышленности, что и отразится на благосостоянии всех французов...

Весною Наполеон прибыл в Милан, где короновался «железной короной». Обруч этой короны был сделан из того мифического гвоздя, который якобы был заколочен в ступню Христа, когда его распинали на кресте библейские фарисеи. Однако Наполеон не довольствовался Ломбардией — он сразу провозгласил себя королем всей Италии! Европе декретом было объявлено: «Королевская династия в Неаполе перестала править». С высоты миланского престола Наполеон нецензурной бранью разругал неаполитанскую королеву Каролину, бежавшую от него на остров Сицилию. Вице-королем Италии был сделан его пасынок Евгений Богарне, и Жозефина, гордая за сына, плавала на верху блаженства... Потом супруги отъехали на поле битвы при Маренго, где принимали королевские почести. Вскоре Наполеон был неприятно удивлен, когда узнал, что Мадрид и, кажется, Лондон уже предлагают генералу Моро поступить на их службу. Наверное, Петербург тоже не замедлит прислать Моро подобное предложение. Наполеон приказал Талейрану:

— Пусть маркиз Бернонвиль, мой посол в Мадриде, как можно скорее выдворяет Моро за океан — в Америку!

Моро в испанских тавернах пил водку-агуардиенте, закусывал ее крестьянским супом-пучеро. Жаркие бризы раскачивали над дверями бисерные плетенки. Ослепительно белые улицы Мадрида заполняли перестуки кастаньет в пальцах неприступных испанских гордечек... Моро наслаждался!

Он позвал лакея:

— Еще водки и тарелку пучеро.

— Не много ли, сеньор?

— Я из тюрьмы, приятель. Мне все прощительно...

Маркиз Пьер Бернонвиль когда-то командовал гарнизоном на острове Бурбон, где знал Александрину Моро еще ребенком, и это давало ему право быть с Моро откровенным:

— Возня Наполеона с коронами, я чувствую, еще не скоро закончится, и лучше пережить это время за океаном... Там уже немало французов, с ними не будет скучно.

— Мне ждать попутного корабля в Кадиксе?

— Нет, в Барселоне, — сказал посол.

— А почему не в Кадиксе?

— Лучше из Барселоны, — ответил Бернонвиль...

Париж был отлично извещен о тех почестях, которые оказывали генералу испанцы. Молодой Стендаль записывал в дневнике: «Когда утром Моро выходит на улицу в синем сюртуке, круглой шляпе и с трубкой в зубах, детишки бегут за ним и кричат: «Да здравствует Моро!» Губернаторы городов предлагали ему свои дома, французская колония устраивала в честь Моро званые обеды, где он без хвастовства, но увлекательно рассказывал землякам о своих громких победах.

Испанией правил тогда Мануэль Годой, безграмотный любовник испанской королевы, которую он иногда поколачивал. Из конюхов он стал премьер-министром и генералиссимусом. Этот очаровательный дуралей сулил Моро золотые горы в Мадриде, но Моро коробило при мысли, что он может быть в подчинении этого развратника, ему не нравился и сугубо клерикальный дух королевского Эскуриала. Впрочем, от приема в английском посольстве Моро тоже отказался, сославшись на то, что не может принять приглашение, ибо его отечество находится в состоянии войны с Англией. Зато он побывал в русском посольстве, которое возглавлял образованный вельможа Строганов. До посла еще не дошли инструкции Петербурга, он сам, по доброй воле, советовал Моро не забираться в Америку, а просить политического убежища в России. В этом предложении Строганова не было какой-либо политической подоплеки — он просто по-человечески сочувствовал изгнаннику с семьей и маленькими детьми.

— Благодарю, — отвечал Моро, — ваши русские морозы я мог бы вынести, но моя жена рождена в тропиках, дети растут болезненными, вряд ли пойдет на пользу ваш климат...

Вскоре Бернонвиль начал уже настаивать на отъезде. По его словам, существует угроза, что Париж окажет давление на Мадрид, и тогда Годой способен на любую низость:

— Корабль, готовый плыть в Америку, настолько ветхий, что я вам, милый Моро, советую плыть без семьи...

Тещу с женой и детьми Моро оставил пока в Испании на попечении друзей. Ночью уже миновали Гибралтар, вышли в океан. Вдали меркла полоска берега, Моро снял шляпу:

— Прощай, Европа... и ты, Франция!

Из кубрика матросов раздались звоны гитары, до боли знакомый голос пропел старинную французскую песню:

Друг, что осталось у короля,
спроси!

Орлеан. Нотр-Дам, де-Клери,
Божанси!

На палубу вышел босой матрос с повязкой на голове, и Моро не верил своим глазам — это был Виктор Лагори.

Генерал Рейнской армии. Начальник его штаба.

— Лагори! Неужели я вижу тебя, бродяга?

Не выдержав радости встречи, Моро разрыдался.

— Не горюй, — утешал его Лагори. — Филадельфы не погибли, революция продолжается, а республика не умирает...

В громадные паруса задувал опьяняющий ветер.

11. В корнеты — за храбрость

Теперь, когда Наполеон стал наделять своих сестер и братьев коронами в Италии и Германии, Вена забила в барабаны. Дунайской армией командовал генерал Макк, примечательный умением танцевать. Не дождавшись подхода Подольской армии, которую Михаил Илларионович Кутузов вел на помощь Австрии, Макк вломился в сытую Франконию, где жирная ветчина с крепким пивом пришлись австрийцам по вкусу. Макк нетерпеливо продвинулся к Ульму и здесь остановился, готовый встретить французов. Наполеон тем временем сводил в один кулак войска из Булони, из Ганновера, из Парижа... Форсированием Дуная он отрезал Макка от Вены, и Макк, умеющий танцевать, капитулировал. «Ворчуны» с презрением смотрели, как здоровущие парни складывают к их ногам оружие, бросают на землю свои опозоренные знамена. Дунайская армия, главная ударная сила Франца, перестала существовать. С боевым кличем: «Заставим плакать венских дам!» — французские колонны развернулись на Мюнхен.

Был сентябрь 1805 года. Александр приехал в Брест.

Адам Чарторьжский уехал вперед — в Пулавы, чтобы подготовить семью к приему высокого гостя. Однако царь не приехал, и в Пулавах пробудились лишь в два часа ночи. Картина, увиденная ими, была незабываемая: из лесу вышел старый еврей со свечкой, за ним лошаденка тащила бочку с водкой, а верхом на бочке сидел император всея Руси. Александр в оправдание себе сказал, что дороги в Польше ужасны:

— Мой экипаж свернул все колеса на колдобинах. Проводники, присланные императором Францем, бросили меня в лесу. Хорошо, что мне попался этот еврей...

Чарторьжский был человек умный: он понимал, что появление царя при армии свяжет руки Кутузову, внесет разброд в штабах. Но Александр уже «закусил удила», гордясь своей предстоящей батальной храбростью:

— После Петра Великого я буду первым русским царем, которого увидит русская армия на полях сражений...

Кутузов вел Подольскую армию форсированным маршем, достигнув скорости 50—60 верст в сутки. Конечно, все обозы растянулись кишкой, еды не было, многие солдаты шагали уже босиком. В Вене полководца встретили вежливо, но без доверия: о том, что Наполеон в Баварии, Кутузов узнал от русского же посла, удравшего из Мюнхена. Франц настойчиво загонял русских в сторону Ульма, но лазутчики, хорошо оплачиваемые Кутузовым, известили его, что от армии Макка остались под Ульмом рожки да ножки. Теперь, после капитуляции Макка, русская армия из вспомогательной становилась главной. Австрийцы всюду сдавали позиции, не предупреждая об этом Кутузова, и мудрый старик видел, что фланги его усталой армии постоянно оголяются по вине союзников. Тайком от русских Франц пытался вступить в переговоры с Наполеоном о мире; уже тогда (!) этот Габсбург стал торговать дочкой Марией-Луизой, предлагая ее в жены Евгению Богарне, чтобы породниться с Наполеоном. Однако Наполеону было еще не до свадеб, он требовал от Франца удаления русской армии с полей битв... Таборский мост, ведущий к Вене, охранялся австрийцами князя Ауэрспейга. Кутузов, уверенный в обороне этого важного моста, лег спать сам, велел отдыхать и всей армии. Вечером к мосту подъехали на лошадях трое — принц Мюрат, маршал Ленн и генерал Бельяр. Мюрат пылко рассуждал о красоте венских дам, Ауэрспейг воздал хвалу парижанкам. Когда ж, спрашивается, еще и говорить о женщинах, как не в эти рыцарские времена? Ауэрспейг не сразу заметил, что через мост уже перебегают французы: взвод... рота...

— Стойте! — закричал он. — Это же нечестно!

Мюрат со смехом отодвинул Ауэрспейга с моста — дорога на Вену была французам открыта. Кутузов щедро отсыпал золота в ладонь лазутчика, который первым известил его о позорной сдаче Таборского моста. Потом он вызвал князя Багратиона и обнял его, как сына:

— Петруша, спаси армию! Благословляю на подвиг...

Багратион увел разутых и раздетых солдат, готовых принять смерть, чтобы — спасти отход всей армии. При Кутузове состоял зять, граф Федор Тизенгаузен, женатый на его дочери Лизе (будущей Хитрово). Кутузов сказал зятю:

— Ежели десять живых вернется, и то ладно...

Багратион в битве при Шенграбене показал французам, на что способен он, русский генерал, и его солдаты. Из свалки боя князь вывел самую малость израненных, окровавленных людей, и Кутузов, ожидавший полной гибели отряда, сказал:

— О потерях не спрашиваю: ты жив — и слава богу!

Александр ожидал его в Ольмюце, где армия встретила царя столь холодно, что молодой самодержец был даже обескуражен. Он спросил — можно ли еще спасти Австрию?

— Можно, — ответил Кутузов, — ради чего, я мыслю, должно объявить войну всенародную. Но венские Габсбурги народа своего страшатся более, нежели противника...

Этого мнения Кутузова не отрицал и сам Франц:

— От Наполеона я могу спастись сдачей одной провинции, а вооружить мадьяр, галичан и чехов — все потерять! От моей великой империи останется горстка теплой золы...

Кутузов имел план уничтожения противника.

— Будь моя воля, — говорил он близким, — я бы отвел армию вплоть до Галиции, заманивая Наполеона как можно далее, и там, в Галиции, разметал бы я кости французские... Но при двух императорах где ж моя воля? Если, даст бог, одержим викторию, слава цезарям достанется, а нет, так они же меня в козла отпущения превратят. Того самого козла из Библии, коего евреи за грехи свои в пустыню выгнали...

Чарторыжский снова настаивал перед Александром, чтобы он покинул армию, не вмешиваясь в распоряжения Кутузова:

— Наконец, ваша драгоценная жизнь, подумайте о ней!

— Оставьте, князь Адам, — морщился император. — Все уже решено, нас ожидает победа, и я буду счастлив услышать музыку битвы. Напротив, сам Кутузов нуждается во мне...

Наполеон был уведомлен о пренебрежении, с каким армия встретила Александра, и он сказал Савари:

— Мы его встретим погорячее! Поезжайте в ставку царя, от моего имени принесите Александру поздравления по случаю его прибытия к армии... Не суйте свой нос куда не следует. Молча можно узнать очень много, только слушая. Мне смешно, — сказал Наполеон. — Представляю, как царь станет прицеливаться в меня через свою лорнетку, а мы разглядим этого бабника через жерла наших пушек!

Кавалергардский полк насчитывал 800 палашей, из них два палаша покоились в ножнах будущих декабристов — Михаила Лунина и Михаила Орлова, начинавших службу эскадронными юнкерами. Лунин был слишком непоседлив, чересчур самостоятелен. Однажды исчез на всю ночь, вернувшись под утро.

— Где пропадали, Мишель? — спросил его Орлов.

— Ездил в лагерь к Наполеону... палаш испытать хотелось. Наскочил на одного. Рублю спереди — звенит кираса. Вижу, еще молод.

Усы черным воском намазаны. Меня испугался, повернул. Рублю сзади. Только искры летят — со спины тоже кираса. — Лунин бросил перед Орловым косу, похожую на крысиный хвост. — Вот и весь мой трофей. Отрубил ее...

Неприятная новость: французы имели двойные кирасы, а русские не были бронированы даже спереди. Генерал Савари, прибывший с поздравлениями, выглядел пристыженно-жалко, словно нищий, угодивший на чужую веселую свадьбу. В свите царя все ликовали, заранее празднуя победу, а Савари, не стыдясь, жаловался на всеобщее уныние, охватившее войска Наполеона при виде столь могучей русской армии. Это странное поведение Савари было тщательно продумано Наполеоном, дабы ввести русских в заблуждение. Александр с Францем не лишили Кутузова звания командующего, но командовать решили сами. Открывался роковой день Аустерлица!

Наполеон со свитой встретил этот день на возвышенности у деревни Шлапаниц, под ним лежала внизу громадная долина, затянутая туманом, а наверху было уже светло от восходящего солнца. Император видел перед собой Праценские высоты — ключ к победе. Рыбные пруды южнее Аустерлица были затянуты тонким ледком. В тумане император разглядел интервал, не заполненный войсками противника, и спросил Бертье:

— Кто по диспозиции обязан стоять тут?

— Австрийцы корпуса князя Лихтенштейна.

— Но князь опаздывает. Здесь встанем мы...

Французы, спустившись в туманную долину, заполнили трагическую пустоту посреди русских войск — они заняли место их союзников. Князь Лихтенштейн между тем увел кавалерию не на север (где его ждали), а в другую сторону — на юг, попутно разрезав русскую колонну Ланжерона.

— Куда прешься, сволочь? Назад! — орали русские.

Возникла неразбериха. Ланжерон командовал ломить напролом — вперед, отчего русские рассекли колонну князя Лихтенштейна. Солнце встало. Наполеон видел, как туман медленно сползал книзу, обнажая холмы и Праценские высоты, при виде которых его маршалы стали волноваться:

— Не пора ли нам, сир, влезать на Працен?

Но император ожидал, что русские сами спустятся в долину, ибо через шпионов знал о дурной диспозиции противников.

— Подождем еще, — каждый раз отвечал он...

Александр прискакал на Праценские высоты:

— Михаила Ларионыч, отчего не сошли с места?

— Жду, когда соберутся все колонны.

— Мы не в Петербурге на Марсовом поле, чтобы ждать их.

— Потому и не спешу, что мы не в Петербурге...

Александр волей монарха столкнул армию с высот.

— В атаку теперь! — зывали маршалы к Наполеону.

— Атаку позволю, когда ошибка неприятеля станет уже несправима. Ждем. Пока русские не скатились к прудам...

Фронтальным ударом всей массы войск он прорвал центр. Спасти положение было уже нельзя. Его можно было только исправить — скорейшим подходом резерва Буксгевдена. Но русские генералы напрасно зывали к его совести, к его благоразумию, Буксгевден поклялся не сойти с места:

— Стоять тут мне предписано диспозицией свыше...

Через полчаса князь Чарторыйжский видел этого дурака бегущим впереди своих разбитых войск, Буксгевден плакал:

— Меня предали... спасайте жизнь императора!

Цесаревич Константин вел батальоны гвардии, и наконец перед ним выросли войска, которым он обрадовался:

— А! Князь Лихтенштейн уже занял свое место...

Но первые же ядра, пущенные в его сторону, доказали ему обратное. Со всех сторон обнаруживались новые массы французской кавалерии, пехота Наполеона двигалась бегом, разбрасывая отряды русских, и без того разбросанные. Цесаревич послал против конницы Келлермана своих заливчатских улан, которые отчаянно врубались во врага, они опрокинули его, словно худой забор, размяли копытами французскую пехоту, и артиллерия Наполеона, чтобы хоть как-то спасти положение, стала калечить ядрами всех подряд — и своих и чужих... То отбегая назад, то возвращаясь, не боясь штыковых ударов, русские вносили в сумятицу Аустерлица ожесточение, какого еще не встречали французы, приученные расчленять противника, чтобы добивать бегущего! Но русские, напротив, даже разрозненные, магически соединялись воедино, снова и снова образуя плотную монолитную массу. Гвардейская пехота опрокинула ряды Вандама, но была окружена дивизией Риво. Конная гвардия, выручая свою пехоту, пошла на прорыв, она опять смяла Вандама, она рассекла дивизию Риво, как топор сырое полено, и Наполеон, стоя на холме, вдруг увидел бегущих французов, а перед ним — перед великим полководцем! — уже мелькали нарядные мундиры русской Конной гвардии.

— Бертье, что это значит? — отшатнулся он.

— Рапп, Рапп, Рапп! — кричал Бертье. — Что вы торчите как истукан? Отбросьте их... отбросьте! Сразу же...

Под натиском свежих колонн Раппа конногвардейцы отвернули, соединясь с гусарами, за ними отошла и гвардейская пехота, уже избитая, запыхавшаяся, с погнутыми штыками. За Раузническим ручьем была видна плотная стенка французской инфантерии, а русские батареи, оставленные в окружении, стали последними оазисами сопротивления: канониры дрались уже на пушках, и на своих пушках они доблестно умирали...

— Вот это каша! — сказал Константин в полнейшем обалдении. — Но кто заварил эту кашу?..

Именно в этот момент подошли кавалергарды; гладко выбритые, еще не тронутые боем, они сидели в седлах поверх новеньких бархатных чепраков, расшитых золотом. На лошадиных мордах нервно и возбуждающе позвякивали цепи мундштуков. Лунин подвыдернул палаш из ножен, сказал Орлову:

— Ну, Мишель! Не пришло ли время нам умирать?

Цесаревич вцепился в поводья князя Репнина:

— Видишь, какая кутерьма? Спаси гвардию... ее честь!

Репнин приподнялся в стременах, крикнув:

— Кавалергардия... рысь — в галоп! Марш...

Кавалергарды держались в седлах прямо, как скульптурные изваяния, похожие на кентавров, слившихся с лошадьми воедино. Длинные палаши, опущенные к ногам, жутко отсвечивали холодной синевой. Впереди скакал князь Репнин, воздев над собой руку, сверкающую от перстней, чтобы даже в задних рядах все видели — он впереди, он с ними, он уже не свернет с пути... Перед ними, еще юношами, возникала громадная лава враждебной конницы, и лава быстро надвигалась на кавалергардов, которые еще издали слышали, как упоенно кричат французы:

— Смерть! Заставим плакать русских дам...

Для Наполеона всходило солнце Аустерлица.

Трубачам велено было исполнить «апель» — музыкальный призыв к живым: вернитесь! Но лишь одиночки откликнулись на эти рулады золотых и серебряных горнов, остальные все полегли в неравной битве, были изранены. Зато честь русской гвардии кавалергардами была спасена, ее знамена сохранились в святости. На печальные звуки «апелья» собирались поодиночке, их мотало в седлах от ран и непомерной усталости, среди уцелевших был и Лунин, сказавший Орлову, что его брат Никита пал в этой атаке:

— Он умер тихо, как ребенок. Ему было пятнадцать лет. Теперь мне жить за него и за себя...

Французы остановились на другом берегу Раузницкого ручья, наблюдая за сценой русского «аппеля». Скорым шагом подошла пехота маршала Бернадота, который почему-то не стал преследовать русских. Противников разделяло шагов сто, не больше, между ними струился ручей. Багратион уже вступил в командование арьергардом, чтобы прикрыть отход русской армии. Сумерки покрывали поле битвы, которое Наполеон именовал «полем чести». Где-то еще постреливали, со стороны прудов доносило треск хрупкого льда — там еще погибали тонущие. Ночь положила предел всему, стало тихо...

Вот тогда Кутузов заплакал. На его глазах погиб зять, граф Федор Тизенгаузен. Перехватив знамя, он повел в штыки на французов гренадеров Малороссийского полка и... пал!

— Простите, — сказал старик, — не плакал раньше, пока был генералом вашим, а сейчас перед вами плачет отец, слезами омывая горькое вдовство своей доченьки Лизы. — Кутузов достал из дорожного портфеля два креста, Георгиевский и Марии-Терезии. — Бедный зять не успел даже поносить их. Так бросьте ордена в могилу его. Бросьте и засыпьте...

Адам Чарторыжский с трудом отыскал императора в каком-то деревенском сарае. Александр лежал на соломе. Возле него хлопотал лейб-медик Виллие. Он сказал князю, что переход от самообольщения к полному отчаянию оказался слишком резким, у императора развилась диарея:

— И нет капли вина, чтобы изготовить глинтвейн.

Чарторыжский тронул коня в австрийскую ставку, но там гофмаршал Ламберти замахал на него руками:

— Мой император спит, и... какое вино? Завтра меня спросят, куда делась бутылка, что я тогда отвечу?

— А как здоровье вашего кесаря?

— Прекрасное! Это вашему плохо, а наш великий кесарь уже привык к поражениям от Наполеона, и он спит, как невинный младенец. Парламентеры уже посланы им для мира...

Наполеон в эту же ночь принял князя Лихтенштейна, молившего о мире для Австрии; выслушав его, Наполеон сказал:

— Главное условие — удаление русских войск...

Небеса после битвы при Аустерлице излили на мертвых дожди, потом закрутилась снежная метель. Наполеон требовал, чтобы Моравия и Венгрия были немедленно освобождены от русского постоя. Александра снова (в какой уже раз!) навестил генерал Савари, заявляя царю, что Наполеон мечтает о личной с ним встрече, а переговоры с одним лишь Францем не кажутся ему основательными. Александр отказал ему:

— Участие в переговорах России будет означать причастность России даже к капитуляции армии Макка при Ульме, даже к сдаче Вены на милость победителя... Нет! Пусть ваш император с австрийским договариваются о мире без меня.

За эти дни он поумнел и ожесточился. Вся русская армия была осыпана наказаниями: отступивших генералов ставили под солдатский ранец, со шпаг офицеров безжалостно рвали темляки, лишая их чести, дезертирам прибавили пять лет службы, в газетах России открыто публиковали имена тех офицеров, что заблудились в лесу или отсиживались в обозах. За свое оскорбленное самолюбие царь отыгрался и на Кутузове: наградив его орденом, он послал полководца в Киев губернатором: Лунин и Орлов получили первые в жизни ордена — для ношения их на шпагах. Царь запомнил Орлова:

— Эстандарт-юнкер, за храбрость — в корнеты!..

Вечером кавалергарды распивали в шатре шампанское. К ним зашел и граф Павел Строганов, бывший якобинец.

— Надеюсь, — сказал он, — эта свалка при Аустерлице излечит нашего государя от высокого мнения о своих способностях... Мы все ублюдки Екатерины Великой, — Строганов выразился намного грубее, — воспитанные ею на бесконечных победах, отчего и стали слишком самоуверенны. Но сейчас речь идет уже не о сохранении политического равновесия Европы, пора задуматься о сохранности нашего государства.

Орлов сказал, что его не покидает неприятное ощущение: на полях Моравии русские проливали кровь за грехи Габсбургов, Александр озабочен и судьбою прусских Гогенцоллернов.

— Есть еще и интересы Англии! — напомнил Строганов.

Денщик втащил в шатер ящик с шампанским.

— А мне, — сознался Лунин, — не избавиться свою память от этого вопля французов: «Заставим плакать русских дам!» Очевидно, — сказал Лунин, открывая бутылку, — Аустерлиц выгоден для нас при Наполеоне так же, как была выгодна и Нарва при Карле Двенадцатом... Именно поражение под Нарвой привело Россию к ошеломляющей виктории у Полтавы!

Александр вызвал к себе графа Строганова:

— Граф, кстати, о Лондоне! Вы поедете туда...

12. Враг у ворот России

Булонская армия, устранившая в свое время Англию, была изрядно потрепана под Аустерлицем, а угроза ее высадки на островах отпала теперь сама по себе. Когда Россия отмывала кровь со своих ран,

Англия предавалась безумному веселью: она потеряла Нельсона, зато выиграла битву при Трафальгаре. Питта потрясло разрушение коалиции, но жертвы европейцев никак не вписывались в общую калькуляцию английских убытков. Он цинично доказывал в парламенте, что великому королевству нет дела до людских потерь на континенте:

— Мы бережем каждую каплю британской крови, но русские могут проливать ее ведрами — за это мы платим царю нашей устойчивой валютой! Кровопролитие же в войнах нормально, как и расплата деньгами в коммерческих оборотах...

Напрасно Вена с Петербургом просили его хотя бы о диверсии на берегах Нормандии, дабы отвлечь внимание Наполеона от Баварии и Моравии, — Питт отвечал, что для этого Англия не обладает ни силами, ни средствами. Это была наглейшая ложь! Когда в Европе решались судьбы государств и народов, Англия готовила эскадры для нападения на Египет, воевала в Буэнос-Айресе, высаживала десанты в устье Ла-Платы, колонизаторы продвигались в глубь Индии, уничтожая незащитные племена, — на это у Англии всегда хватало и сил и денег. Однако Аустерлиц омрачил разум Питта, хотя перед смертью он напророчил удачно: «Можете теперь убрать все карты Европы — Европы нет, она стала сплошной Францией...» Граф Семен Воронцов, русский посол, остался почти равнодушен к Аустерлицу, зато вместе с англичанами ликовал по случаю победы при Трафальгаре. Его поведение еще раз доказывало непреложную истину: как бы ни был хорош дипломат, но зачастую его патриотизм невольно разрушается долгим пребыванием в чужой стране, среди чужого народа.

Строганов прибыл в ранге полномочного и чрезвычайного министра. Английское общество он заверял, что Аустерлиц все же явился моральной победой, за которой последуют необходимые перемены в русских настроениях. Высоко оценивая былые заслуги Воронцова, Строганов дал ему, как дипломату, блистательную характеристику, заключив ее оглушительным выводом для Петербурга: «Убрать немедленно его из Лондона... в новом времени, в новых условиях он вреден для России!»

Присылкою бумаг из Лондона «граф Попо» поставил Адама Чарторыхжского в неловкое положение. Излагая суть политики в Лондоне, Строганов на том же листе высказал сомнения в подлинности благородных намерений царя. Якобинское бунтарство еще не покинуло этого человека, и он писал, что, если государь теперь же не свяжет свое имя с раскрепощением крестьян, со всеобщим народным образованием в России, если от коллегиальности решений он при-

ступит к самодержавному произволу, тогда он, полномочный посол и товарищ министра внутренних дел, вынужден удалиться от зла, а чтобы оставаться полезным отечеству, он изберет для себя службу добровольцем в армии — пусть даже солдатом... Это был «крик гражданской скорби» истинного патриота! Впрочем, дни самого Чарторьжского тоже были сочтены. Вместо друзей либеральной младости императора после Аустерлица окружали сатрапы, а главной обезьяной в его самодержавном зверинце становился граф Аракчеев. Однако неуверенность Александра в самом себе заставила его решиться на созыв нового совещания.

Чарторьжский открыл его речью, составленной добротной, политически грамотно. Он предупредил сановников империи, что экспансия Наполеона в Европе все расширяется.

— Под угрозой уже Балканы, южные пределы России под страхом нашествия Турции, которая подначивается к войне из Парижа, небезопасны и наши владения на Черном море... С другой же стороны, — заключил Адам Чарторьжский, — великая держава не может оставаться безучастной и к делам Европы.

Кочубей был за то, чтобы оставить войска в Европе, уповая на союз с Англией, а князь Куракин спросил его:

— Виктор Павлыч, ежели ты решил воевать с Францией, так, вестимо, Россия к тому еще не готова.

— А когда она, князь, была готова? — возразил Кочубей. — Не было еще случая, чтобы Россия была к войне готова, однако это не мешает ей всегда войны выигрывать...

Александр Борисович князь Куракин был, как всегда, осыпан бриллиантами, отчего со времен Екатерины прозывался в обществе «бриллиантовым». Когда совещание грозило обратиться в перебранку, он вдруг заговорил продуманно:

— Сразу похерим всю эту коалицию. Австрия из игры выбыла надолго и как бы не стала союзна Франции. Аустерлиц, ослабив Австрию, несомненно, усилил Пруссию, но кидаться в дружбу с Берлином нет смысла, ибо король прусский уже запуган Бонапартием окаянными до трепета в суставах коленных... Кто же остается? Англия? — хмыкнул Куракин. — Но мы, русские, не нужны Лондону, ежели будем заняты едино собственным бережением... Наша мощь, наш солдат, наша кровь нужны Лондону лишь в том случае, ежели мы опять в Европу полезем. Тогда да, Англия будет нам союзна, ибо война в Европе позволяет Англии выгоды обретать.

Александр спросил — к чему он клонит?

— А вот к чему... Ежели мы в стороне останемся, тогда Европа, о нашем могуществе извещенная, сама перед нами заискивать станет. И не мы от других, а другие от нас будут зависимы. Быть того не может, — сказал Куракин, — чтобы Англия объявила нам войну только за то, что мы не желаем более воевать с Францией! Это химеры...

Александр заметил: не хватит ли «екатеринствовать»? Куракин просверкал в ответ массою бриллиантов.

— Ваше Величество, я не екатеринствую — я токмо сужу о выгодах государства Российского. Сейчас одна лишь Франция способна угрожать нам. Сделать Бонапарття согласивым можно в согласии с ним союзном. Ежели Англия не принудит нас к войне с Францией, так и Франция никогда не заставит нас воевать с англичанами! Опять-таки химеры...

Кочубей сказал, что союз с Францией невозможен, ибо интересы России и Франции все равно пересекутся:

— Что и станет поводом к новой войне меж нами!

— Конечно, пересекутся, — не спорил Куракин. — Но пересекутся не сегодня же! А за время передышки мы успеем подготовить Россию к войне решающей, и тогда еще поглядим...

Александр ответил Куракину, что его точка зрения меняет всю политику кабинета и принять ее нельзя. «Но старый князь, дипломат екатерининской школы, смотрел дальше своего императора и оказался прав»*. В конце совещания Александр, явно смущаясь, сказал, что брат его жены, принц Карл Баденский, венчается в Париже со Стефанией Богарне, из чего следует неизбежный вывод: старинный дом Романовых невольно оказывается родственным династии Бонапартов.

— Но это не окажет влияния на политику моего кабинета, — сказал царь в конце, и сказал он это твердо.

Далее события следовали стремительно. Наполеон из немецких княжеств на правом берегу Рейна образовал мощное сцепление государств — Рейнский Союз, объявив себя «протектором» союза. Франц Габсбург был вынужден после этого сложить с себя титул германского императора, ибо в Германии он перестал быть хозяином, и сохранил за собой титул лишь императора Австрии. Далмацию со славянским населением Наполеон подчинил Итальянскому королевству, а королем был сам! Наконец, из Берлина последовал крик отчаяния — это прусский король, изнывая от страха перед Францией, потребовал от той же Франции разоружиться и распустить Рейнскую конфедерацию. Наполеон велел отсчитать 24 000 франков.

* Это совещание только в последнее время стало привлекать внимание советских историков (см.: *Сироткин В.Г. Дуэль двух дипломатий*. М., 1968).

- Почему так мало? — изумился секретарь Буриен.
— Вполне хватит, чтобы раздавить лягушек в Берлине...

Этих денег хватило. Двумя ударами (под Йеной и Ауэрштедтом) всего за восемь дней полностью было уничтожено мнимое могущество Пруссии, укрывшейся за ватными бастионами прошлой славы Фридриха Великого. Берлин жил еще в неведении о разгроме армии, и добрый булочник Михель наивно рассуждал перед добрым колбасником Фрицем:

— Как твоя дочка Гретхен? Наверное, ее жених загулял в Париже... Уж он-то привезет ей вкусных конфет!

В их беседу вмешался почтальон Клаус:

— Вчера у Галльских ворот я видел солдат — все в зеленом. Оборваны, грязнули страшные. Воняет от них псиной.

— В зеленом? И грязные? Так это же русские.

— Но они разорались по-французски.

— И что? Все русские офицеры знают французский...

Вдруг на безлюдной Фридрихштрассе показался странный человек. Холщовые штаны в дырках, черные от грязи. От обуви остались одни ошметки. Длинная сабля волочилась по земле фута на два за ним. Он держал под локтем громадную буханищу хлеба, которым и кормил своего чистого пуделя, преданно не спускавшего с него глаз. Но не это, а другое поразило берлинцев: странный человек... курил трубку!

— Смотрите, смотрите: он курит на улице и ничего не боится... Откуда он такой взялся? Куда смотрит полиция?

На шапке этого человека вместо кокарды красовалась большущая ложка. Скоро заметили еще странных людей — и все они с ложками. На берлинцев они не обращали никакого внимания и, войдя в парк, сразу начинали ломать ветки для строительства шалашей. Улицы заполняло множество людей — все курящие, все с собаками, все с ложками. Некоторые тащили на штыках булки, возле их поясов болтались задавленные гуси и курицы... Наконец один старик-немец догадался:

— Добрые берлинцы! Это же *они*... французы!

Раздался страшный бой французских барабанов, от грохота звенели стекла в окнах мещан: это от Темпельгофа двинулась в улицы Берлина зловещая толпа в громадных медвежьих шапках, все загорелые, все босые, а длинные черные бороды свисали до пояса. Каждый из них тащил на плече громадную секиру, какими пользуются мясники при разделке мясных туш. Немцы приняли их за палачей Наполеона, но это были саперы. За ними ехал на лошади красивый офицер, раз-

ряженный как петух, и жонглировал длинным штоком, украшенным рубинами и стразами, — тамбурмажор! Берлинцы ошалели совсем:

— Как эти поганые оборванцы, давно не стриженные, давно не мытые, с псами и ложками, могли победить наших могучих героев с исправно напудренными буклями?

Наполеон остановился в Сан-Суси, к его ногам маршалы побросали 340 знамен армии Пруссии, а Даву сказал:

— Разве это знамена? Теперь это тряпки...

Наполеон принял за ужином старейшего генерал-фельд-маршала Вилгарда Меллендорфа и был с ним очень любезен:

— Я счастлив видеть у себя героя времен Фридриха Великого. Сколько же вам лет, господин фельдмаршал?

— Восемьдесят два года.

— Не пора ли в отставку?

— Скажите, сир, от кого мне теперь получать пенсию на старость — от своего короля или от Вашего французского Величества?

Наполеон со смехом потом рассказывал:

— Странный народ эти прусские генералы! Я их разбил, я их уничтожил, опозорил, а они не стыдятся кланчить у меня пенсии. Один дурак, раненный в задницу при бегстве от Йены, пожелал даже стать кавалером Почетного легиона...

(Наполеон смеялся напрасно: в 1814 году его же генералы, разбитые русской армией, просили для себя орденов у Александра, который справедливо ответил, что Россия еще не завела орденов для награждения побежденных.) В покоях Сан-Суси Наполеон подписал знаменитый декрет о континентальной блокаде, чтобы ни одна из стран Европы не смела торговать с Англией... В хорошем настроении он утверждал:

— В политике нет преступлений — есть только ошибки. Для нас не будет ошибкой, если, взяв Берлин, мы возьмем и Варшаву, которая является ныне провинцией Пруссии...

Положение в Польше было тогда архисумбурным. В канун Аустерлица на базарах Варшавы торговки овощами говорили пруссакам: «Вот придут русские — мы вас прогоним!» Теперь, когда Наполеон был в Берлине, они говорили русским: «Вот придут французы — вы сами убежите...»

Наполеон призвал Мюрата, Ожеро, Ланна, Даву.

— Поляки — мелочь, — заявил он им. — Польша труп, смердящий на пороге России, и мы попробуем гальванизировать его ради наших великих целей... Седлайте коней! Я догоню вас на марше. Мюрат, — обратился он к шурина, — ты, как знаток женщин, приготовь для меня

в Варшаве молоденькую даму обязательно знатного рода! К моему приезду устрани все предварительные затруднения, ибо у меня нет времени на уговоры женщин... На всякий случай, Мюрат, вот тебе футляр: откроешь его перед избранной тобой дамой моего сердца.

В футляре лежала драгоценнейшая парюра из бриллиантов, которая украсит голову очаровательной пани Валевской. Поляки обманывались в своих надеждах — Наполеон меньше всего думал об их независимости. «Мне нужен в Польше лагерь, а не политический форум, — писал он. — Я не намерен плодить лишних якобинцев и разводить новые очаги республиканства. Я желаю видеть в поляках дисциплинированную силу, которой и стану *меблировать* поля своих сражений».

Осенью 1806 года поляки впервые услышали на своей земле гневные окрики французских патрулей: «Кто идет?» Когда кавалерия Мюрата застряла в непролазной грязище, он с бранью учинил выговор генералу Яну Домбровскому:

— Как ты смеешь это болото называть отчизной?..

Презрение к Польше, высказанное Наполеоном, уже определилось. Но поляки были так рады избавиться от гнета Пруссии, что они радостно встречали французоз. Маршал Даву был озабочен, чем накормить своих голодных солдат:

— Несчастливая страна! В ней нет даже хлеба...

Французы твердо запомнили диалоги с поляками.

— Хлеба, matka, хлеба, — требовали они.

— Нема хлеба, — следовал горький ответ.

— Вода, вода.

— Зара-зара (сейчас), — соглашались поляки...

Даву раскрыл свою душу перед Мюратом:

— Послушай! Если ты стал великим герцогом у немцев, а Луи Бонапарта сделали королем в Голландии, почему бы мне — а я не хуже вас! — не стать королем у поляков?

— Попробуй, но ты не выберешься из грязи...

Граф Иосиф Понятовский, племянник последнего польского короля, имел больше всех других прав на престол, и Даву, заподозрив в нем соперника, стал покрикивать на него:

— Почему лакеи в Польше, открывающие гостям ворота, носят на плечах эполеты, какие у маршалов Франции?

— Мои лакеи носили такие же эполеты еще задолго до того времени, когда их надели маршалы Наполеона... Мне желательно знать другое: почему ваш маршал Ней в таких чудесных эполетах грабит подряд всех поляков в провинции?

Грабеж начался сразу же: Мортье требовал от поляков 200 талеров в день, генерал Вандам — 300 талеров, Иероним Бонапарт, брат императора, требовал для себя 400 талеров. Однако польская аристократия еще не унывала, для французов продавали в Варшаве мороженое, графиня Тышкевич, сестра Понятовского, сидела в киоске «Абукир» — в память Египетской экспедиции Наполеона, а графиня Потоцкая, румяная как заря, отпускала порции в киоске под названием «Аустерлиц»... Наполеон принял депутацию панов от Варшавы, заложив руки в карманы. Речь он начал словами о необходимости провианта для его армии, а закончил ее очень странным выражением:

— Все это пустяки... У меня французы вот здесь в кармане! Властвуя над их воображением, я делаю с ними все, что мне хочется. Нужны, — воскликнул он, нюхая табак, — ваша преданность, ваши жертвы и кровь!

Тут магнаты призадумались:

— Если он так судит даже о французах, что будет с нами, с поляками? Ему нужны только провиант и... кровь...

Заговорив о поставках хлеба, Наполеон развязал руки маршалам, которые хлеб уже не покупали, а отнимали силой; пообедав в гостях у панов, генералы считали долгом унести в свои экипажи все серебро и золото со стола радушных хозяев. Пример императора, увлекшегося Валеvской, которая сопротивлялась не дольше, нежели Макк под Ульмом, увлек в романтику флирта всех французов без исключения. Мюрат оказался самым пылким из кавалеров, и он доказал это, взламывая ночью топором двери спальни графини Потоцкой, усталой за день от продажи мороженого... В эту осень Варшава стала центром вселенной: сюда на поклон новому божеству съезжались короли, герцоги, принцы, политики всего мира. Талейран, чем-то озабоченный, едва цедил слова через зубы. Однажды Потоцкая слышала, как он окликнул Бертье вопросом:

— Не слишком ли мы далеко забрались, Бертье?

— Почему вы спросили меня об этом?

— Потому, Бертье, что вы умнее других...

Серые осенние дожди шумели за окнами дворцов. Талейран постукивал по столу вчетверо сложенной бумагой:

— Я имею известие большой важности... наш император еще не знает, что русский кабинет объявил нам войну!

Наполеон встретил это известие спокойно:

— Александр — глупый заяц, в голову которого попала дробинка, и он теперь бежит прямо на охотника, заряжающего ружье свежей дробью... Пук — и нет зайчика!

Тадеуш Костюшко проживал тогда в Париже, и, как ни пытался Наполеон вовлечь его в свои авантюры, патриот отверг все его посулы. «Это тиран! — говорил Костюшко об императоре. — Наполеон думает только о себе, ему ненавистны не только народы, но и самый дух их независимости... Дураками будут те поляки, что сунутся в его вербовочные конторы!»

Адам Чарторыжский доложил об этом Александру:

— Костюшко прозорлив. Но я, государь, прозорлив тоже: теперь, когда военные распри вовлекли в политику и Польшу, я, природный поляк, не смею более заведовать иностранными делами русского государства...

А ведь случилось-то страшное: Наполеон, как проблеск молнии, пронзил Европу и объявился вдруг стоящим у ворот России! Было от чего растеряться. «Подобный тем бичам, кои насылаются на людей гневом небесным, он промчался среди ошеломленных народов, сокрушая тропы, уничтожая города, одинаково свирепствуя в дворцах и хижинах, против сильных и против слабых», — писал тогда современник.

Писал не жалкий обыватель — генерал!

13. Противостояние

Императорские орлы — штандарты гвардии Наполеона — уже раскинули позлащенные крылья возле русских границ. Кутузов был лишен доверия, о нем даже не поминали, дабы не вызвать неудовольствия царя. Но среди военных все понимали: при скорости маршей Наполеона нашествие угрожает Вильно или Смоленску — эти главные стратегические направления могли вывести французов сразу к Петербургу или сразу к Москве. Следовало упредить удары врага... Александр метался:

— Именно сейчас мне не хватает генерала Моро! Сумев противостоять гению Суворова, он, знающий Наполеона, как никто, способен противостоять его наглости...

Главнокомандующего не было, а война уже началась.

Два русских корпуса перешли границу возле Гродно.

Одним командовал Леонтий Беннигсен — уроженец Ганновера, вторым Федор Буксгевден — уроженец острова Эзель. Генералы были единомышленны в одном — в несправимо лютой ненависти, какую они издавна испытывали друг к другу. К ним присоединился и прусский корпус генерала Антона Лестока.

— Со мною, — сообщил Лесток, — четырнадцать тысяч штыков. Это все, что я мог выцарапать у своего короля...

О том, что Беннигсен с Буксгевденом грызутся над славой, как собаки над мозговой косточкой, Петербург был подробно извещаем от графа Петра Александровича Толстого, посланного на войну ради их укрощения. Толстой докладывал, что генералы распустили треть армии, их солдаты, сытости не знавшие, копают на полях гнилую и мерзлую картошку. Давно льют дожди, а дороги — гибель: если не хочешь утонуть на дороге, сворачивай с нее в сторону... Александр был явно растерян, но имени Кутузова не вспоминал.

— Что нам делать? Где я найду командующего? Как можно открывать войну, уповая на двух оборотов?..

Ему подсказали Михаила Каменского, воевавшего еще под началом Потемкина и Суворова; пятьдесят шесть лет подряд он отстаивал репутацию лучшего полководца России. Одна беда с ним...

— Ваша бабушка, — сказали царю, — блаженной памяти Екатерины Великая, всегда изволили считать Каменского умалишенным...

Каменский и стал главнокомандующим. Три недели он тащился до Вильны, потом из кареты пересел в дровни, поволокся по грязи дальше, разглядывая солдат, копавших на полях картошку. Прибыв на войну, Каменский доложил в Петербург, что совсем ослеп, в Пруссии не бывал, городов ее не знает, немецкого языка тоже... Что делать?

Наполеон, прибыв к армии, был озадачен:

— Бертье, кто же такой Каменский?

— Называет себя соратником Суворова.

— Тогда, Бертье, с ним надо быть осторожнее...

Подумаем, читатель! Человек пятьдесят шесть лет выковывал свою репутацию для Пантеона бессмертных, а командовал армией всего семь дней. За одну неделю Каменский успел развалить даже то, что не успели организовать для обороны ни Беннигсен, ни Буксгевден, ни тем более Лесток. Что он там вытворял — уму непостижимо... Армия под руководством Каменского не знала, куда ей деваться: сегодня говорили, что пойдут прямо на Силезию, завтра обещали оборонять Кенигсберг. Но имя Суворова невольно гипнотизировало Наполеона: в каждой глупости Каменского, совсем не понимая его сумасбродных маневров, Наполеон тщетно пытался разгадать те проблески гениальности, что определяли высокое искусство Суворова. Каменский в этой войне добился невозможного: он сбил с толку не только свою армию, но ему удалось сбить с толку и самого Наполеона. Вся эта странная процедура — под дождем и снегом, среди болот и лесов — завершилась в ночь на 14 декабря 1806 года.

Как раз в эту ночь разбушевалась снежная буря, она сметала бивуаки русских и французов. Каменский закончил свое письмо к царю, откровенно признав в нем, что он, да, ума не имеет. После этого ума не имевший вызвал Беннигсена.

— Таких, как я, — сказал он, — в России тысячи, и не понимаю, почему именно меня наказать решили?

— Такой... один, — ответил ему Беннигсен.

— Спасайся, уводи армию прочь отсюда, иначе мы все погибнем. — Буксгевдену он приказал: — Бросай артиллерию, черт с ней, топи пушки в реках. Отступать... немедленно! Наполеон-то — от Бога, наказание Господне. За грехи наши, за грехи... Он как даст — только короны летят, нам ли, сирым, тягаться с ним? Этакое-то зверя лучше не задирать...

Бертье, сильно озабоченный, вошел в палатку.

— Что случилось? — встревожился Наполеон.

— Каменский затевает против нас что-то серьезное. На русских аванпостах движение, я вижу огни, там жгут пучки соломы. Слышны какие-то крики.. вроде кричат «ура».

— Этот Каменский задал нам хлопот, Бертье.

— Да, с ним лучше не связываться... Может, целесообразнее сразу отступить, оставив в арьергарде Ланна?

Наполеон был небрит. Два дня не обедал. Его лошаки с кухней и посудой бесследно исчезли в глубокой грязи, а с ними утонул и повар... посреди дороги! Наполеон уже давно подозрительно чесался — его гардероб тоже пропал.

— Проклятая страна, — ворчал император. — Теперь я понимаю Генриха Валуа, который улизнул из Варшавы в Париж, чтобы только не быть королем в этой местности.

Наполеон... отступил! Он выехал в Голымин, велел Ланну с его крепким корпусом предупредить противника. Беннигсен, назло Буксгевдену, оставил свой корпус на топких гатях близ Пултуска; он указал Буксгевдену примкнуть к нему, но Буксгевден, назло Беннигсену, отвел свои войска подальше от него. Хлеба не было, из походных церквей солдаты растащили все просвиры и сжевали их за милую душу. Громадные форшпаны (пруссские телеги) по самые оси вязли в сырой глине. Встретив отряд французов, екатеринославльские гренадеры возмутились:

— Они нас ишо на штык хотят брать? Ах, мать их всех за ноги! Покажем недоноскам, как надоть...

Перевернули ружья и погнали французов прикладами. Сражение при Пултуске началось. Над враждующими колоннами кружил

мокрый снег, под ногами чавкала болотная слякоть. Русские почти целиком уничтожили весь корпус Ланна (за компанию с ним, кажется, раздергали и части Даву). Пространство на двадцать верст в округе было усеяно утонувшими в грязи ранеными, меж кочек торчали хоботы поникших пушек. Французы оставили обозы, из фургонов которого победители растаскивали вино и закуску... Возле Остроленки Беннигсен встретил Буксгевдена, они схватились за шпаги, чтобы прояснить личные отношения.

— Зачем ты спалил мосты через Нареву?

— Чтобы никогда больше не видеть тебя...

Но тут подоспел граф Петр Толстой:

— Именем государя... разойдитесь, господа! Граф Буксгевден, вам велено ехать в Ригу... Имею распоряжение из Петербурга: командующим остается генерал Беннигсен!

Виною тому сам Беннигсен: он порадовал царя победой при Пултуске, наврав ему, что разбил не Ланна, а самого Наполеона. С тех пор величал себя так: Победитель Непобедимого! Неизвестно, кому пришла благая мысль — офицерам можно голов не пудрить, а солдатам кос более не носить. Но указ об этом состоялся, когда армия двинулась на Кенигсберг.

— Они отходят на Кенигсберг, — доложил Бертъе.

— Беннигсена перехватим на марше.

— Я солидарен с вашим мнением, сир.

— Но прежде дадим банкет, — сказал Наполеон...

Когда генералы сели за столы, каждый на тарелке (под салфеткой) обнаружил банковский чек на 1000 франков. Вполне приличный аванс, выданный вперед за будущую храбрость. Наполеон в таких случаях денег не жалел: предстояла битва, от мужества генералов зависел успех. Они спрятали чеки в карманы мундиров, потом дружно кричали: «Vive l'empereur!..»

Прейсиш-Эйлау — таково это место, где русская армия скрестила оружие уже не с маршалами императора, а с самим Наполеоном, разбившим свою ставку посреди городского кладбища. Кладбище, конечно, не лучший командный пункт на этом свете, но между массивных надгробий можно было укрыться от несносного морозного ветра. Зима выдалась очень суровой, снег был на диво глубок, противники падали из пушек, а кавалерия рубилась в атаках, даже не подозревая, что под откатом орудий и ударами копыт не земля, а толстый лед застывших озер и прудов. Откуда командовал Беннигсен, неизвестно,

ибо он... исчез! Его нигде не могли найти, и русская армия, предоставленная самой себе, сражалась по вдохновению тех генералов, имена которых навсегда остались дороги нашему сердцу: Багратион, Ермолов, Барклай-де-Толли, Раевский, Тучков, Дохтуров, прочие (а «Победитель Непобедимого» явился позже, когда пришло время сплести лавровые венки на свою голову).

Русские вломились в улицы прусского города.

— Сульт! — крикнул Наполеон. — Вышвырните их оттуда! Все смотрите на Сульта — сейчас он станет велик...

Барклай-де-Толли был ранен в руку.

— Сомов, — кричал он своему помощнику, — только не отступать!

Уличный бой всегда ужасен, и солдаты потащили Барклая в переулок, он и сейчас, истекая кровью, все еще звал Сомова:

— Держать каждый забор... каждое дерево...

Наполеон все время спрашивал у Бертье:

— Где же пленные? Сколько их взято?

Бертье он просто надоел этими вопросами.

— Да какие тут пленные, если все держится на штыках! Убивают всех подряд, никого не щадят — ни мы, ни они... Вы посмотрите, сир, что они там вытворяют!

Русская армия широким полукругом плавно, но жестко охватывала фланги французов. Наполеон, почуввав опасность, выдвинул корпус Ожеро, и корпус полег замертво, а сам Ожеро, весь израненный, едва выбрался живым.

— Если б не эта пурга... — оправдывался он. — Ради чего мы сюда забрались? Что нам тут надо?..

Дохтуров вел конницу прямо на кладбище.

— Вот он! — и палашом указывал на императора.

Наполеон увидел близ себя плещущие взмахи палашей, кромсающих его «ворчунов», он растерянно озирался:

— Бертье, что такое? Это не бой... резня!

Мюрат, спасая шурина, стронул лавину доблестной кавалерии. Он опрокинул ряды русской инфантерии, но ничего не достиг и пошел обратно, впервые узнав, что против урагана его неистовых сабель русские умеют выставлять жала штыков, они вышибают всадников из седел, вспарывают животы лошадям. Но с другой стороны кладбища Прейсиш-Эйлау князь Петр Багратион ударил своей конницей, к Наполеону уже подвели лошадь, он видел бегущих солдат гвардии, призывая их:

— Не терять знамен... берегите моих орлов!

Мимо него пронесло в седле умирающего казака, который, уже ослепленный смертью, уносил как раз императорского орла, размахнувшего блестящие крылья. Бертье доложил, что корпус Нея на подходе, еще немного — и можно пускать в дело корпус Даву.

Ней, оглядев поле битвы, сказал перед атакой:

— Великий Боже, что нам даст этот день?

Наполеон выпустил и Даву в эту мясорубку сражения:

— Смотрите на Даву — он сегодня станет велик...

Русским было сейчас все равно, какого зверя выпустит Наполеон из клетки — Ожеро, Нея или Даву. Пушки батареи Ермолова и Раевского работали так, что в воздухе кружились обломки оружия, взлетали каски и кивера, оторванные ноги лошадей и руки всадников, сжимающие сабли... Даву отошел... Наполеон почуял нутром, что дух его армии уже поколеблен в атаках, которые не дали ему никаких результатов. Он уже фантазировал, что сказать в бюллетене — для парижан, для Европы, для всего мира... В самом деле, что тут скажешь?

— Где же пленные? Где пушки? Где знамена?

Трофеев не было, а снег к вечеру стал коричневым от крови, которой в этот день не жалели ни русские, ни французы, трупы лежали грудями — да, это бойня! И нельзя закончить ее, и только ночь смогла прекратить резню... Беннигсен созвал генералов, спрашивал: как поступать далее?

— Утром начнем все сначала, — сказал Ермолов, как всегда мрачный. — Начнем с первого выстрела до последнего.

— Мы уже победили! — воскликнул пылкий Багратион. — В этом нет сомнений. Не будем ждать утра... сейчас!

Граф Петр Толстой был осторожен в выводах:

— Господа, Наполеон сегодня НЕ победил нас...

По законам того времени победившим считался тот, кто оставался ночевать на поле битвы. Беннигсен отвел свою армию ближе к Кенигсбергу, а Наполеон, обрадованный, отправил в Париж хвастливый бюллетень о своей победе. Дабы пресечь сомнения журналистов, он восемь дней подряд еще морил голодом и морозил своих солдат у Прейсиш-Эйлау, этой долгой стоянкой доказывая Европе правдивость своего лживого бюллетеня*. Он никого не обманул: его армия не могла опомниться после битвы, нервное потрясение было слишком грандиозно, и Наполеон все время допытывался у Бертье: «Отошел ли Беннигсен? Далеко ли?...»

* В 1809 г., беседуя в Вене с военным атташе А.И. Чернышевым, Наполеон признался: «Если я назвал себя победителем при Эйлау, то лишь потому, что вам угодно было отступить».

Разом началась оттепель. Всю солому с крыш обобрали, скормив ее несчастным лошадям. Госпитали Кенигсберга были забиты русскими ранеными («Из коих многия до сих пор не получали перевозки, около 10 мрут каждодневно» — это слова очевидца). Беннигсен расписал в донесении свою, конечно, победу, чтобы царь поразовался, он депешировал ему, что отправляет в Петербург двенадцать императорских орлов:

— Несите их все сюда... курьеры ждут!

Из двенадцати орлов нашли только пять, и Ермолов сказал:

— Остальных не ищите — их уже пропили.

— Как пропили? — обомлел Беннигсен.

— А так...

Выяснилось, что солдаты, не понимая ценности священных для Наполеона реликвий, обменяли его орлов на водку в прусской деревне. Не будем судить их за это: продрогшие на морозе, они хотели согреться. Но зачем орлы французской гвардии нужны в крестьянском хозяйстве — кто знает...

Наполеон в эти дни говорил Бертье:

— Нашей длинной веревке пришел конец. Выхода нет, и надо призвать в армию молодежь набора восьмого года.

Бертье сказал, что преждевременная конскрипция вызовет во Франции тревожный резонанс: «Не лучше ли нам подумать о мире?..» Наполеон жил в избушке, вьюга наметала сугробы. Вчера солдаты кричали ему: «Папа, хлеба!» Они кричали по-польски, и он ответил им словами поляков: «Нема хлеба». А где-то там, за снежными равнинами, лежала загадочная страна, которая на смену павшему легко ставила десять новобранцев. Убей их десять — из-под снега вставали сто.

— Прежде чем говорить о мире, Бертье, мы должны рассчитаться с русскими за Прейсиш-Эйлау... Париж я могу обмануть, но вас-то не обманешь: да, мы проиграли!

Весною 1807 года Александр выехал на войну, цесаревич Константин вел гвардию, включая и полк кавалергардов. Гаврила Державин, уже совсем дряхленький, проводил всю эту компанию в боевой поход вирами:

Ступай и победи никем не победимых,

Обратно не ходи без звезд на персях зримых...

По прибытии к армии царю показали войска, и они выглядели хорошо. Он не знал правды. Цесаревич открыл брату глаза: в соседнем лесу прятались по кустам голые люди.

— Кто вы такие? — спрашивал царь. — Почему голые?

— Мы не знаем... нам так велено, мы не виноваты...

Оказывается, чтобы привести в божеский вид часть войска для царского смотра, Беннигсен другую часть армии раздел, ибо на всех солдат не хватило ни обуви, ни порток, ни мундиров. В ответ на упреки, что армия голодает, Беннигсен нахально отвечал императору: «Ну и что? Все так. Я ведь тоже имею к обеду лишь три блюда...» Александр поселился в Тильзите, где между братьями произошла очень бурная ссора.

— Беннигсен жулик и злодей! — говорил Константин, не вынимая изо рта сигары. — Послушай, что говорят в армии. Один раз ты загнал ее под Аустерлиц, где она погибала за венских трясунув, теперь ты спроворил ее под Кенигсберг ради голубых глаз королевы... Так судят офицеры. А на солдатских бивуаках судят эдак, что лучше мне помолчать.

Император жаловался потом князю Куракину:

— Как люди не поймут, что нам нужен заслон! В пятом годе я спасал Австрию, ограждавшую Россию с юга, теперь я вступаюсь за Пруссию, чтобы не лишить страну заслона на севере... Нельзя же нам допустить, чтобы мы, русские, граничили с наполеоновской Францией! Она уже здесь...

Стратегически император рассуждал правильно.

— Ваше Величество, — отвечал ему вельможа, — если бы вы так и объяснили народу в своем манифесте о войне. Вместо этого Синод велел возгласить в храмах Божиих, что Наполеон — исчадь сатаны, совокупившегося с блудницей египетской, анафема ему на многая лета. Теперь, случись замирение, как же вы из антихриста херувима лепить станете?

Куракин тоже рассуждал здраво. Между тем Тильзит уже наполнялся слухами. Поговаривали, что Беннигсен наголову разбит Наполеоном, армия отступает. Кенигсберг уже сдан, все чаще поминался городишко Фридланд. В ставке царя, громыхая пудовыми ботфортами, вдруг появился граф Петр Толстой мрачнее тучи.

— Сушую правду, — потребовал от него император.

— Правда такова, — отвечал Толстой. — Войска наши опрокинуты в реку Алле, Багратион отошел по горящим мостам, а князь Горчаков не мог помочь, отделенный от него озером. Беннигсен валялся на земле, жалуясь на разлитие желчи. От самого начала баталии у Фридланда мы были прижаты к реке.

— К реке? Какой же балбес избрал эту позицию?

— Беннигсен... Для Бонапартия этот день был юбилеем Маренго, и он отпраздновал его под Фридландом. Войско Вашего Величества сражалось геройски. Можно лишь дивиться, что французов положили

в таких условиях не меньше, нежели они уклали на берегу наших. Преследовать нас они не решились. Наполеон хлопочет о мире и встрече с вами.

— Что же нам, Толстой? Уходить за Неман?

— Да! И сжигать мосты. Я не сказал, Ваше Величество, главного: конница Мюрата быстрым аллюром спешит в Тильзит.

— Тильзит, Тильзит... святой Боже, что творится?

Эта беседа состоялась в прусском местечке Олита, где император инспектировал дивизию князя Лобанова-Ростовского. По слухам, Наполеон уже выслал Дюрока в ставку Беннигсена, и Дюрок не говорил с ним о перемирии — он настаивал на мире и дружбе, из чего слагался вывод: Наполеон желал большего — союза с Россией... Александр поразмыслил об этом:

— Хорошо. Пригласите сюда Лобанова-Ростовского... Князь, — сказал он ему, — ты поедешь к Наполеону ради прелиминарных переговоров о мире. Но помни, Дмитрий Иванович: если что исполнишь не так, я сразу же дезавуирую тебя в политике, и ты будешь виноват у меня с ног до головы.

Князь Лобанов — солдат. Грубый. Нескладный.

— Вот как?! — расшумелся он. — Сижу я у себя в имении. На заводе винном гоню водку для казенных надобностей. Вы меня зовете — на дивизию! Не успел ее построить, как мне вдруг ехать к Бонапартию и рассуждать с ним о мире.

— Моли Бога, — ответил Александр, — чтобы после этого мира не сослал я тебя обратно на заводы водочные...

Сунулся было к царю и Беннигсен:

— Государь, прикажите, что далее мне делать?

— Убираться отсюда... ко всем чертям!

Беннигсен быстро нашел «чертей». Он стал ужинать у английского посла Говора, который потащился за царем в Пруссию, чтобы шпионить за русской ставкой. Напоминаю, что Беннигсен — ганноверец, а Ганновер — древняя вотчина британских королей на континенте. Не тут ли и зашевелились «черти»? Ужины не повод для обвинения Беннигсена в предательстве. Но историки еще не разрешили каверзного вопроса: кто продал Англии тайны Тильзитского соглашения? Почему Лондон буквально через несколько дней уже знал в подробностях все его секретные статьи?

Барклай-де-Толли, тяжело раненный при Эйлау, был отвезен пруссаками в Мемель — для лечения. В тамошнем госпитале его навещал

знаменитый историк античного мира Бартольд Нибур, спасавшийся от французов в Пруссии... Между ними однажды возникла беседа, о которой наши историки, очевидно, просто забыли. Нибур спросил Барклая: как бы он действовал против Наполеона, если бы Наполеон решился вступить с армией в просторы России? Барклай к ответу был готов:

— Я бы избегал генеральных сражений, чтобы, отступая, увлекать Наполеона в глубь русских пределов. При этом я постоянно бы ослаблял Наполеона частыми, но короткими ударами с флангов, сохраняя свои войска в порядке. Я изматывал бы Наполеона бесплодными маршами до тех пор, пока он не нашел бы места для своей Полтавы...

Наверное, Нибур эти слова записал, иначе они не дошли бы до нас. Но речь Барклая — не есть ли это заранее осмысленный пролог к будущему? Кутузов в канун Аустерлица тоже ведь, не страшась расстояний, хотел вытянуть Наполеона из Моравии в Галицию, чтобы там и уничтожить. В совпадении планов двух полководцев я хочу видеть некую солидарность в их общей великолепной стратегии.

14. Это было в Тильзите

Неман стал демаркационной линией. Обычно яростный в преследовании противника, на этот раз Наполеон вел себя нарочито пассивно. Французы не мешали русским спокойно отойти за Неман и протащить через мосты громоздкие обозы. Лишь убедившись в том, что русские справились с этим нелегким делом, Наполеон 19 июня въехал в притихший Тильзит. В этот же день въехал в Тильзит и князь Лобанов-Ростовский, которого с нетерпением ожидал маршал Бертье.

Бертье встретил князя как лучшего друга, он поразил Дмитрия Ивановича своей откровенностью.

— Задали вы нам хлопот! — сказал он, смеясь. — При Каменском мы устали от его фокусов, подозревая ловушки там, где их не было. Беннигсен при Фридрихсбурге поставил свою армию на Алле в такое положение, что мы долго не могли поверить в его ошибку, нам все казалось, что это делается нарочно... Итак, вы прибыли с миром, генерал?

— О мире могут судить дипломаты, — ответил князь. — Мы же, генералы, можем договориться лишь о перемирии.

Радость на лице Бертье померкла (стало ясно, что он ожидал от русских гораздо большего). Лобанов-Ростовский заявил далее, что ни мира, оскорбительного для русской чести, ни изменения границ Россия никогда не допустит.

— Мой император, — сразу вспыхнул Бертье, — и не помышляет об этом. Мы, французы, почитаем обидным для себя даже намек на изменение ваших российских пределов...

Пока все складывалось хорошо. За обедом Дмитрий Иванович грубовато, но честно заметил Бертье, что бюллетени, посылаемые в Париж императором, далеки от истины, а в № 58 искажена правда о битве при Прейсиш-Эйлау.

— Свои потери вы сократили в четыре раза, а наши увеличили в пять раз. Если вам верить, так вы взяли у нас восемнадцать знамен... Вы хоть одно русское знамя видели?

— Ни одного! — ответил Бертье, улыбаясь. — Я согласен, наши бюллетени для публики фальшивы. Зато императору мы докладываем только правду. Вы же в своих бюллетенях обманываете не только себя, но и свое правительство. А народ русский должен сам гадать на кофейной гуще — где же истина, а где вымысел... Так что же лучше?

Бертье велел принести из кабинета портфель, показал из него доклады Наполеону генералов и маршалов, и князь Дмитрий Иванович своими глазами убедился, что все доклады были справедливы. Без прикрас. Без хвастовства. В этот момент открылась дверь — явился Наполеон.

— Бертье, вы уже продали мои тайны? Хорошо ли это? — Затем, подойдя к русскому генералу, он взгляделся в его жесткое, топорное лицо. — Я вас знаю и одобряю выбор вашего государя... Бертье, велите открыть шампанское.

Он взял карту Европы и перегнул ее пополам так, что сгиб карты пришелся по меридиану Варшавы:

— Ради чего мы спорим? К чему кровопролитие? Вот естественная граница меж нами: к востоку от Вислы — все ваше, но к западу от Вислы — уже мое. — Наполеон беззаботно чокнулся с князем бокалами. — За вашего императора!

Бертье заметил ордена и золотое оружие князя:

— Сразу видно, что вы немало воевали.

Лобанов-Ростовский перечислил свои награды:

— За Очаков, за Измаил, за Мачин, за штурм Праги... Увы, все это в иные времена — при матушке Екатерине!

Вспомнив младость, он даже прослезился. Наполеон распахнул двери, стал звать своих генералов и маршалов:

— Идите сюда, идите... вот вам пример верности: при имени Екатерины генерал плачет. Хотел бы я знать — будете ли плакать вы, когда меня не станет?..

Вечером император навестил Талейрана.

— Поется новая любовная ария? — спросил тот.

— Хочу составить любовный дуэт с Александром... сейчас мне это нужно. — Он помолчал, явно гордясь успехом. — Я все-таки математик и знаю, что минус на минус всегда дает плюс. Вот и результат: минус Голландия с Бельгией, минус Австрия, минус Италия с Пруссией, а в итоге недурной плюс! — и при этом Наполеон показал на себя.

— Кого же готовить послом для Петербурга?

— Пока... пошлем Савари. На разведку!

Талейран понятно кивнул. Убийство герцога Энгиенского еще не забыли в салонах петербургской знати, и послать туда главного убийцу — значило испытать чувства Александра, проверить прочность тех уз, которые в Тильзите император Наполеон собирался наложить на Россию. Но Талейран мыслил уже и далее: несомненно, Тильзитский мир возведет Наполеона на вершину его могущества, зато после Тильзита он начнет скатываться с вершины — все ниже и ниже...

«Не пора ли и предать его здесь, в Тильзите?»

Много позже, уже на острове Святой Елены, Наполеона спрашивали — в какой момент жизни он испытывал всю гигантскую полноту счастья? Подумав, «узник Европы» отвечал:

— Пожалуй, это было в Тильзите...

Накануне Англия отказала России в пустяковом займе, хотя Петербург и просил-то всего шесть миллионов фунтов стерлингов. Английский посол Говер имел наглость сказать, что России достаточно 2 200 000 фунтов, но «она обязана разделить эту сумму между Пруссией и Австрией...». Вот тогда-то Александр, обычно сдержанный, высказал Говору все, что он думал об Англии: «Наполеон прав, презирая вас за ваши торгашеские нравы...» Говер осмелился заявить, что Россия не имеет права вступать в сепаратные переговоры с Наполеоном без участия в них Англии, а царь отказал ему в аудиенциях:

— С этого момента вы для меня не существуете...

Разрыв с Англией назрел! Однако в Петербурге дамы и господа слишком привыкли к союзу с англичанами, Александра обвиняли чуть ли не в предательстве. Даже сестра царя Екатерина Павловна (у которой с братом были такие же отношения, как у Наполеона с падчерицей Гортензией) написала в Тильзит, что свиданием с Наполеоном он подчинится ему. «Мы, — писала сестра, подразумевая Россию, — принесли огромные жертвы, а... зачем?» Александр в эти дни сблизился с «бриллиантовым» Куракиным, сделав старика поверенным своих сомнений. Он повторил перед ним то, что ответил сестре:

— Пусть Бонапарт не думает, что я дурак: я буду смеяться последним... в Париже! Он еще не знает, как страшен русский народ, если

его затронуть. Сейчас призыв к миру исходит не от России — Франция сама лезет ко мне в кабинет. А вы, Александр Борисыч, оказались тогда правы на совещании. Бывают обстоятельства, когда следует руководствоваться одним лишь побуждением — безопасностью отечества! Пусть это побуждение и станет главным в нашей политике...

Совместно они обсудили главные мотивы к вынужденному миру: Беннигсен армию развалил, налицо 46 000 штыков, а по спискам должно быть все 100 000; Англия не союзник, а скрытый завистник, помощи от нее ждать в этих условиях глупо; Наполеон у границ России, и сейчас он сильнее; коалиция распалась, а без помощи других государств Европы нет смысла втягивать русский народ в новое и длительное кровопролитие... Вывод — идти на мир, каков бы он ни был!

— Но все-таки, князь, я попробую уговорить Наполеона на сохранение Пруссии, которая надобна вроде пограничного барьера. Нельзя допустить его уничтожения...

Перемирие было подписано, и Александр его ратифицировал. Однако Бертье, выражая волю Наполеона, настаивал перед Лобановым-Ростовским на личной встрече монархов. Наполеон снова пил шампанское с русским генералом:

— Я и ваш государь, мы должны объясниться... Франция нуждается не только в мире с Россией, но и в дружбе с нею, — ласково убеждал он. — Если вам угодно, я хоть завтра отрежу от Пруссии самый жирный кусок для вашего государя.

Наконец, он послал к царю адъютанта Дюрока.

— Я прибыл договориться о свидании... Чтобы ни Вашему Величеству, ни моему императору ничто не мешало и не было бы лишних свидетелей, мой император предлагает встречу посреди Немана... на плоту! Я жду вашего ответа.

Александр не стал возражать, хотя и понимал, что свидание на плоту, окруженном водою, вызовет немало кривотолков в русском простонародье. Странно, что у Наполеона все было готово к встрече: посреди плота устроен павильон, украшенный буквами «А» и «N». Утром следующего дня император Александр прифрантился, он был при шпаге и пояском шарфе. На берегу Немана царь прошел в корчму, уже разоренную войсками, от крыш остались одни лишь стропила, и уселся возле окна, сложив на столе перчатки, шляпу с белым плюмажем и черным султаном на гребне. Прусский король, ко всему излишне внимательный, уже стал обижаться:

— Почему на павильоне не видно моей буквы «F»?

— Не мы, русские, этот плот сооружали.

— Значит, меня не будет на переговорах?

— Из наличия букв сделайте вывод сами...

Вдоль противоположного берега выстраивались шпалеры французской гвардии, толпились любопытные горожане. Раздались звуки фанфар, верхом на лошади скакал Наполеон в окружении свиты и маршалов. Александр не спеша натянул перчатки:

— Ну, мне пора... сейчас все должно решиться!

Он отплыл на убогой рыбацкой лайбе, для его гребцов едва нашли белые шаровары: Наполеон отчалил на красивой ладье, его матросы были в киверах, куртки расшиты золотыми бранденбурами. Наполеон стоял на носу ладьи, скрестив на груди руки, как и положено ему, Наполеону. Он первым выскочил на плот и подал руку Александру. Первые слова, сказанные ими, навеки потерялись в шуме голосов и криков радости с берегов реки. Историки сумели реконструировать лишь вторые или третьи их фразы. Александр якобы сказал:

— Я ненавижу Англию не менее вас.

— Если так, — отвечал Наполеон, — мы поладим...

Сколько лет прошло с той поры, а Франция до сих пор не опубликовала документов об этом свидании. Если они и были, то, вероятно, уничтожены, Россия оказалась счастливее: по крохам, но кое-что все-таки собрали и сохранили... Когда императоры сделались «друзьями», Талейран, веселый и предельно ласковый, объявился перед князем Куракиным с портфелем.

— Что могут понимать в политике наши Цезари! — сказал он, бравируя легкомыслием парижанина. — Пусть они и далее исполняют свой любовный дуэт, но мы с вами, дорогой коллега, должны всю музыку Тильзита переложить на секретные ноты. Никаких, конечно, свидетелей, и даже кошку попросим удалиться за двери... Итак, я буду вашим секретарем, а вы станете моим. Попишу я — устану, затем попишете вы...

Тильзит был объявлен нейтральным городом, его гарнизон составили батальоны русской и французской гвардий, для которых пароль сделался общим. По утрам граф Петр Толстой, ворчливый, шел справляться у Бертье о драгоценном здоровье Наполеона, а Дюрок приходил спросить о драгоценном здоровье Александра. С бивуаков башкирской конницы иногда взлетали тонкие стрелы, пронзая летящих над городом птиц, что вызывало всегда бурю восторга среди французов. Донские казаки по ночам упивались ворованным у противника шампанским и бордоским. Наполеон без охраны и свиты, заложив руки за спину, шагал по городу в гости к царю, а царь, тоже без охраны, ходил обедать к Наполеону. Александр в гостях у французов ел все, что дают, а Наполеон в гостях у русских никогда ничего не брал со стола — боялся отравы...

Желание побывать в Тильзите, нейтральном и закрытом, чтобы подивиться на императора французов, было у русских офицеров очень велико. Многие, чтобы обмануть стражу, селились в городе под видом проезжих купцов с товарами. Князь Сергей Волконский (будущий декабрист) нарядился под прусского мещанина, навесил на шею лоток и вошел в Тильзит, торгуя булками и конфетами. Он даже растерялся, когда в одном из французских офицеров узнал Михаила Орлова:

— Мишель, в чем дело? Почему ты одет в чужое?

Орлов огляделся вокруг и шепнул по-русски:

— А ты, Серж, тоже не в своем... помалкивай!

Среди русских в Тильзите можно было встретить и бесшабашного Дениса Давыдова. Но был ли он весел тогда? Вряд ли. В своих мемуарах он писал: «1812 год стоял посреди нас, русских, со своим штыком в крови по дуло, со своим ножом в крови по локоть...»

Александр, покидая Тильзит, с изысканной любезностью предложил Наполеону быть гостем в России, он сказал:

— Вы так много уже видели! Но после красот Италии вам необходимо видеть нашу Москву, наш сказочный Петербург... Я извещен, что вы не выносите даже малейшего холода. Но я обещаю отапливать ваши комнаты до состояния египетской температуры. А потом ждите меня в Париже...

Вряд ли упоминание о Египте было полезно для настроения Наполеона, и весь день император оставался мрачен. Вечером он просил Савари остаться для беседы и сказал ему:

— Этот лысеющий бонвиван где-то и когда-то успел меня уже обмануть... Но — где? Но — когда?

Александр I, всходя на плот Наполеона, доказал, что он способен быть сильным и прозорливым политиком. Недаром же в европейской дипломатии того времени о нем сложилось такое мнение, что «в политике русский царь тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская...». Он сумел в Тильзите обворожить Наполеона, оказавшись в конечном итоге умнее его, изворотливее, дальновиднее...

Мир! Но теперь снова будут разрываться карты Европы.

15. А в Петербурге холодно

Алексей Михайлович Пушкин, генерал и писатель, на почтовой станции в глуши России узрел на стене гравюрный портрет Наполеона. Он спросил станционного смотрителя:

— На што, друг, мерзавца у себя повесил?

— Не ровен час, он с фальшивою подорожной объявится на станции лошадей требовать. Я его, голубчика, вмиг с портрета разоблачу. Свяжу и представлю по начальству.

— А, это другое дело! — сказал Пушкин, довольный таким ответом, и велел подавать ботвинью с зеленым луком...

После Тильзита русским людям было свыше указано, чтобы впредь не вздумали «Наполеона» называть «Бонапартием». Но указ не дошел до барских псарен, и помещики показывали гостям щенят новорожденных, держа их за шкурки:

— Эва! Моя красноподпалая сука Задира от брыластого Прохвоста родила. Сучку назвал Жозефкой, кобелька Наполеошкой...

Объяснить народу мир с Францией было очень трудно, ибо русские не забывали громких побед Румянцева, Потемкина, Ушакова и Суворова. Неграмотные мужики чесали в затылках:

— Не иначе как нечистая сила! Недаром наш-то с ихним-то посередь речки плоты сколачивали... не к добру!

Купцы на столичной бирже судачили:

— Да какой же это мир, ежели наш к Напулевону покатил, а не сам Напулевон приехал нам кланяться...

Александра, по возвращении его из Тильзита, петербуржцы встретили неприязненно. Но генерала Савари они встретили с неприкрытой ненавистью. Савари был обязан переломить антифранцузские настроения в Петербурге, чтобы расчистить дорогу к сердцу царя тому послу, который займет его место уже основательно. На городской заставе Савари долго томили, перерыв весь его багаж. В пяти домах столицы отказали в квартире. Пришлось остановиться в гостинице «Лондон». Визитные карточки в домах аристократии остались лежать в передних без ответа. На тридцать визитов Савари отозвались лишь два человека: князь Лобанов-Ростовский, сам причастный к «кухне» Тильзита, и граф Петр Александрович Толстой, собиравшийся ехать в Париж русским послом.

Теперь для ведения иностранных дел понадобился граф Николай Румянцев — удобная для Наполеона «подсадная утка», ибо Румянцев давно выступал за союз с Францией. Но при свидании с Савари он сразу дал ему отпор. Савари посчитал, что мнение царя в России — это и есть мнение общества:

— У нас во Франции все решает император, а если меж ним и обществом вырастает пропасть, ее быстро засыпают свежей землей, прокладывая поверху бульвар для забвения пропасти.

— Как в России хорошо поставлено дело парадов, так во Франции отлично организована печать, раздавливающая любое мнение, — сказал Румянцев. — Но пусть вам не кажется, что вы попали в страну, где правит деспот. Наш император в отличие от вашего ничего не может сделать без нас, а мы, дворянство, никогда бы не потеряли его самовластья...

Наполеон предвидел, что Савари в Петербурге будет трудно. Считая себя большим знатоком дамских нарядов, император нагрузил посла сундуками с платьями, которые сам же и отобрал. Императрица Елизавета, женщина скромная, угнетенная постоянными изменами мужа, не польстилась на «дары данайцев», зато содержимое сундуков имело большой успех в доме Марьи Антоновны Нарышкиной. Наполеон, действуя через Савари, лично указывал этой фаворитке царя, что сейчас модно в Париже, он издали осыпал ее жемчугами и бриллиантами.

Александр предоставил Савари гондолу, роскошно убранную, которая ожидала посла у набережной возле Марсова поля. Гребцы с песнями быстро доставляли Савари на Каменный остров, где император проживал на даче, подальше от суеты столицы. За столом прислуживали черкесы с кинжалами. Беседовать с послом Александр выходил в осенний сад.

— Передайте своему императору, — сказал царь, — что после моего разрыва с Лондоном я не стану заискивать и в дружбе венской. Поверьте, никогда не спал на трехспальной кровати! Думаю, граф Толстой вполне устроит Париж своей откровенностью старого солдата. Но кого же следует ожидать в Петербурге на ваше место? Мне нравится Дюрок, я люблю и Армана Коленкура... с трудом верится, что этот милейший человек причастен к убийству герцога Энгиенского.

Савари внутренне сжался. Он ответил, что Коленкур, страстно влюбленный в Адриенну Канизи, вряд ли покинет Париж, однако Наполеон не терпит браков с разведенными дамами.

— Странно... У меня при дворе полно разведенных женщин, и мадам Канизи, став женою Коленкура, никогда не будет отвергнута нашим обществом, — обещал Александр...

Настала очень морозная зима, Петербург замело высокими сугробами, в самые последние дни 1807 года в Петербурге появился маркиз Коленкур, облаченный в громадную шубу.

Новый посол казался раздраженным, издерганным.

— Император все-таки уговорил меня ехать сюда... Один раз он обещал не препятствовать моему счастью, если я выведу из Бадена герцога Энгиенского, но слова не сдержал. Теперь он поклялся, что Адриенна

будет моей, если я займу посольское место в морозах русской столицы... Я привез, Савари, очень много денег и очень сложные инструкции!

После долгой дороги Коленкуру было приятно прислониться спиной к горячей печке. За окнами сверкала замерзшая Нева, в изморози цепенели четкие, как гравюрные линии, реи и снасти застывших кораблей. Савари предупредил Коленкура:

— Можете жить здесь спокойно. Я не брал на себя вину за расправу над герцогом Энгиенским. Но я посеял в высшем свете Петербурга слухи, будто вы совсем не причастны к этому убийству. Однако, маркиз, вы напрасно доверились нашему императору. Теперь ждите, что он сошлет мадам Канизи куда-нибудь подальше от Парижа, и вы не скоро ее увидите.

— Он не посмеет издеваться над моими чувствами! — Оторвавшись от печки, Коленкур подошел к окнам. — Как вы думаете, Савари, — вдруг спросил он, — где сейчас хранится таинственный ключик всей европейской политики?

— Надо полагать, в Париже...

— Сомнительно. Ключ здесь, в Петербурге.

— Не думаю, чтобы император согласился с вами.

— Между тем я лишь повторил мнение Наполеона...

Вечером они оба ужинали без лакеев.

— Помимо исполнений инструкций и траты денег, — сказал Савари, — вам предстоит одно щекотливое дело...

— Не пугайте меня, Савари!

— Но вы должны знать, что Петербург устроил настоящую охоту за генералом Моро. Я недавно обедал у царя, оказавшись соседом князя Багратиона, и этот бравый генерал уверенно ставил Моро выше нашего императора. А сейчас русский кабинет тайно хлопочет о призывании Моро на русскую службу.

— Как далеко зашли эти происки?

— Очень далеко... вплоть до Филадельфии.

— Откуда вам это известно?

— От фаворитки царя... от Нарышкиной, эта нимфа сама проболталась, будто к Моро в Америку уже послан доверенный человек, дабы побудить его к переселению в Россию.

Коленкур бесцельно передвинул подсвечники на столе, он еще не согрелся и налил себе чуточку старки.

— Из Петербурга в Америку может быть отправлен только такой человек, который лично знал Моро... Кто же он?

Остроносое лицо Савари лоснилось в потемках.

— Этого, — сказал он, — мадам Нарышкина, наверное, и сама не знает. Я не терял здесь времени даром и перебрал всех русских, бывавших в Париже после Амьенского мира. И не нашел никого, кто бы годился для такого опасного поручения.

Коленкур раскурил от свечей испанскую сигару.

— Я не верю в это, — ответил он. — И никогда Моро, заядлый республиканец, не станет служить монархам. Скоро мы увидим генерала Моро командующим американской армией. Сам республиканец, он охотно согласится служить республиканцам. На этом, Савари, и закончим наш очаровательный ужин.

Часть третья ПОД ШЕЛЕСТ ЗНАМЕН

— Моро, Моро в нашем лагере! Вы его, конечно, нарисуете, — слышу я со всех сторон.. Этот человек, почитаемый всей Европою и столько лет восхищающий ее своим прямотушием, проскакал мимо нашей колонны.

Александр Чичерин Дневник

Третий эскиз будущего. От великого до смешного

Весной 1814 года Наполеон не заметил (или не хотел замечать), что русские, устремленные к Парижу, теперь явно игнорировали его самого и его армию. Он не верил (или не хотел верить), что союзники отважатся на взятие Парижа. Император, казалось бы, логично доказывал маршалам:

— А что им это даст? Стратегическая ценность Парижа такова же, как и любого иного города Франции. Я взял у русских Москву, но это не явилось для них концом России...

Очевидно, Бертье был ближе к истине:

— Но у России два сердца — Москва с Петербургом, а Франция живет одним, большим и старым, — Парижем...

Пока русские и пруссаки воевали, не шадя крови, Австрия была озабочена даже не стратегией войны, а политическими интригами, чтобы затянуть войну ради своих выгод. Но канцлера Меттерниха тревожила и

судьба тех сундуков, которые вывозила из Парижа императрица Мария-Луиза. Он вызвал к себе одноглазого графа Адама Нейперга, который даже с черной повязкой на лбу оставался опасен для женщин.

— Все, что вы сейчас услышите, согласовано с мнением императора Франца. Когда он отдавал свою дочь за Наполеона, брачный контракт не учитывал сердечных чувств, таким образом, граф, любое ее поведение морально всегда оправдано.

— Я вас отлично понял, — ответил Нейперг канцлеру.

— Приложите все старания, чтобы память о Наполеоне поскорее исчезла из ее сердца. Из Тюильри она вывозит гигантские сокровища. Запомните номера ящиков — второй и третий, в них — бриллианты... одни бриллианты, граф!

— И это я понял, — поклонился Нейперг.

Наполеон, бесплодно маневрируя южнее Парижа, отсылал жене бюллетени, уверяя в них Францию о своих новых победах. 2 апреля Мария-Луиза, покинувшая Париж, была уже в Блуа, где народ встретил ее отчужденным молчанием: бюллетеням никто не верил! Русской ставке было тогда не до сокровищ Наполеона, но Александр для охраны Марии-Луизы послал графа Павла Андреевича Шувалова, который сумел вызвать большое доверие у растерянной и запуганной женщины. Францией тогда управляло правительство Талейрана, который тоже охотился за бриллиантами. По его приказу кортеж императрицы настигла особая комиссия, которая распотрошила весь обоз, избавив ее от десяти миллионов франков.

— Это мои последние, — горько рыдала Мария-Луиза...

«У нея отобраны равно как и все золотые и серебряные вещи до последней ложки, когда она села в тот день за обед, у нея не оказалось ни ложки, ни даже вилки, и ей пришлось бы есть пальцами, если бы не выручил епископ Орлеанский». Когда появился граф Нейперг, у женщины оставалось только одно платье, которое было надето на нее. Нейперг облазил все фургоны, но даже одного глаза ему хватило на то, чтобы убедиться в исчезновении ящиков с бриллиантами. Он стал приставать к Шувалову — не видел ли тот ящики № 2 и № 3?

— Я... не француз, — язвительно отвечал Шувалов. — Меня при-
слали сюда не за тем, чтобы сторожить багажи...

Вскоре приказом из ставки его отозвали в Фонтенбло, чтобы сопровождать Наполеона на остров Эльбу.

— Вы последуете за мужем? — спросил он женщину.

— Нет, — резко вмешался Нейперг. — Ее французское Величество в прошлом австрийское высочество, а традиции дома Габсбургов повелевают ей исполнить волю родителя.

Перед отъездом Шувалова женщина плакала:

— Умоляю — не покидайте меня. Я окружена врагами, вокруг какие-то козни... я ничего не знаю в этой жизни, меня все грабят, унижают, бесчестят. Этот Нейперг... умоляю!

Ну а что мог ответить ей Шувалов?

— К сожалению, у меня приказ: надо ехать...

Шувалова сопровождал фельдъегерь Семен Кулеваев — происхождения мужицкого, бывший курьер, человек семейный.

— Где ж это видано, чтобы жена за мужем не ехала? Да у нас в деревне такую курвищу любая курица залягала бы.

Фонтенбло приближалось. Шувалов ответил:

— Помолчи, Сева, что ты понимаешь? Бедную девочку, ее привезли в Париж как овцу на заклание. За что осуждать ее? Чем она виновата, что явилась жертвой коварства Меттерниха и Шварценберга? Давай лучше пожалеем ее...

Дорога была наезженная, кони бежали хорошо.

Даже солдаты понимали вздорность маневров Наполеона. Здравый смысл диктовал: защищать Париж надо не вдали от Парижа, а как можно ближе к Парижу, но император, пребывая в мире расплывчатых иллюзий, уже не имел здравого смысла. «Если я погибну, — говорил он, — под развалинами моего трона погибнут и все...» Император был извещен о разладах, военных и политических, между Веною и Петербургом, отчего и питал надежды на развал коалиции. Его малость отрезвил приезд из Шантильона маркиза Армана Коленкура (он же и герцог Винченцкий). Коленкур не стал щадить императора и честно сказал, что никто не желает мира с Францией, пока он, император, не отречется от престола. Наполеон испытал страх. Но еще больший страх угнетал маршалов.

— Не надоело еще таскаться по дорогам и таскать за собою нас? — бурчал Ней. — Если ему желательно погибнуть, так пусть удавится, только бы оставил Францию в покое...

Никакого почтения к своему суверену маршалы давно не испытывали. Бертье говорил: «Присмотритесь... он уже сумасшедший!» Стало известно, что Мармон и Мортье разбиты русскими при Фер-Шампенуазе — на подступах к Парижу.

— Что же нам делать? — тускло спрашивал Наполеон.

— Заключать мир, — отвечал Бертье.

Наполеон машинально перебрал на столе бумаги:

— Да, да... мир? Но когда я произношу это слово, мне уже никто не верит... Я прикажу играть «Марсельезу»! Я верну Францию к

временам революции, я верну ей те лозунги, что забыты... я отворю тюрьмы... свобода, равенство, братство!

— Он уже бредит, — говорил Бертье маршалом.

Наконец, сознание Наполеона обрело прежнюю ясность: Париж — центр общественной мысли Франции, а Франция со времен революции привыкла думать «головою» Парижа, сдать Париж — потерять Францию, потерять все... Он принял решение:

— Через Фонтенбло — всей армией — на Париж!

Без отдыха, без сна, без пищи армию гнали форсированным маршем вдоль левого берега Сены. Люди с лошадьми падали в грязь, изможденные усталостью, юные конскрипты плакали, пушки кидали с мостов в реки, взрывали зарядные фуры, под проливными дождями — вперед... 30 марта гвардия тоже выдохлась и полегла на землю. Наполеон призывал:

— Вставайте! Осталось совсем немного.

— Иди сам, — отвечали ему бесстрашные «ворчуны»...

На почтовой станции запрягли в коляску свежие лошадей. «Кого взять с собою?» Наполеон окликнул двух:

— Бертье и Коленкур, вам со мною. — В пути он говорил им: — Неужели все кончено? Неужели и Париж? Ах, Париж...

Кучер громко объявил о следующей станции:

— Ла-Кур-де-Франс... до Парижа двадцать миль!

Бертье зорко всматривался в ночную дорогу:

— Коленкур, нам лучше выйти... с пистолетами.

Не прошло и минуты, как их коляска оказалась в окружении множества людей, молча бредущих куда-то. Ехала кавалерия, смачно поскрипывали лафеты пушек. Наполеон спрыгнул наземь.

— Бельяр, неужели вы? — удивился он.

— Да, я. Генерал Бельяр, — отвечали из тьмы.

— Где армия Мортье?

— Вы стоите посреди этой армии.

— Мармона?

— Мармон увел ее к чужим бивуакам.

— Предатель! Кто в Париже?

— Русские и Блюхер.

— Где сын? Жена? Правительство? Брат Жозеф?

— Все бежали за Луару.

— Кто позволил им?

— Вы! — ответил Бельяр, будто выстрелил...

Самая немислимая брань, все самое омерзительное, что придумал человек для осквернения ближнего своего, — все это бурно изверга-

лось Наполеоном на головы Бельяра, Коленкура, Бертье и даже кучера, на весь Париж, на всю Францию, на всю его армию:

— Я дал им славу, а они... зажавшиеся скоты! Я их всех поднял из ничтожества. Они оказались недостойны меня... А мой брат Жозеф? Грязная свинья... А этот Мармон? Они всем обязаны мне. Я дал им все... О-о, проклятая нация!

Остановились солдаты, офицеры. Молча они слушали, как беснуется император. Он кричал, чтобы они поворачивали обратно — на Париж, их ждет новая слава, его колчан еще насыщен стрелами, он будет на Висле, он вернется в Москву...

— А лошадей менять? — спросил вдруг кучер.

— К чему? — ответил ему Коленкур.

Наполеон толкал солдат, бил по лицу офицеров:

— Назад, ублюдки... в Париж! Вы слышали?

Перед ним возник отважный генерал Бельяр:

— Никуда они не пойдут.

— Почему не пойдут?

— Я, генерал Бельяр, запрещаю им это... Мы покинули Париж по условиям капитуляции и обратно не вернемся.

— Какой подлец сдал Париж на капитуляцию?

— Это сделали честные французы, — ответил Бельяр, — а честные люди другой нации приняли ее от нас.

Наполеон, поникший, побрел прочь. Он двигался вдоль шоссе, посреди обозных телег, он громко требовал:

— Где мой экипаж? Где лошади? Куда все делось? Где моя армия? Где жена? Куда дели сына?..

Коленкур сказал начальнику станции:

— Ничего не бойтесь и ничего ему не давайте. Он сейчас перебесится, а потом притихнет... как всегда.

Наполеон дошел до колодца и сел на его край, погрузив лицо в ладони, в такой позе и застыл. Бельяр спросил:

— А он не кинется туда... вниз головой?

— Нет, — успокоил его Бертье равнодушным тоном. — Великому человеку колодца мало. Ему нужен великий океан.

Наполеон около получаса пребывал в глубокой прострации. Наконец встал от колодца даже оживленный:

— Вон там я вижу костры... их много. Чьи они?

Это были костры русских бивуаков, выдвинутых от рубежей Парижа, и Наполеон долго наблюдал за их огнями.

— Ладно, — сказал, — едем обратно... в Фонтенбло!

4 апреля в его кабинете собрались маршалы, и Наполеон занялся обычной арифметикой, подсчитывая резервы, сколько приведет в Фонтенбло принц Евгений, Сульт, Ожеро, Груши:

— Еще одно усилие, и наша честь спасена!

Он рисовал картину боев на улицах Парижа, уже видел гибель русских в водах Рейна... Макдональд не выдержал:

— Париж? Но в его развалинах мы будем осуждены сражаться на теплых трупах наших жен и детей... Не хватит ли?

— А солдаты за нами не пойдут, — добавил Ней.

— Они пойдут за мною! — выкрикнул Наполеон.

— Нет, — возразил решительный Ней. — Хватит мечтать о битвах. Есть один способ к миру — *ваши отречение...*

Слово было произнесено, и Наполеон покорился. Но с каким презрением ответил он своим маршалам:

— Вы пожелали мира? Но, валяясь на пуховых постелях, вы подохнете раньше, нежели у бивучных костров...

Коляска Шувалова въехала в ворота Фонтенбло!

.....

Прошло ведь всего-то пятнадцать лет с тех пор, когда, бросив армию в Египте, Бонапарт высадился во Фрежюсе и ликующие толпы французов встречали его, спешащего от Фрежюса — к славе и власти, какая даже не снилась никаким властелинам мира. Теперь история, эта вредная старушонка, беззаботно и даже весело раскручивала его судьбу в обратную сторону: Наполеону суждено ехать во Фрежюс, откуда и плыть в первую ссылку — на остров Эльба! Павел Андреевич Шувалов депешировал в ставку, что подробности путешествия Наполеона до Фрежюса «могут одновременно и поднять волосы дыбом, и заставить лопнуть от хохота...».

Шувалов застал императора за сборами в дорогу. Во дворе дворца Фонтенбло громадный фургон был заполнен только золотой монетой. В другие распахивали мебель, бронзу, скульптуры, зеркала, ценные книги... Он принял русского комиссара в старом зеленом мундирчике, небритый, под носом Наполеона было все желто от нюхательного табака.

— Ну что ж! Все закончилось не так уж плохо, — сообщил император Шувалову с улыбкой. — Я начал с шестью франками в кармане, а сейчас увезу миллионное состояние...

Шувалова охватил тихий ужас: Европа наполнена рыданиями вдов и сирот, города в развалинах, деревни во прахе, поля растоптаны кавалерией, а этот господин, забывая вытирать у себя под носом, подсчитывает свои доходы... Павел Андреевич представился коллегам-комиссарам:

венскому барону Коллеру, британскому полковнику Кемпбеллу, пруссаку Вальдбургу. Наполеон был крайне приветлив с Шуваловым, но всю любезность он дарил только Кемпбеллу, только Англии:

— Англичане — единственная нация, способная управлять Европой. Если меня кто обидит, я брошусь в объятия Англии! Вы знаете, почему я так охотно еду на Эльбу? Чтобы там, под охраною вашего доблестного флота, чувствовать себя гражданином лондонского предместья...

Подобные речи глубоко оскорбляли французов. Коленкур, когда он жил в Петербурге, часто гостил в доме Шуваловых, и потому теперь он дружески предупредил Павла Андреевича, чтобы тот ничему не удивлялся:

— Здесь уже невозможно распознать, где кончается гениальный трагик и где начинается бездарный комедиант.

Наконец в день отъезда (20 апреля) Наполеон решил дать несчастной Европе свой последний концерт. Начал он с берлинского комиссара, спросив его, имеются ли у Пруссии войска по маршруту от Фонтенбло до Фрежюса.

— А если их нету, так на кой черт вы мне нужны! — Затем он обрушился на Австрию: — Коллер, куда вы дели мою жену? Ваш император Франц — порядочная скотина: он, я знаю, желает развода дочери со мною. Теперь я стал ему не нужен... А царь Александр уже визитировал мою жену, и я хорошо знаю, чем его визиты к дамам кончаются...

Потом на ковер, украшенный золотыми пчелами наполеоновской империи, был вызван и Шувалов.

— Нашли дурака! — кричал Наполеон, разрывая на столе груды депеш, как петух разрывает навозную кучу. — Это все письма честных французов, согласных умереть за меня... Куда мне ехать? Зачем? Старая гвардия построена на дворе. Я спущусь к ветеранам и скажу: «Ворчуны! Мое отречение недействительно. Меня оскорбили. Пусть лучше вырвут у нас из груди сердца, но мы еще посмотрим...»

Именно в этот момент вошел адъютант — граф Буши:

— Гофмаршал указывает, что вам время ехать.

Наполеон в ярости дубасил по столу кулаком:

— С каких это пор я должен зависеть от механического расположения стрелок на часах своего гофмаршала?!

Концерт закончился — Фонтенбло осталось позади.

Шестерка лошадей увлекала громадный дормез императора, за ним следовали кареты комиссаров. Австрийский эскорт за Роанном сменила казачья сотня, мчавшаяся с гиканьем, пронзая перед собой воздух длинными пиками. Бородатые дяди бесцеремонно заглядывали в окна дормеза, спрашивая:

— А иде тута Напулевон? Энтот, што ли?

— Я знаю эту публику! — говорил император Шувалову. — Они в ближайшей деревне напьются вина и, пьяные, снесут мне голову, а виноватых потом никогда не сыщешь...

Шувалов жестом руки остановил сотню на шоссе:

— Братцы! Поворачивайте, и без вас обойдемся...

Когда казаки отстали от них, Наполеон сказал:

— Если бы в моей армии служили казаки, я бы дошел с ними до Пекина и сейчас был бы китайским императором...

Но, памятуя о предупреждении Коленкура, русский комиссар уже ничему не удивлялся. Начинался Прованс, где жители городов грозили Наполеону кулаками, и, кажется, только теперь он стал сознавать, что все эти годы его престол держался на страхе, который он внушал французам...

Перед Авиньоном собралась толпа жителей:

— Смерть тирану! Зарезать убийцу... смерть ему!

Шувалов докладывал в ставку, что при въезде в Оргон увидели «громадную толпу, собравшуюся подле виселицы... на виселице висел манекен военного, весь окровавленный; на животе виднелась надпись, составленная из самых ужасных ругательств, посвященных Наполеону...» Сразу посыпались стекла, старики на провансальском наречье командовали:

— Ломай двери, тащи сюда... сейчас повесим!

Под градом камней трещали стенки дормеза. Оргонские вдовы вытянули-таки Наполеона на дорогу, матери погибших солдат рвали жидкие волосы императора, плевали ему в лицо:

— Палач! Верни наших мужей... Где мой сын?

Орден Почетного легиона с хрустом расстался с мундиром императора. Некто Дюкрель тряс его за шиворот:

— Кричи с нами: «Да здравствует король!» Кричи с нами, иначе я выпущу из тебя все кишки...

Шувалов с Коллером решили занять оборону.

— Кулеваев... помогай! — взывал Шувалов.

«Я в расшитом золотом мундире бросился рассыпать удары направо и налево и, чтобы самому не удостоиться чести висеть вместо манекена, выставял напоказ русскую кокарду. Крича вместе с тем, что я — русский...» После чего провансальцы стали качать его и Кулеваева с возгласами:

— Виват Россия — избавительница от тирана!

«Как вам нравится этот фарс? Кулеваев расскажет вам немало подробностей, забытых мною. Пока, до свиданья...» За Оргоном

Наполеон, готовясь к встрече с народом, передел графа Бертрана в свой мундир с белым пикейным жилетом, нахлобучил на него свою знаменитую треуголку, воспетую поэтами мира.

— Этим вы докажете мне свою преданность, — сказал он Бертрону, а сам переоделся курьером (и даже нацепил на шляпу роялистскую кокарду). — Я же поеду с почтальоном...

Дул мистраль. Дорога вилась меж сосен и громадных камней. Тележка почтальона поднимала тучи пыли. Наполеон обогнал кортеж под видом своего же курьера. В сельской гостинице Ла-Каладе жарко пылала камини, на вертелах жарились индюшки. Наполеон представился пожилой хозяйке:

— Сэр Нозль Кемпбелл... есть ли у вас комната?

— Ах Боже! Устроят ли вас наши удобства?

На поясе женщины бренчали кухонные ножи и длинные вилки. Комнатенка оказалась жалкой клетушкой, но император одобрил ее, сразу проверив работу замка. Хозяйка спросила:

— Не встречался ли вам в дороге Бонапарт? Как могли такого злодея отпустить на Эльбу? Говорят, он проскочил Оргон, но живым из Франции все равно ему не выбраться... Вот этим ножом, — показала хозяйка на самый длинный, — я сама зарезу его, стоит ему тут появиться.

— За что вы так ненавидите его, мадам?

— Вы еще спрашиваете! — расплакалась женщина. — У нас была дружная, работающая семья, нам все в округе завидовали, а где она теперь? Мужа убили еще при Маренго, двух сыновей я лишилась под Иеною и Ваграмом, был еще тихий заика-пасынок, но его кости Наполеон оставил под Смоленском. Я совсем одна теперь на этом свете! А хозяйство, видите, какое большое. Кому же его? Неужели достанется соседям?..

Скоро в Ла-Каладе въехал отставший кортеж со свитой и комиссарами. Все камни жителей достались карете, в которой ехал несчастный Бертран. Наполеон предупредил комиссаров и свиту, чтобы здесь его называли Кемпбеллом.

— А как же теперь нам называть Кемпбелла?

— Как угодно. Но императора среди нас нету.

— Интересно, куда он делся? — хмыкнул Коллер.

— Я не знаю, — ответил Наполеон, сумрачный.

Во время обеда, не притронувшись к еде, он расколотил об стенку стакан с вином. Бертран в одежде императора чувствовал себя на лавке харчевни, как преступник на последней ступеньке эшафота.

Гостиница была окружена громадным скоплением народа. Крестьяне держали вилы и косы.

— Мы в осаде, нам не выйти, — шептал Бертран.

В окна заглядывали люди, державшие в руках наполеондоры и пятифранковые монеты с чеканным профилем императора. Эти «портреты» на деньгах они сравнивали с лицами гостей за столом. Наполеон прятался за чужие спины:

— Я проклинаю свое прошлое тщеславие... если бы можно было начать жизнь сначала! Ах, зачем я во дни славы пожелал чеканить на монетах свое изображение?

Запертые в сельской харчевне, окруженные враждой и ненавистью жителей, весь день сидели у стола. Надвинулась ночь. Толпа не разошлась. За окнами вспыхнули факелы.

— Надо выбиратья, — сказал Шувалов.

Бертран умолял Кулеваева облачиться в мундир императора, но Кулеваев не соглашался ни за какие деньги:

— У меня двое деточек и жена на сносях... Ежели меня здесь разорвут, на што они, бедные, жить-то станут?

Наполеон выпросил у Коллера австрийский мундир, у графа Вальдбурга прусскую железную каску. Шувалов подарил ему плащ русского кавалергарда. В таком виде император Франции превратился в немыслимый гибрид, составленный из форменных одежд стран антинаполеоновской коалиции. Это ли не злая насмешка судьбы? Но тогда всем было не до юмора... Толпа раздвинулась у дверей, образуя узкий проход, через который и пропускала всех по одному — гуськом. При этом крестьяне, имея в руках монеты, вглядывались в лицо каждому. Но императора не узнали. «Куда же он делся?» — недоумевали люди... Ночь провели в пути. Наполеон ехал теперь в карете Коллера, при въезде в деревни он просил его как можно громче петь немецкие песни. Коллер отказался:

— Для этого я не имею голоса.

— Ну, тогда свистите, — просил его Наполеон...

На рассвете — со свистом! — проехали через сонный Э, вечером достигли Буйльду, близ города Люка, где брата ожидала Полина Боргезе, уже безнадежно больная, но еще красивая. Наполеон жаловался на острейшую диарею:

— Мне вчера не следовало увлекаться омаром.

Английский комиссар сказал графу Шувалову:

— Диарея не от омара — от страха... А что нам делать, если гарнизон Эльбы ответит на приезд императора огнем с крепости? Не увезти ли нам его сразу на Мальту?

— Думаю, что Мальта надежнее Эльбы, — ответил Шувалов и про-
рочески предупредил ставку: «Этот человек (Наполеон) не отказался
от своих грандиозных планов... он ожидает, что обстоятельства снова
призовут его во Францию...»

Скоро возникло и море. Шувалов в конце пути суммировал
впечатления о Наполеоне; вывод, сделанный им, никак не украшал
бывшего императора. Наполеон в опасности становился жалок, през-
рзен, почти гадок; но стоило фортуне чуть улыбнуться ему, как этот
же человек мгновенно преображался, — снова невыносимо гордый,
презрительно-надменный ко всем людям, он требовал лести, повинो-
вения, почестей...

Во Фрежюсе русский комиссар, ссылаясь на инструкции, отказался
следовать на Эльбу, и Наполеон отпустил его.

— Я лично нанес России большое оскорбление, — сказал он, —
и потому я теперь не имею права жаловаться на все то, что она сделала
против меня и моей власти...

...В 1912 году потомки Шувалова экспонировали на московской
выставке «1812 год» саблю, которую Наполеон подарил их предку на
прощание*. На клинке ее имелась надпись: «Н. БОНАПАРТ. Первый
консул. Французская РЕСПУБЛИКА».

Фрежюс — рыбацкая деревня на Лазурном берегу Франции, но
как много значила она для судьбы Наполеона.

— Я снова вернулся на то место, откуда пятнадцать лет назад на-
чал свой путь к бессмертию. — Но сесть на французский бриг для
следования на Эльбу он отказался. — Почему он без пушек? Узнаю
проделки грязного Талейрана, унижающего меня даже в этом слу-
чае. Ему бы надо помнить, что я владею всеми тайнами Франции,
и, если я надумаю их продать, Англия сразу же выложит мне за них
три миллиона...

Он отплыл на английском фрегате, а когда миновали Корсику его
детства, император долго махал ей шляпой:

— Прощай, Аяччо, давший миру такого гения...

Жители Эльбы, рыбаки и шахтеры, никогда не надеялись, что их
островок станет государством, а гавань Порто-Феррай — столицей.
Приветствуя суверена, они радовались, что теперь оживится торгов-

* Каталог всероссийской выставки «1812 год»; М., 1913, с. 514 (инв.
№ 19). Здесь уместно добавить, что обстановка Наполеона с острова Эльба
была куплена нашим соотечественником Ан. Ник. Демидовым (1812—1870),
женатым на Матильде Бонапарт (1820—1904), племяннице Наполеона I.
Впоследствии вся эта коллекция была распродана с аукциона и разошлась
по частным собраниям Европы и Америки.

ля, еды станет побольше. Три унылых старика играли Наполеону на скрипках, веселая старуха играла на фаготе. Все было похоже на деревенскую свадьбу. А рудокопы с детьми и женами держали в натруженных руках цветочки, застенчиво улыбаясь... Бедные люди, их можно понять! Из нищенских лоскутьев старого бархата они даже приготовили балдахин, в тени которого водрузили «престол» — обычное кресло, украшенное розетками из разноцветных бумажек. Наполеон, едва ступив на берег, сразу утвердил знамя нового государства Эльба с тремя пчелами, залетевшими на остров из дворцов Тюильри и Сен-Клу. Вскоре прибыла гвардия, закладывали причалы, строили шоссе, и бедняки Эльбы возненавидели Наполеона, обложившего их непомерными налогами — на армию, на флот. Но зачем нужна Эльбе армия, зачем ей флот? Им и без того плохо живется...

Всегда далекий от лирики, Наполеон украсил спальню дешевой картинкой — два голубка миловались над его кроватью. Он слал жене пылкие призывы, но Мария-Луиза уже познала любовь Нейперга, она не желала больше видеть сына, рожденного от Наполеона, и на что ей нужен этот сумасброд, даже в любви думающий только о себе. Сейчас молодую женщину больше беспокоила ее собачка Бижу, которую укусила в лапку противная оса... Помнится, что в зените славы Наполеон сказал: «Сила никогда не бывает смешной», но, бежав из России, он поправил себя: «От великого до смешного — один шаг!» История подтверждала этот жестокий афоризм.

1. Филадельфия — встречи

Изгнанник — не эмигрант, он еще живет надеждой на возвращение, а страна, приютившая его, как бы ни была она хороша, кажется лишь временной остановкой на незнакомой станции, где за деньги накормят, позволят выспаться, сменят лошадей, и завтра ты можешь ехать далее. Примерно такое же чувство испытал и Моро, ступив на берег Америки...

Самое удивительное, что слава победителя при Гогенлиндене, слава республиканца, гонимого Наполеоном, дошла до Филадельфии, где Моро встречала манифестация горожан, устроивших ему народное чествование. Моро ни слова не знал по-английски, но какой-то француз-эмигрант подсказывал генералу, что говорят ораторы, один за другим залезавшие на бочку. Последний из выступавших запомнился последнею фразой: «И теперь свободная Америка может называть себя великой страной Вашингтона, Костюшки и... Моро!»

Моро был растроган подобным сравнением.

— Благодарю, — отвечал он. — Обычно из Европы люди бегут к вам в поисках свободы. Со мною иначе. Меня выслали к вам за любовь к свободе, да еще оплатили дорогу...

В ожидании семьи Моро остановился в Филадельфии, бывшей столице Штатов, где задавали тон богомольные квакеры-пуритане. Моро, давний поклонник деизма, всегда был далек от церкви, но выбирать не приходилось: Филадельфия — Новые Афины Нового Света; здесь была превосходная библиотека, старейший в стране университет, театр и музеи, тут со времен Пена, основателя Пенсильвании, сложилось своеобразное общество, здесь, наконец, Томас Джефферсон впервые провозгласил Декларацию независимости с приятными для Моро словами о том, что «все люди сотворены равными»...

Теперь Джефферсон, бывший ранее посланником в Париже, был третьим по счету президентом Штатов, и генерал Моро охотно принял от него приглашение к обеду в Белом доме. На вопрос об Аустерлице он ответил президенту кратко:

— Мне жаль репутации Кутузова, но поражение объяснимо: когда все распоряжаются, тогда... кто же командует?

— А что вы скажете о конце прусской славы?

— Известие о разгроме Пруссии не удивило меня: генералам от эскерциций не победить генералов от революции...

Джефферсону было за шестьдесят, но выглядел он бодро. Жил он в скромной простоте, стол президента ничем не отличался от стола простых американских горожан. На первое, как водится, подали вареную ветчину с укропом, миссис Джефферсон сама подливала Моро персиковой водки. В тарелках лежали соленые пикули и вареные фрукты. Под конец обеда подали жареных цыплят с отварным картофелем. Весь этот гастрономический кавардак не мешал беседе. Выслушав рассказ Моро о порядках во Франции, президент сказал:

— Могу вам посочувствовать — вам было при Наполеоне нелегко. Впрочем, мне это знакомо! Когда я при Вашингтоне был статс-секретарем, меня в Филадельфии подвергли страшному остракизму, и во всем городе только три семьи не боялись меня принимать. Я тогда требовал очень крутых мер — как Марат, как Робеспьер! Я спешил узаконить права гражданских свобод... А почему я спешил?

— Не догадываюсь, — отозвался Моро.

— Я спешил оформить свободу, пока наши президенты еще не изгадились в коррупции и торгашеских интересах, пока их еще не коснулись подкупы и взятки, пока идеалы свободы еще не были осквернены.

После меня, — сказал Джефферсон, — конгрессмены не будут судить о народе свято, как сужу я. Мы, американцы, обязательно скатимся под гору демократии, а наши президенты перестанут считаться с правами народа. А наш народ забудет обо всем на свете, занятый одним — деланием денег, и свобода Америки погибнет в конвульсиях...*

Джефферсон предупредил Моро, чтобы он был осторожнее в письмах, которые посылает в Европу:

— Если можете, вообще не пишите. Все корабли обыскиваются англичанами, французы тоже небезгрешны. И знайте, что в Филадельфии, как и в Нью-Йорке, немало шпионов Фуше, а они вас не оставят в покое... Связи с Европой у нас хаотичны, даже я, президент, по году ожидаю ответа из Петербурга. — Он сказал, что сейчас Америка нуждается в дружбе с Россией, ибо «сообразно пространствам» эти две страны, Россия и Америка, в будущем должны управлять миром. — Но я жду нападения со стороны англичан. У нас немало отличных моряков, наши корабли превосходят английские, но мы не имеем армий... Моро, еще стаканчик персиковой водки?

— Она превосходна, — не отказался Моро.

— Выпьем! — сказал президент. — Я хочу просить вас, генерал, помочь Америке в ее борьбе за свободу.

— Как республиканец, сидящий за столом в доме президента республики, я не откажу вашей стране в своих военных услугах, если угроза нападения англичан возникнет...

.....
У старого негра он купил большую курчавую собаку по кличке Файф, животное сразу полюбило хозяина.

— Что будем делать, Лагори? — спросил Моро.

Начальник штаба Рейнской армии знал, что делать.

— Бежать, — отвечал он.

— Ты уже бежал из Франции в Америку.

— Теперь побежим из Америки во Францию.

— И там тебя сразу посадят в Ла-Форс.

— Лучше уж в Ла-Форсе, чем здесь мучиться...

Разочарование для них наступило скоро. Моро и Лагори не стоило большого труда разобраться в новом мире. Как революция во Франции подняла кверху всю муть буржуазии с ее алчностью, так и «революция»

* Пусть читателя не удивляет предвидение Т. Джефферсона. Его политические воззрения давно уже фальсифицируются историками США, о многих «пророчествах» третьего президента попросту умалчивают. В приведенном тексте я цитирую подлинные высказывания Т. Джефферсона.

Вашингтона выдвинула барышников-бизнесменов. Меркантильный дух составлял основу очень хлопотливой жизни американцев, для которых цены на щетину или свиное сало были важнее всяческих идеалов. Моро, как и Лагори, возмужал в стране строго национальной, где пикардиец мало отличался от вандейца, а здесь они невольно терялись среди разноязычных людей, объединенных лишь стремлением к наживе... Приезд семьи Моро ускорил разлуку с Лагори, который не хотел быть вроде нахлебника в чужом доме, хотя мадам Гюлло и появилась в Филадельфии с немалыми деньгами. Лагори захотел бродяжить.

— Обещай мне, — сказал Моро, — ты не уедешь во Францию без моего согласия. Филадельфам держаться вместе...

Моро приобрел на имя жены усадьбу Моррисвилль на красивом берегу Делавэра, пытался настроить себя на заботы американского фермера, а близость реки приучила его к рыбной ловле. Моррисвилль устраивал его и потому, что лежал как раз посередине между Нью-Йорком и Филадельфией, что было удобно для молодой и элегантной Александрины, не желавшей прозябать в глуши пенсильванской провинции. Моро не стеснял ее женской свободы, а жена никогда не давала поводов для ревности. Вообще, после Тампля Александрина, кажется, стала испытывать к мужу чувства более серьезные, нежели раньше, когда она выпорхнула в свет из пансиона Кампан...

— Я, — сказала она как-то со вздохом, — могла думать о своем будущем что угодно, но мне бы и в голову никогда не пришло, что мои дети могут стать американцами.

— Тебе здесь не нравится?

— Тяжело... Я чувствую, что чужой климат погубит меня. И мне очень жалко детей. — Она заплакала...

Беда не замедлила прийти сразу. Сначала умерла, почти не болея, теща, затем в Моррисвилле появился еще один холмик земли — умер их мальчик. Александрина упрекала мужа: зачем они не остались в Мадриде? Со всей страстью осиротевшего сердца матери она нянчилась с дочерью, которая и росла, вся в мать, очень красивой девочкой.

Зиму супруги проводили в уютной Филадельфии, где в парке Фэрмаунт давали концерты в честь Моро, в клубах устраивали вечера — в честь его жены... Александрина сказала:

— У тебя слава, дорогой мой. Большая слава!

— Тем отвратительнее ее изнанка, — нахмурился Моро, чувствуя, что даже здесь за ним следят парижские агенты...

Английский язык не давался. Чтобы общаться с земляками, Моро в Нью-Йорке вступил во французскую ложу масонов, где «работали»

эмигранты-аристократы. По правде сказать, в ложе не столько совершенствовались свой дух, сколько перемывали кости героям своего времени. Моро оценил общество масонов, имевших свои потаенные каналы для связи с Францией, и потому новости до ложи доходили гораздо быстрее, нежели до редакций газет. Именно в ложе Моро узнал о депортации мадам де Сталь из Франции, за нею последовала в ссылку и Жюльетта Рекамье... Ложа, по сути дела, была политическим клубом, каждый масон имел право открыто полемизировать. Моро даже среди роялистов отстаивал свои взгляды.

— Прекрасная армия Франции превращена Наполеоном в хищную орду, но я еще не забыл бескорыстных побед республики! — говорил Моро. — Помню, мы вошли в Амстердам при сильном морозе, не имея чулок и обуви, обернувшись соломою и газетами. Голодные, мы не тронули ни одной лавки в городе, не постучались ни в одну из дверей. Мы стояли на снегу и дрогли, пока сами жители не сжалились над нами, пригласив к своим очагам... А что теперь? Мне, французу, больно думать, что вся Европа уже переполнена к нам ненавистью.

Ги де Невилль, убежденный роялист, пытался доказать, что Франция и французы перед Европою неповинны:

— Присмотритесь, ради кого Наполеон перекраивает Европу! В самых лучших дворцах лучших городов мира рассажены родственные ему трутни. Из французов только один — Мюрат, а остальные — сплошь корсиканцы... Так не вернее ли говорить о корсиканском засилии Бонапартов в Европе?

В тот день Ги де Невилль покинул ложу вслед за Моро, он сообщил, что недавно с трудом унес ноги из Парижа. Моро вел себя чересчур скованно, и Ги де Невилль сказал:

— Стоит ли нам играть в прятки? Не думайте, что я служу у Фуше, нет, я совсем из другой конторы. В подтверждение этого напомним о письме короля, врученном вам мадам Блондель в отеле Шайо, а письмо из Митавы доставил я.

— Как же сложилась судьба этой женщины?

— Но вам она безразлична, — сказал роялист.

— Вы плохого мнения о своих противниках...

Ги де Невилль сказал, что Блондель была схвачена лишь 1 ноября 1800 года и замучена в подвалах у Савари.

— Как видите, генерал, мы тоже имеем своих героев. Но теперь я обязан сделаться министром при королях, чтобы заставить испытать ужас тех людей, которые принудили меня испытывать страх... А кем вы будете при королях?

— Я останусь фермером в Америке, — ответил Моро...

Он вернулся домой. Александрина смолчала, что его ожидает приятная встреча. Моро поднялся в кабинет.

В его кресле сидел... Доминик Рапатель!

— Как? — вскрикнул Моро. — Как ты здесь оказался?

— Адьютант должен оставаться при своем генерале.

Моро наклонил перед ним свою голову:

— Смотри! Мне уже на пятый десяток, а еще ни одной сединки...

Что с тобою, Рапатель? Почему поседел?

— Мне пришлось покинуть Морле ночью, я бежал. А донес на меня в полицию мой же родной брат, с которым я уже дуэлировал, но все наши расчеты еще впереди...

Моро обнял Рапателя, расчувствовался:

— Бедняга! Но я не отпущу тебя, как отпустил бродягу Лагори, и он пропал. Как хорошо, что я тебя вижу...

В этот вечер Александрина растрогала его:

— Помнишь, как хорошо было нам в Страсбурге? Так тихо, только на подоконниках, осыпанных снегом, ворковали голуби. И ты катал меня в саночках. И мы целовались возле той церкви, где в гробах с коньяком лежали давно угасшие любовники... Ах, милый, зачем мы не ценили те дни?

— Я знал, что ты еще вспомнишь Страсбург.

.....
По субботам, бывая в Филадельфии, генерал Моро регулярно навещал библиотеку, где для него откладывали книги, приплывшие на кораблях из Европы. Он любил эти дни, проведенные в отреченности, тихий шелест страниц действовал на Моро благотворно — как шум ручья, как нежный шепот жены... Обычно в библиотеке бывало безлюдно, никто не мешал, и сегодня возле камина он застал лишь молодого человека, лицо которого на миг показалось знакомым. Моро не успел еще обложиться книгами, как этот человек оказался рядом:

— Я не хотел тревожить вас дома, но узнал, что по субботам вас можно застать в библиотеке. Я прибыл из Петербурга... да, не удивляйтесь. При мне нет никаких бумаг, в которых было бы упомянуто ваше или мое имя. Это стало необходимо, ибо корабли в море задерживают, пассажиров обыскивают. Постарайтесь вспомнить меня. Это очень важно! — Молодой человек представился графом Федором Петровичем Паленом*. — Вы меня можете помнить еще

* Ф.П. Пален (1780—1863) позже был послом в США и Рио-де-Жанейро; одесский знакомый А.С. Пушкина, которому приписывается двустишие: «Аристократом ходит Бер, а Пален корчит демократа». Впоследствии Ф.П. Пален был активным сторонником освобождения крестьян от крепостного ига.

юным камер-юнкером, а сейчас я уже камергер высочайшего двора императора Александра.

— Где-то я вас видел, — согласился Моро.

— Я был представлен вам в салоне мадам де Сталь русским послом Морковым. Вы были тогда с женою, и надеюсь, если не вы, то она вспомнит меня... Это нужно для всех нас!

Пален просил не отказать в беседе, ради которой ему пришлось проделать долгий и опасный путь — от Петербурга до Филадельфии. Тогда было очень жаркое лето 1807 года, до Америки только что докатилась весть о битве у Прейсиш-Эйлау, в которой Наполеон не стал победителем. О поражении при Фридланде и Тильзитском мире еще ничего не знали, и это незнание решило судьбу Моро не так, как хотелось бы, наверное, ему и России... Пален появился в доме Моро.

— Погоня за вами, — так начал он, — повелась сразу же, как ворота Тампля открылись перед вами, точнее — с Мадрида... К сожалению, тамошний посол, знакомый вам барон Строганов, с письмом царя на ваше имя кинулся в Барселону, но увидел на горизонте лишь паруса, которые и унесли вас в Америку. При дворе стали искать человека, который бы знал вас лично, и обнаружили меня. Но тут последовала война, грянул Аустерлиц, и мне пришлось ожидать новых инструкций. — Пален объяснил цель приезда: Россия хотела бы иметь Моро в своих полководцах. — Мне поручено передать, что, если вы устали от службы, вам будет предложено право убежища. А жалованье от нашей казны вы будете получать по чину...

Моро без улыбки выслушал Палена и сказал:

— Предлагая мне службу в прежнем моем чине, ваш император невольно унижает свою армию. Разве у России нет своих полководцев, способных отстоять родину от Наполеона, если он нападет? Вот хотя бы и ваш Кутузов...

— Кутузов осрамился при Аустерлице.

Моро отложил трубку и взялся за сигару. Лежащий под столом Файф чихнул от крепкого дыма. Ошейник пса был оснащен выразительной надписью: «Принадлежу гражданину Ж.-В. Моро».

— У любого генерала, — сказал Моро, — есть не только победы. Не забывайте, я ведь тоже был разбит Суворовым! Проследив же за Кутузовым в его блистательном отходе к Ольмюцу, я распознал в нем великого мастера эволюций, которым позавидовал бы и Наполеон... Да, — кивнул Моро, — после французской ваша армия для меня наиболее привлекательна. Но разве ваш кабинет не знает о моих сугубо республиканских убеждениях? Я остаюсь верен им. До конца.

Пален был проинструктирован превосходно.

— Петербургу это известно, и вам в России будет позволено не только сохранять свои убеждения, но даже не скрывать их. Что вас еще тревожит? Наш климат? Он здоров. Свой язык вы будете слышать всюду, даже в глухой провинции.

Моро... отказался! И не потому, что изгнание еще не утомило его. Известный французский писатель так писал об этом разговоре: «В сознании Моро природная прямота бретонца и французский патриотизм говорили громче желания отомстить личному врагу. Пален понял, что ввиду таких благородных мотивов настаивать бесполезно, но просил Моро изложить их письменно для императора Александра...»

Моро присел к столу со словами:

— Я так и напишу, что прими я предложение от России, и тогда вся продажная пресса Наполеона станет внушать французам гнусную мысль о моей подкупности. «Монитор» выставит меня к позорному столбу — завистником славы Наполеона...

Моро писал очень долго. Под письмом он проставил дату: 12(23) июня 1807 года, — до Тильзитского мира оставалось четыре дня, о нем в Филадельфии узнают еще не скоро. Пален попросил перо и бумагу для себя. Он тут же снял с письма Моро точную копию, оригинал же вернул автору.

— В копии я убрал ваше обращение к императору, я снял внизу и вашу подпись. Так будет лучше. В мире тревожно, а я не имею права подвергать вас лишним опасностям, даже если буду схвачен в море агентами полиции Фуше...

— Я вполне оценил благородство вашей предусмотрительности, — сказал Моро. — Теперь, мой юный друг, я угощу вас персиковой водкой, которой вы, русские, не нюхали. — За столом, в присутствии жены и Рапателя, он говорил о войне, что подкрадывается к берегам Америки. — Белый дом нуждается в крепких отношениях с вашей страной. Напомните царю, что президент Джефферсон будет рад видеть у себя в Вашингтоне русского посла и его консулов...

Пален вскоре отплыл в Европу, а Рапатель однажды вернулся домой в ужасном состоянии — газеты писали о мире в Тильзите. Это известие потрясло и генерала Моро:

— Очевидно, у русских дела плохи.

— И потому мне захотелось в Россию.

— Зачем, дружище?

— Я должен сражаться... заодно с русскими!

Александрина оторвалась от зеркала, легкой походкой пересекла всю комнату из угла в угол. Ее фигуру обтягивал фиолетовый муслин, под тяжелой шапкой черных волос блестели громадные глаза креолки. Она сжала кулачки перед мужем:

— Зачем? Зачем ты отказался ехать в Россию? Моро, ах, Моро...
неужели мы осуждены умирать здесь?

— Зачем же здесь? Я хочу умереть во Франции...

Это вернулся из странствий Виктор Лагори!

Он не очень-то охотно рассказывал о себе:

— Хотел разбогатеть! Думал — страна богатая, а почему бы и нет? Повидал много, но вернулся нищим. Помоги мне... Я обязательно должен быть во Франции!

Моро догадывался, какой червь точит сердце этого хорошего человека, но возражать ему не стал.

— Пожалуйста, — сказал он со вздохом. — Деньги я переведу на банкирский дом Шрамма в Гамбурге. Будь осторожнее. Не горячись напрасно. Чтобы запутать полицию, открой счет в банке Перрего... Где ты остановишься в Париже?

— На окраине. В доме монахинь-фельянтинок.

— Ты мало похож на монаха.

— Но там живет с детьми и мадам Софи Гюго.

— Я так и думал, — сказал Моро, — и понимаю твоё желание разбогатеть. Очень рад, что ты остался бедным...

— Но почему, Моро?

— Бедные осторожнее богатых... Понял?

В нем была житейская мудрость, которой, возможно, и не обладал Лагори. Вскоре после его отплытия из Америки Моро привел в дом негритянского мальчика.

— Негодяи линчевали его отца, с трудом я вырвал его из рук злодеев. Смотри, он еще трясется от ужаса. Пусть он останется с нами и заменит нам сына.

Александрина с детства видела черных только рабами и быть приемной матерью негритенку не пожелала:

— Пхе! Но если ты хочешь, я буду с ним добра.

Мальчика звали Чарли; он быстро освоился в доме своего «босса», сдружился с его дочкой, а однажды сказал:

— Господин, наденьте на меня красивый ошейник, какой носит наш Файф, тогда никто из белых меня не обидит.

— Ты не собака, Чарли, — ответил Моро. — Помимо Америки есть и другие страны, где тебя никто никогда не обидит...

Непостижимо быстро Чарли заговорил по-французски. Но мальчик не знал, что ему предстоит освоить еще один язык — русский, и тогда вся его жизнь повернется в иную сторону...

2. Амфир — империя

Чем выше восходила звезда Наполеона, тем все выше поднималась и женская талия. Ему так нравилось! После Тильзитского мира пояса перехватывал бюст уже возле подмышек, и дальше поднимать его было некуда. Не скоро еще (после Венского конгресса) талия женщин стала возвращаться на то естественное место, где находится и поныне. Но встреча двух армий в Тильзите наглядно отразила разницу между празднично-карнавальным антуражем войска Наполеона и тусклой обыденностью русской формы. В 1808 году Александр ввел эполеты, хотя офицеры встретили это новшество с явным недовольством, в блеске новых мундиров усматривали «французские ливреи».

— Но мы же не швейцары, — говорили они...

Федор Пален морозным утром вернулся в Петербург.

Россия вступала в войну со Швецией, чтобы укрепиться на Балтике, в морях по-прежнему разбойничала Англия, Наполеон вторгся в Испанию, короли Португалии спасались от него в Рио-де-Жанейро. Александр спросил Палена, каковы его политические выводы из посещения Америки, и молодой камергер, далеко не глупый человек, ответил: «Именно нашими днями следует датировать начало эпохи, наиболее благоприятной для Америки, которая выходит из своей летаргии...» По мнению Палена, нападение Наполеона на Испанию и Португалию вызовет скорый развал их южноамериканских колоний:

— Очевидно, там возникнут новые государства, а уж Мексика-то первой возьмется за оружие... Осмелюсь напомнить, что Моро, вхожий в семью президента, дал мне понять, что Штаты нуждаются в более прочных связях с Россией.

— Джефферсон писал мне... благодарю, граф.

Разговор окончен. Александр принял Румянцева, сказав, что обстановка после Тильзита уже не требует спешного прибытия Моро, и потому его отказ от русской службы не слишком-то огорчителен для Петербурга. Румянцев перешел к насущным делам: Наполеон брата своего Жозефа, словно редьку какую, с престола в Неаполе пересаживает на престол в Мадриде, а в Неаполе королем будет принц Мюрат.

— Им кажется, что они играют в шахматы: король сюда, королева туда... Кто годится в консулы для Филадельфии? — Румянцев назвал коллежского асессора Андрея Дашкова. — Готовьте его в дорогу, — велел император. — А графа Федора Палена мы отправим посланником в Вашингтон...

Александр спросил, каковы новости из Парижа.

— Граф Толстой подтверждает прошлогодние слухи, якобы Наполеон разводится с Жозефиной. Намедни в Тюильри ждали спектакля, но они не явились, всю ночь скандалили.

Александр вник в депешу Толстого: «В пылу увлечения он, вероятно, сказал ей, что она его вынудит усыновить своих побочных детей. Жозефина с живостью схватилась за эту мысль, выказав готовность признать их своими... Дело, по-видимому, на том и остановилось». Александр отложил депешу:

— А где перлюстрация курьерской почты Коленкура?

В рассекреченной депеше французского посла он с удивлением прочитал: «Великая княжна Екатерина (Павловна) выходит замуж за нашего императора Наполеона и сейчас усиленно учится танцевать наши французские контрансы».

— Сплетня! — сказал царь, но выглядел смущенно...

Был месяц март. А в мае началось восстание в Мадриде. Наполеон привык побеждать образцовые армии, но теперь ему предстояла встреча с разгневанным народом, который победить невозможно — даже гению! Европа втуне ожидала, что скажут Александр с Наполеоном при свидании в Эрфурте. Чтобы подавить Россию с «позиции силы», Наполеон заранее провел новую конскрипцию, увеличив армию на 100 000 штыков. Об этом русский посол граф Толстой узнал на охоте в Фонтенбло, когда ехал в одной карете с маршалом Неем. Он сказал:

— Сегодня же вечером я отправлю курьера в Петербург, чтобы Россия позаботилась рекрутированием полутора тысяч молодых парней из деревни — в армию...

«Ампир» — порождение империи Наполеона: воскрешая образцы древней классики, он лишь тешил свое вулканическое честолюбие. Дело не ограничилось подтягиванием женской талии до уровня подмышек... Жители Помпеи, засыпанные пеплом Везувия, никогда не думали, что детали их быта возродятся стараниями императора. Но удачно было лишь подражание древним образцам, точное их копирование! А манерный классицизм эпохи Наполеона породил массу бесполезных вещей: столиков, за которыми нельзя работать, кушеток, на которых нельзя отдохнуть; в античных светильниках никогда не возжигалось маковое масло, алебастровые вазы не ведали запаха цветов. Дамы позировали на ложах, созданных, казалось, для пыток тела, их руки опирались на золоченые морды львов или грифонов. Мужчины напряженно застывали в креслах, ножки которых изображали пылающие факелы. «В искусстве нужна дисциплина...

математика!» — утверждал Наполеон, и возникла черствая геометрия неудобной мебели, в подборе паркетов треугольнички, ромбы и трапеции убили овальность линий. Новая военная знать обставляла себя не тем, что красиво, а тем, что подороже. Маршалы лепили золото везде где не надо, лишь бы сверкало. Фабрики в Лионе мотали длинные версты шелка, но если старая аристократия обтягивала шелком стены, то новая знать собирала его в пышные драпри, составляя безвкусные банты вокруг капителей колонн... В этом нелепо-чудовищном мнимоклассическом мире Парижа граф Петр Александрович Толстой чувствовал себя тоже нелепо!

Своим явным презрением к Наполеону и его клике посол чем-то напоминал Моркова, только Морков был хитрее его и тоньше, а Толстой, воин до мозга костей, не боялся выказывать свою неприязнь открыто. Толстой вступил под своды Тюильри русским солдатом, публично говоря о превосходстве русской армии над наполеоновской. Маршал Даву, оскорбленный этим, уже схватился за шпагу, а Толстой не замедлил тут же обнажить свою, но их спор пресек сам Наполеон.

— Оставьте! — крикнул он. — Толстой прав: русский солдат, конечно, лучше французского. Ему говорят — марш, и он пошагал. А нашему дураку надо еще полчаса объяснять, зачем идти, куда идти и что из этого получится...

Суворов когда-то сложил о Толстом самое лестное мнение как о генерале и дипломате. «Такие люди, — писал наблюдатель, — как бы ничего не помня, ничего не замечая, за всем следят глазами зоркими, ни на минуту не теряя из виду пользы и чести своего отечества». Петр Александрович тихо и незаметно все-таки нащупал потаенные связи с военным министерством Франции, доставляя в Петербург важные сведения о захватнических планах Наполеона. В отеле Кассини на Вавилонской улице он говорил, что война неизбежна:

— Но пусть волк только не лезет в русскую псарню — тут ему и конец! Останется одна изгрызенная шкура...

Узнав, что Коленкур помещен Александром в прекрасном дворце, Наполеон купил для Толстого особняк-развалюху, расхваставшись, что истратил на него миллион. Это было вранье. Толстой доплатил из своего кармана 40 000 франков на ремонт трущобы и то с трудом выкроил себе комнатенку, служившую ему кабинетом и спальней. Сознательно унижая посла России, император, кажется, надеялся поскорее от него избавиться: Толстой большое значение придавал событиям в Испании, где народная война — гверилья! — уже подсказывала ему,

генералу суворовской выучки, верное решение будущего поединка. Он плевать хотел на развод Наполеона с Жозефиной, зато всегда сатанел при мысли, что корсиканский «высочка» метит в женихи Екатерины Павловны Романовой.

— Гангрена расплзается, — говорил Толстой. — А что можно ожидать от антихриста, который после Тильзита был переименован в «нашего доброго брата Наполеона»?..

Венский посол Меттерних доказывал Толстому, что Тильзитским миром Россия оказала плохую услугу Габсбургам:

— Мы теперь должны быть готовы к войне, но уже без вас, без ваших услуг. И у нас, поверьте, достаточно сил.

На пальце Меттерниха красовался вульгарный перстень, сплетенный из волос Каролины Бонапарт, жены Мюрата, — она была его любовницей, что выводило Наполеона из себя.

— Вы будете разбиты, — отвечал Толстой. — Без нашей армии вас растопчут... Наполеон вас бил и будет бить!

— Позвольте, но пример Испании...

— А вы не испанцы! — огрызнулся Толстой.

Из Парижа он надоедал Александру постоянными призывами крепить армию. «Еще есть время...» — заклинал он царя. Наполеон не терпел Толстого и по той причине, что уже понял: он разгадан Толстым, Толстой проник в его планы, этот внешне грубый солдат, вроде одухотворенной Кассандры, пророчески предвидел ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД...

После охоты в Фонтенбло разговор был продолжен.

— Так почему вы после моей конскрипции на сто тысяч штыков решили усилить себя на сто пятьдесят тысяч?

— Друзья должны оставаться равными в силах.

— Моя личная дружба с вашим императором — верный залог прочного мира в Европе, — сказал Наполеон.

Толстой рубил сплеча, как рубят на Руси дрова:

— Ваша личная дружба — ваше дачное дело. Но я сужу о дружбе не по разговорам, а по существу тех интересов, которые определяют политику как России, так и Франции!

— Ладно, — примирительно ответил Наполеон, — я предпринял конскрипцию, чтобы Вена не смела вооружаться. Мы живем и работаем не для потомства, а хотя бы ради того, чтобы обеспечить мир для жизни нашего поколения... Успокойтесь. Кому нужны ваша клюква и снежные сугробы? История не знает примеров, чтобы южане покушались на страны Севера. Напротив, это вы, северяне, завидуете нашему чудесному климату...

Фуше сделал Толстому предложение — поиграть на бирже; он сказал, что банкиры, его приятели, подскажут верные пути к обогащению, если он сообщит сведения о том, как русский двор воспримет брачные намерения Наполеона по отношению к сестре русского царя — Екатерине Павловне.

— Можно ли сомневаться в выигрыше? — спросил он.

Это была не только провокация, но и подкуп.

— Сейчас, — ответил Толстой, — скачки денежного курса на ваших биржах зависят не от того, какая из баб ляжет с Наполеоном, а лишь от ярости испанской гверильи...

Черный перстень из волос сестры слишком уж резал глаза императору. Наполеон нарочно грубил Меттерниху, но тот оставался невозмутим и вежлив. Даву предложил:

— А что, если в момент вашей беседы я разбежусь и как следует тресну венского посла ногою под зад?

— Тебе так хочется? — спросил Наполеон.

— Уверен, что на лице Меттерниха даже в этом случае сохранится приятная улыбка...

Меттерних! Этого человека понимал один Талейран.

Талейран был не у дел, но увяз в политике глубоко, как червь в яблоке, и Наполеон не мог без него обходиться. Он знал, что Талейран уже боится расширения империи, однако решил взять его в Эрфурт — как ловкого редактора документов. Уступая русскому царю Финляндию и Молдавию, император хотел заручиться его согласием на «свободу рук» в делах возмущенной Испании и вооружавшейся Австрии.

— Ваши проекты о будущем Европы, — диктовал он Талейрану, — должны быть ясны для меня и непроницаемы для Александра. Я беру в Эрфурт кучу королей, но венский Франц пусть посидит дома, а граф Толстой в Париж уже не вернется...

Александр покинул Петербург с Румянцевым и Коленкуром. Стоило им переехать Вислу, как они сразу попали в окружение французских мундиров. Вблизи от Эрфурта два императора устроили фальшивую сцену нежных объятий и лобызаний, после чего верхом на лошадях въехали в город. Их свиты перемешались в разноцветный букет, пушки салютовали, колокола звонили, артисты «Комеди Франсез» во главе с пылким бонапартистом Тальма хором выкрикивали:

— Честь и слава нашим императорам!..

Франц не замедлил прислать в Эрфурт генерала Карла Винцента с никчемными поздравлениями монархам, которые были не чем иным,

как предлогом для появления в Эрфурте. Талейран, заметив гибкость спины Винцента, упрекнул его:

— Пристало ли великой Австрии гнущься так низко?

Свидание в Эрфурте, по мысли Наполеона, должно стать апофеозом его величия. Было учтено все — вплоть до акустики театрального зала, чтобы полуглухой Александр слышал каждое слово. Пятнадцать трагедий подряд Наполеон включил в репертуар — с убийствами в финалах и клятвами в верности, но вкусам гостей не угодил. Германия уже высоко ценила Шиллера, а Россия — Фонвизина, и потому пустопорожняя риторика оставила зрителей равнодушными. Публика заметно оживилась, когда русский офицер Сашка Бенкендорф (будущий шеф жандармов) буквально из-под носа Наполеона увез в Петербург его пышнотелую любовницу, знаменитую актрису Маргариту Жорж, а следом за нею изменил Франции и ее муж, балетмейстер Луи Дюпер. Коленкур спросил Наполеона, стоит ли поднимать шум о возвращении «перебежчиков»? Наполеон сказал — не стоит... В числе массовых развлечений была устроена поездка на поле битвы при Йене, где Наполеон уничтожил могущество Пруссии. Поле битвы было заранее украшено кострами и палатками. Наполеон с картой в руках показывал царю, как он двигал колонны, как убегали от него пруссаки.

— Остальное вам известно, — сказал он.

Политические прения хранились в секрете, переговоры были трудными, иногда Талейран с Румянцевым засиживались до двух часов ночи. Александр проводил вечера в доме княгини Терезы Турни-Таксис, которая к его приходу накрывала стол к чаепитию с самоваром. Наполеон был усерднее царя. Чтобы сберечь тайну переговоров, император не поленился своей рукой перебеливать черновик союзного договора, который торжественно и вручил Александру со словами:

— Берегите его от чужих и недобрых глаз...

Но Александр уже не считал глаза австрийца Винцента «чужими», а Винцент намекнул Талейрану, что проник в тайну переговоров... Кажется, этого момента и ожидал хитрый Талейран. Однажды после очередного спектакля в театре он оказался возле кареты русского императора:

— Я мог бы полагать, что эрфуртское свидание устроено лишь для забавы императоров, если бы не... Винцент!

— И что же сказал вам Винцент?

— Вполне разумные вещи. Есть ли смысл для русского кабинета усугублять трудности Австрии в борьбе с Францией? Признаться, я склонен мыслить наподобие Винцента...

Александр воспринял эти слова как политический зондаж его сердца. Талейран давно созрел для измены (за деньги, конечно, ибо без денег Талейран ничего не делал). Когда царь появился у Турн-и-Таксис, колченогий его ждал.

— Азартный игрок! — пустился он в рассуждения о своем императоре. — Стоит ему поставить под ружье сто тысяч солдат, как он уже сгорает от нетерпения — где бы устроить войну? Так заядлые картежники не могут выносить даже вида денег. Они должны сразу поставить их на карту... Ради чего вы сюда приехали? — вдруг спросил Талейран императора. — Если затем, чтобы спасти Европу, вы могли бы управлять миром из Петербурга... Рейн, Альпы и Пиренеи Франция обрела без побед Наполеона, а то, что завоевал Наполеон, французам недорого. Усталые от кровопролитий, они спокойно вернут европейцам все, что захвачено Наполеоном... Меня, признаюсь, поначалу беспокоила проблема женитьбы Наполеона на вашей сестре. Но теперь-то я вижу, как вы к этому относитесь... Вы никогда, — настаивал Талейран, — не станете спасителем Европы, если позволите Наполеону увлечь себя его фантазиями о разделе мира, к чему он стремится. Но вы спасете Европу, если уже сейчас, в Эрфурте, окажете стойкое сопротивление его планам... Кстати, — спросил Талейран, — если Толстой оказался столь неугоден при дворе нашего сатрапа, кем вы замените его? Лучше всего, я думаю, соорудить в Париже великолепную и дорогую ширму, за которой мне будет удобнее действовать заодно с вами.

Александр ответил, что лучше князя Куракина, сверкающего бриллиантами, для этой цели и не сыскать:

— Пока он ослепляет Тюильри блеском и манерами учтивого маркиза, мой неприметный секретарь Карл Нессельроде будет связан непосредственно с вами...

Россия уже несла тяжесть трех войн — с Турцией, Персией и Швецией, теперь Наполеон навязывал союзнику еще две войны — с Англией и Австрией. Александр отделялся от назиданий «брата» улыбками или делал вид, что не слышит. Наполеона он вывел из равновесия. Искренне или притворно — это не столь уж важно, но император Франции сорвал с себя шляпу, в бешенстве топтал ее ногами.

— Вот так! Вот так! — выкрикивал он в ярости. — Я растопчу врагов, и горе тем, кто не согласен со мною...

Александр досмотрел сцену бешенства до конца.

— Я упряма тоже, — сказал он, — а мои экипажи заложить недолго. Если желаете мне угрожать, я велю шталмейстеру запрягать лошадей, и меня уже не будет в Эрфурте.

Наполеон потом жаловался Коленкуру:

— Слухи о глухоте этого византийца слишком преувеличены: царь не слышит лишь то, что ему не хочется слышать...

Оба императора порядком надоели один другому, а Наполеон не мог найти объяснения стойкости Александра, день ото дня возраставшей. Внешне они поддерживали декорум приличия, но, садясь в карету, издевались над своими министрами, скабресничали о своих любовницах — тогда как политики думали, что именно в карете-то и творится тайное тайных судеб Европы. Документы эрфуртских переговоров были наполнены дипломатическим туманом, который вскоре обратится в батальный дым... 2 октября Наполеон верхом провожал Александра по дороге на Веймар. После взаимных клятв и сентиментальных признаний в любви два императора простились навсегда. Наполеон еще очень долго смотрел вслед русским экипажам, спешащим прочь — подальше от Эрфурта. Обрато в Эрфурт Наполеон вел лошадь шагом, погруженный в тягостные раздумья. При нем был тогда Савари, и Наполеон только один раз прервал молчание странным вопросом к нему:

— Савари, неужели я... обманут? Но я уже не могу остановиться. Я все время должен идти вперед. Если остановлюсь, я сразу упаду. А я боюсь упасть, Савари...

3. «Как моя армия? Как мой народ?»

Такую фразу не раз слышали от Наполеона... Время до Эрфурта и после Эрфурта было для императора тем главным временем, «когда и пышно и светло звезда судьбы его сияла, а слава жадно целовала его высокое чело», — писал поэт Бенедиктов, ныне прочно забытый... Европа к тому времени уже имела двух сумасшедших королей: Англия — Георга III, Швеция — Густава IV, никто не считал нормальной королевскую чету в Испании, да и в головах венских Габсбургов тоже не все было в порядке. А был ли нормален Наполеон? «Один мой мизинец мудрее всех голов на свете», — вполне серьезно утверждал он, уже не раз проговариваясь о своем божественном предопределении. (Если это мания величия, то, простите, таких людей вяжут в смиренные рубашки и отправляют туда, куда надо...) Но сейчас ему хотелось бы скрыть правду: целая армия Дюпона, окруженная в Андалузии испанцами, сложила знамена и оружие.

— И перед кем? — бушевал Наполеон. — Перед этой грязной и нищей сволочью? Дюпона мало изрубить саблями, его надо утопить в бочке, наполненной плевками моей гвардии...

Была пора, как взмах его руки,
Одно движение нахмуренною бровью
Могло стянуть и разметать полки,
Измять венцы и мир забрызгать кровью...

Опять Бенедиктов! У него бывали удачные строчки.

Париж привык к победам. Обычно с утра звучали фанфары, под мощные возгласы боевых литавр шла в медвежьих шапках старая, непобедимая гвардия, за нею ехал ОН, внешне отрешенный от всего на свете, за императором, подбоченясь в седлах, гарцевали его маршалы, бойко двигалась бравая пехота, улицы Парижа заполнял цокот копыт неустрашимой конницы... Ах, как это все радостно! Мы, французы, снова победили, а подлый враг лежит во прахе, догнивая в лужах крови, — ну, так ему и надо. Вандомскую колонну изваяли из пушек, добытых при Аустерлице, а на самом верху колонны стоял он сам — величественный, как всегда, Наполеон!

Да, внешне все было великолепно. Французская армия представлялась нерушимым монолитом, который не расколется даже молния, упавшая с небес. Но это только казалось. В ближайшем окружении Наполеона давно сгустилась и без того душная атмосфера ажиотажа, рвачества, стремления во что бы то ни стало выдвинуться. Наполеон поощрял этот вызывающий карьеризм. Честолюбие глодало души маршалов, и оно было весьма примитивно: почему Массена получил два миллиона, а мне дали только шестьсот тысяч франков? Подобные речи звучали открыто, никто не стеснялся. Нажива стала главным двигателем карьеры, а любое недовольство среди генералов император быстро «гасил» подачками. (Перед приездом в Париж графа Толстого маршалам раздали 12 миллионов франков — просто так, чтобы служили вернее.) Империя обогащалась войнами, золотые дожди обливали военную и чиновную элиту, девичье приданое в 100 000 франков вызывало при дворе Наполеона бурное веселье: «Этого не хватит даже на лошадей...» А на упряжку лошадей тратили тогда столько, что на эти деньги можно было построить фрегат с пушками. Маршалы были и спекулянтами: тесно связанные с буржуазией, они биржевыми плутнями постоянно увеличивали свои состояния, и без того колоссальные. Но это еще не все. Мюрат мечтал, что Наполеон нарвется на шальную пулю, и он, Мюрат, займет место императора. Бернадот ненавидел Наполеона, и он убил бы его, если бы представился удобный случай, а сам Наполеон давно мечтал избавиться от Бернадота...

Время было безжалостно: очень сильные ощущения, страстное желание славы, погоня за счастьем, постоянное ожидание гибели — все это сказывалось на людях, и эпоха Наполеона отметила Францию особым роком: преждевременным старением мужчин. Это и понятно. Но была еще одна страница в летописи «Великой армии», о которой наши читатели извещены плохо. Еще во времена революции Лазар Карно из лучших побуждений разрешил женам солдат селиться в казармах. В этом не было тогда ничего зазорного (вспомним, что в русских полках солдаты тоже селились с женами). Но времена изменились, блаженная простота якобинских нравов подчинилась диктатуре военного абсолютизма. Жены остались дома, а за громадной армией Наполеона — шумными толпами — двинулись тысячи и тысячи женщин совсем иной нравственности.

Генералы возили в обозах целые гаремы. Мюрат выискивал место для штаба только там, где замечал хорошеньких женщин. Даву умудрялся таскать на войну жену и метрессу. Массена имел очень стройного адъютанта, хотя все знали, что орден Почетного легиона покоится на чересчур высокой груди. Однажды «адъютант» забыла на бивуаке клетку с попугаем, и Массена на целый час задержал движение корпуса. Наполеон боролся с этим явлением, но оказался бессилён и наконец взял с маршалов слово. «Хорошо! — обещали они ему. — Отныне в походах будем иметь не больше двух метресс...»

Обычно судьба этих женщин была печальна. Забытые где-либо маршалом, они становились добычей офицеров, падали все ниже и наконец, избитые каким-нибудь пьяным капралом, присаживались у солдатского костра. Привязанные к армии, как собаки к будке, они снимались с места, едва лишь барабаны били поход, и двигались за грабь-армией Наполеона, вырывая из рук поклонников куски материй, чужие кошельки, вдевали в уши чужие серьги. По приказу Наполеона их стригли наголо, выставляли нагишом у позорных столбов, их вымазывали с ног до головы краской, которая не смывалась в течение полугода. Но даже опозоренные, обритые наголо, испачканные зловонной краской, они шагали за армией Наполеона, готовые на все ради пищи, вина и любви...

Ну а как император? Святой он, что ли? За ним ведь в каждой кампании восемь гренадеров с ружьями носили паланкин, плотно обшитый непроницаемым коленкором. Такие носилки втаскивали за ним в его покои по всем столицам Европы, а знаменитая «собачья графиня» продержалась при нем с 1805 года до самого краха его империи. В дни мира Наполеон где-то прятал женщину, как сокровище, но стоило начаться войне, как гренадеры снова впрягались в носилки...

Сейчас они снова потащили «собачью графиню» дальше.

— Испания будет моей провинцией, — утверждал Наполеон.

— Голодный человек думает одно, а после обеда говорит другое: в этом и заключена великая правда власти над людьми. Кто из верховных существ не осознал этой дурацкой истины, тот погибнет, — рассуждал император...

Все признаки бедности и отчаяния строго карались. Полиция безжалостно хватала всех нищих, отправляя их в богадельни, похожие на тюрьмы, где их принуждали к труду на фабриках. Капиталисты угнетали рабочих как хотели, а любое недовольство пресекалось отговоркой:

— Все это временное явление, вызванное войной. Вот наступит мир, и число рабочих часов будет сокращено...

Но империя не вылезала из войн, и потому закабаление пролетариата постоянно усиливалось. Фабриканты требовали от рабочих просыпаться в пять часов утра, а в шесть утра станки уже крутились как бешеные. Чтобы рабочие не вздумали менять место работы или убежать с фабрик, Наполеон закабалил их введением «рабочих книжек», заверяемых в полиции. Без этого фискального документа пролетарий был телом, из которого изъяли душу: только «рабочая книжка» могла дать труд, дать и хлеб. По сути дела, Наполеон ввел на производстве крепостное право. Пролетариат образовывал свои тайные коммуны (похожие на масонские ложи), рабочие обменивались меж собой тайными знаками, имели свои обряды, распевали тайные гимны... Постоянные войны лишили французов уверенности в завтрашнем дне, возникло тревожное чувство неустroенности, ожидание худшего, браки заключались наспех — в перерывах между победами. Лихорадочная торопливость в любви сначала вызвала во Франции очень высокую рождаемость, но стоило Наполеону НЕ победить русских, стоило восстать народу Испании, как рождаемость резко сократилась. Женщины из простонародья рассуждали так:

— А я не нанималась ему рожать пушечное мясо...

Францию изнуряли хронические конскрипции: все лучшее и самое здоровое Наполеон отбирал для пополнения армии. Без жалости оголялась деревня, поставлявшая отважную пехоту и лошадей для кавалерии. Войны требовали все новых жертв, горы трупов складывались на полях битв с такой же невозмутимой легкостью, с какой рачительный хозяин складывает дрова. Обескровив народ Франции, император невольно денационализировал армию, ставя под свои знамена немцев,

поляков, итальянцев, саксонцев, даже албанцев и татар, что никак не улучшало армии, доставшейся ему от Директории еще единойязычной. Конскрипции все чаще делались досрочно; Наполеон выдерживал подростков в гарнизонах оккупированной Германии, для придания мужества новобранцам рисовали усы углем. Закон был жесток: «Раз попав в армию, француз домой не возвращался». Богадельни не вмещали всех изувеченных. Но богатых война щадила: чтобы спасти свою поросль от истребления, они имели право за деньги нанимать бедняка. Конскрипты слабого здоровья погибали на первом же марше, не выдерживая тяжести ранца и оружия, неудобства одежды, голода и жажды... У себя дома французы славились экономией, зато, попав в чужую богатую страну, они теряли чувство меры, отчего возникала высокая смертность от заворота кишок и кровавых поносов.

Ядром армии Наполеона была его «старая» гвардия, которую лучше одевали, лучше кормили, «ворчуны» обращались к императору на «ты»! Он бросал их в бой лишь в самые критические моменты. Уже закоснелые в побоищах, люди отваги и риска, ветераны видели в войнах законный повод для добычи, а молодые конскрипты, глядя на них, били обывателя по зубам, чтобы получить с побежденного деньги или золото, совали людей пятками в пламя костра... Разговоры были такие:

— Люди — как снопы: чем больше колотишь, тем больше с них сыплется... Вперед, французы! Нам сам черт не брат...

.....

Сразу после Эрфурта (с оглядкой на Австрию, хотя и запуганную, но вооруженную) Наполеон двинул в Испанию армию в 250 тысяч солдат... На самой границе с Пиренеями, в замке де-Маррак возле Байоны, императора настиг курьер из Петербурга — князь Никита Волконский*. Передав почту от царя, он был зван к столу самого Наполеона, который неумеренно нахваливал русскую армию:

— Будь я на месте Александра, я бы давно водрузил свой престол посреди Азии. — Потом он разрезал яблоко пополам, передал вторую половину Никите Волконскому. — Мир тоже круглый, — сказал Наполеон. — Россия и Франция всегда будут в дружбе, если разделят Европу, как это яблоко...

На лестнице Волконского нагнал запыхавшийся Дюрок:

— Это вам подарок от нашего императора...

Садясь в карету, князь Никита открыл футляр, в котором лежало дешевенькое колечко с паршивеньким бриллиантом. Считая такой

* Н.Г. Волконский (1781—1845) — генерал, родной брат декабриста С.Г. Волконского и кн. Н.Г. Репнина-Волконского, героя знаменитой атаки кавалергардов при Аустерлице.

«дар» оскорблением для офицерской чести, Волконский отдал перстенок конвойному жандарму:

— Возьми, драбант... от русского офицера!

Он поскакал на родину, а Наполеон двинул свою громадную армию через Пиренеи. Недавно свергнув испанскую династию, император решил, что с династией кончилась и сама Испания — тело без головы! К его удивлению, народ имел свою голову на плечах, и эта голова была не хуже королевской. Испания, слабая при Бурбонах, вдруг обрела страшную силу в народной войне — гверилье... Мюрату пришлось разить картечью женщин на улицах Мадрида, вонзять штыки в испанских детей, метавших в него булыжники. Один испанец с навахой в руке бросался на батальон французов и резал их до тех пор, пока не падал замертво... Такова сила гверилье!

Европа взбурлила — радостью, надеждами: героизм испанцев воодушевлял всех; наконец, возмущалась и совесть честных французов, уже предчувствовавших распад своей баснословной империи. Когда все это кончится? Когда Франция перестанет платить честолюбию корсиканца самый страшный налог на свете — кровью? Жозеф Бонапарт удержался на испанском престоле лишь восемь дней и бежал из Мадрида — в ужасе.

— Испания, — утешал его Наполеон, — еще не предел моей власти: с горы Гибралтара мы скоро увидим Африку...

Там, где французы не могли пройти, он слал на смерть эскадроны польских улан: сами поработанные, они с бесподобной лихостью поработали других. Гигантские обозы с награбленным добром тащились за армией — наглядное доказательство боевых успехов. Самые безобразные инстинкты (сдерживаемые доселе воспитанием, литературой, религией) император выпускал из людей наружу, как злого джинна из сосуда, и любое зверство поощрял знаками Почетного легиона. Французы занимали города без жителей, деревни без крестьян. Испанцы, уходя в партизаны, рубили бочки с вином, раскалывали кувшины с оливковым маслом. Повстанцев убивали, из их животов выматывали наружу кишки, деревья обвешивали телами гверильясов так, что не выдерживали ветви, но Испания не сдавалась, сопротивление народа усиливалось... Жозеф, растерянный, говорил брату:

— А что дальше? Журдан подсчитал, что мы должны держать корпус в пятьдесят тысяч штыков только для охраны курьерской почты между Мадридом и Парижем... Одумайся! Ты погибнешь сам, с тобою погибнем и все мы.

В декабре Наполеон, довольный, вступил в Мадрид.

— Вы просто не умеете воевать! — накричал он на маршалов. — За что я плачу вам деньги? Я дал вам величие, но всегда могу сделать из вас почтмейстеров.

Ему доложили: офицер из корпуса маршала Сульта — по фамилии Аржантон — сорвал с себя эполеты.

Он не был пьян. Его речь была разумна.

— Почему мы, французы, решили, что мы лучше всех других людей на свете? — спрашивал Аржантон. — Все беды Франции от этого подлого корсиканца. Пока оружие в наших руках, повернем его против Наполеона! Пора уже свергнуть безумного императора и призвать из Филадельфии генерала Моро... Моро, и никого другого, ибо Моро — честный республиканец!

Журдан, искренне желая спасти Аржантона от неминуемой казни, пытался представить его сумасшедшим.

— Нет, — ответил Наполеон, — если этот подонок додумался до возвращения Моро, значит, он не сумасшедший...

Аржантон без страха встретил смерть возгласами:

— Да здравствует Моро! Да здравствует ре...

Плотный залп оборвал последнее слово. Савари сказал, что с кзанию поспешили: от таких Аржантонов с их призывами к Моро натянуты потаенные струны — до филадельфов, до Филиппа Буонарроти, даже до генерала Лагори.

— А где же Лагори? — оживился Наполеон.

— Если бы знать... В банкирской конторе Шрамма в Гамбурге вдруг обнаружился вклад на его имя, но затем все денежки куда-то бесследно исчезли. Будем искать...

Имя генерала Моро было исключено из истории, его изъяли изо всех книг, оно преследовалось в печати, знавшие Моро отрекались от знакомства с ним. Каково же было Наполеону прослышать в Мадриде, что испанская хунта, руководящая восстанием народа, послала в Америку страстный призыв именно к генералу Моро — вернись, помоги нам! Савари сказал, что крайне подозрителен и полковник 9-го полка Жак Уде, но он такой опытный конспиратор, что его не уличить.

— Подозрителен и Руже де Лиль... автор «Марсельезы»! Он, кстати, двоюродный брат якобинского генерала Мале.

— Сколько же их... исключительных? — спросил Наполеон.

В дурном настроении, он недолго оставался в Мадриде.

— Все эти хваленые столицы Европы — дерьмо, — было им сказано. — Они падают к моим ногам, как перезрелые орехи.

4. Наши потери — четыре человека

Дабы покончить с брачными химерами Наполеона, Александр срочно «окрутил» сестру Екатерину с принцем Георгом Ольденбургским. Принц был неказистый сморчок, кривобокий, косноязычный, весь в угрях и прыщах. Рядом с ним возвышалась красавица невеста — умная, статная, властная, отлично понимающая, что ее выдадут за этого гугнявого только затем, чтобы ее красота не досталась парижскому «Минотавру».

Коленкуру царь объяснял — даже с юмором:

— Франция не может на меня обижаться. Чем же я виноват, если моя сестрица безумно влюбилась в этого удивительного красавца, принца Ольденбургского?..

Толстой — после Эрфурта — во Францию не вернулся. Его место в Париже с барственной неторопливостью осваивал Куракин, ослепивший Сен-Жермен своими бриллиантами. Нессельроде готовился ехать в Париж — для тайной связи с Талейраном, который за наличные будет продавать все то, что узнает от Фуше. Александра ошеломило известие, что Наполеон вдруг (!) покинул Мадрид и бросился в Париж со скоростью почтового курьера. На приеме в Тюильри он осыпал Талейрана самой отборной бранью. «Вор, мерзавец! — кричал он ему. — Вы всю жизнь занимались предательством... На что рассчитываете теперь? — В каскаде ругани не был забыт и герцог Энгиенский. — А этот несчастный? — вопрошал Наполеон. — Кто, как не вы, подстрекал меня с ним расправиться? Я расколочу вас, как стекло магазинной витрины, я повешу вас на решетке Карусельной площади... Пусть все французы видят, какая вы грязь! Какая вы грязь в шелковых чулках!»

— Все это странно, — сказал царь графу Толстому, передавшему подробности скандала.

Первая мысль была такова: Наполеон что-то узнал о тайномговоре с Талейраном в Эрфурте, но Толстой выдвинул иную версию, ближе к истине: очевидно, Талейран поступил на содержание к Меттерниху, чтобы секреты Наполеона продать и Австрии.

— Возможно, — сказал царь, — чтобы получить с двух клиентов сразу...

Для русского кабинета был теперь насущен главный мучительный вопрос: если Австрия тоже станет вассальна диктату Наполеона, тогда Россия останется в Европе один на один со всей внушительной мощью Франции.

— Потому-то, — доказывал Румянцев, — мы ныне обязаны поддерживать ретивость Вены, даже в нарушение трактатов и Тильзитского и Эрфуртского, пусть их мухи обкакают! Но прежде избавим себя от возни с турками, персами, шведами...

Балтику сковало крепчайшим льдом, Барклай-де-Толли и князь Багратион готовили армию для перехода по льду через море, чтобы, ступив на берега Швеции, принудить Густава IV к миру. Вена прислала в Петербург Карла Шварценберга, имевшего честь быть дважды битым генералом Моро — на Рейне и на Дунае. Человек дурной военной репутации, Шварценберг желал обрести славу дипломата. Перед царем он сознался, что Австрия преисполнена желанием реванша и на этот раз империя Габсбургов подготовилась к войне замечательно:

— Нам уже нестерпимо жить в страхе перед нападением. На этот раз мы первыми нанесем предупреждающий удар, а обстановка на горизонте Европы отмечена благодатными для нас грозами... Стоило Наполеону покинуть Мадрид, как все его маршалы перегрызлись меж собою, в Испании бушует восстание, мужество Сарагосы подает венцом добрый пример!

Румянцев понимал нетерпение Вены, понимал даже искренность Шварценберга: Наполеону предстоит война на трех фронтах сразу: против Австрии, против народа Испании и, наконец, в Португалии, где высаживаются англичане во главе с Веллингтоном. Но Румянцев не скрывал от Шварценберга, что Россия, союзная Франции, должна в случае войны выставить против Австрии свой корпус со стороны Галиции.

— Вене это известно, — ответил Шварценберг, похожий на сытого, перекормленного борова, с лицом вроде окорока. — Но мы уповаем на вашу умеренность в боевых делах.

— Россия, — утешил его Румянцев, — пожалуй, больше всех заинтересована в целостности вашего государства, и не мне объяснять вам, почему так... вы и сами догадываетесь! А потому мы тоже просим войска герцога Фердинанда в Галиции сохранять скромную умеренность в делах батальных.

В марте месяце, когда русская кавалерия, перейдя море, как посуху, уже гарцевала в окрестностях Стокгольма, король шведский Густав IV лихорадочно перелистывал Апокалипсис, хотел в бумагах древних астрологов найти точную дату, когда же Петербург падет в тартарары? Шведам все это надоело. Дрбанты ворвались в покои короля и сказали, чтобы убирался куда желает, война с Россией никому не нужна, а на престол они посадят старого адмирала, герцога Зюдерманландского, с именем Карла XIII...

В эти дни Александр вызвал князя Никиту Григорьевича Волконского и спросил, что он натворил в chateau de Маггас, где встречался с Наполеоном.

— Я и пьян-то не был! — отвечал князь Никита. — Я ведь уже докладывал Вашему Величеству о беседе с Наполеоном за обедом, о том, как он разрезал яблоко пополам...

— Забудь ты это яблоко! Ты обязан вспомнить, что в Байоне случилось еще такое, о чем ты умолчал.

— Вспомнил! — сказал Никита Волконский и поведал, что Дюрок передал ему на лестнице дешевенький перстенец, какому в магазине на Невском и цена-то всего рублей в десять, не больше. — Клянусь вам честью офицера, — сказал Волконский, — если бы вы подарили мне такую безделицу, я бы отдал ее своему кучеру... Не пойму, в чем дело?

Александр пояснил: жандарм, которому достался этот дрянной перстень, стал всюду им хвастать как подарком Наполеона, и Наполеон сразу пробил тревогу, усмотрев в поступке Волконского оскорбление Его Величества.

— Ты, конечно, прав, — сказал царь, — но Петербургу сделан официальный запрос из Парижа... Наполеон во всем ищет предлог для конфликта с нами. А я совсем не хочу лезть на рожон, как лезет эта несчастная Австрия. — При этом он подарил Волконскому драгоценный перстень с редкостным бриллиантом. — Это для твоего... кучера! Возьми...

9 апреля Австрия объявила войну Франции.

13 мая Австрия сдала Франции столицу — Вену...

Габсбурги разбежались. Восемь дюжих гренадеров протащили в покои Наполеона паланкин, внутри которого греховно загаилась «собачья графиня». Было темно и жутко.

Но потеря столицы не лишила австрийцев мужества.

Эта война не была похожа на прежние войны Австрии, и Наполеон от начала ее ощутил возросшую стойкость государства, армию которого поддерживал ландвер (народное ополчение). Наполеон велел германским вассалам из Рейнского союза поставить для французской армии сто тысяч штыков.

— Я посмотрю, как немцы станут волтузить немцев...

В запасе он хранил три миллиона пищевых рационов, 200 тысяч пар обуви, каждый солдат имел по 200 патронов на ружье. Французы творили чудеса храбрости! Эрцгерцог Карл, генералиссимус Австрии, уже давно был подавлен гением Наполеона и, оставив Баварию, уда-

лился в Богемию. При штурме Регенсбурга маршал Ланн, подавая пример солдатам, первым приставил к стенам крепости штурмовую лестницу. Наполеона тут ранило шальной пулей в ногу. Мамелюк Рустам кинулся к императору, но тот отверг его помощь:

— Молчи! Это не первый раз со мною... молчи!

Ланн лишь недавно прибыл из Арагонии, где устроил резню в Сарагосе. Горожане Сарагосы сражались рядом с солдатами, их пример воодушевил и жителей австрийского Эберсберга: они тоже взялись за оружие! Наполеон велел Ланну устроить для них «вторую Сарагосу», и Савари потом вспоминал: «Представьте все эти трупы, изжарившиеся в пожаре, истоптанные копытами лошадей, искрошенные колесами пушек. Мы шли по каше из жареной человечины, издававшей невыносимое зловоние... пришлось поработать лопатами!» Опередив неприятеля, Наполеон, следуя правым берегом Дуная, занял Шенбруннский дворец и венский Пратер, предместья столицы.

На другом берегу Дуная колебалось море огней: это светили костры армии генералиссимуса Карла.

Бертье доложил: мосты через Дунай уничтожены.

— Справимся! — ответил Наполеон. — Австрия захотела пощечин. Я их надаю справа и слева, и вы увидите, как она будет благодарить меня, спрашивая, что мне еще угодно. А ночью, Бертье, мы дадим Вене хороший концерт из пушек...

Прячась от бомб, разносивших город, Бетховен сидел в подвале, обложив голову подушками, чтобы спасти от разрушения остатки гениального слуха. Знаменитый Йозеф Гайдн умирал, к нему пробрался французский гусар Сулеми, в утешение композитору он исполнил арию на его музыку.

— Это прекрасно! — благодарил Гайдн. — Но музыкальное сопровождение из бомб и ядер ни к черту не годится...

Во дворце Шенбрунна император с факелом в руке ходил по картинным галереям, рассматривая древние портреты Габсбургов, и удивлялся: как эти шлепогубые и длинноносые много веков держали мир в страхе? В парках Пратера умирали раненые лошади. В музыкальных киосках солдаты распивали бочки с вином. В ресторанах победители играли на бильярде. Солдаты рубили на дрова фруктовые деревья. Окна в домах были выбиты, двери сорваны. Наполеон часто взирал на другой берег, где пылали костры вражеской армии... Дунай возле Вены — немыслимая путаница протоков и островов, среди которых остров Лобау был главным, отсюда уже рукой подать до Асперна и Эсслингена, где засели австрийцы. На лодке император поплыл утром на Лобау; разделяя с ним опасности,

на веслах сидел русский военный аташе полковник Александр Чернышев, которому Наполеон почему-то всегда доверял.

— Моя армия, — признался он Чернышеву, — уже не та, что была при Аустерлице: краткий штыковой удар ва-банк я вынужден заменять продолжительной канонадой... увы!

Бернадот вел из Дрездена саксонскую армию, он удачно отразил нападение эрцгерцога Карла. Но успеха еще не было. По реке плыли горящие барки и даже ветряные мельницы, которые Карл спускал вниз по течению — как брандеры, и они сокрушали переправы, наведенные французами. Массена уже разворовал казенные деньги, однако Наполеон простил ему все за геройское поведение при штурме Асперна:

— Смотрите, все смотрите на Массена! Кто не видел Массена при Асперне, тот вообще ничего в жизни не видел...

Окопов не было: французы сооружали брустверы из трупов. Маршал Ланн с небывалым мужеством штурмовал Эсслинген и, наверное, взял бы его. Но вражеское ядро разворотило ему оба колена сразу. Дико кричащего от невыносимой боли, его потащили на ампутацию. Наполеон требовал от врачей:

— Оставьте моему льву хотя бы ногу!

— Какие ноги? Отрежем обе под самый пах...

Наполеон заметил внимание на лице Чернышева.

— Да, времена переменчивы, — сказал он. — Вы же сами видите, что австрийцев не узнать...

Все летело кувыркком, все усилия были напрасны. Генералиссимус Карл разгромил французов, они спасались на острове Лобау. Плавающие барки врезались в понтонные мосты, тараня их, воспламеняя их, и Массена с трудом собрал войска на «пяточке» Лобау. Артиллерия австрийцев обкладывала так густо, что труп лежал на трупе.

— Сомкни ряды... стоять! — командовал Массена, потом сказал Чернышеву: — Зачем мне все это случилось? Я давно мог бы жить — кум королю, а вместо этого... сами видите!

— Что он вам наболтал? — спрашивал Наполеон.

— Массена фырчит... как всегда, — ответил Чернышев.

— Чтобы он не фырчал, делаю его герцогом Эсслингенским, и пусть он держит Лобау, пока не сдохнет...

Как он ни выкручивался в своем бюллетене для «Монитора», парижане и вся Европа поняли: непобедимого побеждают. Народам Европы казалось, что близок час их освобождения.

Бертье сообщил, что Ланн еще жив:

— Он желает что-то сказать. Очень важное...

Наполеон опустился на колени перед постелью, на которой лежал не человек — обрубок человека. Сын конюха, маляр по профессии, он умирал в чине маршала с громким титулом герцога Монтебелло. Императора затрясло от рыданий:

— Ланн, это я... твой генерал Бонапарт!

— Ты нашел меня пигмеем, а сделал гигантом, — сказал Ланн. — Я умираю... смерть. Прошу тебя, Бонапарт, дай покой Франции... Аустерлиц, Йена, Эйлау... наконец, и эта Сарагоса... Где конец, Бонапарт? — спросил Ланн. — Ты уже велик... я умираю... Не хватит ли того, что ты получил? Если не щадишь свою славу, пощади Францию... людей!

— Ланн, я спасу тебя... чего ты хочешь?

— Похорони меня с другом, он... рядом...

В соседней комнате лежал мертвец. Наполеон откинул косынку с его лица. Это был Буде — тот самый Буде, атака которого спасла от поражения при Маренго.

— А кто вон там, в углу? — спросил Наполеон врача.

— Можете взглянуть. Полковник Жак Уде... Странная смерть: он иррешечен пулями, и все пули — в спину.

— Ничего странного, — ответил император*.

В мундире сержанта, чтобы не привлекать внимания австрийских стрелков, Наполеон окружил себя инженерами и саперами; объезжая позиции, он намечал новые места переправ, расставлял батареи, его стараниями остров Лобау, уже проклятый армией, превратился в мощный плацдарм для решающего рывка к новой славе — к Ваграму! В ночь на 5 июля над Дунаем разразилась гроза с молниями, а 120 пушек Наполеона усилили этот стихийный ад. Под грохот неба и артиллерии, при вспышках молний и выстрелов его войска снова перешли на левый берег Дуная, утром генералиссимус Карл отодвинул свою армию к местечку Ваграм.

Ваграм близок от Вены, потому крыши столицы, садовые террасы и даже колокольни храмов были переполнены горожанами, наивно уверенными, что взмахи платков увидят от Ваграма, что солдаты Карла услышат их крики:

— Храбрые австрийцы, вы должны победить!

* Жак Жозеф Уде — республиканец, основатель «Общества филладельфов»; Ф. Буонарроти включил его в «Список великих людей», выступавших против тирании за свободу народа. Ж. Фуше позже сообщил: «Уде заманили в западню, где-то в темноте подвели под оружейный огонь, и есть подозрения — огонь жандармов!»

Наполеон сумрачно смотрел на Бернадота:

— Продвинешь своих саксонцев между Адерклаа и Зюссенбрун-ном, слева от тебя Легран, справа принц Евгений.

— Значит, мне... центр, — понял Бернадот.

На виду жителей Вены император распахнул во всю ширь гигантский и красочный веер своих корпусов, дивизий, полков, эскадронов — и все это безбожно сверкало на солнце, полыхало яркою медью кирас и касок, мерцало тысячами палашей и сабель. Третью миллиона людей была до предела спрессована на малом пространстве, почему Наполеон, даже не сходя с места, мог визуальнo наблюдать, что творит на левом фланге Массена, как идет справа дела у Груши.

— Бертье, — сказал он, — вы у меня князь Невшательский. Думаю, вам не повредит титул и князя Ваграмского?

— Я счастлив принадлежать вам, сир...

Карл опрокинул левый фланг Массена, но Бертье, знающий свое дело, спас положение резервами. Бернадот, занимая центр, принял на себя ураган австрийской канонады, а шапки его саксонцев (вместе с головами) взлетали кверху, будто мячики. Соседние деревни застилало рыжее пламя, дым пластами шатался над рядами кичливых султанов гвардии. Было восемь часов вечера... Бегущая дивизия итальянцев приняла саксонцев за австрийцев, покрыв их залпами из ружей. Удино был отброшен назад, Макдональд тоже пытался. Бернадот страшным усилием продвинул свое войско до Ваграма, но австрийцы выбили его из улиц, из домов, из хлебов, из канав, из подвалов, с огородов... Темнело. Бой затихал.

Бернадот на усталой пощади отыскал Бертье:

— Какой мудрец придумал всю эту кутерьму?

— Диспозиция одобрена Его Величеством.

— А ты, Бертье, разве не мог ее исправить?

— Иди к черту! Завтра начнем все заново...

Около полуночи артиллерия закончила свой диалог, разгорелись костры, воровато согнувшись, во тьму ушли мародеры. Бернадот не был ранен. Но одну пулю нашел у себя в кармане, вторая застряла в сапоге у пятки. Аптеки пропали. Врачи тоже. Раненых никто за ночь не напоил, не убрал. А утром эрцгерцог Карл сам напал на французов, боковым охватом силясь отрезать их от переправ на Дунае, от острова Лобау. Бернадот опять угодил в такую свалку, что его саксонцы разбежались, а глядя на союзников, побежали и войска принца Евгения Богарне. Однако генералиссимус Карл, отводя крыло армии, обнажил центр, и Наполеон вмиг сообразил:

— Лористон, сто пушек — и в эту брешь...

Затем пустил в дело конницу Нансути, саблями она проложила себе широченную аллею, словно прорубая в густом лесу просеку. Одновременно с этим в реве пушек Лористона Даву сделал разворот на Ваграм, и тогда австрийские войска начали отступать. Но отступали в порядке, энергично отбиваясь в арьергарде. Наполеон требовал — гнать, добывать... Бертье возражал: нельзя, все поле битвы заполнено ранеными, они без воды, без помощи... Что с ними будет?

— Оставим их умирать, — приказал Наполеон.

Бернадот вышел из боя с безумными глазами.

— Преступление... я требую суда! — орал он. — Я знаю, чьи это проделки... Мой корпус сознательно дважды ставили под тучу бомб и ядер, чтобы избавиться от меня... Не возражайте мне! Я догадываюсь, кому это нужно...

Наполеон велел ему убраться из армии в Париж.

— Будьте счастливы, маршал, — говорили Бернадоту саксонцы, прощаясь с ним. — Мы не забудем, что вы вступились за нас... Вся Саксония будет помнить ваше доброе сердце...

...Гайдн умер. А гусара Клемана Сулеми (того, что пел ему) разорвало в куски бомбою при Ваграме.

Во главе «Великого герцогства Варшавского» Наполеон поставил короля Саксонии, своего верного вассала, а юмор варшавянин в те годы был унылым: «Герцогство Варшавское, монета прусская, король саксонский, кодекс французский». Польский корпус князя Иосифа Понятовского врубился во Львов, а венский герцог Фердинанд протолкнул свою армию в Варшаву...

В этой политической путанице России предстояло вступить в войну с Австрией, при этом нельзя австрийцев разбивать, чтобы не ослабить их армии, нельзя поддаваться на провокации польской шляхты. Эту архисложную задачу блистательно разрешил князь Сергей Федорович Голицын, возглавивший русский корпус в Галиции. Прекрасный шахматист, гуляка в жизни, давний приятель баснописца Крылова, этот генерал был «себе на уме». Перед австрийцами он отводил свой корпус в сторону, иногда даже слал к Фердинанду гонца с просьбою: «Сегодня ночью я вас атакую — вы, пожалуйста, отступите заранее... сами!» Однажды они встретились.

— Какие новости, князь? — спросил Фердинанд.

— У меня сын, дурак, женится. По этому случаю я должен побывать на его свадьбе. А пока я отсутствую, вы уж, пожалуйста, прекратите все военные действия.

— С удовольствием, — повеселел Фердинанд...

Наполеон, конечно, понял результаты свидания в Эрфурте, но придаться не мог: Россия, как и обещала, ввела корпус в 30 000 штыков, войну Австрии она объявила. В этой странной «войне» русская армия потеряла четырех человек, зато обрела Тернопольский округ — земли древних русичей.

5. Кануны

Рапатель отыскал Тернополь на карте. Американские газеты писали, что Шенбруннский мир заключен Наполеоном подозрительно скоро, ибо война в Испании, мятеж горцев в Тироле, пробуждение немецкого патриотизма — все это подстегивало Его Величество, как осла, перегруженного кладью. Крепостные валы, ограждавшие Вену, по его приказу взорваны, Австрия уже обессилена контрибуциями, Наполеон отнял у Франца около четырех миллионов подданных, и положение их тяжелое: французы избивают всех, кто не родился французом.

— Это конец, — сказал Моро адъютанту. — Европа на повороте... Лозунги революции, изгаженные Наполеоном, сейчас станут возрождаться заново. Но они воскреснут уже на иных знаменах: монархи Европы, сами тираны и деспоты, воспримут наши старые призывы к народам о свержении тирании, чтобы сплотить людей под своими знаменами... Задумался ли Наполеон хоть однажды об этом? Вряд ли. Но политически он уже проиграл... А какие лозунги может он дать Франции?

Рапатель задумчиво рисовал лошадок.

— Вы будете отвечать хунте? — спросил он.

В широких окнах Моррисвилля виднелся лес, текла широкая река, в саду под старыми вязами весело играли его дочь Виргиния, его бой Чарли, его добрая собака Файф.

— Стоит ли? При испанском штабе Жозефа начальником мой друг... Журдан! Оба мы из одного якобинского клуба. Он будет бить меня, я должен бить его. Глупо... Это еще не все, Рапатель. Вернись я в Испанию, и я стану подчинен хунте, которой заправляют кардиналы-изуверы, фанатики инквизиторы. Могу ли я, отвергающий церковь деист, зависеть от них?..

Резкой болью отозвался в сердце Моро расстрел Аржантона, он глубоко скорбел о гибели полковника Жака Уде. Моро сказал, что Аржантон никогда не был филладельфом:

— Он был просто порядочным человеком, а в убийстве Уде я подозреваю Савари... Сейчас я боюсь за Виктора Лагори, как бы он не пустил роковой ошибки. Он мне нужен. Нужен именно в Париже...

1809 год был високосным, и весной (еще до падения Вены) Америка выбрала нового президента. Предвыборная кампания напоминала оргию, будто шайка разбойников выдвигала самого отважного атамана. Кандидаты от штатов выкатывали на улицы бочки с вином, бесплатно поили избирателей, а избиратель, выпив на дармовщинку, получал сочный поцелуй от жены кандидата — вроде бутерброда... На место благородного Джефферсона в президенты прошел Джеймс Мэдисон, богатый плантатор-рабовладелец, что не мешало ему называть себя республиканцем. Моро был давно с ним знаком, и при встрече в Нью-Йорке президент сообщил генералу, что эта проклятая Англия размахивает трезубцем Нептуна у берегов Америки.

— Вы, Моро, уже присмотрелись к нашей армии?

Моро ответил — да, он уже присмотрелся.

— Смею думать, что в Запорожской Сечи дисциплины и умения воевать было больше... По сути дела, у вас нет армии. Вместо нее вы развели шайки бродяг, которые шляются по стране, думая об одном — где бы выпить и закусить! Джеймс, — сказал Моро, — выкладывайте все начистоту!

Мэдисон сказал, что Эрскин, посол английского короля, страшный алкоголик. На банкете в Белом доме он в пьяном виде кричал, что Лондон не пожалеет денег, лишь бы переманить генерала Моро на королевскую службу:

— Хотя бы в колониях... в Индии!

Моро с крайним возмущением ответил, что подобное предложение считает оскорбительным для себя:

— Помогать Англии — значит быть ее сообщником в угнетении других, незащищенных народов. Но я им — не слуга!

Мэдисон со смехом признал, что бурная реакция Моро доставила ему несравненное удовольствие:

— Это дает мне право расшуметься по миру, будто генерал Моро согласен командовать американской армией, и возможно, что ваше имя заставит Англию быть поскромнее...

Александрина недомогала, в Моррисвилле она почти не жила, чтобы не видеть могил матери и сына. Конечно, балы и концерты, женские пересуды и покупки в магазинах — все это приятно для молодой женщины, но Александрину, как и ее мужа, угнетало отсутствие того культурного общества, к которому она привыкла в Париже. Им, европейцам, было трудно прижиться в стране, где газета заменяла литературу, а любое ремесло ценилось выше искусства.

— Хочу во Францию... очень! — жаловалась жена.

— Не страдай, мы еще вернемся, — утешал ее Моро...

На речных притоках Делавэра он сооружал водяные мельницы, разводил в саду помидоры, даже плотничал, но все это была лишь жалкая подмена настоящего дела. Моро не покидали мрачные мысли, беспокоило и состояние Александрины. Только верный Рапатель не поддавался унынию, все чаще поговаривая, не пора ли вскочить в седло, прищпоривая лошадь? Он уже предчувствовал, что генеральная битва народов еще впереди.

— А если я сам предложу себя... России?

Моро ответил: не станет ли он враждебен своему народу, если в рядах русской армии выступит против Франции?

— Я смотрю на все это иначе... Если бы, допустим, в эмиграции возникла армия из французов-республиканцев, о-о, с каким бы восторгом я слушал шелест ее знамен!

Для Рапателя сомнений не существовало:

— Где эти республиканцы? Кричали много — да, но Бонапарт быстро задарил их титулами, именьями, миллионами. Массена? Превратился в грабителя... Ожеро? Чтобы не страдать совестью, просто спивается. Но почему мне, французу, не быть заодно с русскими? Начни Россия войну с Францией, и она начнется не для того ведь, чтобы насолить французам...

Иногда Моро виделся с Ги де Невиллем, ибо идейных противников он умел уважать. Этот умный роялист, имевший связи с Лондоном, тоже делал попытки заманить Моро в армию короля, но уже не для колоний, а в Португалию.

— Зачем? У них ведь там герцог Веллингтон.

— Веллингтон и останется Веллингтоном, а ваше имя слишком известно Франции: появлением в Португалии вы сможете внести разброд в сознание французских солдат. Никто из французов еще не забыл о вашем конфликте с Наполеоном.

— Какой там конфликт! — отмахнулся Моро.

Ги де Невиль, кажется, потерял терпение.

— Моро! — сказал он. — В Париже не имеется второй Бастилии, чтобы из ее камней мастерить дамские брошки. Вы закоснели в своем республиканстве, и не граничит ли оно с житейским отчаянием? Подумайте о больной жене...

Моро ответил: ему легче видеть Александрину в гробу, он своими руками выкопает ей могилу в парке Моррисвилля, нежели изменит своим гражданским убеждениям.

— При чем здесь конфликт с Наполеоном? У меня конфликт со временем, в котором я живу вместе с Наполеоном. Два человека — две идеологии, отсюда и конфликт. Обрети я завтра власть над Францией, я бы сохранил Бонапарта для армии Франции, ибо я признаю его достоинства полководца.

— Кто, по-вашему, лучше — он или вы?

— Это не академический вопрос... он даже бестактен! А мы с Бонапартом — не гладиаторы, чтобы сравнивать свои дарования на открытой арене перед публикой. Думаю, Наполеон одарен более меня, и потому его таланты слишком дорого обходятся человечеству. Но он уязвим... да, уязвим, — повторил Моро, — его ахиллесова пята не заколдована.

— Продайте этот секрет... англичанам.

— Никогда! — ответил Моро. — Мое знание Наполеона — это тоже оружие, и я могу вложить его лишь в добрые руки.

— А мы сегодня приглашены в гости.

— К кому, моя прелесть? — спросил Моро.

— Пхе, не скажу! Но ты будешь рад...

Вечером лошади провезли их через тихий Фэйрмаунт, обстроенный уютными особняками времен английского господства, карета остановилась возле виллы, в которой недавно поселился русский генеральный консул Андрей Яковлевич Дашков. Консул оказался еще молодым человеком, очень радушным, его жена, которую он называл Дженни, постаралась увлечь Александрина к себе, чтобы не мешать мужской беседе. Моро сказал хозяину, что открытие консульства России в Филладельфии обрадует президента. Дело за открытием посольства.

— Да, посол уже в пути. Вы его знаете, — напомнил Дашков, — это камергер и граф Федор Пален.

— Не тягостно ли было путешествие в океане?

— Плыли шестьдесят восемь дней. Дважды попали в штиль, трижды отбили абордажи, и я так и не понял, — сказал Дашков, — кто на нас напал? Но стрельбы, воплей и ужасов было достаточно. Простите, я стрелял тоже. Кстати, я доставил вашему превосходительству поклон из России. Не знаю, как выразить по-французски наше выражение: «Скажи поклон Моро!» Поклон от князя Петра Ивановича Багратиона.

— Спасибо за память обо мне, тех дней в Италии не забыть... Я следил за его успехами. Мне казалось, что Багратион, соратник Суворова, станет военным министром.

— Этот грузин слишком горяч и шумлив, в Петербурге сейчас выдвигается в министры князь Барклай-де-Толли.

— Не мне судить о достоинствах Баркляя, но этому человеку предстоит вынести тяжкое бремя. Сейчас я почти уверен, что следующая война Наполеона будет с вами... Вы, русские, единственные в Европе, сумевшие охранить свою честь и свои ресурсы. Наполеон не может развивать свою агрессию далее, пока существует такая страна — Россия! — Дашков поддакнул, что победы корсиканца становятся хроническим бедствием Европы, но Моро сохранил мажорное настроение. — Все мы знаем, что порох изобрел монах Бертольд Шварц, но кто знает его конец? Посаженный на бочку с порохом, он был вознесен взрывом под небеса. Так что, мсье Дашков, даже в победах Наполеона уже завелся червь его будущих поражений...

Появление жен прервало их беседу, гостей звали к столу. Александрина жаловалась на вредный для нее климат Америки.

— В чем дело? — отозвался Дашков. — У нас в России есть Крым, есть блаженная Украина, наконец Минеральные Воды, а климат не хуже французского.

— У вас есть еще и Камчатка, — заметил Моро.

— О, у русских все есть! — засмеялся Дашков...

Александрина обещала Дженни услуги своей портнихи, обещала подыскать камеристку со знанием немецкого языка. Оставив женщин щебетать о пустяках, мужчины от стола проследовали в комнаты консула. Дашков выложил перед Моро пакет.

— Исполняю свой долг, — важно произнес он.

Моро ощутил вдруг неясную тревогу.

— Могу я знать, от кого этот пакет?

— От вашего друга, князя Понте-Корво.

Так титуловался ныне бывший якобинец Бернадот. Моро, весь в нервном напряжении, не прикоснулся к пакету.

— Какие же пути привели его в ваши руки?

— Я только исполнил роль почтальона, — сказал Дашков. — Могу подсказать и адрес в Стокгольме, пользуясь которым вы можете связаться с самим Бернадотом.

— Но при чем тут Стокгольм? — удивился Моро.

— Это не мои связи, это связи мадам де Сталь...

Когда гости прощались с любезными хозяевами, Дашков просунул голову в ароматные потемки кареты Моро:

— Совсем забыл спросить вас о главном: каков здесь, в этой стране, церемониал представления президенту?

— А никакого, — отвечал Моро.

— А мундир? А треуголка? Быть ли при шпаге?

— Это как вам удобнее. В одежде тут демократия...

Карета покатила домой, двери открыл им Чарли, Файф встретил их радостным лаем. Моро прочел письмо Бернадота.

— Странная гасконада! — сказал он. — Странная...

Летом 1809 года, едва вступив в Вену, Наполеон стал угрожать Петербургу разрывом. Коленкур, явно смущенный, передал царю, что его великий император «более не ценит союз с Россией». Александр сразу вызвал Румянцева:

— Не наша ли это глупость? Когда здесь был этот хряк Шварценберг, мы гарантировали ему наше бездействие в войне, и корпус князя Голицына действительно не заливал Австрию кровью. Но я тогда сглупил, лично отредактировал протокол беседы со Шварценбергом, и теперь, надо полагать, Наполеон нашел его в шенбруннском кабинете Франца.

— Государь, сейчас до разрыва не дойдет: у Наполеона столько разных дел, как у паршивой сучки блох.

— Пожалуй, — согласился Александр. — Есть ли что нового? — Румянцева сказал, что пани Мария Валуевская беременна от Наполеона. На это царь отвечал ему с раздражением, что его Нарышкина тоже беременна. — К сожалению, Николай Петрович, эти новости не могут стать событием для Европы...

На пороге его кабинета вскоре появился Арман Коленкур, расстроенный, и сказал, что служить более не в силах...

— В чем дело, Коленкур? Объяснитесь. Я настолько уже свыкся с вами, что мне потерять вас... *жаль!*

Наполеон сослал в глушь Нормандии мадам Канизы, которую посол страстно любил, но ведь назначая маркиза в Петербург, он же сам и обещал дать разрешение на брак с нею.

На глазах Коленкура вдруг блеснули злые слезы:

— Как он не понимает, что я обладаю всеми секретами его же государства, и, будучи оскорблен им, я могу сразу предать его, чтобы отомстить за все сразу... за все!

Александр — резким голосом — отвечал ему:

— Нет, вы не сделаете этого, Коленкур! Все, что нужно мне знать, я все это знаю. Хорошо знаю. *Без вас...*

Он не пугал Коленкура — он сказал правду. Русская агентура во Франции работала намного лучше французской в России, теперь же, после явной измены Талейрана и Фуше, Петербург ожидал усиленного наплыва свежей информации. Политическая служба

русского кабинета Александра I (к чести его!) никогда не ежилась от страха, докладывая царю правду, только правду — как бы она горька ни была. Таким образом, в русской столице знали многое. Даже очень многое...

Барклай-де-Толли — человек холодный, рассудительный, строгий, замкнутый — как раз принимал у себя в министерстве полковника Александра Чернышева, прикатившего из Вены, чтобы навестить родню, чтобы потанцевать.

— Ну? — сказал ему Барклай, глядя сурово.

Молодой полковник был очень красив, в него парижанки влюблялись напрадую, а близость к Наполеону вполне устраивала ловкого военного атташе. Чернышев пронаблюдал войну из шатра самого Наполеона, через оптику его же подзорной трубы. И теперь, зная то, о чем не пишут в газетах, он сказал Барклаю, что техника у французов никудышная. Наполеон использует старье — еще королевское оружие: пушки у него образца 1765 года, а ружья образца 1777 года.

— Вы и сами знаете, что при Аустерлице, при Эйлау и Фридланде император, объезжая поля битв, указывал Дюроку или Савари переворачивать трупы своих солдат. Все сражены нашей картечью. Как не может он пересилить флот Англии, так ему никогда не порешить нашей славной артиллерии...

Вечером в Зимнем дворце состоялся бал, и Александр, заметив флиртующего Чернышева, погрозил ему пальцем:

— Смотри мне... не попадись! На женщинах...

В буфете дворца сидел любитель выпить Шувалов.

— Не пей, — сказал ему царь. — Иди за мной...

Павел Андреевич Шувалов был другом его юности. В служебном формуляре он уже имел: Варшаву, Нови, Сен-Готард, Аустерлиц, Пултуск, Торнео, шведскую Вестерботнию (через пять лет ему запишут и дорогу с Наполеоном от Фонтенбло до Фрежюса). Они уединились в запертом кабинете.

— Чернышев говорит: положение Бернадота при Наполеоне стало опасно. Они, это не секрет, всегда враждовали, но теперь Бернадоту грозит не только опала... Фуше тоже!

— Да, я знаю, — ответил Александр. — Но тебе предстоит ехать в другую сторону — в Вену... Надо признать, что при Ваграме Наполеон разбил не только Австрию, он разбил нашу политику, наши надежды. Вена превращается в покорного лакея Франции, и этим она еще больше усиливает Наполеона. Инструкции получишь у

Барклай и Румянцева. Учить не стану. Мало спрашивая, узнаешь больше. Шварценберг сейчас в Париже — посольствует, а ты в Вене побаивайся Меттерниха — эта гадина вредная и умная. Меттерних ненавидит Россию...

Перед отъездом в Париж явился и Чернышев.

— Я, — доложил он царю, — заинтересован в общении с Антуаном Лавалетом, женатым на Эмилии Богарне, племяннице Жозефины... Лавалет ведаёт всеми почтами империи, через него проходит самая секретная корреспонденция Наполеона, а в почтовом ведомстве чиновники бедны и продажны.

Александр благословил его пожеланием:

— Если планы Наполеона о войне с Россией уже существуют, они должны лежать вот здесь... НА МОЕМ СТОЛЕ. Потом проси у меня что хочешь: я для тебя все сделаю!

Была очень снежная зима, близился 1810 год.

У Коленкура подавали к столу свежайшие груши по сто рублей за штуку. Его знаменитый повар Тардюф (позже воспетый Пушкиным) угощал русских гостей яствами, секрет которых оставался никому не известен, Барклай-де-Толли, человек небогатый, одну из таких груш принес в подарок жене, после чего удалился к себе в кабинет — для работы. Адьютант известил министра, что пришла почта из Филадельфии.

— Я не политик. Несите канцлеру Румянцеву.

— На этот раз почта касается вас.

Дашков переслал просьбу Рапателя о зачислении его на русскую службу в прежнем чине капитана. Адьютант сказал:

— Но стоит ли принимать его? Рапатель, как и его генерал Моро, оба они — отпетые республиканцы.

В лице Барклай-де-Толли ничто не дрогнуло:

— Если в великой русской армии служат отпетые монархисты, я спокойно переварю в армии и отпетого якобинца... Посылайте в Филадельфию мое согласие и двенадцать тысяч рублей на путевые издержки... У меня все. Ступайте.

Гроза двенадцатого года
Еще спала. Еще Наполеон
Не испытал великого народа,
Еще грозил и колебался он...

Это уже не Бенедиктов — эти намного лучше!

6. Пожар в Париже

Даже со штукатуркой в казармах обращались бережнее, нежели Наполеон с шедеврами живописи. На картине Давида, изображавшей раздачу орлов гвардии, он сначала велел замазать геня, осеняющего с небес его маршалов славой. Геня замазали. Но стало непонятно, отчего маршалы пялятся в пустое небо? На этой же картине сидела в кресле Жозефина.

— Наверное, — предположил Наполеон, — моей новой молоденькой жене не совсем-то будет приятно видеть старую.

— Так будем вписывать в кресло молодую?

— Нет, Давид, замажьте пока старую...

На картине осталось пустое кресло. Исподволь уже готовился брак с венской принцессой. Умные люди тогда предсказывали. «Через два года Франция будет воевать с той державой, с которой император не породнится». Наполеон жил по-прежнему экономно, все остатки с гражданского листа он сваливал в подвалы Тюильри, где у него хранился личный запас — золотом! Жозефина не походила на мужа, справляя 300 шляп и 600 платьев в год, ее гомерические расходы не укладывались ни в какие бюджеты. Она уже смирилась с мыслью о разводе, беспокоясь лишь о том, сможет ли транжирствовать далее? В январе 1810 года Наполеон вызвал Карла Шварценберга.

— У меня нет времени для поэзии, — сказал он послу. — Даю вам несколько часов для составления брачной конвенции. Считайте, что я, император Франции, влюблен в принцессу Марию-Луизу, юную дочь вашего императора Франца.

Чудно, дивно, превосходно! Габсбурги только того и ждали, чтобы бросить в пасть ненасытному зверю сладкий и нежный кусок от своей плоти... Наполеон в последний раз ужинал с Жозефиной, которая жаловалась, что у нее несколько миллионов долгов. Наполеон обещал расплатиться. Он сказал, что дарует ей титул «вдовствующей» (!) императрицы, Елисейский дворец в столице, летом она может проживать в Мальмезоне, он дарит ей замок в Наварре. Последний раз за ними затворились двери спальных покоев. Всю ночь Наполеон рыдал, как ребенок, он кричал, что не в силах с нею расстаться, утром Жозефина сказала маркизе де Куаньи:

— Вот уж не думала, что в одном человеке столько влаги! Поверьте, от его слез моя постель стала насквозь мокрой.

В рядах старой гвардии слышался ропот «ворчунов»:

— Зачем бросает старую и берет молодую? Старая всегда приносила ему удачи, а с молодой он пропадет...

Мария-Луиза горько рыдала в Вене, понимая, что над нею свершаются грубое насилие, она не соглашалась ехать в Париж; отец с мачехой натравили на нее свору красноречивых иезуитов, папский нунций угрожал ей карами небесными:

— Вы обязаны спасти Австрию. Наполеон не станет воевать с Веной и, обходя ее стороной, двинется на Восток!

В словах нунция угадывались потаенные мысли Меттерниха. «Нашим унижениям приходит конец, — писал он, — теперь в Петербурге станут чесаться хуже собак...» Первым ощутил это Куракин, когда Дюрок не пустил его в Тюильри:

— Его Величество не может принять вас — у него уроки танцев, наш император изучает венские вальсы...

Теперь и Шварценберг поглядывал на Куракина свысока, как толстомордый бульдог на ничтожную болонку. Князь Куракин и впрямь был только удобной для Петербурга «ширмой», в тени которой Нессельроде перенимал информацию, получаемую от Талейрана, а Чернышев, ловко интригуя, через женщин похищал секреты империи. Атташе уже подкупил чиновника Мишеля, который сообщил потрясающую новость: Наполеон распорядился, чтобы связь Парижа с Петербургом отныне держалась не курьерами, а обычными почтовыми депешами.

— Разве такое возможно? — не поверил Чернышев.

— Да. Наполеон рассчитывает на то, что депеши будут перлюстрированы в Германии, их смысл дойдет до русского кабинета, а в депешах будет выражаться уверенность императора в прочности русско-французского союза...

Стало ясно: Наполеон заранее усыпляет бдительность Петербурга. Мишель был мелюзгой, но он имел доступ к тайнам империи, и он сказал, что Коленкура убирают из Петербурга.

— И кто же займет его пост?

— Очевидно, генерал Лористон... Он, по мнению императора, не имеет тех сомнений, какие делают Коленкура чересчур подозрительным. С вас пятьсот франков, мсье Чернышев...

1810 год стал роковым. Развод с Жозефиной и надежды Наполеона иметь наследника от юной жены переменяли многое. Император уверился в том, что, пока существует Россия, он никогда не будет спокоен за будущее своей династии.

— Русские женщины, — говорил он, — ежегодно производят полмиллиона детей... будущих солдат! Россия — не союзник, это мой главный соперник, и, пока она не подчинилась моим

планам, я не могу двигаться далее. — Подумав, он добавил: — А если я не двигаюсь, я сразу падаю...

Сверхсекретный план нападения на Россию был закончен 4 марта, и этот документ скоро лежал на столе кабинета русского императора в Зимнем дворце! (Наш маститый историк Евгений Тарле писал о миссии Чернышева, что этот ловелас, внешне легкомысленный, узнавал в Париже такое, что Талейрану с Нессельроде и во сне даже не снилось.)

По магистральям Франции днем и ночью катили почтовые дилижансы, окрашенные в зеленый цвет — цвет империи, цвет мундира Наполеона, на их лаковых боках, казалось, не хватало лишь золотистых пчел... Францию было теперь не узнать! Страна раскинулась на 130 департаментов, вобрав в себя области соседних народов. Голландию Наполеон счел французской землей на том основании, что в голландской почве обнаружены следы выноса ила из французских рек. Франция становилась похожа на придаток той империи, которую Наполеон склеил из покоренных земель. Понимая всю несурзность этого казуса географии, он просил называть его «императором Запада», а Францию — «старыми департаментами», при этом «новые» кормили и обслуживали «старые». Бравый маршал Даву, командуя в ганзейских городах Гамбурге, Любеке и Бремене, именовал свой округ еще проще: «Мы живем в тридцать второй дивизии...» Военный абсолютизм всегда ужасен! Покоренные народы сами и оплачивали работу той гигантской машины, которая их же и покоряла. Какой там Пипин Короткий? Какой еще Карл Великий? Наполеон превзошел всех: его империя разлеглась от Лиссабона до Варшавы, от берегов нынешней Югославии до границ Курляндии, Польша — передовой форпост, придвинутый вплотную к рубежам России. Но уродливая экономика Франции, подчиненная лишь войнам, погружала страну в глубокие кризисы, из которых, казалось, не было выхода. Элита промышленности, торговли и банков просила Наполеона ослабить гнет континентальной блокады.

— Если вам так тяжело живется, я могу поправить ваши делишки... взятием Москвы, Риги и Петербурга.

— Ваше Величество изволите шутить?

— Нет. Каждый кризис — отличный повод к войне...

Бертье отъехал в Вену, где во время обручальной церемонии изображал отсутствующего жениха (Наполеону ведь некогда заниматься такими пустяками!). Невесте был вручен миниатюрный портрет «императора Запада», осыпанный бриллиантами на сумму в полмиллиона

франков. Мария Валевская готовилась к родам, ее беременность служила для Наполеона вернейшим залогом того, что он еще способен быть отцом. Обладая работоспособностью пчелы, император временами развивал чудовищную энергию, но иногда уже впадал в нездоровую сонливость... Брак с молоденькой принцессой оживил Наполеона, и он еще никогда не был так любезен с Меттернихом:

— Дочь вашего императора вернула мне приятное ощущение молодости. Я никогда не забуду вашей услуги.

— Вена отдала вам самое драгоценное, что она имела, — отвечал Меттерних, после чего добавил, что Россию пора удалить и с Дуная, и с берегов Черного моря.

— Если вы желаете воевать с Россией, — бодро откликнулся Наполеон, — я не останусь нейтрален...

Для Меттерниха этих слов было достаточно, чтобы проникнуть в тайные умыслы Наполеона, и вечером во дворце посла Шварценберга он сделал вывод, что можно готовить бумаги для австро-французского союза — против России:

— Мы удивим ее нашей черной неблагодарностью...

По случаю бракосочетания Наполеона с Марией-Луизой во дворце австрийского посольства готовили празднество. В саду была сделана для танцев пристройка — большая закрытая галерея, наскоро сколоченная из досок, но украшенная тканями и растениями. Среди множества богачей парижского бомонда Куракин выделялся золотым кафтаном, который был сплошь облицован крупными бриллиантами. Желю своего консула, кокетливую красотку Лабенскую, он удивленно спрашивал:

— Душенька, почему на меня все так смотрят?

— Пытаются оценить, князь, сколько деревень с мужиками продали вы, чтобы ослепить всех своим кафтаном.

— А я и сам не знаю, — вздохнул Куракин...

Из-за болезни ног князь двигался, как черепаха, сверкая подобно языческому идолу. Полина Шварценберг объявила гостям, что бал откроется венским вальсом — парю Наполеона с молодой императрицей. Куракин сказал Лабенской:

— Любопытно, впрок ли пошли ему уроки танцев?

Сад и павильон осветились лампами, Шварценберг велел запустить в небо фейерверк, когда приехал Наполеон; музыка заиграла, и от одной паршивой свечки, выпавшей из канделябра, разом вспыхнула матерчатая обивка. Меттерних крикнул:

— Спасайте нашу гордость Европы! — и поспешно выбежал прочь, следом за императором и Марией-Луизой...

Стены павильона обтягивало полотно, расписанное масляной живописью, и оно разгорелось — со свистом, как порох. Смельчаки руками отдирали от стен обивку, затапывали пламя ногами, но все было тщетно. Пламя, буйно ревущее, мигом охватило весь павильон, началась паника. Людское орущее стадо ринулось к выходу в сад. Но в единственных дверях павильона толпа не могла протолкнуться. Самые угодливые кавалеры стали мерзавцами! Они кулаками отпихивали женщин, обрывали им шлейфы платьев. А русский посол сохранил врожденную вежливость, почти немислимую в этих условиях...

Даже трудно поверить, на что способен хорошо воспитанный человек, уважающий женщин! Куракин считал нужным не только пропустить дам впереди себя, но и удостоить каждую церемонного поклона. Уже охваченный пламенем, посол России в этом скотском кавардаке оставался единственным рыцарем. Многие женщины выскочили на улицу нагишом — платья на них сгорели. Очевидец этого бедствия (брат посла Алексей Куракин) извещал друзей в Петербурге, что в две минуты здание рухнуло. «Сегодня вынули из праха тело княгини Полины Шварценберг... она пыталась спасти детей; до такой степени обезображена, что ее узнали только по ожерелью и кольцам. А госпожа Лабенская при смерти...»

Куракина спасла случайность. Уже рушился потолок, пока он там кланялся, но тут какие-то молодые звери, жаждущие спасения, ринулись вперед, увлекая за собой и посла. Дымясь и польхая огнем, Куракин обрушил перила, его схватили за ноги, выволокли в сад... Наполеон спросил:

— Кто это? Неужели русский посол? Воды, воды...

Воды не было. Золотое шитье на кафтане посла расплавилось, образовав вокруг тела некий раскаленный панцирь, и когда люди пытались содрать с князя одежду, то обжигались — так была горяча она, словно сковородка, Куракина спасли бриллианты! Пока не перегорели все нитки, пока бриллианты не осыпались с него, он еще выносил пламя, хорошо бронированный слоем алмазов. Но пострадал жестоко: у посла обгорели уши, с левой руки кожа слезла, как перчатка, кроме того, посла здорово помяли в давке... На следующий день Париж наблюдал выезд Куракина на дачу в Нельи: впереди шел легион поваров и лакеев, врачи и артисты, играли оркестры, дюжие лакеи несли золотой паланкин, в котором расположился Куракин, весь перебинтованный, а за ним шагали члены посольства, с ними и веселый полковник Чернышев...

— Глупые люди, — говорил Куракин художнику Руа, делавшему портрет с обгорелого посла. — Все меня спрашивают о том, сколько

стоили бриллианты, потерянные мною в пожаре, и никто еще не спросил: «Сашка, небось тебе жарко было?..»

Пламя этого пожара видели и на окраине Парижа, даже в старинном саду бывшего монастыря фельянтинцев... Маленький Виктор Гюго (ему было тогда восемь лет) забыл своего отца, бросившего семью ради молодой итальянки, зато мальчик обожал крестного Виктора Лагори как родного. Лагори скрывала от полиции Софи Гюго, много лет влюбленная в этого человека. Она прятала его от посторонних глаз в руинах старой часовни, в самой глубине сада, он появлялся в ее комнатах тайком, всегда неожиданно... Женщина принесла ему свежие газеты: Наполеон по случаю своего брака объявил амнистию. Лагори решил покинуть убежище, а мадам Гюго убеждала его:

— Не делай такой глупости. Какая амнистия? Подумай сам, что осужденные по делу Моро, Пишегрю и Кадудалья давно отсидели все сроки, но... хоть одного из них выпустили?

Лагори ответил, что это было при Фуше.

— Но сейчас-то вместо Фуше министром полиции стал Рене Савари, герцог Ровиго, знающий меня... как солдата!

Савари принял Лагори почти с восторгом:

— Приятель, где же ты пропадал все эти годы? Меня даже император спрашивал: куда же делся этот бродяга Лагори?

— Скрывался, да, ибо не люблю сидеть в тюрьмах. Теперь амнистия. Хотя и приговорен заочно к смерти, но...

— Да перестань! — смеялся Савари, излучая радость. — Я тебя знаю. Будь спокоен. Живи. Никто мешать не будет.

Лагори вернулся к любимой женщине, распевая:

От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тржусь, играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом.
Чужбина мне — страна моя родная...

— Ну, вот и все, — сказал он ей. — Савари это не гиена Фуше, он принял меня хорошо. Теперь я свободен...

В дверях квартиры появились четыре агента:

— Генерал Лагори? Ни с места. Именем императора...

Без суда и следствия его заточили в замок Ла-Форс, Савари сам и сказал ему, что заключение пожизненно:

— Не обижайся на меня, Лагори! Ла-Форс все-таки лучше Кайенны, где даже тарелка с супом, еще не остывшим, уже шевелится от обилия москитов...

В тюрьме Лагори встретил генерала Мале.

— Какие новости от Моро? — шепнул тот.

— Моро расстрелял бы меня, узнай он только, как я глупо попался... Ведь я готовил тебе побег.

— Утешься, Лагори! Я сам устрою тебе побег. Лишь бы Наполеон убрался из Парижа подальше...

Кто бы мог подумать, что эти люди на целых три часа отберут Париж у Наполеона, возвращая его в лоно республики.

7. Быть беде всенародной

Перед отъездом Рапателя в Россию генерал Моро много писал, желая, чтобы написанное им попало в руки Барклая-де-Толли — для ознакомления. «Может, русским, — говорил он, — пригодится и мое мнение...» Дашков обещал переслать записку Моро с дипломатической почтой. При консуле в Филадельфии появился секретарь Павлуша Свиньин, очень быстро набросавший с натуры портрет Моро, и Моро одобрил рисунок:

— Вы очень талантливы, мой юный друг.

— Я стараюсь, — отвечал Свиньин...

Этого человека, казалось, собрали по кусочкам, словно мозаику из различных узоров смальты: окончил Благородный пансион в Москве, Академию художеств в Петербурге, плавал переводчиком на эскадре Сенявина, побывал в плену у англичан, занимался матросской самодеятельностью, стал академиком за картину «Отдых после боя князя Итальянского графа Суворова», он же писатель, дипломат, хороший литограф и на все руки мастер... Все это в двадцать четыре года!

— Если вы не сломаете себе шею на приключениях, — предрекал ему Моро, — вы очень далеко пойдете.

Свиньин (которому суждено стать еще и прототипом Хлестакова в комедии Гоголя «Ревизор») отвечал Моро:

— Я стараюсь... Но кто это видит?*

Моро предсказывал нападение Наполеона на Россию ранней весной 1812 года, Моро допускал отход русской армии, анализировал тактику Наполеона:

* П.Н. Свиньин (1787—1839) — впоследствии издатель журнала «Отечественные записки». Его акварели американского цикла изданы в США в 1930 г.; в 1953 г. Русский музей в Ленинграде приобрел два альбома Свиньи-на, в которых встречаются зарисовки с генерала Моро, его имени Моррисвилль и прочее.

— Он привык наваливаться всей массой и, не щадя резервов, сразу опрокидывает неприятеля на спину. Зато он теряется и даже приходит в замешательство, встретив упорное сопротивление. Корсиканский темперамент плохо приспособлен для долгого противоборства. Секрет успеха Наполеон видит в одном решающем сражении. Но он легко победим, если не делать того, что тактически выгодно для Наполеона.

— Так неужели нам отступить? — возмутился Свиньин.

Моро ответил, что своими отступлениями он обрел славу «Нового Ксенофонта» и в умелом отходе не видит ничего для себя позорного. Европейские страны, по его словам, побеждены Наполеоном еще и потому, что у них отсутствовал немаловажный фактор пространства, необходимый для маневра:

— Их армиям просто некуда было отступить. Вы же, русские, можете ретироваться далеко, и с каждой милей, нагоняя вас, Наполеон будет ослабевать. Генеральная же битва у границ ничего вам не даст, но она много даст Наполеону!

Моро так горячо хотел бы помочь России, что Дашков известил канцлера Румянцева: вот удобный момент для привлечения его к нашим делам! «Г-жа Моро, — писал он, — получила блистательное образование в Париже... она никак не может приспособиться к здешнему грубому обществу, ее слабое здоровье страдает от климата». Сам же генерал Моро, несмотря на сильный характер, видимо, тяготится бездействием. По его понятиям, сообщал Дашков, «есть только две армии — русская и французская, но последняя уже развращена... Моро признал, что Россия, пожалуй, единственная страна в мире, где он мог бы пользоваться наибольшим счастьем». В консульстве сочли нужным поговорить с Рапателем:

— Вы уезжаете, а Геркулес остается с женским веретеном своей прекрасной царицы Омфалы... Что скажете?

Рапатель сказал им такое, что они ахнули:

— Мой генерал еще не знает, что его Омфала отправила в Париж на имя генерала Дарю просьбу о дозволении ехать во Францию, дабы там пользоваться услугами врачей на водах в Барраже или Пломбьере. Беда в том, что Моро так нежно любит свою жену, что не станет мешать ее капризам.

Павлуша Свиньин пылко упрекал Рапателя:

— Почему вы, капитан, не предупредили генерала?

— Жаль его огорчать. Он и так слишком несчастен...

Дашков ответил: разобщение семьи Моро опасно для самого Моро! В тот же день он написал Румянцеву, что мадам Моро едет в Париж не ради примирения мужа с Наполеоном: «Разве что чудо может примирить

их. Моро не скрывает своего гадкого мнения о Бонапарте, а у него здесь так много шпионов, следящих за ним...» Дашков спросил Рапателя:

— Вы едете через Стокгольм, а в этом случае возможно, что вы встретите там Бернадота... Однако мадам Моро своим капризом поставила всех нас в дурное положение.

— Да, — согласился Рапатель, читая мысли консула. — Если мадам Моро окажется во Франции, мой генерал вряд ли вступит на русскую службу, ибо Наполеон всегда способен выместить свою злобу даже на женщине с ребенком.

— Вот именно... это нас и пугает, — сказал Свиньин. — Все-таки вы, Рапатель, скажите генералу о жене его.

Рапатель отложил этот разговор с генералом до самого дня расставания, когда матросы уже ставили паруса.

— Даже если и так, — ответил ему Моро, — я буду располагать судьбой, как велит мне совесть гражданина. — Дома он мягко упрекнул Александрина за обращение к Дарю, которого не уважал: — Опять твои креольские фокусы...

Александрина, плача, доказывала, что лечение на водах — лишь предлог для возвращения во Францию, ее беспокоит, что в Америке невозможно дать образование дочери:

— Ей уже восемь лет, и ты даже не заметил, как они проскользили мимо нас... самые проклятые годы! А что ты? Или ты решил навсегда остаться Велизарием?

Моро не хотел обижать Александрина.

— Файф, — позвал он любимую собаку и запустил пальцы в шерсть на загривке пса, лаская его. — Нет, я не Велизарий, — сказал он жене. — Велизария ослепили, а меня только изгнали. Я все вижу. Все понимаю. Конечно, разлука с тобою и — тяжкое испытание, но я не буду тебя удерживать. Поезжай, если хочется. Мы встретимся во Франции, но Франция тогда будет уже другая... без Наполеона!

Вечером он снова перечитал письмо Бернадота, потом из шкафа достал свою старую саблю. Моро долго сидел молча, опустив подбородок на тяжелый эфес оружия. Бронзовая гарда эфеса была украшена выразительной головой галльского петуха с широко разинутым в крике клювом...

А для чего кричат петухи? Чтобы будить людей?

— Я уже проснулся, — тихо сказал Моро.

Бернадот писал Моро, что все великие события лишь дело случая. Слепой рок хватает людей за волосы и влечет их в неведомое... Когда он выбивал англичан с острова Вальхерн, ему попались в плен шведы,

союзные Англии, и они вернулись домой, разнося по Швеции молву о его гуманности. При Ваграме Наполеон дважды ставил его и саксонцев под убийственный огонь пушек, и битва завершилась скандалом с императором. Бернадот уехал в Париж, когда англичане высадились у Флиссингена. Фуше сам возглавил оборону страны, по его приказу Бернадот выбросил англичан с материка в море, и ярость Наполеона уже не знала границ. Он злился на Фуше и Бернадота не потому, что англичан с позором прогнали, а потому, что Франция оказалась способна побеждать без вмешательства его «гения». Для Фуше это закончилось отставкой, а Бернадота спровадили в Рим, откуда он, пользуясь услугами мадам де Сталь, и отправил это письмо в Филадельфию...

Этим дело не кончилось! Шведский король Карл XIII, уже старый, детей не имел. В риксдаге возникли прения — кому наследовать престол? Обнажив шпаги, офицеры горланили, что они не забыли человеколюбия маршала Бернадота: «И пусть он станет королем нашим!» Растерянный Карл XIII усыновил Бернадота, сделав его наследником престола. С якобинской татуировкой «СМЕРТЬ КОРОЛЯМ» будущий король Швеции последний раз вошел в кабинет Наполеона. На столе уже лежал текст клятвы Бернадота, дабы Швеция в союзе с Францией отомстила России за потерю Финляндии.

— Подпишись, — велел Наполеон, заранее уверенный, что все им сказанное будет немедленно исполнено.

— А я уже не маршал Франции, — захохотал Бернадот.

— Но ты же француз!

— Теперь я — швед.

— Ваше высочество, обещайте, что Швеция...

— Швеция ничего не обещает Вашему Величеству!

Кратко и ясно. Мария-Луиза была уже беременна. Тысячи поэтов Франции слагали торжественные оды, воспевая в них священное чрево императрицы. Газеты, судившие об этом событии жалкой прозой, закрывались за «вредное направление». Особая государственная комиссия следила за тем, чтобы поэты, бряцая на кимвалах, не судили о зачатии наследника слишком откровенно. Авторы удачных дифирамбов награждали денежными призами. Никто еще не знал, что родится, но то, что еще не родилось, Наполеон заранее титуловал «Римским королем»... Деспотизм всегда очень страшен вблизи, но в отдалении он способен вызывать смех!

Бернадот повидался с полковником Чернышевым:

— Известите Санкт-Петербург, что я, став человеком севера, огражу Россию с севера же, только бы ваш Кутузов поскорее развязался с турецкой войной на юге...

Наполеон тоже повидался с атташе Чернышевым; разговаривая с ним, он вращал перед собой шар глобуса.

— Вот большая комета, — показал он на Россию, — но я уже перестал понимать ее эволюции... Кажется, ее пути расходятся с моей кометой, потому я обязан принять некоторые меры, чтобы мы случайно не столкнулись во вселенной.

Теперь Чернышев напугает Куракина, а Куракин станет пугать Александра... Что ж, пора пригласить Лористона.

— Коленкур утверждает, что я сделал его своей марионеткой. А как бы он хотел? Чтобы я стал марионеткой в руках Коленкура?.. Вам, Лористон, предстоит побыть в Петербурге именно моей послушной марионеткой. Все мои инструкции можно легко уложить в одном слове — молчать!

Но как молчать? Лористон ведь знал, что гигантские армии империи уже концентрируются за Одером, и в Петербурге посла Франции изведут дотошными запросами.

— Что я могу сказать в оправдание, сир?

— Вы скажете, что Россия введена в заблуждение. Вам, конечно, не поверят. Тогда вы сознайтесь, что Франция проводит маневры. Вам снова не поверят. Тяните время сколько можете. Наконец, ответите Румянцеву, что я передвигаю войска, дабы пресечь возможные волнения в Пруссии, а это есть наше дело, и пусть русские в мои дела не вмешиваются.

Лористон отъехал, а Коленкур вернулся в Париж, где император встретил его оскорбительно агрессивно:

— А, вы стали русским! Вас купили! Вы продались!

— Меня, — огрызнулся Коленкур, — можно считать русским в той же степени, в какой князя Куракина вы считаете французом... Я уже предчувствую развитие событий, как в Петербурге предчувствуют их тоже. Позволю заметить, что Россия — не германское герцогство, какое легко обратить в вассала. Вы сталкивались с русским солдатом на чужой земле, но вы не знаете, каков он на своей! Наконец, и крестьянство...

— Не пугайте меня, Коленкур. Россия развалится сама по себе. Крестьяне разбегутся, а дворянство, боясь разорения, заставит Александра подписать мир на любых условиях. Иначе они придушат его, как придушили и папеньку...

Коленкур процитировал слова Александра, сказанные им на прощание:

— «Я не сделаю первого выстрела, я допущу вас перейти Неман... Испанцев нередко разбивали в бою, но они не побеждены, а ведь у них

нет ни нашего климата, ни наших ресурсов... Я скорее отступлю до Камчатки, чем уступлю в чем-либо. Наполеон еще не знает моего народа!»

В середине чтения Наполеон вставил:

— Эти чертовы дела в Испании мне дорого обходятся! — Затем он отвечал Коленкуру: — Александр слишком обворожил вас любезностями. Вы привыкли там в Петербурге танцевать, мотать мои же деньги на представительство и совсем потеряли голову. Между тем все уже ясно... У меня теперь обеспеченный тыл: не станет же император Франц бить меня по затылку, ибо какой же дедушка будет воевать со своим зятем, если речь идет о сохранении престола для его же внука?..

«Римский король» уже явился на сцену истории (и Коленкур слышал в Петербурге, что говорили русские: как бы этому корольку не пришлось быть нищим студентом в Вене?). Бесполезный разговор продолжался пять часов, он ни к чему не привел, ибо Коленкур остался убежденным противником войны с Россией, а Наполеон снова запретил ему жениться на мадам Казини, доказывая, что нельзя быть счастливым с женщиной, которая бросила своего мужа... Коленкур чуть не плакал:

— Но она бросила его ради любви ко мне!

— А вас бросит ради любви к другому. Не спорьте, я стою на страже, Коленкур, вашего же счастья...

Блестящие приемы в Тюильри уже закончились, ибо молодая жена скучала в обществе французов. Изменилось и отношение к русским — их стали считать слишком «дикими». Светское общество Парижа стало собираться в салонах Сен-Жермена, где бывал и князь Куракин; играя с дамами в шарады, он смотрел фокусы дрессированных собачек. Наполеон сказал:

— Этот старый мот столь беспечен, будто он приехал на курорт подлечить свой желчный пузырь. Мне очень жаль этого вельможу века Екатерины, но курс его лечения закончится плохо! Моей жене прискучили все эти татарские рожи...

Он решил устроить Куракину такой же всеевропейский «концерт», каким ранее уже отпотчевал Уитворта и Меттерниха, объявляя войну Англии и Австрии. Куракин был поставлен камергерами в центре ковра, украшенного пчелами.

— Куда делся ваш секретарь Нессельроде?

(Нессельроде благоразумно отбыл в Вену, где склонил выю перед Меттернихом, на которого он уже тогда молился.)

— А куда же делся ваш атташе Чернышев?

(Чернышева и след простыл. При обыске в его квартире сыщики подняли ковер, их зашатало от ужаса — под ковром весь пол был выстлан секретными документами Наполеона.)

— Я не понимаю, — сказал Наполеон, — ради чего вы остаетесь в Париже? На что вы, русские, надеетесь? Где ваши друзья или союзники? Швеция? Но вы отняли у нее Финляндию. Пруссия? Но в Тильзите вы отхватили от нее Белосток. Может, Австрия? Но я отрезал от нее Тернополь, и вы его алчно проглотили... У вас был только один друг — это я! Европа не станет ждать нашествия ваших полчищ, объединенные народы Европы упредят ваши коварные удары из-за угла...

Бедный Куракин! Не в его-то годы переносить такое. Да и что он видел в этом Париже? Пожар у Шварценберга да фокусы собачек, а в конце всего — еще и этот «концерт».

— Ваше Величество, — ответил он Наполеону, — как посол великой державы, сохраняя достоинство этой державы, я вынужден затребовать у вас паспорта.

— А! — обрадовался Наполеон. — Вы и сами проговорились. Теперь все видят, что вы желаете войны со мною. Вы ведете себя, как Пруссия перед Йеной! Я не желаю вам зла, князь, но вы еще не раз пожалеете об этом разговоре...

— Ваше Величество, не пожалейте о нем сами.

.....

Накануне этих событий, еще весной 1811 года, оренбургский губернатор докладывал в Петербург, что жители Бугуруслана наблюдали на небесах пучок из шести ярких линий; будто стрелы в колчане, они быстро сблизилась меж собою, а затем, расходясь, исчезли в мировом пространстве. Вслед за тем над Россией (и над Европой) явилась необычная комета красного цвета с длиннейшим хвостом; ее отлично видели также в Сибири; эта комета, очень большая, имела плотное ядро, будто сгусток раскаленного металла, она тащила за собой по горизонту яркий хвост. «Я за всю жизнь, — писал очевидец, — подобной кометы не видывал. Все лето вплоть до осени она горела на нашем небе». Впрочем, тогда никто еще не думал о «летающих тарелках», публика в Петербурге гуляла по набережным даже ночью, любуясь небывалой спутницей Земли, освещавшей половину неба. Однако с появлением этой кометы сами по себе загорались леса, пожары истребляли города и села, в Туле сгорел знаменитый Оружейный завод. Во французской провинции Шампань был отмечен тогда небывалый урожай прекрасного винограда, овощи на огородах росли крупнее обычных. Дело специалистов объяснить странности этого явления, а я, очень далекий от понимания таких вещей, могу лишь сослаться на мемуары современников... Кстати, в России старики крестьяне встретили комету с подозрением:

— Это не к добру... быть беде всенародной!

8. Большой разъезд

Бертье доложил, что Кутузов с малыми силами пленил на левом берегу Дуная большие силы турок, а теперь отъезжает в Бухарест, дабы принудить султана к миру... Ответ Наполеона: «Как понять этих грязных собак, этих турецких мерзавцев? Кто мог предвидеть, что они допустят разбить себя?..»

— Но это не изменит моих планов, — добавил он.

В январе 1812 года маршал Даву разграбил шведскую Померанию. Риксдаг, избирая Бернадота, не думал, что Наполеон обидит своего бывшего маршала. Карл XIII, уже выживший из ума, восседал на троне, по бокам его он велел поставить два кресла, в них расположились кронпринц Карл-Юхан, бывший Бернадот, и его жена, бывшая Дезире Клари, которая даже у подножия престола не расставалась с вязальными спицами. Чванливые шведские аристократки с отвращением разглядывали будущую королеву: «Неужели эта карга была невестой Наполеона?» Знатная графиня Левенгаупт, представляя ей выводок дочерей, с небывалой надменностью произнесла:

— Вашему королевскому высочеству должно быть известно, что мои дочери состоят в ранге принцесс крови.

На что будущая королева Швеции ответила:

— Очень приятно, а я дочь трактирщика из Марселя...

Шведов тешила идея реванша, чтобы — с помощью Франции! — вернуть Финляндию, закидать крыши Петербурга ядрами с кораблей. Бернадот навестил русское посольство в Стокгольме, где его радушно принял барон Григорий Строганов, еще не успевший вручить верительных грамот.

— Вы их вручите мне, ибо мой «папа» уже ничего не соображает, — сказал Бернадот. — А мы с вами должны поладить. У шведов свихнулись головы. На улицах открыто порицают Россию. Я переломлю эти настроения. Я укажу Швеции новую цель — унию с Норвегией! Отсюда, из тиши Стокгольма, тщетность Наполеона видна еще лучше. Сообщите в Петербург, что, если Наполеон осмелится начать войну с вами, ему придется считаться со мною и шведской армией. Я отомщу ему за все, даже за то, что моя жена любила его. Но прежде мне крайне необходимо повидать вашего государя... хотя бы в Або!

Естественно, возник разговор о Моро.

— Я снова напишу ему, — обещал Бернадот. — Думаю, что сейчас, именно сейчас, Моро следует быть в Европе...

Но в Европу уже отплыла Александрина Моро!

Лористон перед Румянцевым делал большие глаза.

— Вас ввели в заблуждение, — горячо доказывал он. — О каких передвижениях войск вы толкуете? Этого не может быть. Ради бога, проверьте свои источники информации...

Барклай-де-Толли четко докладывал Александру:

— Наполеон собирает за Одером армию, размеры которой превосходят всякое воображение. Одних только лошадей мобилизовано сто восемьдесят тысяч. Попутно армия гонит миллионы голов убойного скота, и вся эта орава мяса пронумерована, как полки и батальоны...

— Очень может быть, — сказал Александр. — Лористона более не тербите. Мы все узнаем и сами.

Румянцеву он показал письмо прусского короля, который слезно умолял простить его: этот слизьяк в политике, обуянный страхом, включил свою армию в состав «Великой армии» Наполеона, а теперь просил у царя извинения.

— Вызывайте австрийского посла, — велел царь. Венский посол Сен-Жюльен или ничего не знал, или умело притворялся. Николай Петрович Румянцев, ловко маневрируя словами, пытался выудить из него если не правду, то хотя бы намек на правду: останется ли Австрия нейтральна? Сен-Жюльен, увертываясь от прямых вопросов, заклинал Румянцева, что Габсбурги еще никогда не пылали такой любовью к России. После этого Александр показал канцлеру копию с договора Меттерниха с Наполеоном: Австрия обязана ударить по России со стороны Галиции, командовать корпусом будет князь Карл Шварценберг. Этот разоблачительный документ раздобыл в Вене атташе граф Петр Шувалов... Александр сказал, что теперь сам будет разговаривать с Сен-Жюльеном.

— Я очень рад, — сказал ему царь, — что блистательная Вена симпатизирует моему кабинету, мне это приятно.

— Ваше Величество, иначе и быть не может.

— Но иначе бывает! — К носу венского врунишки был приставлен текст австро-французского договора о совместном нападении на Россию. — Вам нечего сказать? — спросил царь. — Тогда я стану говорить... записывайте! Если император Франц намерен ограничиться комедией, я буду довольствоваться тем, что мне известно об этой комедии. Но если он пошлет против России войска, это ему дорого обойдется. Вы быстро забыли благородное поведение князя Голицына, когда он не стал бить вашего Фердинанда в Галиции. Вена должна знать — у России всегда найдется шесть лишних дивизий,

дабы устроить веселый пикник на лужайках Пратера. Эти шесть дивизий — клянусь вам! — дойдут до Вены даже в том случае, если армия Наполеона доберется живой до Москвы... Записали?

В конце марта Бернадот прислал в Петербург графа Левенхольма — подписать союзный трактат между Швецией и Россией.

— Спасибо Бернадоту! — сказал царь, ратифицируя его. — За это мы гарантируем Бернадоту унию с Норвегией...

Было объявлено, что Главная квартира переносится в Вильно. Михаил Орлов просил у царя срочной аудиенции. Еще в Тильзите он оказал армии большие услуги, и Александр запомнил умного и храброго кавалергарда.

— Итак, я слушаю вас, поручик.

— Государь, насколько я знаю историю России, она никогда не имела денег, а привыкла воевать в долг. Но теперь не останемся ли мы должны не только Англии, но и своему же народу, уже достаточно обнищавшему? — Орлов предъявил две ассигнации, каждая в двадцать пять рублей. — Вы можете отличить их? Одна из них настоящая. — Царь не заметил между ассигнациями никакой разницы. — Однако, — пояснил Орлов, — настоящая подписана от руки, а на фальшивой подпись гравирована. Уликой фальши служит вот этот, едва заметный штрих, пересекающий букву «Х». Я проверил слухи: в обозах «Великой армии» едут тридцать четыре фургона с такими вот денежками...

Александр сказал, что с этим следует мириться, денежную реформу можно провести лишь после победы. На это Орлов ответил, что страну ожидает финансовая катастрофа:

— И когда? Когда мы ожидаем нашествия?

— А как быть? — ответил Александр. — Не можем же мы именно сейчас подорвать доверие к нашему рублю.

Орлов в ту пору состоял адъютантом при князе Петре Волконском, квартирмейстере армии. Александр указал ему:

— Повидаемся в Вильно, вы мне еще пригодитесь. Поезжайте через Шавли, проведайте обстановку в Литве...

За Шавли встретился знакомый полковник Иван Дибич — из корпуса Витгенштейна, прикрывавшего пути к столице от Курляндии. Подле Дибича ехал на лошади незнакомый офицер.

— Иван Иванович, а кто с вами? — спросил Орлов.

— Карл фон Клаузевиц... пруссак! Он бежал от своего короля, дабы не служить Наполеону. Светлая голова, но, жаль, — сказал Дибич, — по-русски не смыслит...

Проезжая Литвой, Михаил Федорович был угнетен картинами бедности жителей, даже ксендзы жаловались, что не стало селедки. Весна была холодной, зелень не прорастала. Вильно встретил его музыкой, бальными вихрями, красотою польских пани и паненок. Орлов слышал, как Александр, беседуя с графиней Шуазель-Гуффье, сказал: «Генерал Моро — моя давняя симпатия, воистину честный человек!» К столу виленских аристократов подавались апельсины и ананасы, выращенные в зимних теплицах Закрета, от свежих роз струился тончайший аромат. Князь Петр Волконский ждал своего адъютанта.

— Меттерних напуган, но, кажется, решил играть в шахматы на двух досках сразу — с нашим государем и Наполеоном. Он прислал сюда послом Лебцельтерна...

Лебцельтерн, родственник Нессельроде, в беседе с царем вел ухищренную политику канцлера Меттерниха:

— Между нашими кабинетами не должно быть недоразумений, и корпус князя Шварценберга будет послан в Россию лишь для создания видимости, что мы остаемся союзны Парижу.

— Чем вы можете заверить свое обязательство?

— Чем угодно, — склонился Лебцельтерн.

Вену не следовало выпускать из ежовых рукавиц.

— Тогда пусть мой посол остается в Вене, а силы корпуса Шварценберга да не превысят сил корпуса князя Голицына...

Орлов ужинал с генералом Балашовым, который остроумно рассказывал, как он выживал из Ревеля эскадру адмирала Нельсона. Барклай-де-Толли мало ел, скромно пил, он сообщил в разговоре, что у него в министерском портфеле лежит до двадцати проектов — как победить Наполеона.

— Пишут разные люди, но особенно забавно, что среди всех планов два начертаны полководцами Франции — Моро и Бернадотом, оба они из якобинцев. Кстати, они-то лучше всего и разгадали слабости Наполеона и его армии...

Перед тем как покинуть Париж, Наполеон одобрил проект Храма Славы, который должен украсить высоты Монмартра, отражая величие его власти. Наполеона перед отъездом навестил министр военных снабжений граф Лакюз де Сессак:

— Увы, все чрезвычайные фонды страны исчерпаны, где вы возьмете, сир, денег на войну с Россией?

— Ну, Сессак! — смеялся Наполеон. — Я предлагаю вам экскурсию в мои подвалы, где собраны богатства Голконды.

В подвалах Тюильри хранились его личные запасы — 380 миллионов франков золотом. Конечно, сверкающая Голконда ослепила Лакюз де Сессака, но никак не образумила:

— Через два месяца здесь будет пусто. Турецкая империя богаче Франции, янычары дерутся не хуже «ворчунов», но русские устраивают султанам постоянные кровопускания... Надеюсь, сир, вы хорошо изучили походы короля Карла Двенадцатого?

— Шведский король не знал географии: идя на Москву, незачем было ему соваться в Полтаву... Если я тронусь на Киев — Россия схвачена за ноги, на Петербург — я держу ее за глотку, и только владея Москвой, я могу заверить весь мир, что Россия лишилась своего сердца...

Франция напоминала гигантское депо для заготовки «пушечного мяса». Но голод уже выедал страну изнутри, подобно крысе, выжирающей головку сыра, чтобы оставить от него лишь корки. Провинции обнищали, торговля заглохла. Конскрипты, дезертируя, прятались по лесам. Как раньше рабочие восхваляли консула Бонапарта за порядок и дешевизну продуктов, так теперь они проклинали императора Наполеона за развал в стране и дороговизну. Нормандия уже восстала! Франции угрожала новая Вандея — на новый лад. Знал ли это Наполеон? Да, знал и скрывался от народа в загородном Сен-Клу; отсюда же он и отъехал в Дрезден с неразлучным Бертье.

— Армия всегда живет лучше народа, — разглагольствовал он в дороге. — Но это страшное чудовище, оно растерзает меня, если не кинуть ему добычи... Я дам им Россию!

При свете факелов въехали в Дрезден, переполненный королями и придворными, ждущими появления светила. Здесь Наполеон последний раз в жизни надышался фимиамом, который бесстыдно кадили перед ним. Не помещаясь на земле, император уже был на седьмом небе. «Пояс Ориона» переименовали в «Пояс Наполеона»; театр Дрездена был украшен видом солнца с надписью: «Я уже не так прекрасно, как Наполеон!» Именно в Дрездене Наполеон пришел к выводу, как бы подводя главный итог всей своей жизни:

— Я достиг такого могущества, что в один месяц могу расходовать двадцать пять тысяч людей. Помножим эту цифру на двенадцать, и станет ясно, что в год я могу уничтожать четверть миллиона. Много это или мало? Я сам не знаю. Но я уже настолько велик, что для меня нет глупой необходимости задумываться о гибели лишнего миллиона...

Бертье сказал баварскому королю, что император рассуждает о людях, как о бездушных ядрах:

— Пожалуй, даже интенданты о запасах обуви на складах судят с большею бережливостью, нежели он о людях.

Французы уже растворились в массе «Великой армии» — среди вестфальцев, пруссаков, баварцев, вюртембержцев, гессенцев, кроатов, саксонцев, голландцев, иллирийцев, датчан, швейцарцев, испанцев и португальцев. Дрезден провожал Наполеона набатом колоколов, мощными хорами поющего духовенства. Что ж, «молитесь, жирные прелаты, Мадонне розовой своей. Спешите! Русские солдаты уже седлают лошадей...».

За Торном император попал в самую непролазную гущу своей армии, карета с трудом прокладывала путь среди орудий и лошадей, шагающей инфантерии, рыскающей конницы, из фургонов солдаты на ходу переключивали в ранцы патроны и сухари, походные мельницы перемалывали зерно в муку, ревели стада обреченных быков и коров, блеяли овцы... На земле несчастной Пруссии, уже шатавшейся от разорения, немцы «Великой армии» грабили немцев же, они срывали с крыш солому, били горшки на кухнях пруссачек, тащили за ноги визжащих поросят. Вот и Польша... Наполеон обещал полякам «освобождение», и герцогство Варшавское вмиг «освободилось» от хлеба и денег, от лошадей и сена. Житницы опустели. Петухи перестали будить людей, цыплятки уже не бегали по дворам...

— Vive l'empereur! — орали пьяные солдаты.

На берегах пограничного Немана бивуачили польские уланы. Ни один француз не смел там появиться, чтобы не настораживать русских. В ночь с 22 на 23 июня, ночуя возле погасшего костра, уланы проснулись от топота копыт. Из тумана вырвались всадники — Наполеон, Бертье и Дюрок, с ними был Коленкур в сюртуке, при шляпе. Император и Бертье скинули мундиры, облачились в польскую форму. Все трое по мокрой от росы траве прошли к реке. Слева виднелись костелы и ворота древнего Ковно, река текла спокойно, в камышах чуть всплескивала сонная рыба... На берегу стояла изба развалюха, из ее окошка, затянутого паутиной, Наполеон и Бертье разглядывали противоположный берег. Наполеон шепнул:

— Россия... я впервые вижу ее. Так близко...

— Как там тихо и пустынно, — сказал Бертье.

— Да, они спят, еще ничего не знают.

— Почему вы перешли на шепот, сир?

— Как и вы, Бертье...

От дверей раздался звончайший голос Коленкура:

— Я заклинаю вас — не переходите Неман, не будите сон России...

Мы погибнем, если эта страна проснется!

Паутина на окошке вдруг стала вибрировать.

Это паук приступил к своей дневной работе.

— Все хотят есть, — сказал Дюрок и засмеялся...

Через полгода русские люди будут читать на заборах афиши о поимке главного военного преступника: «Приметы сего человека: он росту малого, плотен, бледен, шея короткая, толстая, голова громадная, волоса черные... Ловить и приводить в полицию всех малорослых».

О-о, сколько было тогда поймано «наполеонов»! А потом в участке, под розгами, доказывай, что ты не Наполеон:

— Христом-богом прошу — смилуйтесь. Не был я Напулевоном и никогда не буду... На што нам все это? Да у меня детки и жена брюхата. Мне бы тока до базара, штобы, значица, порося продать. Видит бог, какой я Напулевон?

9. Наше дело правое

26 июня, сохраняя порядок и суровое безмолвие, русская армия покинула Вильно. Перед тем как ставка собрала все документы, Александр снова повидал Орлова:

— Сопроводите генерала Балашова, едущего к Наполеону с письмом, и вы сами понимаете смысл моей просьбы...

Парламентеры галопом вымахали к аванпостам неприятеля. Горнист исполнил сигнал — не стрелять. Русским офицерам завязали глаза, их повели за руки, как водят малых детишек. Наконец повязки с лиц были сорваны. Балашов и Орлов увидели перед собой грозного маршала Даву.

— Не лучше ли мне счесть вас пленными? — спросил он; Балашов показал пакет: от Александра к Наполеону. — Я сам передам его императору, — протянул руку Даву.

— Нет, — возразил Балашов, — я должен не только лично вручить письмо Наполеону, но имею и устное поручение...

Даву замешкался, глянув на генерала Ромёфа (и в этот момент Орлов понял, что Ромёф правды не скажет).

— Мы не знаем, где император, — произнес Ромёф.

Все они знали! Наполеон от переправ возле Гродно уже двигал армию к Вильно, не желая принимать посланца царя, пока столица Литвы не будет им занята. Он часто справлялся у Бертье: сколько тысяч пленных взято?

— Тысяч? Русские не спешат сдаваться. Нам достался только пьяный гусар, спавший с бабой на сеновале. Он устроил нам в штабе тарарам, как в хорошем трактире...

Последним уходил из Вильно граф Орлов-Денисов — донской казак. Французы с криками радости врывались в город, когда он еще рубился на площади, выбив саблю из рук графа Сегюра; при этом казацкий полковник Ефремов со словами: «А ну-кась» — перевернул пику тупым концом и так треснул принца Гогенлоэ, что тот, расставшись с седлом, сокрушил каской доски забора. Пленный, он жаловался: «Багаж пропал! Мы без него не можем...» Наполеон между тем подъезжал к Вильно, терзая Бертье вопросами о трофеях:

— Где люди? Где пушки? Почему они не сдаются?

— Зато наш генерал Сен-Женье уже сдался со всеми пушками и солдатами. Теперь, сир, из русского арьергарда казаки настойчиво требуют, чтобы мы вернули багаж пленных.

— Верни мы им багаж, так они пропыют его...

На постоялом дворе Бертье раскатал карты.

— Что вы думаете делать, Бертье?

— На вашем месте я ограничился бы занятием Вильно, и Коленкур, кстати, солидарен со мной в этом мнении.

Наполеон сразу же вышел из себя:

— А-а! Коленкуру не терпится к Канизе, а вам, Бертье, тоже захотелось под одеяло к маркизе Висконти.

— Это невыносимо, наконец! — вспылал Бертье, срывая со стола карты. — Почему мне, именно мне, влетает больше других? Потому что я постоянно у вас под рукою?

Наполеон ласково потрепал его за ухо:

— Ну-ну, Бертье! Нельзя же быть таким горячим...

Еще на понтонной переправе он поздравил свою армию со вступлением на землю неприятеля. Поздравление императора стало сигналом к грабежу. Кавалерия на своем пути сжала весь хлеб, еще незрелый. Кто из горожан не успел запасть мукой, тот сразу ощутил голод. Женщины прятались — их насиловали; лошадей загоняли даже на чердаки — их реквизировали; лавки закрылись — все было расхищено. Аристократам тоже досталось: из окон с треском вылетали на мостовые полнзвучные рояли и нежные арфы, разломанные паркеты служили хорошей растопкой для солдатских кухонь. Вильно мигом обезлюдел, а жаловаться некому. Наполеон вступил в омертвелый город, не заметив в жителях даже примитивного любопытства к своей почтенной персоне. Он занял дворец, который только что покинул Александр, и отсюда осуждал поляков и виленцев за отсутствие «патриотизма» в народе:

— Где молодежь? Где лошади? Где хлеб и деньги?

На счетах своей бухгалтерии Наполеон заранее уже списал в расход 20 000 солдат, убитых при взятии Вильно, но русские отошли, не

приняв боя: война начиналась как-то не так, как он привык начинать. Наполеон велел устроить бал. Император никогда не был оригинален в общении с дамами. Каждой он задавал стереотипные вопросы: «Вы замужем? Давно ли? Сколько у вас детей? Надеюсь, они жирные? Они толстые?..» Он не был похож на человека из легенды: маленький, с выпирающим брюшком, волосы прилизанные, лицо тускло-бледное, улыбка редкая. Для него ставили подобие трона с подушкой для ног, которую он сразу отпихивал, резко командуя:

— Дамы, садитесь! Дамы, почему не танцуете?..

Русские, оставив Вильно, отказались от генеральной битвы на рубежах, и потому Наполеон решил представить визит Балашова как яркую победу своего могучего духа перед сломленным духом российской армии. Известны его слова, сказанные Бертье: «Александр уже струсил, и через два месяца Россия будет лежать у моих ног...» В кабинете сквозняк хлопал оконной форточкой, когда он принял Балашова. Вот и самая достоверная фраза, которой начал беседу Наполеон:

— Из этой же комнаты Александр отправил вас ко мне, и разве не удивительно, что вы встретили меня в этой же комнате? — При этом он закрыл форточку, но сквозняк распахнул ее снова. — Ради чего мы воюем? Если Александру так уж хочется побеждать, пусть он бьет монголов или персов...

С небрежным видом Наполеон вскрыл пакет. Александр в письме указывал ему, что Россия не давала Франции никаких поводов для войны и вся ответственность за эту войну целиком на совести французского императора.

— Я, — сказал Наполеон, — не затем пришел в Вильно, чтобы дискутировать о морали. Я не виноват, если сам рок управляет вашей страной, вышедшей из азиатских кочевий. Я лишь устраняю все то, что мешает моим порядкам в Европе.

Балашов ответил: его визит — это крайняя уступка России, и впредь Россия уже никогда не станет вступать в переговоры о мире. Наполеон отвечал ему с большой грубостью:

— Мне смешно! Те времена, когда Екатерина бросала Европу в трепет и открывала в Париже модные лавки, давно кончились... Вы уже погублены мною. Я разделил ваши армии: Барклай с князем Багратионом больше никогда не увидятся.

Сквозняк стучал форточкой, тогда Наполеон сорвал ее с петель и вышвырнул на улицу — прямо на голову прохожих, словно желая показать Балашову, как он умеет устранять все то, что ему мешает. Он сказал — очень спокойно:

— Не глупо ли требовать от меня, чтобы я вернулся за Неман! Все, что мною занято, остается моим. Это мое ремесло — ремесло солдата... Ладно. Увидим, чем все кончится.

За обедом в присутствии Балашова он бесцеремонно глумился над Бертье и Дюроком, делая из них каких-то болванчиков, а Коленкура спросил: правда ли, что Москва — это большая деревня, переполненная церквями? Коленкур сказал, что в Москве множество дворцов, каких нет в Вене и Париже.

— А церковей — да, много, — хмуро добавил он.

После обеда Коленкур увлек Балашова в свой кабинет.

— Вы должны быть тверды, — сказал он наедине. — Если б вы знали, какой у нас падеж лошадей, все шляхи покрыты их трупами. Армия разбегается, мародерствуя. В вашей победе сейчас заинтересована не только истощенная Франция, но и вся Европа. Передайте поклон моим друзьям в Петербурге...

Балашову в ставке императора было все-таки легче, нежели Орлову в ставке маршала Даву. Орлов заметил, что его «высокомерие является неизбежным следствием почестей, на которые он надеется» в случае победы. Даву поставил Орлова под строгий контроль своего штаба, малейшая оплошность поручика могла обернуться трагедией. Орлова больше всего интересовал дух неприятеля, настроения его командиров... Французы почему-то решили, что Балашов привез мирный договор и дело лишь за росчерком пера Наполеона, а тогда им не грозит погружение в зеленую бездну русских лесов, где — таинственно для них! — сейчас перемещаются в просторах родины две русские армии Барклая и Багратиона...

Генерал Ромёф наивно выпытывал у Орлова:

— Мы не знаем, что и думать... Неужели вы откажетесь подписать мир с нашим великим императором?

— А вы... Вы согласны на мир, Ромёф?

— Хоть сейчас, — отвечал несчастный Ромёф (которому судьба уже предписала гибель при атаке на Бородино).

Адъютант маршала Даву, польский офицер Задера, поразил Орлова скорбным прямотушием отчаявшегося патриота:

— Несчастливая Польша, избравшая себе в палачи императора французов. Все поругано, как на псарне, все разграблено. А нас еще вынуждают участвовать в чужих преступлениях... Ах, матка боска, не послушались мы мудрого Костюшки!

— Задера — ко мне! — раздался гневный клич Даву.

При следующих свиданиях Задера делал Орлову знаки, предупреждая, что общение с ним запрещено. Но Даву было не удержать генерала Сорбье, который с бутылкой старки сидел на лафете пушки и орал, пьяный, на всю улицу:

— Они там с ума посходили! Надо быть безумцем, чтобы забираться в Россию... Я уже вижу свои кости без плоти, догнивающие в лесном овраге. Бедная жена, бедные дети!

Генерал Роге открыто проклинал императора, Мюрат брюзжал, а принц Евгений Богарне, пасынок Наполеона, впал в уныние. Даже отчаянные сабреташи, которым давно уже нечего терять, кроме головы, даже эти закаленные рубаки испытывали тревогу. Кто же радовался? Пожалуй, одни лишь молодые офицеры, жаждущие приключений в экзотической стране — России. Их напыщенный оптимизм оправдывался надеждами на добычу, на повышение в чинах, на успех у женщин в будущем. Орлов с жалостью смотрел на этих молодцов: «Скоро вы поумнеете. Но вернетесь ли в Париж... вряд ли!»

Обедая при штабе Даву, поручик стал подшучивать над офицерами, не пошадив и генералов, а Даву, не вытерпев, ударил по столу так, что бокалы запрыгали:

— Фи, поручик, что вы там говорите?

Орлов в ответ трахнул по столу так, что ножки стола подкосились, а соусник разлетелся вдребезги:

— Фи, маршал, а что вы говорите?

Даву был ошарашен. Эта пикировка маршала с поручиком с наглядным показом физической силы произвела на французов сильное впечатление. Орлов выехал в Вильно, где его поразили разрушения в городе, запуганный вид жителей. «Вильна, — писал он, — имеет вид города, взятого штурмом. Лавки закрыты, по улицам ходят только солдаты, евреи арестованы...» Он застал в городе чиновников, не успевших бежать с армией, они спрашивали его — что им делать? Орлов советовал:

— Пусть ваши жены берут детей и нагоняют армию, которая примет их как должно. Вам же, господа, советую оставаться на местах, дабы посылно вредить неприятелю...

Балашову он доложил, что в армии противника пищевых рационов осталось на двадцать дней, и — точка.

— А что они дальше жрать станут? Землю?

— Всех лягушек переловят, нагрябят. Жаль лошадушек, — вздохнул Орлов. — Все поля и дороги вымощены их телами, даже конница Мюрата едва таскает ноги.

— Ну, так им и надо! — мстительно ответил Балашов...

Орлов выведал немало. Путем умозаключений он проник и в помыслы Наполеона, а богатая интуиция культурного человека, помноженная на аналитический ум, скоро уже даст в руки полководцев России материал для тех планов, которые давно тревожили холодный разум Баркляя-де-Толли.

Перед отъездом из Вильно поручик встретил Наполеона на ступенях крыльца, император громко прищелкнул пальцами.

— Где-то я вас уже встречал, — сказал он.

— Возможно, в Тильзите, сир.

— Но выглядели вы тогда иначе... совсем иначе!

— И это возможно, сир, — не возражал Орлов.

— Я запомню вас, поручик. В следующий раз я сразу же сочту вас своим военнопленным...

Вернувшись в Главную квартиру, Михаил Федорович дал императору полный отчет о виденном, особо отметив:

— Наполеону и его маршалам не удалось даже окружить нас, как ни старался Мюрат, загнавший свою конницу. Наконец, генералы обезкуражены отсутствием с нашей стороны упорного сопротивления. Они не понимают этой войны.

— Ну, пусть не понимают и дальше, — сказал царь...

22 июня в Видзах было созвано экстренное совещание в Главной квартире, среди высших военачальников сидел и поручик Орлов, — так высоко ценили тогда его знание противника! Но за этим же столом Орлов увидел и того прусского офицера, которого однажды встретил по дороге в Литву:

— Вы были с Дибичем, я забыл вашу фамилию.

— Клаузевиц, — был ответ. — Карл фон Клаузевиц. Пустое имя могу дополнить собственной характеристикой: изменник своему королю, я никогда не стану изменником отечеству...

После совещания Александр отличил Орлова:

— Отныне вы мой флигель-адъютант с зачислением в свиту. Теперь вы вправе, поручик, входить ко мне без доклада в любое время дня и ночи. Если я сплю, разбудите меня...

...Орлов был хорош собою, богат и знатен. Силы непомерной — одной рукой шутя останавливал карету. Волосы офицера свисали на лоб (такая прическа называлась тогда «эсперанс»). Впереди его ожидала ослепительная карьера. И никто ведь не думал, что этот молодой человек, могущий войти в спальню царя даже ночью, откроет новую страницу русской истории — станет первым декабристом в России!

.....
Наполеон со свитой выехал в Закрет, где собирался отдохнуть (от чего?), как на курорте. Его сопровождали Дюрок и Бертье, Ней и Бессьер, не понимавшие, почему их великий император застрял в этой никудышной Литве, с которой уже содрали последнюю рубашку. Богатое имение Закрет, лежавшее под Вильно, славилось в ту пору, как Сен-Клу под Парижем, как Сан-Суси под Берлином, как Царское Село под Петербургом... Вот и приехали! Дюрок разочарованно свистнул:

— Не пьян ли кучер? Не ошибся ли дорогой?

От Закрета осталась груда развалин, под копытами лошадей маршалов сухо трещали выбитые плашки разноцветных паркетов. Все тропические теплицы разбиты, апельсиновые деревья выдернуты из кадок. Император наступил на сгнивший в земле ананас и, понюхав увядшую розу, спросил растерянно:

— А почему в Закрете не работают фонтаны?

В чашах фонтанов кисли солдатские нужники.

— Ну что ж, — рассудил Наполеон, — отдохнуть здесь не удастся. Но, я думаю, в Закрете можно разместить госпиталь для раненых солдат. Жаль, нет с нами Коленкура: я бы сунул его носом в один из этих фонтанов и спросил: неужели и теперь русский царь Александр не заключит мира?..

Кавалькада всадников развернулась на Вильно, за ними поспешала карета императора. Цезарь оставался в гибельном плену цезаристских воззрений: ему казалось, что Россия и царь — одно неразлучное целое, главное в этой войне запугать царя, а народ — великий русский народ! — смирится со всем, лишь бы царь-батюшка оставался доволен. Дюрок в этом сомневался: история не однажды страдала и от самолюбия монархов, а потому, по его словам, не следует думать, что русский царь был счастлив при Аустерлице и в Тильзите.

Наполеона он только рассмешил:

— А, Дюрок! Два месяца, говорю я вам...

Отношения его с маркизом Коленкуром были натянуты, и Коленкур, не умеющий не переживать, убеждал Бертье:

— Хоть вы-то остановите его! Он потерял чувство осторожности, свойственное даже тиграм и крокодилам.

— Ах, маркиз! — отвечал постаревший Бертье, хлопоча над грудами штабных документов. — Мне от императора уже влетало не раз. Попробуйте сами остановить его.

— Ну а если мы... остановим? — спросил Коленкур.

— Он... *упадет*, — ответил Бертье.

Наполеон сам и вызвал давно назревавший скандал.

— Вы, кажется, опять мною недовольны? — спросил он Коленкура, складывая на груди руки. — Александр умеет обращаться с послами. Что скажете в защиту русского кабинета?

Лицо дипломата исказилось, когда император, держа его за пуговицу, повторял: «Вы русский... сознайтесь, вы стали русским?» На это Коленкур с дерзостью отвечал:

— Вы разучились слышать правду. Но я лучше других французов, которые привыкли аплодировать вам в любом случае. Я горжусь тем, что не принадлежу к числу подхалимов, толкавших вас к походу в Россию — на гибель армии.

Наполеон, поняв, что перешел грани дозволенного, стал убеждать маршалов в том, что его поход на Россию — самое политичное, самое разумное предприятие в его карьере:

— Два месяца, и с Россией будет покончено.

— Нет! — крикнул Коленкур. — С нею никогда не будет покончено. Я требую отставки... посылайте меня хоть под ножи в Испанию, только бы подальше от Вашего Величества.

— Тише, тише, — дергал Коленкура сзади Дюрок.

Наполеон не привык к сопротивлению:

— Коленкур, вы мне уже надоели... Что вы придираетесь к каждому моему слову? Мы же с вами старые друзья.

Он поспешил в кабинет. Двери захлопнулись.

Но бегство императора не остановило Коленкура:

— Он боится правды! Он не знает русских, как изучил их я, его же посол... Не глупо ли судить о России по картам и анекдотам? Дюрок, черт возьми, да отпустите же меня!

Позже он писал в своих мемуарах: «Герцог Истрийский (Бессьер) тянул меня за одну полу, а князь Невшательский (Бертье) за другую; оба они уговаривали, они умоляли меня не отвечать... тщетно пытались увести». Коленкура с большим трудом успокоили. Маршал Ней говорил:

— Счастье никогда не изменяло нашему императору. С ним всегда везло. А вдруг повезет и теперь? Не пройдет и двух месяцев, как мы узнаем, кто прав — вы или Наполеон?

Неожиданно раздался едкий смех Бертье:

— Дались вам эти два месяца! Вы все тут ненормальные... Не лучше ли нам напиться, чтобы ни о чем не думать?

Наконец император выступил с гвардией из Вильно, жуткое молчание лесов и болот обступало со всех сторон, а где-то, невидимые и неслышные, кружили в путанице непролазных проселков русские

армии, сходящиеся к Смоленску. В одной из русских деревень старуха швырнула в Наполеона камень.

— Она безумна, — сказал император. — Но где же трофеи? Почему я не вижу знамен и пушек... где же пленные?

Проливные дожди расквасили дороги в липкую жижу, в ней застревали орудия, потом нахлынула нестерпимая жарища, выжигавшая траву и овсы, начался кровавый понос, из «Великой армии» он хлестал ручьями. Наполеон утешал молоденькую жену в письме: «Страна прекрасна, и меня уверяют, что так будет и до самой Москвы...»

10. На перепутьях

Разделенные большим расстоянием, две русские армии соединились в Смоленске, и Наполеон радостно воскликнул:

— Наконец-то они мне попались!

В соборе шла благодарственная служба в присутствии Барклай и Багратиона. Пospели яблоки, их урожай был необычен. Грудами плоды лежали на улицах Смоленска. Колокола храмов звонили. Оркестры играли. Пахло яблоками... Наполеон вышел к Смоленску.

— А ну-ка, устройте мне фейерверк! — потребовал он.

Смоленск был зажжен брандс-кугелями, город запылал, высокими свечками сгорали древние храмы. Коленкур дремал у костра и был разбужен голосами.

— Смотрите, Бертье! — восхищался Наполеон. — Какое прекрасное зрелище... Смоленск — как извержение Везувия. Теперь нет сомнений, что здесь я приму от царя *мир*.

Но Барклай-де-Толли увел свои войска Московской дорогой. Ночью завязался бой с русским арьергардом у Валутиной горы, и Наполеон велел Жюно идти на поддержку Нея:

— Вы еще не маршал — вот случай отличиться... Все, все смотрите на Жюно: это лев, сейчас он страшен!

Мюрат (тоже из породы «львов») уже разграбил все ризницы смоленских соборов, так что не хватало кортежа карет для размещения золота, серебра и ценностей. Жители города жаловались князю Понятовскому, что их грабят, их раздевают на улицах, но князь ответил: «Грабили москалей и будем грабить... Зато у вас будет французская конституция! А теперь пошли вон, дураки!» Из курьерской эстафеты, прибывшей из Парижа, Наполеон узнал, что в Бордо пришел корабль, на этом корабле приплыли жена и дочь Моро*.

* По другим сведениям, это известие было получено Наполеоном не в Смоленске, а уже в Москве (в начале сентября).

— Девочке восемь лет, — напомнил Бертье.

— А что им нужно в моей Франции?

— Мадам Моро писала Дарю, что нуждается в лечении.

— Прекрасно! — воскликнул Наполеон. — Моро сам лезет в мою западню. Арестовать его жену с ребенком вместе. Держать их в Венсеннском замке на хлебе. Моро слишком любит их, он придет по их следам, будет валяться у меня в ногах... Я растопчу его, Бертье! Превращу в грязь, в слякоть...

Жюно не стал маршалом, спятив у горы Валутиной.

— Пустите меня... пустите к жене, — плакал он.

Жюно в лесах под Смоленском потерял разум, он не пошел на помощь маршалу Нею, который не мог понять, как обычная стычка с арьберггардом у Валутиной горы вдруг сама по себе разрослась до масштабов кровавой битвы. Непонятная для опытного Нея, эта битва не стала понятнее от слов Наполеона, который прискакал к Валутиной горе, потом сказал:

— Мои маршалы начинают трепать меня по всяким пустякам... В чем дело? Окружайте их всех, пленяйте их!

Коленкур записал тогда фразу Наполеона: «Барклай сошел с ума! Его арьберггард будет взят нами, если только Жюно ударит в него...» Но Жюно не полез в буреломы за Неем.

Вместе с канцлером Александр торопливо выехал в Або, куда плыл морем и шведский кронпринц Бернадот, но корабль его задержала буря. Бывший якобинец оставил «папочку» умирать, все дела королевства он быстро прибрал к своим рукам. Бедным шведам не дано было знать, что их будущий король уже наладил работу тайной полиции, ибо уроки общения с Фуше и Савари не пропали для него даром. Александру было забавно познакомиться лично с человеком, который свалился на престол Швеции, как клоп падает с потолка.

— Как вы освоились с новым положением?

— Очень быстро, — отвечал Бернадот. — Недаром же существует древняя истина: «Не мы от королей, а короли от нас».

Время было дорогое, и Бернадот понимал, что продвижение Наполеона к Смоленску обязывает царя сидеть в Зимнем дворце, а не кататься по финским захолустьям для свиданий.

— Мне известно серьезное положение в России, — сказал Бернадот. — Не менее оно серьезно и в Швеции, где еще немало рыцарей мечтают о турнире с вами. Я так много воевал, что мне это дело опротивело. Когда я стану королем, я скажу шведам: пусть эта война

станет для них последней. Но прежде хочу слышать: чем я могу помочь вашей стране? — Царь ответил, что Швеция нейтральна, и этого пока достаточно. — Нет, — горячо возразил гасконец, — я не желаю оставаться нейтральным, если идет война с Наполеоном...

Во время их беседы вошел тихий Румянцев:

— Смоленск... сдан. Барклай отходит к Москве.

Бернадот предчувствовал, что по следам русской армии тронется и Наполеон, ибо он еще не получил победы над русскими, а без уничтожения противника он не мыслит войны. Александр ответил, что ему очень трудно объяснить в стране постоянное отступление Барклая, ибо народ порицает Барклая как изменника. Он вынужден передать армию Кутузову:

— Этот старик популярен в нашем простонародье...

— Так чем же я могу вам помочь? — Бернадот рассуждал конкретно, как полководец: со времен войны со шведами Россия держала в Финляндии гарнизоны на случай нападения. — Сейчас эти ваши войска, — сказал Бернадот, — просиживают последние штаны по финским хуторам в бездействии. Отводите их сразу в Курляндию — против маршала Макдональда, идущего на Ригу, против Йорка и Клейста. А я заверяю вас, что мои шведские бузотеры будут сидеть дома и помалкивать...

Этот благородный жест Бернадота усиливал армию Витгенштейна сразу на 10 000 штыков. Море еще сильно штормило, но Бернадот, высказав главное, уже заторопился в Стокгольм. После его отплытия Александр признался Румянцеву:

— Все монархи предали меня, поставив Наполеону войска для надругательства над Россией. А этот якобинец, сорвавшийся с виселицы, оказался порядочнее всех монархов. Спору нет, мы, благодарные, закрепим на престоле Швеции эту новую скороспелую династию Бернадотов...

Румянцев доложил, что в Або на корабле Бернадота прибыл и капитан Рапатель. Он просит подорожную до Петербурга, деньги у него водятся, а по-русски он ни бум-бум.

— Зовите его ко мне, — распорядился Александр.

После якобинца-короля предстал второй якобинец, в чине капитана. Александр с места в карьер поздравил его с чином полковника русской армии, просил изучать русский язык. Рапатель, воюя в Германии, свыкся с языком немецким.

— Вот и хорошо, — сказал Румянцев. — На стороне России доблестно сражается «Немецкий легион». Вместе с финскими гар-

низонами вы поплывете до Ревеля, а мы обеспечим ваше появление в отрядах Дибича хорошей рекомендацией... Мы понимаем, что адъютант генерала Моро не может быть плохим офицером! Счастливого вам пути, колонель...

Отправив Рапателя, царь велел Румянцеву:

— Сразу пишите Дашкову в Филадельфию, чтобы Моро ехал в Стокгольм, а Бернадот все уже знает. К тому времени, как Моро будет с нами, мы уже выберемся за Вислу, и Моро окажется кстати... если не в России, так в Европе!

К этому времени семья Моро находилась в Бордо.

Жюно не пришел. В дело при Валутиной горе врезался Мюрат с кавалерией, но получил отпор от казаков Орлова-Денисова, и тот кратко и убедительно доказал Мюрату, что русские держатся в седлах крепче его французов... Боевые порядки Нея трещали, как и лесные буреломы. К ночи генерал Павел Тучков повел солдат врукопашную — на «ура»! Генерал шел впереди и первым получил штыковой удар. Не один раз французы всаживали в него штыки. Удар прикладом по голове избавил Тучкова от сознания... Луна осветила золотое шитье мундира, и он очнулся от возгласа: «О, женераль!»

Французы отвезли Тучкова в госпиталь Смоленска. Его судьбою озаботился сам Наполеон, и потому для Павла Алексеевича нашлись даже бинты. Но рядом с ним врачи обкладывали раны французов сеном или соломой. Санитары рвали на перевязки древние акты смоленских архивов, бинтовали раны бумагами времен Лжедмитрия, эпохи Петра Великого и веселой Елизаветы... Трое суток подряд, не умолкая, над горящим Смоленском надрывно рыдали церковные колокола.

Для Тучкова отвели в городе избу, где и оставили для поправки, взяв расписку, чтобы не вздумал бежать, — его должны отвезти в Нанси. Вечером кто-то вошел с улицы, по-французски справившись о здоровье. «Я, — вспоминал Тучков, — не обращал большого внимания, полагая, что то был какой-нибудь французский офицер, отвечал ему на вопрос сей кое-как обыкновенной учтивостью...» И вдруг — по-русски:

— Вы разве не узнали меня, Павел Алексеич?

Тучков увидел перед собой Михаила Орлова:

— Вы-то как сюда попали? Тоже... в плену?

— Нет, — рассмеялся Орлов. — Поздравляю вас с новым командующим армией — Голенищевым-Кутузовым, который и прислал меня парламентаром, дабы о вас справиться.

«Сердце мое затрепетало от радости, услышав неожиданно звук родного языка; я бросился обнимать его, как родного брата». Орлов дал Тучкову выплакаться на его груди.

— Все образумится, — утешал он генерала. — Ваши братья кланяются, а дома у вас все здоровы. Мы отходим на Москву.

О пребывании Орлова в Смоленске было доложено Наполеону, и он встретил флигель-адъютанта с улыбкой:

— Что-то мы стали часто встречаться... Я еще не надоел вам? — Орлов молча поклонился, и Наполеон заметил на его груди завитой жгут пышного аксельбанта. — Раньше у вас его не было... вы уже в свите государя? Поздравляю, Орлов, и от души радуюсь за вас. Но ваше особое положение при священной особе императора позволяет мне быть с вами предельно откровенным. Согласны ли выслушать старого ворчуна?

— Да, сир, — согласился Орлов.

— Но прежде обещайте, что мои слова в точности будут доведены вами до слуха вашего благородного государя.

— Несомненно, сир...

В минутной паузе Орлов внятно слышал скрип сапожек императора и противный треск пожаров. Внутренне он готовил себя к восприятию той перемены, какая должна произойти в сознании Наполеона, потерпевшего крах в стратегии, — теперь он станет искать не военного, а политического решения, и если не сыщется решения в политике, то будет вынужден вернуться опять-таки к военному разрешению войны.

Наполеон нюхнул табачку, протянул табакерку:

— Прошу! И долго вы собираетесь отступать? Неужели не понятно, что этим отступлением русские полководцы бесчестят и позорят свою армию? Вы дрались на дуэлях, Орлов?

— Как и все молодые офицеры, сир.

— И что делали после поединка?

— Пили шампанское, становясь друзьями.

— Именно это я и предлагаю вашему царю...

Наполеон пустился в длиннейшие рассуждения, что ему надоело гоняться за Барклаем, а теперь за Кутузовым, как за «солеными зайцами», лучше честно скрестить оружие.

— А когда мы скрещивали его нечестно, сир?

— Ну, хорошо, — мягко произнес Наполеон и даже потрогал аксельбант на груди Орлова. — Теперь, — сказал он, — я согласен на мирный диалог даже без генеральной битвы.

Вот оно, политическое решение! Созрело...

Орлов напомнил о приезде Балашова в Вильно:

— Надеюсь, он предупредил Ваше Величество, что визит его — крайняя уступка России, и могу заверить, сир, что Россия не станет рассуждать о мире до тех пор, пока хоть один ваш солдат останется на русской земле с оружием.

Орлов возвращал его к военному решению, и Наполеон стал волноваться, его сапожки скрипели отчаянно:

— Орлов, не смейте дерзить мне... Я напишу государю, и он вас накажет! Я не многого и требую от вас: донесите до своего царя, что я согласен распить шампанское. Наконец, его заблуждения извинительны, а я люблю и уважаю русских.

— Вы этот тезис и доказали, сир!

— Оставьте дерзости. Вы сейчас в моих руках, я могу позвонить, и вы поедете в Нанси следом за Тучковым. Но я могу при встрече с Александром дать вам и самую лучшую аттестацию, что ускорит вашу карьеру. — Орлов ответил ему, что помириться с царем он может, но вряд ли он способен сейчас примирить разгневанный русский народ. — С таким характером, Орлов, вы карьеры не сделаете, — ответил Наполеон, вроде бы даже с искренним сожалением. — Так где же вы решили заканчивать войну? На Иртыше? На Камчатке?

Орлов глянул на карту, накрыл Париж ладонью:

— Разве этот город плох для подписания мира?

— Но это же смешно! — воскликнул император, не смеясь. — Я скоро буду в Москве, а вы станете паиньками. Я уже не сержусь на царя. Я простил его. Прощаю и вас, Орлов.

— Сир, а я-то чем провинился?..

Отпуская Орлова, Наполеон все время с настойчивостью (почти заискивающей) просил — очень просил! — Орлова убедить Кутузова и царя в необходимости мирного решения войны, и в этот момент Наполеон совсем не был похож на того самоуверенного властелина Европы, каким жители Европы привыкли его постоянно видеть... Обо всем этом Михаил Федорович и доложил Кутузову, который велел Орлову нагнуться:

— Я тебя, сынок, поцелую. Иди с богом, отдохни...

Далее было Бородино, далее была Москва.

Расстояние от Москвы до Парижа курьерская почта Наполеона покрывала ровно в 15 дней с поправками в два-три часа. Пока в эту регулярность не вмешались казаки графа Платова, иные эстафеты прибывали в Москву даже за 14 дней, после чего курьеры свалива-

лись, как мертвые... Франция (да, пожалуй, и большая часть Европы) жила в полном неведении того, что случилось с «Великой армией», но бюллетени императора были успокоительны: русские побеждены, а Москва город богатый.

В таком же неведении находилась и Александрина Моро, задержавшись с девочкой в гостинице Бордо, где и ожидала из парижской канцелярии Дарю позволения ехать на воды. Конечно, откуда же было знать женщине, что где-то скачет курьер из России, а в его сумке лежит распоряжение императора о заточении ее в казематах Венсеннского замка...

Бискайский залив по ночам громыхал зимними штормами. Крыши вечернего города поливали затяжные дожди. В саду гостиницы мокли опавшие сливы. Уложив дочь в постельку, Александрина распустила перед зеркалом длинные волосы, тоже готовясь ко сну... В дверь крепко постучали.

— Я не одета, — предупредила Александрина.

Мужской голос со странным акцентом ответил, что сейчас это не имеет никакого значения, и дверь открылась.

Незнакомый человек от порога сказал:

— Ключ, мадам! Закройтесь изнутри. У нас нет времени, но вы должны безоговорочно довериться мне.

— Кто вы? — испугалась Александрина.

— Я не могу назвать вам себя, но это и не столь важно. Сейчас вас арестуют. Спасение — только в бегстве.

Со стороны сада что-то звякнуло в стекло, и она увидела верх садовой лестницы, поднятой до второго этажа.

— Не понимаю... что все это значит?

Незнакомец стоял спиной к дверям, решительный:

— Внизу полно переодетых сыщиков. Если мы спустимся в вестибюль, вы с ребенком и я с вами будем все арестованы. Остался последний путь — через окно...

Инстинкт подсказал Александрине, что этому человеку не только можно, но даже необходимо довериться.

— Но я же с ребенком... я его не оставлю!

— Открывайте окно, мадам. Садовник наш друг. Я спущу вашу дочь на руках. Ради всех святых, заклинаю спешить...

Они оказались в темном саду. Садовник шепнул:

— За мною... мы проскочим в другую калитку.

У калитки их ждал кабриолет. Лошади рванули.

Александрина, еще не осознав опасности, сказала:

— Но вы же, сударь, не француз...

В темноте кареты блеснули белки глаз незнакомца:

— Я итальянец, но что это меняет? Ваш супруг боролся за свободу Франции, как я борюсь за свободу Италии...

Кучер бешено гнал лошадей в сторону моря, оглушительный ливень гремел по верху кареты, шум моря нарастал. Кабриолет остановился на мокром причале, возле него волна, идущая с моря, раскачивала загадочный парусник.

Александрина крепко-крепко прижала к себе девочку:

— О Боже! Куда же плывет корабль?

— Успокойтесь — вы будете в Лондоне.

— Я хочу вернуться к мужу — в Америку.

— Поздно. Генерала Моро в Филадельфии нет.

— Где же он?

— Он плывет вам навстречу, и, когда встретитесь с ним, не забудьте сказать ему: филадельфы исполнили свой долг. Запомните это имя, мадам: Филипп Буонарроти!

За волноломом уже начиналась страшная качка...

11. Мужчин и лошадей

По каналам Мариинской системы Петербург загадя эвакуировал внутрь страны ценности Эрмитажа, но Медный всадник остался на месте — как символ России, вздыбленной над пропастью...

Армия Витгенштейна, берегущая столицу со стороны Курляндии, откатилась до Риги перед натиском французской армии Макдональда, прусских колонн Йорка и Клейста. Пепел московского пожара, казалось, осыпал и Петербург: не было свадеб и танцев, на омертвелых улицах — тишина, редкие прохожие; роскошь исчезла; офицеры гвардии демонстративно шили мундиры из грубого сукна солдатских шинелей. Банк и ломбард пустовали. Никто не имел денег. Богатые люди, дабы иметь монету, сдавали в лом на Монетный двор старинные сервизы, а бедные кормились чем бог послал. На лицах жителей застыла глубокая печаль. Храмы переполняли верующие. От множества свечей, пылавших неугасимо, в церквах было жарко, как в бане; люди взывали о здравии фельдмаршала Кутузова, о спасении родины от супостата. Но в настроении столицы все разом изменилось, когда до берегов Невы дошла весть об отступлении Наполеона из Москвы:

— Побегал-таки, окаянный! В клетку бы его...

После бегства Наполеона русские мужики еще долго снашивали мундиры «ворчунов» с галунами. Детишки играли султанами с киверов.

Даже в начале XX века на зигунах крестьян видели пуговицы с номерами дивизий «Великой армии» Наполеона. Из сабель кавалерии Мюрата получались отличные кухонные ножи или косы для полевых работ. Сельские кузнецы перековывали медные кирасы в большущие сковороды для жарения яичницы... В деревне ничто даром не пропадало!

Осень была теплая, благодатная, и никто из французов не хотел верить в русские морозы. «Здесь как в Фонтенбло», — говорили они, радуясь. Стужа в этом году началась позже обычного, но внезапные морозы для русских были столь же губительны, как и для неприятеля. Проиграв сражения на путях к Смоленску, Наполеон мчался дальше — прочь из России, он обгонял свою армию, скользя полозьями саней по трупам, быстро заметаемым снегом. Волчьи стаи бежали следом, Русь еще не ведала такого засилия хищников... Это был крах! Но даже не полководца. Но даже не политика. Это был закономерный проигрыш игрока-авантюриста, уже неспособного мыслить реально... Всем понятно, почему царь дал Кутузову титул князя Смоленского, зато всем смешно, что Наполеон присвоил маршалу Нею титул князя Московского!

Под Оршей, пока донцы графа Платова насмерть бились с Даву, император сжигал свои бумаги, велел бросать в пламя костров и знамена. При нем была доза яда, чтобы отправиться на тот свет сразу, если казаки схватят его за шкуру. Одет он был в богатые шубы, ни холода, ни голода не терпел, а окошки кареты занавесил, чтобы не видеть, как истребляются остатки его бывшего величия. Он мечтал о воздушном шаре, который унес бы его из России.

— Коленкур, — сказал он, — положение сейчас таково, что я могу внушать почтение Европе только из залов Тюильри. О моем отъезде никто не должен знать. Я буду называться фон Ренсвалем, бывшим секретарем маркиза... Коленкура!

Дипломат понял: Наполеон желает опередить в Париже известия о гибели «Великой армии». Он отмолчался.

— Вы поедете со мною, и думаю, что нам в дороге не будет скучно. Армия доберется до Вильно, там пополнит запасы и преградит русским ордам дорогу в Европу...

Император тайно покинул армию в Сморгони, вослед ему неслись проклятья ветеранов: «Он бросает нас с Мюратом, как в Египте бросил с Клебером...» Коленкур был удивлен: Наполеона в дороге терзала лишь одна мысль — как бы его не поймали, как бы проскочить до Парижа неузнанным. Даже в Вильно не знали о проезде императора. Он завтракал в предместном трактире, долго рассказы-

вая дурацкие анекдоты, над которыми сам и смеялся. За это время на улице кучер замерз. Что за беда? Покойника спихнули с облучка наземь, его место занял другой. Проскочив на большой скорости Варшаву и Пруссию, император задержался в Бунцлау для ремонта саней. На постоялом дворе он накупил вороха дешевых стеклянных побрякушек для своей Марии-Луизы и сказал, что молодых женщин иногда следует баловать... Впрочем, половину этого барахла он тут же подарил Коленкуру:

— Может, я еще разрешу вам жениться на мадам Казини, хотя не вижу проку от разведенной женщины...

17 декабря 1812 года, когда часы над Францией готовились отбить полночь, император подъехал к Тюильри, где его никто не ждал. Швейцар с фонарем в руке не узнал ни великого императора, ни его спутника. Коленкур с трудом уговорил открыть им двери... За день до их возвращения газета «Монитор» опубликовала бюллетень № 29, в котором Наполеон возвещал о победах над Россией, о том, что его подвели лошади, ему мешали морозы. Наполеон вызвал к себе министра военных снабжений графа Лакюз де Сессака, потребовал:

— МУЖЧИНЫ И ЛОШАДЕЙ! Через три месяца я должен иметь новую армию в полмиллиона человек. Вы читали мой бюллетень? Кажется, вы оказались правы, когда в подвалах Тюильри пыгались предостеречь меня. Но я был ослеплен фортуной, мне ведь всегда так везло... мне так везло! Весною начнем все сначала. Моя армия остается в Вильно, и я, поверьте, никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас...

Орлов-Денисов последним оставил Вильно и первым ворвался на эти промерзлые улицы. Казаки хотели рубить справа налево, но, осмотревшись, поняли: рубить уже некого. Город был свалкою мертвецов, полуживые еще ползали по снегу, на кострах обугливались трупы замерзших, громоздились штабеля умерших, а в домах, занятых под госпитали, разбитые окна были заделаны ампутированными конечностями.

— Вот это мармелад! — сказали казаки...

Орлов-Денисов проскакал через город, на окраине его, в низине Понари, выводящей дорогу в горы, раскинулся целый табор отступающих французов; лошади не могли преодолеть крутизны, скользили, падали, умирали, их пристреливали; обратно в низину скатывались с горы пушки, давя несчастных, громыхали тяжелые фургоны с добром, раздавливая упавших, и граф Орлов-Денисов крикнул на батареи:

— Чего разинулись, мать-растак? Бей в эту ярмарку — никогда не промахнешься, зато Георгия заработаешь...

Понари стали второю Березиной. Дорога в гору буквально была выстлана золотом из разбитых фургонов Наполеона и его маршалов, драгоценные кружева лежали пышными горами (здесь же, по уверению самих французов, они потеряли массивный золотой крест с колокольни московского собора). 30 ноября Михаила Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, въехал в Вильно, потрясенный увиденным.

— Господи, да что же это такое? — говорил старик, всплескивая руками. — Ведь я тут губернаторствовал... чистенький городочек был. Мать моя, Пресвятая Богородица...

Пленных заставили убирать трупы. Крючьями цепляя покойников, они просто шалели от удивления: из отрепьев так и сыпались часы, бриллианты, слитки золота, жемчуга. По ночам казаки тайком от начальства примеряли на себя мундиры королей и маршалов, они хлестали пикантное кло-вужо из фургонов Наполеона, отрыгивали благородным шамбертенем:

— Вкуснота! И в нос шибает. А дух не тот...

В декабре Александр приехал в Вильно, где его встречал Кутузов; через лорнетку разглядывая павших французских лошадей, император удивлялся отсутствию хвостов:

— Михаила Ларионыч, отчего они англазированы?

— Англазированы — да, только на русский манер. С голоду они, бедные, хвосты одна другой обгрызали...

Был устроен парад, Кутузов обратился к войскам:

— Сотоварищи мои! Я счастлив, предводительствуя вами, русскими, а вы должны гордиться именем русских, ибо сие имя было, есть и будет знаменем победы!

Яркие лампы над виленским замком высветляли слова: СПАСИТЕЛЮ ОТЕЧЕСТВА, — они относились к Кутузову, и Александр (хотя он и не любил старика) на обеде провозгласил:

— Вы спаситель не только России, но и всей Европы...

25 декабря 1812 года торжественным манифестом — по всем городам и весям России — было всенародно объявлено, что Отечественная война завершилась победой. Но за войной Отечественной неизбежно следовала другая. «Без нас Европе не быть свободной, — рассуждали тогда офицеры. — Наполеон опять наберет мужиков и лошадей, даст пинка королям всяким, и начнется бойня сначала». — «Не совершаем ли мы непоправимой ошибки, — возражали иные. — Наполеон по башке получил и больше на Русь не сунется. Так не лучше ли нам, русским, иметь в Европе одного ласкового льва с остриженными когтями, нежели свору голодных и злобных шакалов?..»

Кутузов в беседах с царем предупреждал его:

— Мы тоже изнурены, мороз да бескормица кусали нас не меньше французов. Я привел в Вильно толику войска, с которым даже Пруссию или Польшу от французских гарнизонов нам не избавить. Подтянем резервы, государь. Обновим пушечные парки. Ремонтируем кавалерию. Наконец, и обувь нужна... Мы же тут все пооборвались, обносились и прохудились!

С 1 января 1813 года на русской земле не сохранилось ни одного вооруженного неприятеля, зато уцелели разоруженные, которые потом, оттаяв в дворянских усадьбах, так и прижились в России навеки — гувернерами, кондитерами, садоводами, музыкантами, танцмейстерами, наконец, просто нахлебниками. Россия пострадала от нашествия жестоко, но она «берегла свои интеллектуальные силы, способные быстро восстановить и потери материальные. Никогда еще не был таким ярким пламень русского патриотизма в народе-победителе. Именно в эти дни на весь русский народ, на всю его армию ложилась сугубая ответственность за освобождение Европы, в которой еще властно хозяйничал Наполеон со своими вассалами... Русский кабинет неустанно вел «психологическую войну»: корабли Балтийского флота блуждали у берегов Франции, оставляя возле городов и гаваней пакеты листовок, в которых призывали галлов сбросить с себя ярмо корсиканского насилия, не давать обезумевшему от крови императору мужчин и лошадей. Голенищев-Кутузов напомнил царю о недавнем расстреле в Париже республиканских генералов — Мале и Лагори:

— Костер погас, но искры его еще светят свободе. Не может так быть, чтобы умнейший народ Европы покорялся извергу слепо и безголосого, подобно скотам бездушным.

— Моро на пути в Европу, — скупое ответил Александр.

Снежная вьюга исхлестала все лицо Рапателя:

— Клаузевиц, вы что-нибудь видите?

— Движение колонны. Большой. Прямо на нас.

— Это, случайно, не маршал Макдональд?

— Макдональд уже отвел войска до Тильзита, это выбирают на родину мои земляки... корпус генерала Йорка!

— Йорк? Разве шотландец?

— Обычный славянин-кашуб, опруссаченный в казармах настолько, что ничего не помнит, кроме своего короля...

Дибич выехал навстречу Йорку. Вьюга кончилась. Морозило. Сверкали снега. На чистом небе — яркие, чистые звезды.

— Хальт! Кто идет? — крик из прусской колонны.

— Мы идем... русские, — отвечал Дибич.

Впереди проступила мощная фигура самого Йорка:

— Иду я! И разнесу любого, кто помешает мне.

Дибич поднял руку, задерживая его движение.

— К чему притворяться? — сказал он. — У меня под знаменами мало людей и пушек, у вас их много. Вы можете опрокинуть нас с дороги, но... Что дальше, Йорк?

Клаузевиц тронул свою лошадь — ближе к Йорку:

— Ваше превосходительство, не станете же вы проливать прусскую кровь на прусской земле ради спасения маршала Макдональда и его солдат, угнетавших народ Пруссии?

— Ах, это вы, Клаузевиц! — узнал его Йорк. — Русские вас здорово приодели... не пожалели и полушубка с валенками! Вы для меня не пример: я подчиняюсь воле своего короля.

— Но король подчинил себя и Пруссию воле императора Наполеона, так не пора ли вам, генерал, стать умнее? И когда вы рассудите этот казус, тогда я стану для вас примером.

В руках Йорка блеснули пистолеты, большие курки которых были украшены головками наполеоновских «орлов».

— Прочь с дороги... застрелю! Я сидел в крепости еще при Фридрихе Великом, так теперь, когда моя голова поседела, не сидеть же мне в Кюстрине и при внуках его.

Рапатель вывел лошадь из глубокого сугроба.

— Все-таки поговорите сами, — сказал он Дибичу.

— Йорк! — гаркнул Дибич. — Я уже отрезал вас от Макдональда, могу отрезать от обозов и пушек. На это у меня сил хватит! Йорк, я ведь тоже кончал кадетский корпус в Берлине... Нет, Йорк, Россия не нуждается в завоевании Пруссии, она стремится едино лишь к освобождению ее.

Йорк убрал пистолеты в седельные кобуры:

— Ну хорошо. Я ведь тоже не хочу драться. Ночь холодная. Разойдемся. Разведем костры. Подумаем...

Ночью казаки перехватили французского офицера с письмом Макдональда, который требовал от Йорка ускорения марша к Тильзиту.

— Дружище, — сказал ему Рапатель, — зачем ваш маршал расстреливает солдат за их разговоры о бегстве Наполеона?

— Вранье, и мы не верим русским бюллетеням.

— Скоро поверите... Находясь в русской армии, я знаю положение в армии Наполеона лучше вас, французов.

— Простите, с кем говорю? — спросил офицер.

— Полковник Рапатель, адъютант генерала Моро.

— Моро? Не может быть.

— В этой войне все может быть. А вам, французам, не хватит ли быть рабами, впряженными в триумфальную колесницу?..

Под утро началось братание русских солдат с пруссаками. Йорк некстати получил письмо от короля: «Не перетягивайте веревку. Наполеон есть великий гений!» Йорк, тугодумный, еще колебался. Он звал Клаузевица и Дибича, в избе на окраине местечка Тауроген они распивали литовскую водку.

— Если король меня расстреляет, — сдался Йорк, — прошу озаботиться судьбою моей вдовы и детей. Я понимаю, что прусский офицер должен думать сначала о Пруссии! — Он сказал, что завтра будет ждать их на Пошерунской мельнице. — Пусть я стану тем роковым камнем, что сдвигает лавину...

В последний день 1812 года на Пошерунской мельнице Йорк подписал с русскими конвенцию: его корпус отделялся от армии Макдональда, готовый выступить за свободу Пруссии. Раздался жуткий скрип. Это ветер развернул крылья мельницы, и она со скрежетом повернула круг тяжелого жернова. Клаузевиц сказал Рапателю, что поворот колеса истории свершился:

— Мне хотелось бы, чтобы все немцы Германии даже через сто и через двести лет помнили этот день... Бедный Михель! Все хотели сожрать плоды труда твоего, все хотели выпасться с твоей бедной Эльзой, и только одна Россия бескорыстно пришла на защиту маленького, обиженного немца. Да будет проклят тот, кто в будущем оскорбит память этого дня! Крутитесь, крылья мельницы, вращайтесь, жернова истории...

.....

В убогом трактире Вильковишек, где отъедались офицеры Наполеона, счастливые от сознания, что России им больше не видать, вдруг появился страшный солдат в лохмотьях, бородатый, с закопченным лицом. Он приставил ружье к стенке.

— Господа, покормите меня. Пустите к печке.

Он отряхнул с себя вшей, и ему закричали:

— Иди, иди отсюда. Откуда ты взялся такой?

— Я — арьергард «Великой армии» великого императора. Неужели не узнаете меня? Я маршал Ней... князь МОСКОВСКИЙ!

— Арьергард? Так где же сам арьергард?

— Я и есть арьергард, — и Ней накинулся на еду...

...«Мужчин и лошадей!» — требовал Наполеон.

12. В котле Европы

К весне 1813 года Наполеон уже был способен расправить крылья своих «орлов» над рядами новой полумиллионной армии. Конскрипция была жестокой: допризывники стали призывниками. Эгих нежных юношей, почти мальчиков, прозвали «мариями-луизами». Наполеон взял из казны 300 миллионов, в подвалах Тюильри у него осталось еще 160 миллионов — его личные деньги:

— Этого пока хватит, чтобы вернуться на Вислу...

По дорогам провинций шатались конные жандармы, вылавливая дезертиров. Чтобы избежать конскрипции, деревенские парни клещами выламывали себе передние зубы, отрубали себе пальцы. Наконец, поскольку молодоженов не брали в армию, все мужчины мигом переженались. Когда невест не осталось, нарасхват пошли под венец с юношами и вдовые старухи.

— Бергье, — указал Наполеон, — всех беззубых и беспалых взять тоже... они вполне могут служить в обозах!

Люди тогда понятия не имели о «тотальной войне», но именно такую войну император для них и готовил. В январе 1813 года Наполеон снова виделся с флигель-адъютантом Михаилом Орловым, присланным в его ставку. Но зачем Орлов ездил, о чем говорил с императором — это навеки осталось тайной...

Течения рек Европы как бы заранее определяли естественные этапы освобождения — Висла, Одер, Эльба и Рейн (старая граница старой Франции). Висла была уже за нами, князь Шварценберг оставил Варшаву, но, щадя самолюбие «гонимых» поляков, русские войска в Варшаву не входили. Освобождение начиналось с Пруссии: «Шумели в первый раз германские дубы. Европа корчилась в тенетах. Квадриги черные вздымались на дыбы на триумфальных поворотах...»

Кутузов привел в Калиш всего 18 000 солдат.

— И это все? — спрашивали его.

— Грязь на дорогах задерживает подход резервов...

Стратегия совмещалась с политикой. Англия уже воевала с Америкой, а ружья продавала России за наличные. Князя Рейнского союза продолжали кланяться в сторону Парижа, как мусульмане в сторону Мекки. Бернадот еще не высадил в Померании шведских десантов. Меттерних не верил в поражение Наполеона, сначала он решил, что бегством из России тот выманивает русских на легендарные поля аустерлицев и ваграмов. По мнению Меттерниха, пусть Россия и Франция

бьются до потери сознания, а потом Австрия, во всем ее блеске, займет в обескровленной Европе первенствующее положение. Наполеона он хотел заменить на престоле Франции его австрийской женою Марией-Луизой, а уж с нею-то Вена всегда поладит. Но — как бы в отместку планам Меттерниха! — уже раскручивались крылья Пошерунской мельницы. Пруссаки еще не убивали оккупантов, но уже стали поколачивать. У французов отнимали ружья со словами: «Поносил — и хватит. Теперь будем носить их мы...» Пруссия, независимо от решения короля, строилась в колонны. Рядом с профессором шагал булочник, подле учителя вышагивал парикмахер. Фридрих-Вильгельм III просил у Наполеона прощения за «измену» Йорка, обещал его повесить, а перед Кутузовым он льстиво заискивал. Полководец нуждался не в короле, а в народном ополчении Пруссии, высоко оценивая отвагу старого Блюхера, светлые головы Шарнхорста и Гнейзенау. Эти замечательные в прусской истории люди, уже опозоренные Наполеоном, клялись: «Кровью смоем позор Йены и Ауэрштедта!»

Наполеон забросал Пруссию листовками: «Я недоволен вами, — писал он. — Я оказал вам честь, возвысив вас до французов. Но я могу и лишить вас благ моей конституции... Я опустошу ваши земли, заселив их другими народами, вы настрадаетесь». Фридрих-Вильгельм от подобных угроз трепетал.

— Ах, бедная моя Луиза! — прослезился он. — Какое счастье, что ты не дожила до этих ужасных дней...

Александр припугнул коллегу: если и далее сдерживать гнев народа против Наполеона, то весь гнев Пруссии может обернуться против короля, а тогда возможна и... революция. Наверное, революции он боялся все-таки больше Наполеона, а потому уступил. Кутузов оформил боевой союз с Пруссией, из Калиша он обратился к пруссакам с воззванием — к оружию, братья! Кавалерия Чернышева ворвалась в улицы Берлина, жители Дрездена вывезли саксонского короля из города на тачке, как вывозят мусор на свалку. Одер остался позади — Эльба уже слышала шелест знамен России и Пруссии. Русские партизаны вломились в Гамбург, горожане сами разделались с гарнизоном французов, но, стреляя в них, они кричали странные слова: «Ура! Теперь-то мы поьем кофейку с сахаром...» Кутузов долго смеялся, когда ему рассказали об этом:

— Кому что дорого! Немцы без кофе дня не проживут, как мы, грешные, без чаю, а Наполеон кофе пить запретил...

Полководец готовился ехать в Дрезден, где саксонцы рады были его видеть гостем. Лейб-медик Виллие давно внушал Кутузову: «Не

пренебрегайте шинелью, ваше сиятельство. Что вы — как поручик, в одном мундирчике...» Но старик верхом поехал в Дрезден, опять в мундире. Александр пригласил его в свою теплую карету. Качаясь на мягких диванах, Кутузов снова доказывал, что надобно усилить политический нажим на коварную Вену, ибо с одними пруссаками пройти Европу из конца в конец — иметь неприятности.

— Легче всего лезть за Эльбу, но как воротимся? Будет рыло в крови, — именно так он и сказал царю...

Но Вена еще уклонялась от союза. Таурогенское соглашение Йорка с русскими, Кадишское воззвание Кутузова к пруссакам — все это казалось Меттерниху и прочим меттернихам актами разрушительного, почти якобинского значения. Народ, по их мнению, должен оставаться за оградой политики. А партизанская война из лесов России была уже перенесена Кутузовым на просторы Европы, где и городов побольше и дороги получше. Как иголка, блуждающая в теле человека, пока она не коснется его сердца, — так же для Наполеона были очень опасны глубокие, всегда неожиданные уколы партизан в тылу его армии, на его же коммуникациях. Конечно, русским партизанам помогало превосходное знание французского и немецкого языков, их гуманное отношение к жителям... Вскоре из кавалерийского рейда на берегах Заала вернулся богатырь Михаил Орлов — уже в чине ротмистра гвардии.

— Ваше сиятельство, — доложил он Кутузову, — своими глазами вчера видел Наполеона. Скакал как бешеный с Дюроком и мамелюками. На Заале уже собраны его силы, и, ударь он покрепче, боюсь, не примкнула бы к нему и Вена...

— Ожидая от Меттерниха всяческих пакостей!

— А вы не больны ли, ваше сиятельство?

— Что-то недужится, но терпеть можно...

Не доехав до Дрездена, Михаил Илларионович остановился в силезском городишке Бунцлау, где прусский майор фон Марк уступил ему второй этаж своего дома. Был апрель, по утрам пели птички. Встревоженный, в Бунцлау приехал Виллие, лучший врач армии, а прусский король срочно прислал к больному своего лейб-медика Гуфеланда, и тот сказал Виллие:

— Простите, коллега, я вас оставляю. У меня репутация лучшего врача в Европе, и на старости лет не хотелось бы запятнать ее смертью столь великого человека...

Весь израненный в битвах, истощенный волевым напряжением героики 1812 года, Кутузов отвергал все лекарства.

— Съешь сам, если ты меня любишь, — говорил он Виллие.

Он еще был способен диктовать адъютантам по несколько страниц кряду, все помня, не ошибаясь в деталях. Но подписывать бумаги уже не мог. Царь встал перед ним на колени:

— Простишь ли меня, Михаила Ларионыч?

— Я уже простил тебя, государь, — ответил полководец. — Но зато Россия никогда не простит...

Он ушел из жизни непобежденным, его имя навеки осталось свято в русском народе. Его похоронили на Невском проспекте Петербурга — в Казанском соборе, куда свозили военные трофеи, и он спит мертвым сном под шелест знамен поверженного противника. Но после его кончины русская армия стала терпеть поражения — непростительные для ее чести!

Дрезден, как и вся Саксония, нравился русским: всюду чистота, саксонки очаровательны, еда в трактирах дешевая, вкусная, ребятишки с горшками ходили по русским караулам, угощая солдат горячим супом. «Меня прислала к вам мама, попробуйте, это она сварила для вас!» — говорили они. Зазевайся офицер или солдат на улице, его сразу обступали добрые, вежливые люди, иные знали русский язык:

— Не угодна ли помощь? Если вам стало скучно, не навестите ли мою семью? Мы вместе пообедаем, выпьем пива...

Командующим русско-прусской армией был назначен генерал Витгенштейн; лейб-медик Виллие застал его в Дрездене.

— Кутузова нет. Государь просил не разглашать войскам это печальное известие до тех пор, пока вы, Петр Христианович, не одержите над Наполеоном хотя бы одну победу...

Наполеон — через лазутчиков — все уже знал.

— Прекрасная новость! — воскликнул он, обращаясь к Бессьеру. — Вы, герцог, оповестите об этом наши войска, чтобы не один я пыхтел здесь от радости...

Бессьер, герцог Истрийский, командовал его кавалерией. Честный человек, он сказал, что благороднее будет послать трубача в русский лагерь с соболезнованием.

— Не будь бабой! — обругал его император. — Дюрок, пошли лазутчиков, и пусть они испортят настроение русским...

Наполеон сильно сдал, он как-то обрюзг, отяжелел, сделался сонливым; Бертье стал многое забывать, путался в бумагах, брюзжал. Наполеон выехал из Веймара к армии со словами:

— Наполеона нет — я снова генерал Бонапарт!

Сражение при Люцене открыли русские, им противостоял маршал Ней, на глазах которого Бессьера убило ядром. Это же ядро повалило еще кого-то, но кого? Ней не рассмотрел.

— Послать гонца по шоссе к Веймару, чтобы император пошевеливался! — кричал Ней. — Пусть он не думает, что здесь фуражиры дерутся из-за сена — сейчас будет бойня...

Наполеон прискакал, а Ней был уже весь в крови.

— Ты ранен? — спросил император.

— В ногу. Это кровь лошадей, убитых подо мною...

Юные «мари-луизы» не отваживались бежать под градом русских ядер, и тогда Наполеон сам повел их за собою:

— Или вы решили прожить сто лет? Не выйдет... Чего бояться? Кому придет свой час, тот умрет и без помощи ядер!

Он все время подтягивал с Заалы резервы, и к вечеру его силы намного превысили мощь союзников. Когда царь ехал с поля битвы, ему освещали дорогу фонарем, чтобы конь не наступал в темноте на умирающих. Рано утром он разбудил прусского короля и сказал, что сражение при Люцене нет смысла возобновлять вторично — лучше отступить...

Фридрих-Вильгельм предался отчаянию.

— Я знал, чем это кончится. Наполеон велик, а все мы — ничтожны... Шарнхорст, вы слышите меня?

Шарнхорст, раненный при Люцене, лежал в соседней комнате и еще не знал, как близка его смерть.

— Я все слышу, — ответил он. — Если Attila modern пойдет на Берлин, сжигайте его, как сожжена и Москва, только не порывайте с Россией — она последняя надежда нашей Пруссии!

Наполеон вступил в Дрезден с саксонским королем, покинувшим свою столицу на грязной тачке. Не зная, чем умиловить зверя, горожане прислали к императору депутацию почтенных людей, чтобы он отказался от мщения городу.

— Не распинайтесь! — оборвал он их речь. — На окраинах ваших квартир еще висят гирлянды, развешенные в честь татарских полчищ Александра, мостовые Дрездена еще осыпаны цветами, которыми ваши же дочери закидали казачьих лошадей... Кого хотите обмануть? Меня? Стыдитесь, господа...

Утром 8 мая в замке Вушен, где расположилась Главная квартира царя, услышали залпы пушек со стороны Бауцена.

— Теперь он от нас не отвяжется, — сразу приуныл прусский король. — Зачем я связался с русскими? Французы снова загонят меня в Мемель, где я буду сидеть на одной салаке с вареным картофелем... Ужас, ужас!

Александр велел Витгенштейну поспешить к войскам:

— Скачите к Бауцену, я выезжаю за вами.

— Но я не могу покинуть Ваше Величество...

Командующий как прилип к царю, так уже и не отлипал во все время битвы. Сам не решался командовать, зато бравым голосом четко передавал приказы императора. Александр заметил вдали маршала Нея со свитой, крикнул на батареи:

— Никитин! Видишь ли ты эту блестящую кучу генералов? Свали мне хоть Нея, и я ничего для тебя не пожалею...

Ней доложил Наполеону:

— Опять эти дьявольские батареи Никитина! Вчера Бессьера, а теперь — Дюрока... Можете полюбопытствовать сами, сир: Дюрок таскает по земле все свои кишки...

Дюрок, почти безумев, старался запихнуть в себя обратно выпадающие внутренности, уже измазанные в грязи.

— Сир! — вопил он. — Это конец... конец! И не только мне, всем конец... Разве Ланн не просил вас перед Ваграмом? Теперь прошу я: не мучайте больше Францию! Я так хочу еще жить, сир... застрелите меня, сир! Это конец...

Наполеон понял, что хирурги тут не помогут:

— Терпи, Дюрок: у каждого из нас своя судьба...

— Яду! Отравите меня, застрелите меня... умоляю! Даже раненых лошадей, и тех пристреливают из жалости.

— Нет, Дюрок, умри сам...

Наполеон снова побеждал, но уже не мог закреплять свои победы кавалерией, которая почти вся полегла в сугробах России. Был уже пятый час вечера, и генерал Витгенштейн, охрипший от крика, признал свое поражение:

— Ваше Величество, не пора ли вам заменить меня графом Милорадовичем или Барклаем-де-Толли? Счастлив служить вам, но вы и сами видите, что Бауцен мною проигран.

— Хорошо, — ответил царь (и через подзорную трубу он долго разглядывал Наполеона). — Я не желаю быть свидетелем своего поражения. Воля господня, прикажите отступить...

Наполеон, заложив руки за спину, издали невооруженным взором молча пронаблюдал, как на лошадях отъехали прочь русский царь и прусский король. Саксония оставалась в его руках, он стал подсчитывать свои потери и ужаснулся:

— Еще один Люцен, еще один Бауцен, и мы, Бертье, можем укладывать ранцы... Каковы же наши успехи, Бертье?

Бертье сказал: пленных нет, трофеев нет. Русские и пруссаки отступили в идеальном порядке, не потеряв и фургона.

— Как? — удивился Наполеон. — Эти негодяи не оставили мне даже гвоздя с веревочкой? Хорошенькая война...

Меттерних прислал ему поздравление с победами, но предупредил: боевой союз Австрии с Францией был действителен до тех пор, пока эти страны сражались на территории России. Наполеону много не надо, чтобы понять этот намек.

— Мерзавцы! — сказал он. — Я дал их Шварценбергу жезл своего маршала, хотя в Париже из него мог бы сделать швейцара. Пусть этот боров претя куда хочет: куда придет, оттуда и убежит... Нет, я не побежден! Барклай с Блюхером могут отрезать меня даже от Франции — для меня важнее всего остаться здесь — на Эльбе, у Дрездена и Лейпцига.

Однако обоюдное истощение требовало перерыва в боях, потому в Плесвице маркиз Коленкур договорился с русскими о временном перемирии. Наверное, ему, блистательному дипломату талейрановской школы, было неловко вести переговоры с молодыми адъютантами царя — Михаилом Орловым и графом Павлом Шуваловым... Опечаленный, он им сознался:

— Вы напомнили мне самые счастливые дни моей жизни — Петербург весь в снегу, волшебная музыка балов, оголенные плечи красавиц... О-о, как бы хотелось вернуть эти блаженные дни! Но уже все кончено. Император прав: он упадет, если остановится. Остановить же невозможно.

— Разве он не остановлен? — спросил Орлов.

— Но еще не падает, — ответил Коленкур. — Он еще велик, как и Вандомская колонна в Париже, спаянная из стволов ваших же пушек, оттремевших при Аустерлице...

Меттерних встретился с Наполеоном в Дрездене, где еще недавно он, лыстящий, провожал императора в поход на Москву. На этот раз все было иначе, иным казался и Меттерних.

— Вы захотели войны? — хохотал Наполеон. — Именно вас мне и не хватало. Я разбил русских и пруссаков, теперь очередь за вами... увидимся в Вене! Я расколочу все стекла в окнах вашего Шенбрунна. Мой сынок, Римский король, давно уже спрашивает: «Папа, когда пойдем лупцевать венского дедушку?» Я женился на дочери вашего императора, хотя сердце уже тогда подсказывало мне: не делай этой глупости, ибо Вена изменчива, как и все ваши венские женщины.

— Мир или война зависят от воли Вашего Величества.

— Так чего вы хотите? Чтобы я отказался от завоеваний? Рожденные на престолах вправе быть разбитыми. Даже разбитые вдребезги, они утешаются возвращением на свои престолы. Но я, сын звезды счастья, я так не могу... нет! — сказал Наполеон. — Я существую до

тех пор, пока меня бояться. Моя армия, да, простудилась в России, но она верит в меня.

— Ваша армия устала, она тоже мечтает о мире.

— О мире могут мечтать только мои маршалы, скучающие по своим перинам. Я же видел, Меттерних, как самые храбрейшие плакали под Смоленском, как молочные младенцы...

Меттерних рассуждал продуманно: если у Наполеона и поражения и победы одинаково ведут только к войне, а мир является лишь передышкой, Европе никогда не видать мира.

— Поберегите хотя бы свою нацию! — сказал он.

— Молчать! — ответил Наполеон. — Вы имеете дело с человеком, для которого один или два миллиона людей ничего не значат. — Он отпустил грязное выражение, и Меттерних постыдился запечатлеть его в записи этой беседы. — В походе до Москвы я сохранил французов, я спас всю старую гвардию, за меня расплачивались поляки и вы... немцы. Вы, Меттерних, не пожалели для меня своих же немцев, так не смейте сейчас жалеть и моих французов. Да-да! — вызывающе продолжал Наполеон. — Я теперь жалею, что женился на вашей эрцгерцогине, но ваш император... А кстати, чем он сейчас занят?

— Играет на скрипке в оркестре на водах Теплица..

— Пусть играет и дольше. Надеюсь, он и без вашей подсказки допрет своим умишком, что, свергая с престола меня, своего зятя, он свергает свою же дочь. — Помолчав, Наполеон спросил: — Выкладывайте! За сколько продались Англии?

Меттерних, даже оскорбляемый и обруганный, умудрялся хранить невозмутимое спокойствие, что делало ему честь.

— Я ехал в Дрезден, сир, глубоко жалея вас, как великого человека. Теперь я окончательно убежден: вы погибли!

Наполеон сложил на груди руки, спокойный:

— Если даже и так, то под руинами моего престола я без жалости похороню весь этот паршивый мир...

13. Генерал Моро с нами!

Казнь генералов Лагори и Мале потрясла Моро, он долго не мог взять себя в руки... Он желал мести.

Встревожен мертвых сон — могу ли спать?

Тираны душат мир — я ль уступлю?

Созрела жатва — мне ли медлить жать?

«После позора в России, — писал Моро, — Наполеон... станет посмешищем Европы. Несмотря на безумные предприятия, он еще понимает войну лучше тех, кто действует сейчас против него». По слухам из Европы, по письмам от Рапателя он пытался разгадать ход событий. В американских газетах уже писали о голоде в Нормандии, на дорогах Франции появились «бродячие скелеты»; в департаменте Юра люди поедали падаль; в департаменте Сомма целая армия в 50 000 нищих, обезумев от голода, громила богатые фермы и замки. Наконец, в городах Франции появились воззвания: «Мира! Война тирану! Народ, восстань! К оружию...» В эти дни мадам де Сталь (через редакции американских газет) переслала ему письмо Бернадота, а Дашков вручил послание императора Александра.

— Каковы ваши условия на русской службе?

Вопрос Дашкова показался Моро бестактным:

— Это не я России, а Россия оказывает мне честь, приглашая стать под ее знамена. Какие ж тут условия?

Остерегаясь шпионов, он всюду утверждал, что не покинет Америки, пока не вернется жена из Франции, а Дашков тем временем приготовил ему фальшивый паспорт на имя Джона Каро, жителя Луизианы. Отплытию в Европу мешала война! Английский флот блокировал берега США, топя все корабли, выходящие из гаваней. Россию эта война никак не устраивала — она нарушала американскую торговлю через Одессу, и царь выступил посредником в переговорах. Делегация конгрессменов готовилась плыть в Петербург на корабле «Нептун», и британский адмирал Кокберн соглашался пропустить «Нептун» через линию своей брандвахты... Дашков предложил:

— Может, и вы, Моро, поплывете с делегатами?

Моро сказал: французский посол Сесюрье не сводит с него глаз, а многие конгрессмены — его приятели:

— Все эти янки страшные трепачи, особенно когда они выпьют, Джон Каро будет сразу разоблачен, Сесюрье даст знать в Париж о моем отплытии, и тогда судьба Александрины может завершиться скверно...

Павлуша Свиный предложил свой вариант побега:

— У меня есть на примете быстроходный бриг «Ганнибал», вы, Андрей Яковлевич, можете готовить почту для Петербурга, а этого зазнавшегося Кокберна я беру на себя!

Свиный с апломбом будущего Хлестакова сумел доказать Кокберну, что от плавания «Ганнибала» в Петербург зависит судьба всей войны в Европе, и непреклонный адмирал согласился пропустить

корабль через кольцо морской блокады. Море затянул туман, а шкипер спрашивал Свиньи́на:

— Так мы плывем в Петербург, сэ́р?

— Но бросим якоря в шведском Гетеборге...

Сначала был шторм, и Моро отлеживался в каюте, читая книги, вместо трубки курил гаванские сигары. «Ганнибал», отличный ходок, быстро летел под парусами. В пути случился пожар, который, к счастью, и загасили совместными усилиями команды и пассажиров... Чарли не раз говорил Моро:

— Господин, почему мне так страшно?

— Не бойся, мальчик. Все хорошо. Но если нас поймают французские корсары, ты, дитя мое, отвернись, когда меня станут вешать. И не бросай Файфа — у него никого нет...

Услышав свое имя, верный пес, лежа под койкою генерала, начинал молотить хвостом. Плавание складывалось удачно, в конце июня завиднелись норвежские берега. На подходах к Гетеборгу английский крейсер остановил «Ганнибала» ядром, выстреленным под нос.

— Обещаю вам, — сказал Павлуша Свиньин, — что я этого английского невежу заставлю сейчас же извиниться...

На шлюпке он отправился в сторону крейсера. Что там наболтал, за кого себя выдал — неизвестно, однако на борт «Ганнибала» скоро поднялся сам британский командор.

— Честь имею, — представился он Моро, — капитан фрегата «Гемодрэй» Джеймс Чатон... Чем могу служить?

Павлуша за его спиной делал какие-то знаки. Но Швеция была уже рядом, и Моро не стал предьявлять фальшивый паспорт, назвавшись своим подлинным именем.

— Тогда, — сказал Чатон, — я не жалею того ядра, что запустил под ваш форштевень. Англия уважает вас, и могу порадовать: ваша супруга уже в Лондоне...

27 июня Моро, Свиньин, Чарли и Файф сошли на берег в Гетеборге, где губернатор Эссен отвел для них дом с прислугою; он же сообщил, что Бернадот уже высадил шведские десанты в Померании, с нетерпением ожидая своего друга. В крепости Штальзунд кронпринц Юхан выступал в окружении множества генералов и важных придворных, как настоящий король. Жестом он удалил всех, чтобы обнять Моро:

— Прости. Но приходится блюсти этикет. Ты смеешься? — Моро напомнил Бернадоту о татуировке «СМЕРТЬ КОРОЛЯМ», с которой королю в общую баню с верноподданными не сунуться. — Не смей-

ся, — ответил Бернадот, — такое же клеймо было и на груди Мале, расстрелянного с твоим Лагори...

Моро поделился с ним планами. Он мечтал выступить против Наполеона во главе Французского легиона, рассчитывая набрать его из числа пленных в России.

— Ты мыслишь в духе времен революции, — отозвался Бернадот. — А сейчас для французов понятие славы дороже патриотизма. Они не пойдут за тобою. Им стала противна республиканская дисциплина и честность гражданская. Наполеон за эти годы развратил их грабежами и насилиями, а ты... Не будь наивен, Моро: как ты можешь с этим бороться?

— Я бы расстреливал, — сказал Моро.

— И получил бы пулю в спину. Не забывай, что традиции Рейнской армии — это только прошлое Франции.

— Неужели его не вернуть, Бернадот?

— А кто же возвращает людей к прошлому?

Утром Моро был разбужен знакомым голосом.

— Рапатель, Рапатель! — обрадовался он. — Дай посмотрю на тебя. При мне ты не скоро стал бы полковником...

Рапатель сказал, что за участие в подписании Таурогенской конвенции он причислен к штатам царской свиты*. Файф, громко лая, положил лохматые лапы на плечи Рапателя, и тот дал ему облизать свое лицо. Чарли стоял в сторонке, блаженно и глупо улыбаясь, получив замечание от Моро:

— Перестань ковырять в носу. Это так некрасиво...

Сначала Моро спросил, каким образом Александрина вдруг оказалась в Лондоне? Рапатель и сам не мог догадаться:

— Но, судя по ловкости, с какой ее выкрали из-под носа ищеек Савари, тут не обошлось без филладельфов. Стоит ли теперь волноваться. На водах Бата она поправится...

Он сказал, что Александр ждет Моро в Праге:

— Но у вас будет русский адъютант — Мишель Орлов!

Берлин встретил генерала народным ликованием:

— Моро с нами! Да здравствует Моро...

Будущий декабрист князь Сергей Волконский до старости не забыл тех дней: «Моро был предметом восторженности берлинских жителей в пользу его. При месте жительства его было непрерывное стечение

* Во французской литературе принято мнение, что Рапатель получил в России звание флигель-адъютанта, но русские источники не подтверждают этих сведений, хотя и признают близость Рапателя к свите императора.

народа и в пользу его манифестации, и беспрестанно вызывали его на балкон его дома восклицаниями народа». Моро смущенно спрашивал Рапателя:

— В чем дело? Отчего мне такие почести?

— Когда садишься обедать с чертом, надо прихватить ложку побольше. Вот вы и есть такая большая ложка для обеда с Наполеоном... Как же не понять, что шведы, немцы и русские надеются видеть вас главнокомандующим армиями всей коалиции против Наполеона. А такое высокое положение в войсках коалиции сопряжено со званием генералиссимуса...

Моро ответил Рапателю, что ему страшно входить в славную семью Валленштейна, Ришелье, принца Евгения Савойского и, наконец, знаменитого Суворова:

— Суворов и на том свете поколотит меня...

От лазутчиков Бертье узнал, что в обозах русской армии тащатся возы с банными вениками и мочалками — яркое свидетельство тому, что Россия взялась за войну основательно. Наполеон еще не верил, что император Франц объявит войну ему, своему зятю (черта корсиканца, убежденного в святости семейного клана). Мармон допытывался у Бертье: «Где же предел его ненасытности? Неужели наша судьба — прыгать в могилу за этим сумасшедшим?..» Маршалы требовали от императора уже не военного, а политического решения.

Наполеон отчитывал маршалов за их пассивность:

— Вы без меня как дети без няньки. На что вы способны? Теперь вы обогатились в походах, вас окружает царственная роскошь, прелести бивуаков вам стали противны... Я начну все сначала. Я окружу себя молодежью из простого народа, которая еще не думает о титулах и замках, с ней я открою новую свою историю — с новых побед! Без вас...

Плесвицкое перемирие затягивалось. Наполеон согласился на мирную конференцию в Праге, надеясь, что, пока дипломаты болтают, он подтянет резервы. Но союзники тоже усиливались. Меттерних выдвинул перед Францией условия к миру, которые — он знал это — для Наполеона заведомо неприемлемы. Прага встретила русских недружелюбно. Почетом здесь пользовались австрийские офицеры — все с тростями в руках, высокомерные и кичливые... Войска коалиции состояли из трех армий: Богемскую возглавлял князь Шварценберг, Силезскую — генерал Блюхер, а Северную — кронпринц Бернадот, в каждой из трех армий сражались русские. Прусская армия, раньше годная лишь для парадов, теперь для парадов не годилась, но стоило Блюхеру рявкнуть: «Форвертс!» — и его парни как бешеные кидались

в штюки. Даже Наполеон пугался их натиска. «Эти скоты кое-чему научились», — говаривал он...

Оставался один день до конца перемирия. Орлов с утра намылил щеки, начал скоблить себя бритвою. К нему вошел неизвестный господин, очень моложавый, в синем дорожном полуфраке, при шпорах. Увидев Орлова, страдающего перед зеркалом, он бросил перчатки на дно своего цилиндра, который ловким движением отправил точно на подоконник.

— Не так, не так! — сказал он нервно. — Ну кто же так делает? — Двумя взмахами бритвы он моментально омолодил лицо Орлова со словами: — Вот только тепер вы вполне годитесь в адъютанты генерала Моро.

Орлов в удивлении привстал с кресла:

— Обычно адъютанты представляются своим генералам.

— Ничего плохого, если генерал представится своему адъютанту. Я только что из Берлина, Рапатель подсказал, где найти вас в Праге... Вы, Орлов, уже завтракали?

— Вы меня побрили, а я вас покормлю.

— Превосходно! — согласился Моро. — Не вы ли автор Плесвицкого перемирия? И что хорошего сказал вам Коленкур?

— У меня от его слов волосы встали дыбом. Мне и Шувалову он задал вопрос: «Когда вы, русские, побьете нас столь хорошо, чтобы наш дикарь образумился?..»

Моро выплюнул на ладонь косточку от вишни:

— Вот одна такая дробина, угодив в Наполеона, способна принести всей Европе долгожданное спокойствие. Но среди его маршалов не сыскать нам Курция, согласного кинуться в пропасть. Им страшно с ним, но еще страшнее без него...

Орлов спросил его об отношении к войне. Моро сразу же сказал, что вопрос поставлен неправильно:

— К войне можно относиться двояко — глазами Марса или сердцем Макиавелли. Если вас тревожит политическое будущее войны, то вы спешите заглянуть в бездну загадок.

— Разве не ясно, что борьба идет за свободу?

— В моем представлении, — ответил Моро, — любая война — линия, вытянутая в бесконечное пространство. Разве мы способны предвидеть, что ждет прямую там, где мы еще не бывали? Так же и с войнами. Начиная войну с одной целью, в конце ее народы приходят к обратным результатам. В истории бывало, что борьба за свободу оборачивалась народам новым закабалением, еще более худшим.

А иногда бывало и так: народ, брошенный в войну силами тирании, вдруг освобождался от тиранов... Да, мы сражаемся за свободу, но в конце этой борьбы, Орлов, будьте готовы к новой!

«Какое правительство, — писал в эти дни Моро, — следует установить, если будет разрушено существующее (Наполеона)? Я не знаю, какие господствуют взгляды в этом отношении в стране, которую *роялизировали* в продолжение десяти лет. Что же касается меня, то я совершенно свободен от предрассудков...»

С политикой они покончили, перешли к делам батальным. Орлов к слову помянул многих полководцев России, сознательно умолчав о Суворове, что не осталось незамеченным генералом Моро:

— Не надо щадить мое самолюбие. Потерпев поражение от Суворова, я не изменил к нему отношения... Будь я на месте Наполеона, я бы ставил в Париже не Вандомскую колонну, а именно памятник вашему полководцу. Ведь если приглядеться к сатанинской кухне Бонапарта, легко заметить, что самые горячие блюда он готовит по рецептам Суворова... Не удивляйтесь! Бонапарт еще в начале карьеры многое похитил из его тактики, но замаскировал это столь непроницаемым флером, что не всякий теперь догадается — где тут Бонапарт, а где Суворов? Поверьте моему опыту, Орлов: когда историки будущего станут ковыряться в победах Наполеона, они вскроют их первоисточник — победы вашего Суворова...*

В конце Пражской конференции Меттерних отверг все мирные предложения Коленкура, жестко указав ему:

— Вы опоздали! Срок перемирия истек...

От пригородов Праги и далее, через холмы и леса, сразу запылали громадные костры, видимые очень далеко, и пламя этих костров возвещало народам Европы, что война продолжается. Меттерних объявил — Австрия примыкает к коалиции.

— Вене уже надоело смотреть на войну из окошка, наш император скорбит о положении своей дочери Марии-Луизы...

.....

Французы укрепились с армией в Дрездене. Через ночной город передвигалась артиллерия, канониры шагали с зажженными фитилями, отчего было еще страшнее. Несчастные саксонцы, боясь репрессий, торопливо сжигали карикатуры на Наполеона, брошюры о французских зверствах.

* Знакомые с авторитетным мнением Моро, декабристы придерживались таких же взглядов на развитие военной школы армии Наполеона (*Прокофьев Е.А. Борьба декабристов за передовое русское военное искусство. Изд-во АН СССР, 1953*).

Вступив в войну, Австрия заполонила коммуникации нескончаемыми обозами. Со стороны казалось, что вся империя Габсбургов переставлена на колеса: скрипучим таборам не было конца, а союзники не могли продвинуть свои войска — дороги плотно забиты. Самой армии Шварценберга пока не было видно, зато из края в край перемещались телеги и фуры, из которых торчали прически женщин и головы детей, следующих за солдатами, дабы подбирать добычу.

— Глядя на это, — сказал Орлов царю, — я вижу наших казаков благороднейшими рыцарями. Даже в армии французов мародерство намного пристойнее: их жены остаются возле домашних очагов, а детям они не показывают ужасы войны...

Александр навестил Моро в восемь часов утра, когда генерал еще был в постели. Жестом царь предупредил, что вставать необязательно. (Кстати, Доде считал, что именно в это утро Моро подал царю совет — уклоняться от битвы лично с Наполеоном, но всегда навязывать бой его маршалам. Так это или не так — неизвестно.) Александр звал Моро к обеду, обещая представить императору Францу и прусскому королю. Орлов предупредил Моро, что ему предстоит свидание с сестрою царя, Екатериною Ольденбургской, бывшей невестой Наполеона, ныне — вдовой. Первое свидание с русским императором произвело на Моро приятное впечатление:

— Он прост. Очень мил.

— Да, — согласился Орлов, — наш государь не только умеет, но и очень любит очаровывать людей...

За обедом прусский король был приветлив с Моро, и только лишь, зато император Франц удивил его словами:

— Мы, конечно, не забыли унижения при Гогенлиндене, и все-таки я благодарю вас за человеколюбие, правил которого вы всегда придерживались в войне с нами. Ваша славная Рейнская армия не разбила на кухнях моих верноподданных ни одного горшка, не задрала юбки ни одной девице. Поверьте, Моро, я говорю это вам от чистого сердца...

Бернадот уже вошел в среду монархов Европы, которые, кажется, простили ему якобинское прошлое. Но с Моро было все иначе, и, сидя между двумя императорами, генерал ощущал некоторую скованность. Проницательный, как бестия, Александр искусно перестроил разговор с войны и политики на театральные новости. Серьезный разговор состоялся позже, в покоях Александра, где царила его обаятельная сестра Екатерина Павловна, глядевшая на Моро с большим женским любопытством. Моро догадался, что именно женщина станет говорить все то, что не хотел бы говорить Александр.

Но беседу начал именно он — с вопроса:

— Как вы относитесь к Шварценбергу?

— Раньше, — ответил Моро, — я сам не стал бы его даже бить. Я послал бы против него любого дежурного генерала при штабе, и от князя Шварценберга уцелела бы лишь память в аристократическом «Готском альманахе».

— Пожалуй, — сказал царь с улыбкою. — По милости Вены у меня по ночам уже шевелится под головою подушка. Сейчас австрийцы выдвигают именно Шварценберга... Создание любой коалиции — всегда процедура противная, ибо каждый из союзников прежде думает о себе. А как вы мыслите об Англии?

— Англия на особом положении в Европе, в коалиционных войнах она может позволить себе проиграть все сражения, но зато выигрывает последнюю, самую последнюю битву, чтобы предстать перед Европой в ореоле главного победителя.

— Боюсь, что так и случится, — сказал царь, глянув на сестру. — Вы, конечно, и сами уже догадались о той роли, которую я предназначал вам, вызывая вас из Америки.

— Да, государь. Вызвать человека из Америки — это не то что позвать человека из соседней комнаты...

— А я давно уважаю вас, — подхватила Екатерина Павловна. — На мне от Меттерниха шевелится даже одеяло. Нашей доблестной армии не пристало, чтобы ею командовали из Вены всякие оборотни. Не станем поддерживать и Блюхера: очень милый и храбрый старик, но он пользуется головой Гнейзенау. Теперь о Бернадоте: он не имеет значения в коалиции, ибо в Померании выставил шведскую армию в скуднейших размерах. Вот и получается, что один лишь вы, давний соперник Наполеона, способны возглавить все армии коалиции...

Рапателю и Орлову, своим адъютантам, Моро жаловался, что плохо высыпается, по ночам его опять преследует давний кошмар: дороги отступления, разбитые конницей, и кузнечный фургон, опрокинутый в канаву, из которого неопрятной грудой вывалились на дорогу новенькие подковы и гвозди.

— Это нервы, — утешил Рапатель. — Каждому из нас не грех почаще вспоминать ту надпись, что была на кольце мудрейшего царя Соломона: «И это пройдет...»

— Не все в жизни проходит. Я никогда не был суеверен, но этот проклятый ящик мучает меня уже много лет. Я избавлюсь от него, увидев его пустым, и усну спокойно!

14. Ядро

Косная, реакционная империя Габсбургов не могла смириться с тем, чтобы ее войска подчинились генералу Моро — республиканцу! Меттерних соглашался ввести Австрию в состав коалиции при неукоснительном условии: все союзные армии обязаны быть под жезлом их маршала Шварценберга. Александру, очевидно, было неудобно перед Моро, и Екатерина Павловна снова звала его к себе — на чашку чая.

— Мы в дурацком положении, — сказала она. — Вы и сами понимаете, что, не уступив мы Вене с их Шварценбергом, и коалиция сразу даст такую трещину, что потом ее не заделать никакими клятвами... А мы так рассчитывали на вас!

Моро ответил, что служить под окрики битых им австрийских генералов он не намерен:

— Я совсем не желаю переносить те унижения и муки, что сократили жизнь великого Суворова.

— Потому-то, — сказала Екатерина Павловна, — мы предлагаем вам пост военного советника при русской ставке.

— Благодарю. Покидая Филадельфию, я ведь заранее согласился на все условия, какие мне предложит Россия.

— Ах, милый Моро! — удрученно произнесла женщина, подливая ему в чашку сливок. — Все было бы иначе, и этот мерзавец Меттерних не мог бы ни к чему придраться, если бы вы хоть на время войны отказались от своих убеждений.

— Научите, как это делается, — пошутил Моро.

— Об этом вам лучше всего расскажет Бернадот.

— *Suut siique*. Бернадоту светит королевская корона, а у меня фригийский колпак якобинца, который еще с юности приколотен к моей голове большими гвоздями...

Моро был оскорблен, но, подавив в себе самолюбие, он с чистой совестью остался советником при Главной квартире, допущенный ко всем секретам русских штабов. Под стенами Дрездена, занятого войсками маршала Сен-Сира, возникла неприличная ситуация: русская армия (главная ударная сила в Европе, больше всех сделавшая для разгрома Наполеона) подпадала под влияние тупой бездарности Шварценберга. Наполеон находился в Лузании, угрожая оттуда вторжением в Чешскую Богемию, и Александр в беседе с Моро выразил уверенность, что ожидать его возле Дрездена нет смысла:

— Он там завяз, вроде почтальона в грязи, а я вас прошу ради соблюдения формы представиться князю Шварценбергу и его внушительным менторам — Лангенау и Радецкому...

Орлов при этом перевел для Моро русскую поговорку: «Назвался груздем — полезай в кузов». Он держал под уздцы лошадь генерала, накрытую под седлом вальтрапом из голубого бархата, расшитого золотыми колосьями. Моро дал лошади шпоры, за ним поскакал Орлов, между всадниками, вывалив из пасти красный язык, мчался неумолимый и верный Файф.

— Мне это противно, — вдруг произнес Моро.

— Я вам сочувствую, генерал, — ответил Орлов...

Шварценберг не желал видеть Моро, а его генерал Радецкий еще не забыл Гогенлиндена, где был опрокинут французами, и он, кажется, намеренно оскорбил Моро:

— Для меня вы... перебежчик. Я с удовольствием передал бы вас в лагерь Наполеона, и пусть он вас судит...

Лангенау был помешан на географии, он пытался доказать Моро, что в искусстве поражения противника главное условие — это овладение истоками его рек.

— Надо же так! — восхитился Моро. — Теперь-то я понял, в чем причина поражения Наполеона в России: ему бы, глупому, захватить те родники, из которых берет начало русская Волга, и тогда русские сами бы сложили оружие...

Моро с Орловым молча возвращались обратно в ставку. Вдали виднелся гигантский мост через Эльбу, ведущий в Дрезден, зелень Королевского парка, между живописных саксонских деревушек петляла дорога на Бауцен, на открытых полянах, среди садов, перебежали французские стрелки.

— Среди них, — сказал Моро, — наверняка есть и такие, что были со мною при Нови и Гогенлиндене... Что за судьба?

Сражение под стенами Дрездена постепенно ожесточалось. В открытом поле Александр устроил военное совещание. На траве раскинули походный стол. Чтобы ветер не унес карты, их придавили по углам камнями. Моро явился с русскими генералами, был приглашен и Шварценберг со своими менторами. Стали говорить, что, пока Наполеон околачивается в Лузании, можно смело предпринять штурм Дрездена:

— Сен-Сир не выдержит натиска и сдаст город.

— Сен-Сир, — ответил Моро, — это мой давний ученик, и не пойму, почему вы столь дурного о нем мнения? Я предлагаю не штурм Дрездена, при котором наша армия расплющит лоб о стены города, а лишь обложение его с батареями...

Русские поддержали Моро, а Шварценберг обещал, что во время обложения устрасит Наполеона своими демонстрациями, маневрируя с обозами. Моро с раздражением сказал:

— Наполеон не тот человек, которого можно устрашить маршами да еще с обозами. Зато его демонстрации уже не раз вынуждали противников оставлять позиции...

Казалось, на том и порешили. Но в штабе Богемской армии (ночью!) Лангенау убедил Шварценберга составить диспозицию к утреннему штурму. Вернее, даже не штурм, а лишь попытку к штурму они желали обратить опять-таки в демонстрацию силы. Диспозиция была составлена по всем правилам бюрократического идиотизма: «Первая колонна марширует влево, разворачиваясь направо; вторая колонна марширует направо, после чего разворачивается налево...» Курьеры с приказами поскакали, а союзников даже не оповестили. Но именно в это время Наполеон, словно метеор, летел к Дрездену. Бауценское шоссе не могло бы пропустить через себя целую армию, которая (при движении единой колонной) вытянулась бы в длиннейшую «кишку». Наполеон расчленил армию на ряд отдельных, укороченных колонн, двинув их фронтально — проселками, но в общем направлении на Дрезден...

Было еще темно. Моро проснулся от грохота артиллерии. В соседней комнате Рапатель уже заряжал пистолеты.

— Что случилось... ты не знаешь?

— Сам удивлен. Но дело, кажется, разгорелось.

— Странно. Надо поспешить. А где мои сигары?

В карман серого пальто Моро опустил коробку сигар, набросил на голову высокий цилиндр. Предчуя дорогу, Файф радостно визжал. К удобным сапогам американского фермера Моро прицепил шпоры, и только эти шпоры выдавали в нем военного человека. Было туманно, впереди слышалась канонада. Спрессованный угар сгоревших порохов наполнял долины дымом, в котором метались фиолетовые языки пушечного огня. Моро придержал лошадь. Он увидел кузнечный фургон, опрокинутый взрывом в канаву. Дверцы его были сорваны с петель, а внутри фургона зияла странная пустота.

— Что вы остановились? — спросил Рапатель.

— А куда же делись все гвозди? Куда подковы?

— Да их уже растащили... спешим, генераль.

В пороховом чаду битвы, словно в тумане, качались высокие метелки гусарских султанов, похожие на камышовые стебли, растущие из чудовищного болота. И гусары исчезли.

На Рекницких высотах было тесно от множества штабных офицеров, окружавших Барклая и его помощников.

— Видите, что творится, — сказал Барклай, поворачивая к Моро свое плоское, бледное лицо. — Шварценберг начал штурм, не предупредив нас... За ним уже послали!

Александр, свесясь из седла, беседовал с лазутчиком, сообщившим, что Наполеон уже в Дрездене со своей армией. Заметив Моро, император вытянул руку в сторону битвы:

— Что за бедлам? Неужели такими вот вивисекциями я должен расплачиваться за «дружбу» с Веною?

— Сир, — отвечал Моро, — у России не десять армий, а всего одна, и ее надобно поберечь. Велите Барклаю ослабить давление Мортье на.. левом фланге. А справа дивизии Нея? Тоже неплохо, черт поberi... Надо выкручиваться!

— Возможно ли отменить эту дурацкую диспозицию?

— Если поспешить, то — да...

Громы артиллерии сотрясали почву и воздух, испуганный Файф крутился между ног лошади своего хозяина. Панорама обширной битвы прояснялась. Шварценберг прибыл вместе с Лангенау — оба пристыженно-жалкие, сами не понимающие, что они натворили. Теперь всю вину сваливали на Наполеона, который, не спросясь у них, дураков, проник в Дрезден, а не остался торчать в Лузации. Моро возвысил голос на Шварценберга и на его паршивую «няньку» Лангенау:

— Кто вам позволил изменять решение военного совета армий всей коалиции? На что вы, господа, рассчитывали? Или на свой гений, или на энтузиазм союзных армий?

Шварценберг ответил (и довольно-таки резко), что «энтузиазм» — слово из лексикона якобинских клубов, а в его армии энтузиазм заменяется послушанием. Грубый намек вывел Моро из терпения, он швырнул под ноги шляпу, которую и поддал носком фермерского сапога.

— Теперь-то я понимаю, почему французы колотят вашу милость семнадцать лет подряд... Отменяйте диспозицию!

— И быстрее, — поддержал Моро царь.

Шварценберг с Лангенау покинули Рекницкие высоты, и оба они... пропали! В русской армии все делалось на бешеном аллюре ординарцев и адъютантов. Но в австрийской все проходило через канцелярию. Пока они там писали и переписывали, еще четыре колонны, во исполнение их ночной диспозиции, вломились врукопашную, погибая от чужой глупости...

— Михаил Богданыч, — окликнул царь Баркляя, — вы оставайтесь здесь, я с Моро проеду до батареи Никитина.

Всадники спустились с горы, узкая тропа вела их вниз между камней и кустарников. Александр сказал:

— У меня сегодня очень нервничает лошадь. Прошу вас, поезжайте впереди, а Рапатель — за мною.

— Извольте, сир, — ответил Моро, занимая место впереди царя. —
Поверьте моему опыту...

Эта его фраза осталась незаконченной.

Французское ядро обрушилось с высоты.

Оторвав правую ногу, оно пробило седло.

Пробив седло, пронзило насквозь и лошадь.

Пройдя через лошадь, раздробило и левую ногу.

Сначала упал Моро, сверху его придавило животное.

— Моро! — крикнул Александр. — Что с вами?

— Это *смерть*, — простонал Моро.

Рапатель в ужасе закрыл глаза ладонями:

— О Боже... почему не я выехал вперед?

Лейб-медик Виллие никогда не покидал ставки.

— Спасите хоть голову Моро, — велел ему царь.

— Боюсь, что только голова и останется...

Примчался Орлов, из казацких пик он, человек бывалый, ловко соорудил носилки, а Виллие указал ему:

— В деревню Нетниц... до ближайшего дома!

Правая нога, оторванная ядром, осталась в кустах. Крестьянская семья в Нетнице, увидев Моро, разом стрелба всю посуду с обеденного стола, на котором Виллие сразу же начал обрабатывать обрубок ноги. Моро во время операции алчно сосал крепчайшую сигару. Два больших ядра, дымно воняя, разнесли весь угол дома, но мужественный врач не прекратил работы.

— Левую ногу не спасти, — предупредил он.

— Так отрежьте ее... только скорее!

Появился Павлуша Свињин, Моро просил дать вторую сигару.

— Мошенник Бонапарт! — произнес он со страшным надрывом. — Он и здесь оказался счастливее меня...

Из мемуаров Наполеона, сочиненных им на острове Святой Елены: «Местный крестьянин принес королю саксонскому валявшуюся на поле битвы ногу вместе с сапогом и высказал догадку, что ранен какой-то важный офицер. Полагая, что по сапогу можно узнать, кто именно ранен, король прислал этот сапог мне. При осмотре его удалось установить одно — сапог не был английского или французского изделия...»

Оторванную ногу разглядывали маршалы и генералы.

— Удивляюсь! — сказал Бертье. — Такой странной обуви с таким сложным рантом в Европе вообще не производят.

Ординарец Гурго вдруг суматошно закричал:

— Собака! Откуда взялась эта дикая собака?

С поля битвы в шатер императора забежал громадный пес и, сильно перепуганный, дрожа, забился под стол. На ошейнике собаки прочитали надпись: «Принадлежу гражданину Ж.-В. Моро», — и тогда все поняли, чей был сапог.

— Правосудие неба свершилось! — обрадовался Наполеон.

Коленкур записал его слова: «Это моя звезда, моя! Смерть Моро будет одной из важных страниц моей истории». И все время битвы под Дрезденом он возвращался к Моро:

— Моро сам не пожелал лучшей судьбы. Я был к нему добр и все прощал. Но он отвернулся от меня, и его звезда навеки погасла. Его честь и его заслуги перед Францией никогда не будут ратифицированы французской историей. Франция запомнит только меня... одного меня!

...Исподволь в армии был распространен слух, будто император сам зарядил пушку ядром, сам точно прицелился, сам выстрелил и сам же убил «изменника» Моро.

— Vive l'empereur! — восклицали «мари-луизы».

Шварценберг отступал; его войска, не долго думая, тут же сдавались Наполеону заодно с «хурдой» (как называли казаки награбленное), а поверх «хурды» плакали жены и дети. Под проливным дождем Орлов сказал Александру:

— Причуды венского вальса! Ружья у австрийцев устроены столь отлично, что при дожде они не стреляют...

— Все они босяки! — выразился Александр...

Он уступил для Моро свою карету, но бедняга — даже на рессорах — не мог вынести ее тряски. Для сопровождения его был выделен почетный эскорт на лошадях. Из гренадерского полка богатырей Орлов выбрал десять человек одинакового роста и шага, чтобы поставить их под носилки. Дожди зарядили надолго, над лежащим Моро солдаты устроили балдахин из своих шинелей. «Дорога через горы, — писал Павел Свиньин, — была ужасная, трудная даже для здорового человека, но генерал сносил все трудности, не подавая знаков ослабления. В этом непоколебимом духе мы находили новые причины к надежде, особенно после первой перевязки, когда его раны были найдены в лучшем положении... быстрые потоки заграждали дорогу, глубокие пропасти и клочущие бездны едва позволяли на тропе держаться его носильщикам!»

Под грудями одеял в изуродованном теле еще шла борьба за жизнь, хотя Моро однажды уже сказал Рапателью:

— Пропал! Хорошо хоть, что умираю ради великого дела... Если б не это проклятое ядро! Круглый кусок негодного металла, а как много несет он страданий... Пропал я.

Тридцатого августа гренадеры донесли его до чешской деревни Лаун; Моро, лежа в чистой горнице, собрался с силами, желая известить Александрина о себе: «Бонапарт все еще счастлив, — писал он в Лондон. — Мне сделали операцию как нельзя лучше. Хотя мы отступили, но только для того, чтобы соединиться с Блюхером. Извини мое маранье, я люблю тебя и целую ото всего сердца. Поручаю Рапателю дописать письмо», — и на этих словах он выпустил перо из пальцев.

— Больше не могу, — сказал Моро Рапателю. — Допиши сам, что хочешь. — Орлову он подарил саблю, на эфесе которой галльский петух разинул клюв в воинственном призыве. — Возьмите от меня на добрую память. Видите, как горланит задира? Это хороший символ нашего будущего, Орлов...

На рассвете 2 сентября 1813 года он умер, и крик деревенского петуха совпал с последним вздохом его.

Михаил Орлов навестил в ставке Александра:

— Ожидаю ваших распоряжений — какая земля должна быть счастлива, растворив свои недра для останков Моро?

— Моро погиб под знаменами русской армии, разве можно отдавать его чужбине? Пусть Рапатель везет в Петербург, а при погребении отдать почести русского фельдмаршала...

В Праге тело Моро подвергли бальзамированию. Рапатель и Чарли везли его через Варшаву, где и переночевали, не расставаясь с мертвецом, в комнате гостиницы. Ближе к ночи старый лакей принес им свечи, кивнул на покойника:

— Он лежит и не знает, что именно в этой вот комнате Наполеон, убегая из России, признал свое поражение словами: «От великого до смешного — один шаг...»

Петербург встретил Рапателя ледящим ветром, бедный Чарли совсем замерз, он доверчиво жался под шинелью полковника. Все заботы о погребении Моро взяло на себя военное министерство, в церкви Св. Екатерины вскрыли подвал, где покоились два польских короля — Станислав Лещинский* и Станислав Понятовский... Рапателю сказали, что на том свете республиканцу Моро, наверное, будет безразлично близкое соседство двух коронованных особ.

— Мертвому все равно, — не возражал Рапатель...

* Станислав Лещинский похоронен в городе Нанси (Лотарингия), но его череп и часть скелета погребены в Петербурге

Похороны состоялись 2 октября в присутствии двора, генералитета и всего дипломатического корпуса. Несмотря на холодную погоду, возле церкви и внутри ее собралась очень большая толпа петербуржцев — и знатных и простолюдинов. Факельщики в черных одеждах открывали движение пушечного лафета, в который были впряжены рослые кони в черных пелеринах. Вдоль всего Невского выстроились шпалеры войск гвардии, размеренно стучали барабаны, обвитые траурным флером, ветер с Невы шелестел низко опущенными знаменами.

В подвале храма было душно, пылали факелы и свечи. От этого дня сохранилась запись: «Внезапно явились две фигуры и с плачем кинулись на гроб. То были адъютант покойного и его маленький негр. Сердце мое умилилось при этом зрелище оплакивания Моро, продолжавшем терпеть изгнание и по кончине своей. Маленький негр был так жалок...» Гроб закопали. Свечи и факелы погасили. Рапатель нанял коляску и отвез осиротевшего Чарли в Гатчину, где оставил его в сиротском доме для бедных. А сиротских домов для богатых и не бывает!

15. Фер-Шампенуаз

Вернувшись из Петербурга, Рапатель заехал в Теплиц, где у подгулявшего мадьярского помещика он выиграл в карты на шестерку с тузом сказочную белую лошадь, которой все восхищались. Даже Александр, и тот ему позавидовал.

— Берегите ее, Рапатель, — сказал он. — А если надумаете продавать, я куплю ее у вас сразу же.

Рапатель барышничать с царем не желал, обещая подарить лошадь, но прежде он въедет на ней в Париж... Жезл фельдмаршала, возложенный на могиле Моро, оставался в церковном подвале, а память о Моро нуждалась в монументе — именно на том роковом месте, где его сразило роковое ядро.

— Лучшим же украшением памятника, я мыслю, будет фригийский колпак якобинца... Но как это сделать?

— Я поговорю с государем, — обещал Орлов Рапателю.

Александр тактично не возражал против фригийского колпака, русские офицеры собрали деньги по подписке; памятник Моро был поставлен под Дрезденом (гравюры с видами монумента продавались тогда во всех столицах Европы). Вдове Моро было предложено переселиться в Россию, на этом настаивал и Рапатель, писавший ей в Лондон: «Вы обязаны это сделать если не для себя, то ради вашей дочери». Россия с небывалой щедростью оплатила Александрине

ее вдовство: она получила сразу полмиллиона рублей, ее дочь стала фрейлиной императрицы, еще ребенком обретя пожизненную пенсию в 30 000 рублей. Александрине присвоили права маршальши (la marechale Mogueau). Павлуша Свиныин отправился в Лондон — с письмами к мадам Моро и указами царя.

Рапатель по секрету сообщил Орлову, что в Праге остался архив Моро, чрезвычайно ценный для истории революции:

— Он не должен попасть в чужие руки. Я не доверил его Свиныину, а все бумаги лучше бы отправить в Лондон...

Орлов выделил конвой для сопровождения кареты с архивом генерала. Судьба распорядилась с ним чересчур жестоко: на карету напали французские драгуны, и все бумаги Моро внимательно просмотрел сам Наполеон.

— Странно, — сказал он Монтолону, — годы не исправили этого человека, и он умер с такими же претензиями к обществу, как в юности. Эти чувства не могла перебороть в нем даже его красивая креолка, которую он очень любил...

Но кое-что из бумаг Моро он обратил в свою же пользу: Наполеон стал насыщать манифесты забытыми девизами времен революции, он сулил народам свободу и равенство, император бессовестно перенимал для себя те самые лозунги, защищая которые погибли его враги — генералы-республиканцы. Обращаясь к лучшим чувствам французов, Наполеон спекулировал на этих чувствах, дабы спасти от разрушения самого себя, свою империю, свой пышный престол, свое непомерное величие.

Проиграв великую «Битву народов» при Лейпциге, он болезненно уснул на складном стульчике возле мельницы, смертный из смертных, душевно опустошенный, и когда пробудился, то увидел, что большая часть горизонта охвачена гигантским заревом — это пылало море костров армий его противников, только к западу сгущалась ночная тьма, лишенная всякого света, именно в этом мраке исчезала его отступавшая, разбитая армия. Бертье сказал маршалам: «У него такое же выражение лица, какое было и в Сморгони, когда он бежал из России, только теперь уже не может свалить вину на русские морозы и лошадей». Дотащив свою измученную армию до тихого Эрфурта, Наполеон снова принял надменную позу:

— Я еще способен отыгаться той картой, которую и поставлю на последний лафет последнего орудия...

Меттерних уже решил спасти Наполеона, чтобы сохранить его Францию — как могучий резерв для политического давления на Россию,

и потому Шварценберг всюду где можно устраивал Наполеону «золотые мосты» для спасения его армии. Богатейшая империя Габсбургов оставила свои войска без обуви и одежды; на перевязки венские врачи кромсали мешковину соляных кулей, отчего раны разъедало еще больше; австрийцы разбежались, армия на глазах таяла, зато обозов в войсках Шварценберга даже прибавилось, и казалось, что в этой войне за освобождение Европы Австрия задалась целью — освободить Европу от всего, что плохо лежит. Русским давно осточертели такие союзнички, и, увидев где-либо их обозы, они без лишних разговоров переворачивали все фургоны кверху колесами. Зато уж Блюхер всегда был солидарен с русскими в их наступательном порыве. Командуя русскими войсками, он освоил и русский язык, но в пределах двух сокрушающих фраз:

— *Вперед, ребята... Пошел!*

Пруссаки звали его «генерал Форвертс», русские именовали Блюхера «генерал Пошел». Орлов предлагал Александру:

— Не устроить ли в Эрфурте новую Березину?

— С кем? — отвечал царь. — С одним Блюхером? Я же не могу каждый раз тащить в бой Шварценберга за волосы...

Отоспавшись в Эрфурте, Наполеон за два дня преодолел Тюрингенские леса, его отход прикрывали Мармон с Бертраном, тысячи французов с бранью швыряли ружья в канавы. Мюрат тишком, как воришка, бросил своего гениального шурина и помчался в Неаполь — спасти корону! Не лучше Мюрата повел себя и Бернадот: он оставил союзников без помощи, самовольно открыв войну с Данией — ради приобретения Норвегии. Наполеон, как боевой слон, нечувствительный к ударам мечей, растаптывал все очаги сопротивления, и 1 ноября 1813 года он убрался сам и убрал за Рейн свою армию — во Францию. С этого дня открывался новый этап войны, завершающийся, но и самый мучительный; перед русской армией стала задача: «Внести оружие во французские пределы, продлить войну до полной капитуляции в Париже!» 1 января 1814 года русские солдаты шагнули за Рейн, готовые к новым жертвам... Франция встретила их сильнейшими морозами, все было завалено глубокими снегами. На первом же марше армия недосчиталась множества солдат — они... замерзли. Смерть русских от холода на земле Франции кажется каким-то диким парадоксом, но так и было.

Наполеон спешно формировал новые войска, он преступно разжигал ненависть и страх перед армией России, он уверял население страны, что все русские — людоеды:

— От европейцев они это умело скрывают, хотя втайне всегда питаются человечиною. Казаки же особенно любят вареное мясо молоденьких женщин или зажаренных младенцев.

Департаменты были засыпаны манифестами и прокламациями императора, в них писалось, что нашествие азиатов осквернит чистоту крови галлов, русские казаки и башкиры превратят французов в новую породу людей — диких и косоглазых...

Его последняя карта — на последнем его лафете!

Но вызвать новую народную «шуанерию», подобную испанской гверилье, схожую с партизанской войной в России, Наполеону не удалось: он запугал Францию, но он ее не вдохновил.

Зато Рапатель уже стал бояться встречи с Францией:

— В этом русском мундире не стану ли я испытывать на себе ненависть родины? Куда мне деваться? Ехать после войны в Испанию или в Грецию, чтобы сражаться за чужую свободу?

Орлов поправил на лбу модный кок «эсперанса».

— Вы затеяли обидный для меня разговор. Разве когда-либо вы слышали от кого-либо, что после победы двери России для вас закрыты? Оставайтесь у нас и пишите себе мемуары.

— Вы предвосхитили мою просьбу, Орлов, — сказал Рапатель. — Под этот неумолчный шелест знамен я повидал многое, и обидно, если со мною все это исчезнет... Да! Вот дойдем до Парижа, и я буду просить о русском гражданстве.

— К сожалению, у нас есть только подданство. Но даже в монархической России мы умудряемся быть свободными...

Весна быстро прогрела Францию, снова зацветавшую белыми яблонями. Все больше русских могил оставалось на чужеземных погостах, над убитыми музыканты играли на валторнах, офицеры падали из пистолетов и плакали. Хоронили, как правило, без гробов (даже генералов укладывали в шинелях). В Труа из разбитых уличных фонарей вытекало на мостовые масло, и солдаты, чтобы добро зря не пропадало, подставляли под жирные струи сапоги, нуждавшиеся в смазке. В предместьях Труа, где питьевые пруды были завалены трупами, Орлов дал отличный завтрак пленному генералу Рейнье. Салфеток в обозе не нашли, и денщик, далекий от политической этики, сунул под тарелки афишки Наполеона, предупреждавшего, что «надвигается орда людоедов, казаков, татар и санкюлотов».

Рейнье оказался милейшим человеком.

— Странная жизнь, колонель! Вы были адъютантом Моро, а я стоял при нем еще в кампании на Рейне, и разве мы думали тогда о конце... таком конце? На переправе в Майнце я слышал, как маршал Даву ляпнул императору прямо в лицо: «Вы, сир, сыграли с нами

неплохую штуку! Не затем ли и протащили французов до Москвы, чтобы пригласить их в Париж?»

Орлов сказал, что плен для Рейнье закончился:

— Вы свободны! Советую переждать где-нибудь в провинции это время. Если поиздержались, мой кошелек к вашим услугам.

Было жарко. Над сбитыми спинами лошадей роились жирные, крупные мухи. Дома крестьян зарастали хмелем.

— Все это очень трогательно, — ответил Рейнье. — Но вы не думайте, что под каждым булыжником Парижа растет белая бурбонская лилия. Если не будет империи, то... республика?

— А мы не решаем судеб Франции, — сказал Орлов. — Мы боремся лишь за свержение династии Бонапарта, за то, чтобы Европа отдохнула от войн... хотя бы полвека!

Над деревнями вились ласточки, армия топала дальше, а среди офицеров иногда возникали опасливые настроения: «Не учинят ли нам французы такое же потчеванье, какое устроили им в двенадцатом мужики да бабы наши?» Но все было спокойно, лишь однажды Орлову пришлось здорово поволноваться... В одной из деревень его обступили француженки, громко взывая о пощаде. Показывая на молодую крестьянку, женщины наперебой кричали, что ей только что было предложено раздеться и лезть в котел с кипящей водой... «Что за вздор?» Плачущая молодлица проводила Орлова до своего дома; с робостью открыв перед ним двери горницы, она крикнула:

— Вот он! Хотел меня резать и сварить...

Возле громадного камина, в толщу которого был вмазан не менее громадный котел, стоял обалдевший фейерверкер-артиллерист и держал в руке большую сверкающую бритву.

— Что ты, дурак, натворил тут? Сознавайся.

Указывая на хозяйку, служака храбро защищался:

— Помилуйте! Это не я дурак, это вот она дура самая последняя. Я ей, глупой бабе, русским языком, честь честью, втемяшиваю: «Мутерхин, вассер кохен» — и, бритву наточив, показываю на котел: мол, нужна для бритья водичка погорячее. Чего ж тут не понять? Сколько стран и городов прошагал, а эдакова сраму со мною ишо не случалось.

— Да пойми, олух царя небесного, тебя с этим «мутерхином» принимали в Саксонии и Пруссии, а здесь — Франция.

— Но во Франции-то мы тоже должны бриться!

— Дайте ему воды, — сказал Орлов крестьянке...

Франция не казалась русским такой уж прекрасной, какой они раньше ее представляли: «Славны бубны за горами!» — и солдаты видели земляные полы в жилищах, страшную дороговизну дров, убогость кухонной утвари, скудость питания. Всюду царили бедность и грязь, ужасало множество клопов, отсутствие бань в обиходе. Офицеры из дворян, воспитанные гувернерами-французами, тоже были обескуражены, но иначе: их удивляла безграмотность провинции, где люди жили, как в клетках, ничего не зная, что творится за три лье от их селений, и даже близость Парижа не сделала их более культурными. Некоторые офицеры, получившие блестящее образование в пансионах Москвы и Петербурга, теперь чувствовали себя обманутыми с самого детства, а сельские кюре не могли ответить на их мучительные вопросы:

— Где же та Франция, на которую мы молились? Франция светочей ума и свободы? Неужели все это надо искать в одном Париже? Нам так много трезвонили о процветании под скипетром Наполеона, неужели всю философию упрятали в зарядные фуры артиллерии? Неужели имена Вольтера и Руссо бесследно померкли перед славой Маренго, Йены и Ваграма? Коли это так, то мы недаром докатили до вас свои пушки...

Впереди лежал старинный городок Фер-Шампенуаз.

Русские двигались к нему от Витри, со стороны Шалона шел на рысях неутомимый Блюхер. У него была высокая температура, он пересел в коляску и нечаянно закатился прямо к французам, но успел рывкнуть: «Пошел!» — и донские казаки в сабельном исступлении рубки избавили старика от плена. Развернув свой корпус на соединение с русскими, Блюхер повел его на Фер-Шампенуаз... Наполеон еще кружил вокруг да около Парижа, и один безграмотный урядник прислал в ставку донесение: «Анператор претси аж на Москву!» — это вызвало в штабах дурное веселье, хотя урядник в общем-то был прав: Наполеона иногда заносило не в ту сторону. Догорали костры, уланы дремали в седлах, а чтобы во сне не упасть, упирались пиками в землю. Всходило солнце — солнце Фер-Шампенуаза!

Войска двигались без дорог — по гладкой равнине, играла музыка, пели и плясали «песельники». Пехота скоро отстала, не в силах угнаться за конницей и конной артиллерией. Маршалы Мармон и Мортье вели дивизии, чтобы подкрепить императора, совсем неготовые встретить русских на подступах к Парижу. У маршалов была хорошая конница, недавно выведенная из Испании, но кавалергарды с уланами не знали, что она хорошая, и мигом растрепали ее, как плохую. Блюхер

поспел русским на помощь, когда кирасиры укладывали палаши — прямо на шоссе! — шестую тысячу французской пехоты. Мортье с Мармоном убедились в тщетности сопротивления и, побросав пушки и раненых, бежали к Парижу...

Александр со свитой выехал в Фер-Шампенуаз, в дороге его перехватил гонец князя Васильчикова с запискою: впереди возможна встреча с неприятелем. Царь не поверил:

— Откуда его взяли? В глазах у князя двоится...

Через лорнетку он смотрел на спешащего к нему всадника. Золотые гроздь аксельбантов ритмично качались на его груди, в опущенной руке блистал палаш, с которого ветер срывал капли свежей крови... Это был Орлов, и царь крикнул ему:

— Вы что? С утра пораньше уже рублились?

— Да! — подскакал Орлов. — Гляньте вправо: две дивизии Пакто и Амье... шестнадцать пушек!

— Откуда их вынесло? — удивился Александр.

— Очевидно, шли на randеву с маршалами...

Помимо пушек французы тащили 80 фургонов с боеприпасами и 200 000 пищевых рационов для армии своего императора. Орлов пучком травы вытер палаш, предупредив, что за войсками Пакто и Амье князь Васильчиков уже развернул кавалерию.

— С ним гусары, — сказал он. — Хотят драки...

Французы, как и войска маршалов, не ожидали встретить русских поблизости от Парижа. Их солдаты ошибочно приняли царя за Наполеона, стали бросать вверх шапки: «Vive l'empereur!» Конная батарея Маркова открыла огонь. Марков навесил залп поверх голов французов, задев ядрами гусар Васильчикова, а войска Пакто еще громче возгласили славу Александру.

Вся свита царя с бранью накинулась на Маркова:

— Прочь от пушек! Ну кто же так стреляет?

Васильчиков (тоже поверх французов) перебросил четыре ядра подряд в своего же императора, думая, что бьет в Наполеона, — его смутили приветственные выкрики французов. Ошибка прояснилась, но Александр не скрывал испуга:

— Я думал, что меня ожидает судьба Моро.

— А вот и *каре!* — доложил Рапатель...

Французские колонны упруго и быстро улитками сворачивались в крепкие каре. Со стороны на это смотреть было даже забавно. Став неуязвимыми для сабель кавалерии, они медленно, как большие черепахи, отползали к Фер-Шампенуазу, в сторону Сен-Гонтских болот.

Вокруг них кружились кавалерийские смерчи, полыхали сабли, но каре оставались нерушими.

— Воздадим им должное! — произнес Орлов. — Эти люди сделаны из железа. А с добрым сердцем даже в шашки не выиграть.

В клубах взбаламученной пыли артиллерия ломала ядрами одно каре за другим, но, поредевшие, они смыкались в новые, еще более плотные. Наконец пушкам удалось пробить эти людские стены, в их бреши ринулись уланы с казаками, вырубая всех, кто не сдавался. А они — нет! — не сдавались, из гущи каре слышался голос раненого генерала Пакто:

— Умрем, французы, за великого императора.

— Эти не сдадутся, — решил Рапатель.

— Похоже, что так, — согласился Орлов.

Париж был рядом, и никто не хотел умирать.

— Позвольте умереть мне, — вдруг сказал Рапатель, уже растирая в ладонях уши красавицы лошади, чтобы она стала злее. — Попробую уговорить их... К чему лишняя кровь?

— Рискните, Рапатель, — согласился царь.

Шпоры — в бок, и лошадь (белая как снег) резким галопом, выкидывая из-под копыт сочные комья сырого дерна, вынесла Рапателя перед геройским и стойким каре французов. В русском лагере печально пропели серебряные валторны. Рапатель помахал руками, показывая, что оружия не имеет.

— Французы, добрые французы! — прокричал он. — Я тоже француз, и вы должны мне поверить. Россия не питает вражды к вам. Русская армия не знает чувства мести. Никто не спорит, что император Наполеон принес вам много славы...

— Великий император! — грянуло из каре.

— Но он принес Европе страдания, кровь...

Ряды каре раздвинулись, будто в заборе открыли калитку. Из гущи спрессованных тел лошадь вынесла французского офицера. Он держал в руках пистолеты, украшенные золотыми головками императорских орлов наполеоновской гвардии.

Это был брат Рапателя... его *родной брат*

— Так умри же, отродье Франции! — крикнул он.

Пистолеты грянули разом — из двух стволов.

Лошадь Рапателя, ощутив свободу в стремени, вихрем унеслась обратно — прямо в русский лагерь, где горнисты оторвали от губ валторны... Артиллерия сокрушила центр каре, в которое первым вломился богатырь Орлов.

Французы уже не стреляли, но оружия не выпустили. Между ними ходили русские, отнимали ружья:

— Ну хватит, все... довольно! Париж-то — вон он...

Орлов подвел к царю белую лошадь Рапателя:

— Бедняга обещал подарить ее вам. Она ваша.

— Нет, Орлов, — отказался Александр. — На этой удивительной лошади вам еще предстоит въехать в Париж.

Фер-Шампенуаз — последняя битва на земле Франции. Вдалеке уже завиднелись высоты Монмартра.

16. Первые в Париже

В праздничных рядах Пале-Рояля, там, где шумно торгуют магазины, соблазняя донских казаков «часами с музыкой» и говорящими попугаями, там, где перед витринами фланируют веселые парижанки, кокетничая с русскими офицерами и не боясь, что их дети станут «дикими и косоглазыми», там, где старый Блюхер три дня без просыпу пьет шампанское и режется в карты, угрожая немедленно взорвать мосты Парижа и растащить все сокровища Лувра, там, где щелкают шары бильярдов и под мотив вульгарной песенки «Мальбрук в поход собрался» звенят до утра фишки рискованного лото, — там, в отдельном кабинете ресторана, Михаил Федорович Орлов собрал друзей:

— Европу и народы ее мы от деспотии Наполеона избавили. Не пора ли теперь подумать о своем несчастном отечестве, дабы избавить народ великий, народ российский от постыдных тягот крепостного состояния, от нужды и бесправия...

Орлов был сегодня в генеральском мундире, при сабле Моро, с которой уже не расставался.

— Друзья, станем же первыми! — воззвал он. — Я предлагаю образовать тайное общество честнейших и благороднейших людей, для которых народ, свобода и отечество да будут навеки святы! Мы назовем наш союз ОРДЕНОМ РУССКИХ РЫЦАРЕЙ... Другого названия я не мог придумать, и, может, через сто или через двести лет станут называть нас иначе.

Он сел, опустив подбородок на эфес сабли, как это делал и генерал Моро. С эфеса, гневно разевая свой клюв, кричал петух, зовущий людей к пробуждению.

Петухи кричат на святой Руси.

Скоро ль будет день на святой Руси?

Эпилог

Мнимые интервью

А если я скажу вам, что последний ветеран «Великой армии» Наполеона умер в Саратове, вы мне поверите? А если я скажу вам, что, рожденный в 1768 году, он скончался в 1894 году, вы мне тоже поверите?.. Моя беда: не умею заканчивать романы и завидую тем, кто умеет. Меня не спасет даже то обстоятельство, что следующий роман, «Париж на три часа», связан с этим романом... И сейчас я хочу пофантазировать в пределах реального, придерживаясь точных исторических фактов. Представим, читатель, что я, ваш покорный слуга, вернулся в прошлое. Начнем с того момента, как я навестил в Петербурге графа А.А. де Бальмена, бывшего русского комиссара на острове Святой Елены. Александр Антонович уже ничего не видел, ему предстояла сложная операция по снятию катаракты...

.....
— Наверное, вы будете спрашивать о Наполеоне... Ну, что Наполеон? Обычный человек, как и все люди. Только более капризный, чем все. Он напоминал актера, который ушел со сцены, не доиграв роли, всеми освистанный. Мне, честно скажу, уже поднадоели все банальные о нем вопросы.

— А если я задам вопрос не банальный?

А если я скажу вам

— Постараюсь ответить.

— Правда ли, что Наполеон был плохим кавалеристом?

— Да, это не Мюрат. Но у меня есть доказательства тому, что Наполеон умел держаться в седле... Однажды в горах на острове Святой Елены он совершал прогулку верхом. Его сопровождал конвой англичан. Чтобы избежать надзора, Наполеон совершил на лошади прыжок в пропасть. Англичане поскакали к Лоу, дабы известить его о самоубийстве Бонапарта. Но когда Лоу примчался в Лонгвуд, он застал императора за обедом.

Мы легко разговорились. За окнами кабинета плавала синева морозных улиц вечернего Петербурга, от печей исходило приятное тепло. Бальмен наизусть цитировал Корнелия и Расина, в его книжном шкафу я заметил разрозненные номера парижских альманахов, которые публиковали его... стихи! Он был поэтом. Впрочем, французская литература остановилась для Бальмена на Альфреде де Виньи.

— Вот Бальзака я уже не читал, — сознался он.

Я спросил — где его застала Отечественная война?

— Весну двенадцатого года я встретил в Триесте. Вы догадались, кем я был в русской армии... Едва Наполеон выехал из Сен-Клу в Дрезден на «съезд королей», я тронулся по его следам. Вместе с его армией я вступил в Вильно, откуда и был отозван министром Барклаем в Смоленск.

— Смоленск? Там Орлов имел беседу с Наполеоном.

— Но меня уже не было в России... Из Смоленска я попал в Лондон, где, кстати, удостоверился в благополучном прибытии жены Моро, затем проследил и пути самого генерала Моро до его свидания с Бернадотом в крепости Штральзунда.

— Какое на вас впечатление произвела жена Моро?

— А никакого... Эта креолка, говорят, все уже давно промотала. Тут была ее дочь, госпожа Курваль, которая, думаю, и не прожила бы, если бы не пенсия от казны России.

Я смотрел в пустые, полумертвые глаза графа Бальмена, которые видели слишком много для жизни одного человека.

— Верно ли то, что Наполеон в Вильно спросил Балашова, какие дороги ведут в Москву, и Балашов якобы ответил, что дорог много, так, например, шведский король Карл Двенадцатый избрал дорогу до Москвы через Полтаву?

— О том, что такой разговор был, я слышал от многих. В частности, и от графини Шуазель-Гуффье, жившей в Вильно, где она не раз встречалась с Балашовым, Александром и Наполеоном... А почему вы меня об этом спросили?

— Потому что в обществе существует мнение, будто Балашов сочинил свой остроумный ответ гораздо позже.

— А зачем ему сочинять позже, если об этом он говорил сразу по возвращении из Вильно? Балашов был как раз человеком едкого остроумия. Дурака бы и не послали! Но мне в голову приходит порою кощунственная мысль: не затем ли Александр отправил к Наполеону генерала Балашова, чтобы к рукаву его мундира пристегнуть поручика Орлова? — Бальмен сказал, что теперь Орлова помнят как декабриста, но забыли, что он был крупнейшим агентом разведки, и, если зачеркнуть эту сторону его жизни, образ Орлова как человека сразу потускнеет. — На эшафоте декабристов была уже готова шестая петля — лично для Орлова, но его брат Алексей, приятель нашего Николая Первого, на коленях ползал перед царем, слезно вымолив для брата прощение...

Сам же Бальмен был женат вторым браком на сестре декабриста Свистунова и знал многих декабристов. Я спросил его — какова же была разведка французская?

— Наполеон имел у нас лишь случайных наблюдателей, но разведки не было и не могло быть. Ни за какие деньги не мог он купить даже лазутчика, чтобы тот забрался в Тарутинский лагерь Кутузова... Если его шпионы что и узнавали, так все сходилось в Вильно, а уж из Вильно передавали ему в Москву. На это уходило время, данные обесценивались в дороге.

— Почему он не пошел прямо на Петербург?

— Я однажды спросил его об этом. Наполеон ответил мне так, будто опасался нехватки в продовольствии. Наверное, он решил, что по дороге на Москву ему будет сытнее.

— А где вы были в конце войны?

— Состоял при английской армии.

— Вы были ранены при Ватерлоо?

— Нет. Мне всадили нож в спину при Витри-ле-Франо, когда я пробирался через Францию с известием к Веллингтону. Это уже после бегства Наполеона с острова Эльба.

— Как вы относитесь к герцогу Веллингтону, который при Ватерлоо вдруг произвел Англию в главную победительницу?

— Наполеон был прав, считая герцога пузырьем, раздутым англичанами. Уверен, будь тогда при Наполеоне Бертье, а не Груши, и Лондону не пришлось бы кичиться... Помню, что в Вене художник Изабе отказался портретировать Веллингтона. «Извините, — сказал он, — но я пишу только исторических лиц...» На прощание я разрешаю вам задать банальный вопрос.

— Кто сжег Москву? — спросил я.

— Не знаю, — ответил Бальмен. — Но я вспоминаю, что на острове Святой Елены жила девочка Бетси Балькомб, которую Наполеон обучал географии. Однажды она спросила своего учителя: «Бони, ответь честно — это ты сжег Москву?» И тогда Наполеон ударил себя кулаком в грудь, приняв гордую позу: «Я!» — ответил он девочке... Вот и судите сами.

...Этот разговор с Бальменом мог состояться еще до 1843 года, когда знаменитый окулист Сиссель сделал ему операцию по снятию катаракты, а через пять лет Бальмен умер.

Конечно, император Николай I никогда и ни под каким соусом не принял бы меня, но я уже предупредил читателя, что все наши интер-

вью будут воображаемыми, при обязательном соблюдении исторической истины. Допустим, что я представился журналистом из Берлина, поставляющим всякие сплетни в болтливую газету «Тетка Фосс», которую Николай I любил почитать на сон грядущий... Здесь же позволю себе маленькое предисловие к предстоящей беседе.

Смерть Наполеона не вызвала во Франции сожаления, но в 1840 году граф Бертран вывез его останки с острова Святой Елены в Париж, гроб с телом императора был помещен в Доме инвалидов, и началось всенародное ликование. К тому времени сам Наполеон уже потерял реальные черты, стараниями бонапартистов он постепенно превращался в человека-легенду, делаясь неким символом былой славы Франции. Правительство Николая I всегда было в натянутых отношениях с французским кабинетом, и вскоре официально Петербургу представился удобный случай вызвать скандал в Париже, а задом подорвать доверие публики к премьер-министру Франсуа Гизо. Именно с этого я и начну свою беседу с русским императором...

— Ваше Величество, — сказал я, кланяясь, — как могло случиться, что Наполеон, повинный перед Россией своим нашествием на нее, оказался закован в российский мрамор?

— А так ему и надо! — браво отвечал Николай...

Гроб с прахом Наполеона долго не имел саркофага, и премьер Гизо, желая повысить свой престиж в народе Франции, хлопотал о его сооружении. Я спросил, правда ли, что именно Россия — о, злая ирония судьбы! — участвовала в сооружении гробницы императора Наполеона.

— Да, для создания гробницы архитектор Висконти считал пригодным красный порфир. А я уже давно хотел подставить ножку этому болтуну Гизо...

— Висконти не сын ли маркизы Висконти?

Император оказался не в меру говорлив.

— Вы имеете в виду метрессу Бертье? Я ее помню. Ей было уже за шестьдесят, но лицо оставалось без единой морщинки. Кстати, вашей «Тетке Фосс», право, будет нелишне знать, что случилось с самим Бертье... Это было в Бамберге, где он жил у нас в штабе, хотя мы и не считали его пленным. Он казался очень равнодушным человеком. Конечно, быть при Наполеоне столько лет — можно и устать. Бертье стоял у окна, когда в Бамберг входила наша кавалерия. Цокот копыт заглушал все звуки, и мы даже не заметили, когда Бертье исчез. Мы кинулись на улицу — Бертье лежал на панели с разбитой головой. Так и осталось для нас тайной, то ли он выпал из окна случайно, то ли решил покончить с собой...

— Ваше Величество, мы уклонились от темы.

— Я никогда не уклоняюсь! — грозно глянул на меня самодержец всея Руси, и тут я заметил, что строго в профиль линии его лба, носа, подбородка и живота составляют одну вертикальную линию. — Висконти помешался на красном порфире для гробницы, которого во Франции не было...

Франсуа Гизо послал геологические экспедиции в древние каменоломни Египта; обыскали все горы в Пиренеях и Vogезах, ничего нужного не нашли, а в палате пэров уже возникла перебранка, Монталабер в гневной речи заклинал Францию не обращаться к услугам каменоломен николаевской России.

— Я политикой не занимаюсь, — важно соврал Николай I, — для этого дела у меня есть Нессельроде... Гизо перепахал носом Европу и Африку, но все напрасно, а этому Висконти приперло — подавай ему бордовый порфир, и никакого другого не надо! Является ко мне граф Клейнмихель с докладом: искомый для Висконти камень имеется только в моей великой империи... Еще бы! — гордо произнес Николай, составляя идеальную вертикаль самодержавной власти. — Я глянул на Клейнмихеля и говорю: дать.

— И что же было далее, Ваше Величество?

— Клейнмихель затрепетал. Я вызываю Нессельроде. Тоже трепещущего. «Ты кто? — говорю. — Почему я должен узнавать о поисках порфира со стороны?» Нессельроде пытался доказать, будто министерство иностранных дел к геологии отношения не имеет. Пришлось мне самому заняться политикой! Ведь если русский мрамор облетит Наполеона, мы тем самым накажем гордыню французов, а сам Гизо... вылетит в отставку.

Понятен ход мыслей императора: выкапывая в Карелии порфир для Наполеона, он подкапывался под кабинет Гизо.

— С интересом слушаю, Ваше Величество.

— Да! — сказал император. — Все, что происходит лично от меня, все интересно... Моя империя пришла в движение, как пироскаф на Неве с его дымом и колесами. Порфир ломали на берегу Онежского озера. Губернатор тамошний трепетал. Весь в ревности и усердии. Я обещал ему Анну на шею. Геморрой и рога от жены он уже имел... Годится для «Тетки Фосс»?

— Она будет восхищена, Ваше Величество.

— Я думаю! — сказал император. — По моему велению Наполеон оказался в пиковом положении. Я его замуровал в русский камень. Гизо потом клялся и божился, что не хотел оскорбить памяти великого императора, но... Кто ему поверит?

Русский порфир большущей глыбой был в 1846 году выломан из недр Карелии и отправлен во Францию. Через два года Висконти талантливо обработал его в саркофаг, известный теперь всему миру. Но туристы в Париже, посещающие усыпальницу Наполеона, вряд ли знают, что за этим камнем таилась политическая интрига... Россия всегда очень экономно расходовала свои каменные ресурсы, а порфир продавала за границу с баснословной пошлиной. Николай I уступил Гизо камень без взыскания пошлины, что насторожило оппозицию его кабинета. Работы по выломке камня обошлись русской казне в 200 000 франков, печать Европы утверждала, что Гизо подкуплен именно за эту сумму. Но это неправда: Россия никаких взяток Гизо не давала, а порфир не дарила Франции — она продала его за наличные, лишь не взяв пошлины в 6000 франков... Этот политический скандал совпал по времени с февральской революцией 1848 года, он помог свержению не только Гизо, но и короля Луи Филиппа. Впрочем, последняя информация уже не для «Тетки Фосс»!

.....

Как заметил наш историк А.З. Манфред в конце своей монографии о Наполеоне, теперь в Доме инвалидов весьма малоллюдно, французам уже не любопытно видеть гробницу своего кумира. Но в прошлом веке бонапартизм с его легендой о великом императоре увлекал не только Францию, эта легенда волновала и русское общество. Наполеон из легенды был уже другим. Простой и доверчивый, он делился хлебом с солдатом, чуждался блеска и суеты власти, озабоченный лишь величием Франции и благом своих подданных. В посмертном культе из личности Наполеона были выпячены наружу все доблести. Нет, такой Наполеон был уже далек от личного честолюбия, он хотел мира и счастья всем народам. А воевал только потому, что его вынуждали к тому коварные происки кабинетов Лондона, Вены и Петербурга.

Недавно в нашей стране вышла книга В.М. Далина «Историки Франции», в которой автор указывает, что даже в наши дни еще не сложилось равнозначного отношения к Наполеону: один автор пишет о нем как о гнусном тиране, мелком негодяе и завистнике, другой возвышает героя до небес как образец благородства и величия. Ведь об этом человеке можно рассуждать и крайне примитивно: народы Европы много лет подряд убивали и калечили друг друга только потому, что какому-то плюгавому корсиканцу вдруг захотелось стать властелином Европы... Это, повторяю, примитивно, но доля истины в этом есть! Потому и понимаю ненависть к нему Льва Толстого...

Наверное, именно это и заставило меня навестить Ясную Поляну, где я спросил писателя:

— Как вы относитесь к императору Наполеону?

— А я не желаю и слышать об этом негодяе, — ответил Лев Николаевич. — Светлых сторон в его личности вы не сыщете. Сначала исчерпайте до дна все страшное и темное, что ему присуще. Тогда на самом дне, может, и сыщется единая крупинка добра... Жалкая, обрюзгшая фигура человека с брюхом. Вон он, я вижу, шляется по острову Елены в своей дурацкой шляпе, изображая гения. Авантюрист в политике. Международный бандит, живший доходами с убийства ни в чем не повинных людей... Все ради славы! — брезгливо сказал Толстой. — А что слава? Только дым — вонючий и гадостный*.

Бонапартистская легенда о Наполеоне, излишне приторная, для Толстого, конечно же была отвратительна.

— Его вознес Беранже, ему бряцал на кимвалах Байрон, кадил ему наш Лермонтов, потом притащили в Париж разложившийся труп, стали кричать о герое... А был ли Наполеон героем? Как человек, он попросту малоинтересен, даже фигуры Барраса и Мюрата цельнее и забавнее. Мазурик он, вот кто! — поставил точку великий писатель. — Это дуракам кажется, что Наполеон был двигателем мира. На самом же деле — ребенок с игрушечной лошадкой, сидя на которой он воображает, держась за тесемочки, будто он руководит чужим движением...

Писатель-гуманист, Толстой отвергал кровопролитие, он отвергал войны как способ разрешения политических задач: «Египетская экспедиция — злодейство. Ложь всех бюллетеней — сознательная... На Аркольском мосту упал в лужу, то есть не шагал со знаменем, как изображают на картинах. Любит ездить по полю битвы. Трупы и раненые — его радость. Брак с Жозефиной — успех в свете. Три раза исправлял реляцию сражения Риволи — все лгал... И потом это сумасшествие — принять в свое ложе дочь кесарей» (Марию-Луизу).

— Ложь и величие, — говорил Лев Толстой, — потому только, что слишком велик объем преступлений. И в конце жизни — позорная смерть... Он фальшив насквозь, как публичная женщина. Вы, мол, простые люди и дурачки, а я, гений, вижу в небесах свою звезду... Никогда не пишите о Наполеоне!

— Лев Николаевич, но вы-то писали.

— Жалею, что многого не знал тогда. Теперь самый драгоценный материал — все о Святой Елене! И как он там притворялся великим. Меня страшно волнует это чтение. Его поза там гадка и отвратительна. Ах, какая жалость, что я не коснулся еще этой темы. Помните, моло-

* В этом мнимом «интервью» я использую высказывания о Наполеоне Л.Н. Толстого, запечатленные им в переписке с писателем А.И. Эртелем, опубликованной в журнале «Голос минувшего» (1913, январь, с. 171—173).

дой человек, для нас не может быть Наполеона с развернутым знаменем на Аркольском мосту — это подхалимы придумали. Для меня есть Наполеон, упавший задницей в грязную лужу. Вспомните его трусость восемнадцатого брюмера. Вот он, подлинный Наполеон! А вы мне тут говорите — герой... величие... слава... Чепуха все это.

Софья Андреевна Толстая предложила мне чашку чаю, но я уже потянулся к шляпе и зонтику:

— Благодарю, мне пора на поезд.

— Вы куда собираетесь ехать? — спросил Толстой.

— Спешу застать в живых последнего офицера «Великой армии», последнего кавалера медали «Острова Святой Елены».

— Как? — удивился Толстой. — Еще не все передохли?..

Свою мнимую встречу с писателем я прошу отнести к 1880 году, когда Лев Толстой рассуждал о Наполеоне примерно так, как описано мною выше. Из Тулы я выехал в Саратов, и там мое последнее интервью станет концом этого романа...

Саратов — душный, пыльный, жаркий, в садиках обывателей поникли чахлые ветви акаций. Городовой в белой рубаше беззаботно дремал, прислонясь к тумбе, обклеенной афишами о гастролях Николая Фигнера. На мой вопрос, где живет господин Жан Батист Николя де Савен, он сказал, что такого не знает:

— Есть тут, правда, один, только не Савен, а — Савин. По-французски — да, горазд, так и сыплет... Идите, сударь, на Грошовую, там и спросите. Да и на воротах писано...

Мне уже приходилось читать, что Савен-Савин учил французскому языку молодого Н.Г. Чернышевского; теперь нет и Чернышевского, а его учитель еще здравствует. На пустынной Грошовой улице выглядывал из зелени крохотный домишко в три окошка, на калитке висела дощечка с надписью: «Дом поручика Николая Андреевича Савина». Внутри дворика квохтали куры, седая старуха полола редиску, в медном тазу, булькая, варилось клубничное варенье. Бодрый старичок сидел на завалинке с красной лентой Почетного легиона в петлице ветхого сюртука. Он приподнял над головою старомодный картуз:

— Изволь осведомиться, сударь, кого ищете? Ах, меня... В таком случае прошу называть меня по-русски... Авдотья!

Дряхлая старуха с трудом разогнулась над грядами.

— Это моя доченька, — сказал мне Савин, велев ей поставить самовар. — Прошу в комнаты...

Он начинал боевую жизнь, когда в России молодо запевал Гаврила Державин, а теперь готовился вступить в литературу Максим Горький.

Конечно, я ожидал встретить в Саратове беспомощную развалину, дышащую на ладан, а застал крепкого и бодрого старца, никогда не болевшего, не знающего, что такое очки. Мне было известно, что Савин проделал в конце XVIII века походы в Египет и Палестину, сражался в Испании, был при кровавых штурмах Акры и Сарагосы, сидел в тюрьмах испанской инквизиции, наконец, двинулся на Россию... За самоваром мы начали разговаривать.

— Николай Андреич, а где вы попали в плен?

— На Березине... Там, знаете ли, практически было невозможно спастись. Об этом много уже писали — во Франции, в Германии, в России, я все это читал. Но никто, мне кажется, не сумел донести до читателя весь кошмар нашего положения. Как последний очевидец этих событий, я могу сказать, что Кутузов и впрямь устроил всем нам у Березины хорошую мышшеловку. Как вырвался Наполеон — даже не представляю.

Русская речь Савина была чистой, без акцента.

— А кто вас пленил, Николай Андреич?

— Казаки... Они впихнули меня в шатер графа Платова, где его сиятельство с другим сиятельством, Строгановым, изволили водочкой забавляться. Платов встал, как даст мне тумака по шее, помню, еще сказал: «Развелось вас тут — не пройти и не проехать!» А граф Строганов засмеялся и водкой угостил.

— В каком чине вы были тогда?

— Лейтенант Второго гусарского полка.

— И сразу отправили сюда, в Саратов?

— Сначала в Ярославль, там я стал учителем фехтования. Учил офицеров тамошнего гарнизона. Ух, и пили же мы...

— Шампанское? — наивно понадеялся я.

— Какое там! Водку... самую настоящую водку. А пили так, что страшно вспомнить. Потом уж я сюда переехал, да так и остался. Возвращаться на родину расхотелось. Была тут, в Саратове, мадам Пикер, вдова кондитера, которая учила детей французскому. Потом стал учительствовать и я. Женился на местной, Бог доченьку дал, а жену прибрал... Ни о чем не жалею! Были у меня золотые денечки, встречал золотых людей!

— А вот во Франции... как родственники-то?

— Может, и остались, да что им до меня? Забыли. Франция тоже забыла. Вычеркнули из списков — и все, будто и не было такого человека. Франция только из русских газет узнала недавно, что в Саратове еще живет последний ветеран «Великой армии». Ну, тут посыпались адреса, приветствия, «Фигаро» объявила подписку, то да се... А я восемьдесят два годочка в Саратове прожил, куда ж мне теперь? Не поеду! Мне французское правительство медаль прислало...

— Покажите, мне любопытно, — сказал я.

Это был экземпляр медали «Острова Святой Елены», на зеленом муаре ленты круг из темной бронзы с профилем Наполеона и датой его смерти — 5 мая 1821 года. Давалась такая медаль только тем ветеранам Франции, которые сражались за нее с 1792 года...

— Все вымерли... я остался последним. Но жить не надоело, — засмеялся Савин. — Меня здесь все знают, все любят. Помирать стану со словами признательности к русским людям, которые ни разу не упрекнули меня прошлым. Все простили, даже помогли... Да и сейчас помогают! — сказал Савин. — Я вот на базар хожу только сам. Моя доченька обязательно не то купит. Так ведь иду я с кошелкой, меня каждый остановит — не надо ль помочь?

На окнах полыхали яркие герани в горшках, Савин показывал мне свои рисунки и акварели, портрет Наполеона, изображенного на краю скалы.

— Это я рисовал уже в России... по памяти!

На другой картинке Наполеон ехал верхом на верблюде через палящий зной пустынь, вдали виднелись пирамида Хеопса и загадочная морда египетского сфинкса. Я осторожно выводывал у старика, каково же теперь его отношение к Наполеону.

— А какое ж оно может быть? — с грустью ответил Савин. — Теперь для меня Наполеон — это моя молодость, это моя красота, моя слава и гордость... Может, мне и было тогда очень плохо, но сейчас-то мне с ним хорошо!

Николай Андреевич Савин скончался в ноябре 1894 года в возрасте 127 лет; жители Саратова хоронили его за счет города, поставили ему памятник с надписью: «ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ АРМИИ». Меня как-то даже не удивляет, что он жил и умер у нас, в России, в которую однажды пришел с оружием. Русский человек свиреп в бою, но великодушен и щедр с побежденными... Сейчас передо мною лежит портрет Николая Андреевича Савина, а саратовским краеведам я советую поухаживать за его могилой. Странно! Я от иногда думаю, что моя бабушка, Василиса Минаевна Каренина, ведь была тогда молодой девушкой, и, наверное, она еще могла бы слушать рассказы Савена-Савина о тех временах, которые для меня, для автора, стали далекой историей...

*1 января — 17 апреля 1983 года,
Рига*

МИНИАТЮРЫ

Бобруйский «мешок»

Я никогда не бывал в Бобруйске, не знаю, какие в нем (и в его окрестностях) здания прошлого сохранились и какие не уцелели: наверное, местные краеведы знают об этом лучше меня, и все-таки я рискну поведать одну историю, связанную с Бобруйском, а если в чем-то и допущу ошибку, я буду благодарен, если знающие люди меня поправят...

Но для начала нам предстоит потревожить один из томов «Петербургского некрополя» — нужна вот эта могила! Действительный статский советник Виктор Никитич Никитин скончался в 1908 году и погребен на Митрофаньевском кладбище. С этим человеком я познакомился еще в молодые годы, приобретя у ленинградских букинистов его книгу «Многострадальные» — из жизни кантонистов Николаевской эпохи, которая была издана в 1872 году. Теперь я знаю, что автор, рожденный в бедной еврейской семье, еще ребенком был разлучен с родителями, его крестили в православную веру под фамилией «Никитин» и поставили в строй кантонистов.

Никитина от казарменной муштры спас красивый почерк. Будучи военным писарем, повзрослев и насмотревшись всякого, дурного и доброго, Виктор Никитич решил испытать свои силы в литературе. Чернышевский, с которым он познакомился случайно, вывел его на писательскую стезю. Ныне совсем забытый писатель, В.Н. Никитин создал немало книг, но почти все его книги посвящены тюремному быту и нравам заключенных. Не надо этому удивляться, ибо чиновная карьера писателя складывалась по тюремному ведомству, и эта карьера (увы, не литературная!) как раз и вывела автора в столь высокий гражданский чин, что высечен на камне его петербургского надгробия...

Однажды судьба занесла Никитина в Бобруйск, чтобы инспектировать военно-арестантскую роту, и здесь он познакомился с бобруйским комендантом Григорием Даниловичем Бабкиным, который по долгу службы обязан быть «зверем», но старик, напротив, был большим добряком. Чтобы его не обвинили в «либерализме», он творил добро из-за

ширмы. Да, он ставил перед окнами ширмы и, когда мимо дефилировали арестанты, швырял в них каждый день по сотне свежих булок, сам оставаясь невидим за ширмами, а солдаты, ловя булки, кричали: «Премного благодарны, ваше превосходительство!» Григорий Данилович Бабкин, скажу я читателю, имел чин генерал-лейтенанта...

Радуюсь свежему человеку из столицы, Бабкин в один из дней пригласил Никитина отобедать к своему столу в квартире, расположенной внутри крепости.

— Я и сам-то, — жаловался старик, — живу здесь в темнице и других невольцев обязан... Откушаем, что Бог послал, да поговорим о всяких несуразностях казенного бытия.

Никитин, еще молодой человек, приглянулся Бабкину, в беседе коснулись они и литературы, и коменданту Бобруйска явно захотелось сделать гостю что-либо приятное.

— Хотите, я вас здорово напугаю? — предложил он.

Виктор Никитич сказал, что после частых посещений тюрем и дисциплинарных казарм напугать его трудно.

— И все-таки, — сказал Бабкин, — я приведу вас в ужас.

— Не откажусь и от ужаса, — согласился Никитин.

— Тогда... поехали, — сказал Бабкин.

Уселся в коляску, лошади вынесли их на загородное шоссе. Виднелись вокруг леса и поляны, а вдалеке мрачнело какое-то здание — вроде древней фортеции, строенное на холме.

— Что это там? — удивился Никитин.

— Сейчас приедем, — утешил его комендант.

Приехали, и перед ними, натужно проскрежетав, отворились железные ворота. Разом выбежали солдаты караула, построились, фельдфебель отдал рапорт коменданту.

— А, Гаврилов! — дружески сказал ему Бабкин. — А я тебе гостя привез, давай, милоч, тащи ключи от «мешка»...

Никитин заметил, что Гаврилов изменился в лице, при этом солдаты жалобно смотрели на своего «гостя». Гаврилов, едва переставляя ноги, утащился в караулку и вынес ключи. В стене форта открылась узкая дверь, а там завиднелась узенькая лестница, ведущая наверх. Бабкин подтолкнул Никитина, чтобы шел вослед фельдфебелю, и сказал:

— Ну-ну! Смелее... ну!

Ступени кончились, все трое оказались на каменной площадке перед массивной железной дверью с заклепками.

— Открывать, што ли? — неуверенно спросил Гаврилов.

— Открывай, — велел ему Бабкин.

Руки фельдфебеля тряслись от страха, он с трудом попал ключом в замочную скважину. Открылась железная дверь, за ней и вторая — деревянная. Изнутри пахло застоявшимся холодом.

— Мое дело — сторона... пожалте! — сказал Гаврилов.

Тут Бабкин горячо облобызал Никитина, перекрестил его:

— Ну, Витенька, посиди-ка тут да подумай...

Дверь замкнулась, и тишина вонзилась в уши Никитина как-то зловеще. Сколько минут пробыл он в этой камере — не понял, пораженный формой камеры, которая не имела углов. Были в ней только три дырки (сверху для света, сбоку для приема пищи, а третья внизу для нужды), но... Где же углы? Виктор Никитич увидел себя заточенным не в куб, даже не в шар, а в какое-то узкое пространство, имевшее форму яйца. Все и всюду было овальное, даже койка и столик изгибались, повторяя кривизну камеры. «Ни стать во весь, хоть только средний рост, ни лечь, вытянувшись, положительно нельзя было, и принужден был стоять согнувшись». Какие там годы, какие там часы? Считанных минут понадобилось, чтобы Никитин испытал странное, давящее беспокойство, безумное желание вырваться из этого каменного узилища, имевшего форму куриного яйца.

— Григорий Данилыч! — стучал он в двери. — Да откройте же! Ну пошутили — и хватит... ей-ей, мне довольно...

Бабкин не стал его мучить — выпустил. Когда же Никитин из каземата спустился во двор, то увидел, что по щекам караульных солдат текут слезы.

— Братцы, чего вы плачете? — спросил он.

— Ах, ваше благородие! — с чувством отвечал за всех пожилой фельдфебель. — Мы ведь решили, что генерал Бабкин привез навсегда вас в «мешок» упрятать... Оттого и плачем, что очень уж нам жалко вас стало. Не приведи господь сюды-тко попадаться!

Бобруйский комендант тут же наградил Гаврилова рублем, а солдатам — из своего кошелька — раздал полтинники.

— Ваши слезы, — сказал Бабкин, — делают вам честь. Вы меня утешили тем, что по-христиански любите ближних. Спасибо вам, братцы... Ну как? — спросил он потом Никитина, подзывая коляску.

— Страшно, — не стал притворяться смелым Никитин. — Но слезы ваших солдат и меня растрогали...

Поехали обратно в город. Никитин после долгого молчания, потрясенный кратким заключением, спросил у генерала, откуда взялась эта странная камера в форме яйца?

— Это форт Вильгельма, — пояснил Бабкин...

...Николай I был женат на прусской принцессе, поддерживая родственные связи с Берлином, сам часто бывал в Пруссии, и Гогенцоллерны навещали его в России. Одно из свиданий с братом жены Вильгельмом (тогда еще наследным принцем) состоялось в Бобруйске. Как-то вечером Николай с шурином катались верхом в окрестностях города, и, въехав на

холм, Вильгельм сказал, что эта возвышенность самой природой создана для сооружения на ее вершине форта. Император согласился заложить здесь форт как предместное укрепление Бобруйска.

— И назову его «фортом Вильгельма» — в память о нашем приятном свидании, — сказал русский император.

— А я, — ответил шурин, — пришлю из Берлина инженера для строительства этой фортеции...

Немецкий инженер и создал внутри каземата эту страшную яйцевидную камеру, прозванную «мешком», но выдумал ее не он сам, а скопировал с камер средневековых тюрем. Коляска уже вкатилась в окраинные сады Бобруйска, Никитин спросил:

— А сидел ли кто в этом ужасном «мешке»?

— Свято место пусто не бывает, — мрачно ответил ему комендант. — Того, кто сидел, давно нет в живых, но я хорошо знал его. В ту давнюю пору я был капитаном Преображенского полка, мне и поручили отвезти его в этот бобруйский «мешок».

— Кто же этот человек, если не секрет?

— Секрета нет. Это грузинский князь Александр Дадияни, а история его ареста и заключения весьма поучительна...

Князь Дадияни был типичным баловнем судьбы, но очень знатным. Предки его по отцу еще в XIII веке получили Мингрелию в подарок от царицы Тамары, а мать была из семьи Нарышкиных, родственных царской династии. Шутя он окончил Пажеский корпус, шутя Николай I навесил на грудь пышный аксельбант своего флигель-адъютанта, шутя он бежал от долгов из столицы на Кавказ, где стал полковником и командиром Эриванского полка. В то время командующим войсками Грузии был барон Григорий Розен, женатый на графине Зубовой, — вот на их дочери Лидии Григорьевне и женился князь Дадияни...

Так-то вот тридцатилетний Дадияни, едва ли способный командовать ротой, очутился вершителем судеб нескольких тысяч солдат и более сотни офицеров, большинство из которых годились ему в отцы. А женитьба на дочери командующего вознесла его выше меры, он разговаривал свысока, на любое замечание отвечал бранью и оскорблениями, а мнение о нем солдат-эриванцев я цитирую буквально со слов Рукевича, который в то время служил солдатом в Эриванском полку князя Дадияни:

— Пустой человек! — говорили старые кавказцы. — От своих грузин отстал, а к нашим не пристал. На нас же, на солдат, глядит словно на рабочих скотов. А петушиться-то горазд... любит...

Но тот же Рукевич писал, что князю простили бы многое, если бы он хоть изредка позаботился о солдатах, если бы он разговаривал

с людьми, не оскорбляя их поминутно, раздавая направо и налево зуботычины. Наконец (и это, пожалуй, самое главное), князь Дадиани видел в солдатах Эриванского полка не слуг отечеству, а лишь своих бесплатных крепостных, обязанных на него работать, и не только солдат закрепостил он, но превратил в рабынь и жен солдатских. А кому пойдешь жаловаться, если князь Дадиани зятем у самого командующего? Между тем барон Г.В. Розен был человеком честным и небогатым, приданое за его дочерью оказалось мизерным, и потому князь Дадиани обратил свой полк не против врагов России, каких тогда на Кавказе было немало, а на благоустройство своих обширных имений в Манглисе (позже ставшем дачным местом грузинской столицы).

Так «служил» Эриванский полк до 1837 года...

В этом году Николай I решил посетить Кавказ. Приближаясь к Тифлису, император заметил много людей, рывших канавы; по тому, как эти оборванцы вытянулись перед ним и его свитой, скакавшей по бокам коляски, царь признал в них служивых.

— Какого полка? — окликнул он их.

— Эриванского карабинерного...

Пастухи гнали в горы отары овец — того же полка, мостили дорогу каменщики — того же полка; наконец, от быстрой езды загорелись оси колес царской коляски, и побежал за водой с ведром к ручью босяк — того же карабинерного.

— Поди-ка сюда, — поманил его царь, когда оси перестали дыбиться. — Сознайся мне, каково тебе служится на Кавказе?

Тот по простоте душевной сказал, что плохо. На винокуренном заводе в Манглисе — жить было можно и пьян каждый вечер, а вот как наладили его мыло варить на продажу в Тифлисе — стало хуже:

— Потому как мылом помоешься, а есть-то хочца! Вот и хожу, как дурак, сам чистый, а в животе пусто.

— Ну ладно, — сказал император, — вижу, что заехали мы в царство винокуров да мыловаров... Катенин! — окликнул он своего адъютанта. — Давай, Катенин, сворачивай с шоссе — скачи в Манглис, разузнай, что там у князя Дадиани, и в Тифлисе вечером мне доложишь...

В имении князя Дадиани размещался и штаб Эриванского полка; прослышав, что царь близится к Тифлису, Дадиани снарядил в Манглис своего адъютанта, чтобы как можно скорее обул и одел солдат, чтобы спешно раздал им жалованье. Но Катенин уже был в Манглисе, перед ним выстроились более 600 каких-то нищих оборванцев и босяков, не имевших даже отдаленного сходства с воинскими чинами. Эриванцы в один голос сообщили Катенину, что на полковой барщине ни копейки не заработали, а секут не только солдат, но и жен их,

которых князь, командир полка, принудил к работам. Тут прискакал посланный от Дадияни адъютант и начал направо и налево сыпать в солдат медяки из торбы:

— Хватит врать, что вас обижают. Если вам и этого мало, так его сиятельство сулит еще торбу прислать...

Катенин поскакал в Тифлис — для доклада. Николай I выслушал его и, помолчав, воскликнул:

— О великий Шекспир, где ты?..

9 октября царь с утра был на смотре грузинской кавалерии за Курою, а в полдень назначил смотр Тифлисского гарнизона и Эриванского полка на Мадатовской площади. День выдался очень жаркий, солдаты начали готовить еще с ночи, загодя их выстроили на площади, они устали, изнемогая под тяжким бременем мундиров, скаток и амуниции, а первая шеренга с их густо нафабранными усами и бакенбардами не смела даже улыбаться. Стояли. Ждали. Чтобы поглазеть на царя, площадь запрудила громадная толпа горожан, много людей сидело на крышах, а на балконе дома Шемир-хана восседало семейство барона Розена и Дадияни, веселые и разряженные. Ожидание затянулось, несколько солдат упали из строя при обмороках.

Наконец в окружении свиты показался император, скачущий на лошади. Декабрист И.И. Лорер, очевидец парада, вспоминал, что «барабаны загрохотали, музыка гремела, но царь махнул рукою, и водворилась тишина» (даже в толпе горожан).

Зычным голосом на всю площадь царь позвал:

— Полковник князь Дадияни!

Барон Розен пояснил, что его зять только что объявился с головной болью и сейчас — вон! — сидит на балконе.

— Ко мне его! — велел император; при этом он нервно прохаживался вдоль фронта, ни с кем не разговаривая, и — ждал.

На площади появился князь Дадияни, еще издали он держал два пальца возле виска, то ли заранее приветствуя сюзерена, то ли от головной боли, а в лице его не было ни кровинки.

Не все на площади слышали, что говорил ему царь, до слуха людей доносились отдельные слова, чуждые боевой жизни:

— ...был лучший полк... свиней пасли... мыло варишь, а... где слава?.. эти овцы... не достоин... С н я т ь!

Последнее слово прозвучало отчетливо, словно могучая оплеуха, отпущенная с налету. Дадияни торопливо отстегивал жгут аксельбанта, но пальцы его не слушались, и тогда император, шагнув к нему, сам рванул с груди князя золотой аксельбант, с плеча Дадияни полетел и золотой эполет полковника.

Обесчестив своего флигель-адъютанта и разжаловав его из полковников, Николай I гаркнул на всю Мадатовскую:

— Р о з е н! — Но в толпе армян, грузин, курдов, персов и татар услышали иное, будто царь повелел: — Р о з о г! — и, решив, что сейчас начнут пороть всех подряд от мала до велика, гигантская толпа жителей бросилась врассыпную — кто куда.

Барон Розен стоял ни жив ни мертв, и Николай I, понимая, каково сейчас старику, перебросил ему аксельбант, сорванный с груди зятя, и при этом великодушно объявил:

— Жалую им твоего сына... бери!

Тут зарыдал Дадиани, заплакал барон Розен, а на балконе дома Шемир-хана дамам и девицам сделалось дурно. Николай I в двух словах разделался с бывшим флигель-адъютантом:

— Тебе дали прекрасный полк, а ты превратил солдат в своих рабов, заморил их работами ради собственных прибылей... Больше я тебя не увижу. Прощай. Эй, где капитан Бабкин?

— Я здесь, ваше императорское величество.

— Вези! В Бобруйск — в «мешок» его...

Бабкин, тогда еще молодой офицер, потом рассказывал Никитину, что царское повеление ошеломило его, что он пришел в себя «через две станции от Тифлиса». Дадиани сопровождали еще три жандарма, до Бобруйска ехали полмесяца — на тройках!

— Ну, приехали, — сказал Григорий Данилович, когда перед его коляской распахнулись ворота Бобруйской крепости. — Виктор Никитич, время-то уже позднее. Может, вместе чайку попьем? С сиротой-племянницей познакомлю. Вот ради нее и выслуживаю пенсию, дабы без приданого ее не оставить...

За самоваром Григорий Данилович рассказывал, как было страшно сажать в «мешок» князя Дадиани, который до самого последнего момента не верил, что его, потомка царей Мингрелии, будут судить. Но «генерал-аудиториат, рассмотрев его дело, признал князя Дадиани виновным, приговорив его к лишению чинов, орденов, княжеского титула и дворянского достоинства...» — тут я цитирую военного историка П.К. Мартянова.

— Делать нечего, — рассказывал Бабкин. — Правда, ни Дадиани, ни я сам представления об этом «мешке» не имели. Но тогдашний комендант «форта Вильгельма», когда прочел бумагу, ахнул, отвел нас вверх, где камера, и сказал всем нам: «Ну, господа, попрощайтесь с ним по-божески. В этом “мешке” одна надежда — на Бога!» Не знаю, что тут с нами случилось, не только я, но даже и жандармы стали целовать на прощание

Дадияни. С того самого дня я оставил легкомысленный образ жизни. А когда в Петербург прибыл, меня вызвал к себе сам граф Бенкендорф и сказал мне: «Капитан, так и умрешь капитаном, ежели проболтаешься где-либо про этот “мешок”. Будут спрашивать — отвечай: каземат — и только!» А в Тифлисе, когда мы повезли Дадияни, в тот же вечер император велел барону Розену дать бал для Тифлиса, чтобы жена и дочери, включая и жену Дадияни, танцевать не стыдились. И они, говорят, танцевали...

Очевидец событий писал: «Лидия Дадияни в тот же вечер танцевала и много смеялась... она это делала под деспотическим взором матери, которая желала показать (императору) непричастность семьи Розенов к увезенному от них Дадияни».

Бобруйский комендант закончил свой рассказ:

— Всего три года высидел князь Дадияни в «мешке» с тремя дырками, а когда отворили камеру, так вынимали его оттуда едва живого. Не человек, а развалина, ползал на четвереньках, речь невнятная, глаза безумные... Сослали его в Вятку, а простил его уже новый император, Александр II, с тех пор он и жил в подмосковной деревне жены своей... Вот и конец. Вам еще чаю?

Через несколько дней Никитин навсегда покидал Бобруйск и зашел проститься с комендантом Бабкиным:

— Григорий Данилович, рад я знакомству с вами, благодарю за хлеб-соль. Простите, если спрошу...

— Ну? О чем, молодой человек?

— Кто-нибудь после Дадияни сидел в «мешке»?

— Был и второй узник. Был!

— Кто же он?

— Литовский граф Леон Платер.

— Не знаю его.

— Был замешан в Польском восстании шестьдесят третьего года, ну вот и был схвачен идущим «до лясу».

— Долго мучился?

— Нет. Его скоро повесили. Своими ногами дошел до виселицы. С тех пор «мешок» пустовал. Времена изменились к лучшему, и такое наказание, как «мешок», сочли в Петербурге слишком уж бесчеловечным...

Виктор Никитин записал последние слова старого бобруйского коменданта, служащего ради пенсии: «Если бы мне велели кого-нибудь содержать в нем, я, прежде чем это сделать, подал бы по телеграфу в отставку, ибо не мог бы и дня прожить с сознанием, что я исполняю роль палача...»

Дворянин Костромской

Четвертого апреля 1866 года каждый россиянин пробуждался как ему хотелось. Нас интересует лишь четыре пробуждения в этот памятный для России день.

Первое. Пробуждение императора Александра II.

...Он лежал в узкой комнатухе дворца и думал, что до серебряной свадьбы осталось всего десять дней. Надо отметить дату скромнее, не выпячивая семейных добродетелей, ибо это было бы неуместно по тем причинам, что Петербург достаточно извещен о его давних неладах с женою. Потом он задумался о племяннице Марии Баденской, которая сама не ведает, чего еще ей надобно от жизни. Вдруг император со стыдом вспомнил, что его обер-церемониймейстер Хитрово в игорном доме Ниццы схвачен за руку при нечистой игре. И этот дурак не нашел ничего лучшего, как заявить полиции при аресте, что он сумасшедший. С этими невеселыми мыслями император начал свой день.

Второе. Пробуждение генерала Эдуарда Ивановича Тотлебена.

...Герой обороны Севастополя жевал сушеную малагу, курил сигару и нещадно казнил невниманием к нему государя. Император все последнее время холоден к «великому фортификатору». Как прыгнуть выше головы, чтобы вернуть благорасположение государя? Тотлебен жевал, жевал, жевал... он курил, курил, курил! Желтый сок малаги испачкал подушку, пеплом генерал прожег одеяло. Ясно одно: день обещает быть теплым, император наверняка будет снова гулять с принцессой Баденской в Летнем саду, чтобы посмотреть на ледоход, столь бурный в том году. И Тотлебен стал быстро одеваться, решив идти в Летний сад, где следует непременно обратить на себя высокое монаршее внимание.

Третье. Пробуждение неизвестного с подложным паспортом.

...Он проснулся в дешевом номере Знаменской гостиницы, пальцами нащупал под подушкой пузырек с ядом. Он был голоден, но голод нисколько его не угнетал. Мысль, что завтра в госпитале его будет ждать ординатор Кобылин для электризации, рассмешила его. Пусть чахотка пожирает ткань легких — она уже бессильна против него, ибо смертью он попрал смерть. Сейчас его знают в номерах под именем господина Владимирова, но следует умереть так, чтобы не открылось подлинное имя — Каракозов! Протянув руку, он достал из кармана пальто пистолет и оба его ствола насытил двойными зарядами. День, таким образом, начался с ошибки.

Четвертое. Пробуждение картузных дел мастера Осипа Комиссарова.

...Он проснулся в грязной канаве где-то за Лиговкой, подле Николаевского вокзала. Еще вчера за пошив картуза он имел полтора рубля и, конечно, прогулял все до копеечки. Ужасна была мысль о возвращении домой, где его ждет Манюшка с красными руками прачки. Бьет она мужа всегда в ухо, как унтер-офицер солдата. Осип вылез из канавы и зашел в соседний трактир. Никто его не угостил. Стало печально. Хорошо бы найти кошелек. Тогда бы напился, чтобы страха не терпеть, и пошел бы домой — с чистой совестью. Однако сейчас возвращаться боязно. Ничего не решив, Осип Комиссаров стал шляться по городу. Может, где-нибудь да капнет удачей. Свет не без добрых людей...

Казалось бы, читатель, между этими людьми, пробуждения которых были столь различны, нет и не может быть ничего общего. Но история уже решила свести их в один плотный пучок. Эти четыре человека сейчас начнут сходитья вместе и станут уже неразделимы в событиях этого дня — дня 4 апреля 1866 года.

Мемориальная доска на решетке Летнего сада для того и повешена, чтобы этот день не угас в нашей памяти!

Пополудни Александр II гулял в Летнем саду вместе с Марией Баденской, и принцесса опять жаловалась, что ей ненавистен этот тихий мещанский Баден, она мечтает вернуться в Петербург. Слушая ее, император видел, как среди публики время от времени выступала на первый план мощная фигура Тотлебена, искавшего царской ласки, как собака кости. В тех случаях, когда сближение с Тотлебенем казалось неминуемым, царь брал племянницу под локоток, ускользая в промежуточную аллею. Кончились занятия в 3-й гимназии, что на Гагаринской, и через сад бежали лопухие гимназисты с ранцами. Александр II круто повернул к Невским воротам, где на набережной его ожидала коляска. Как всегда, здесь — к его выходу! — скопилось немало ротозеев... В этой же толпе случайно затерся и картузник Осип Комиссаров. Парень невольно очутился в первых рядах — поблизости от царя. Затылком он ощущал влажное дыхание молодого изможденного господина, который продирался к императорской коляске. Это и был Дмитрий Каракозов.

— Пусти меня, посторонись, — сказал он Комиссарову.

Возле уха вдруг качнулся двуствольный пистолет, направленный в грудь царя. Картузник присел и взмахнул руками. Двойной заряд пороха погубил все дело! Отдача при выстреле была столь чудовищна, что дуло вздернуло кверху, а сам пистолет вырвался из рук Каракозова. На покусителя сразу навалились, и тогда юноша закричал в сторону народа:

— За что бьете? Я же за вас... я за вас!

К схваченному быстрым шагом подошел император.

— Ты поляк? — спросил он. — За что ты стрелял в меня?

— Я русский! А вы слишком долго обманывали народ...

Комиссаров был ни жив ни мертв от страха, как на него вдруг ястребом налетел грозный генералище с усами встрепку.

— Вот он! — заорал Тотлебен, хватая картузника. — Вот он, спаситель отечества. Господа, вот новый Сусанин!

Генерал потащил картузника к царской коляске:

— Ваше Величество, обратите внимание...

— Во дворец! — гаркнул Александр II, даже не глянув на своего «спасителя», и захлопнул дверцу коляски.

Тотлебен, не падая духом, повлек в Зимний дворец и ослабевшего Комиссарова — верноподданнический спектакль продолжался.

— Ваше Величество, — внушал Тотлебен царю, таская картузника по комнатам, словно куклу, — рука Всевышнего спасла вас и наше отечество... Вот человек, который на моих глазах отвел руку злоумышленнику... Я это видел... своими глазами!

Весть о покушении Каракозова быстро облетела столицу. Придворный, гвардейский, чиновный Петербург спешил во дворец, где скоро от непомерной тесноты яблоку было негде упасть. Александр II вывел в Белую залу Комиссарова — и все стихло.

— Вот мой спаситель... Осип по отцу Иванов! Он из тех же костромских краев, откуда история Руси уже почерпнула одного героя — Ивана Сусанина! Надеюсь, дворяне, вы радушно примете в свою среду возведенного мною в дворянское достоинство вчерашнего крестьянина... В знак его подвига прошу вас отныне именовать его так: Комиссаров-Костромской!

В сановой толпе возникло некоторое оживление.

— Везут... сейчас явится, — слышались голоса.

Отдадим должное шефу жандармов князю Долгорукому: он архиспешно провел архисложнейшую операцию по изысканию в трущобах Петербурга драчливой Манюшки. По лестнице дворца уже вели рыдающую бабу. Платок сбился на ухо, волосы расплывались. В ужасе перед неизвестностью она завывала! Комиссаров, узрев жену, испытал некоторое уклонение в сторону (возжелалось ему по привычке спрятаться). Их поставили рядом, и тут Манюшка, услышав похвалы мужу, малость опаматовалась. К ней подошел сам петербургский предводитель дворянства граф Орлов-Давыдов и при всех долго и смачно лобызал ее рябые раздутые щеки:

— Голубушка, и тебя сопричислим к дворянству...

Александр II сделал знак рукою обер-церемониймейстеру, а тот пошел в двери и увел за собой на улицу скопище придворных. Наконец-то настал вожделенный момент, когда можно похмелиться

«после вчерашнего». Тотлебен отвез Комиссаровых к себе на дом, и новоявленный Сусанин так напился, что ничего не помнил. Продрав утром глаза, он зябко вздрогнул:

— Похмелиться бы... ух как душа горит!

— Шампанею с ледника подать, — раздался властный голос...

Тотлебен от него ни на шаг — являл «спасителя» всюду, как содержатель зверинца являет публике редкого зверя. При этом, как известно, мзду за показ получает не сам зверь, а его укротитель. Тотлебен своего достиг: карьера была восстановлена, государь с генералом снова благожелателен...

— Ура! — И захлопали пробки с утра пораньше.

Комиссаров-Костромской стал входить в роль «спасителя».

— Стою это я... вот так примерно, — рассказывал он всем. — И вдруг наблюдаю... Пистолет кто-то вздымает. Целится. Ага, думаю, это в кого же ты целишься? В надежду всяя Руси?.. Тут я не стерпел да каак врежу. Он — кувырк! А пуля мимо — шварк... Ну, слава те хосподи. Перекрестился я тута, и отлегло...

— А я при этом сбоку стоял, — утверждал Тотлебен. — Но зла пресечь не успел. Зато этот молодец не сплеховал.

Непомерная слава раздувала картузного мастера! Клубы, ученые общества, лицеи и музеи спешили сделать из него своего «почетного члена». Герцен в «Колоколе» издевался:

«Того и гляди, что корпорация московских повивальных бабок берет его почетным повивальным дедушкой, а общество минеральных вод включит в число почетных больных и заставит даром пить Эмскую, Зедлицкую, Пирмонтскую и всяческую кислую и горькую воду...»

В Москве Н.Г. Рубинштейн, запаренный, целый месяц таскался по улицам в пальто нараспашку, с галошей на одной ноге, дирижировал стихийно составленными «народными» хорами. По улицам Первопрестольной дворники носили воздетые на палках портреты супругов Комиссаровых-Костромских. Один чудака прохожий не догадался при этом снять шляпу — ему поддали! Девиче слепенькой очки кокнули, чтобы не зазнавалась. Больно уж все учеными стали! Во, гляди на «спасителя» — дважды два — четыре не ведает, да зато почище любого профессора будет...

На улице гремели оркестры, ревели хоры!

Слався, слався, наш русский царь!

Впереди — Рубинштейн, руками машет, весь в усердном поту.

«Смотри, дирижер, как бы и тебе не поддали!»

Но это еще не конец истории. Осип Комиссаров не с потолка свалился — ведь у него были родители.

В далеком Енисейске губернаторствовал генерал П.Н. Замятин, который пронюхал, что отец «нового Сусанина» находится от него неподалеку. А точнее — в Ачинской каторжной тюрьме, где таскает кандалы и катает тачку за свершение уголовных преступлений.

«Ванька Комиссар», как звала его каторга, был мужик тертый. Огни и воды прошедший, ходил с ножиком за голенищем, и не раз уже, ноги в бане намылив, он кандалы снимал. Узнав, что его сам губернатор szukaet, громила поначалу сильно струхнул. Но, попав под бурный ливень ласк генерала, варнак быстро смекнул, что тут только не теряйся. И кандалы с него сняли. И приодели. И винцом угостили. Пообедал он с губернатором, услаждая себя враньем несусветным, расселся в пышной карете и сказал Замятину:

— Ну дык што! Вези давай, показывай меня люду хрещеному. Да и я по народу соскучился... Гы-гы-гы!

Замятин с размахом приготовил для встречи отца «героя» свою губернию. Толпы енисейских обывателей были изгнаны полицией из домов, стоя шпалерами, кричали «ура». Старый сибирский варнак при этом кланялся во все стороны, делая ручкой: мол, снисхожу до серости вашей, что с вас-то, с дураков, взять еще, кроме криков? Но скоро, поднаторев, стал и сам на губернатора покрикивать. Не нравилось ему, как генерал Замятин управляет губернией Енисейской:

— Это ты пошто ж не по-моему сделал?.. Гы-гы-гы!

Замятин уже и сам был не рад, что с варнаком этим связался. Откупился он от него немалыми деньгами и спровадил в Петербург — к сыну: пускай оба там кочевряжатся! Приехал тот в столицу, посмотрел, как сынок живет, день с шампанского начиная, и шибко каторжнику не понравилось все это:

— Такой фарт тебе подвалил, а ты... Эх, слабоумок!

В годовщину покушения на том месте, где Каракозов стрелял в царя, была заложена часовня. Среди важных гостей присутствовал и Комиссаров-Костромской, облаченный в мундир дворянский. Граф П.А. Валуев, министр иностранных дел, писал в дневнике, что Комиссаров «стоял подле своего изобретателя генерала Тотлебена... украшен разными иностранными орденами, что дает ему вид чиновника, совершившего заграничные поездки в свите высоких особ». Часовню они заложили, а на следующий день был казнен Каракозов...

Вскоре же состоялся и разговор отца с сыном.

— Негоже ты живешь, сынок, — сказал ему варнак.

Манюшка это тотчас же подтвердила:

— Другой бы на его месте... ух как! Лопатой бы загребал. А наш глаза-то свои зальет с утра пораньше, и ништо ему. Сколько я с ним настрадалась, так это один Бог знает!

— Севодни выпил да завтра выпил, — рассуждал отец, смакуя свою народную премудрость, — а дале-то как? Надобно заране, пока слава твоя не подсохла, на всю житуху себя обеспечить, чтобы под иройшто твое никакой комар носу не подточил.

— А што мне еще делать, тятенька? Ведь нонеча я не то что раньше бывало... дворянин! Нешто мне опять картузы шить?

— Вот што! — рассудил варнак. — Я за тебя, сукина сына, уже все передумал. Со швейцаром одним в трактире вчера разговаривал, так он меня всему научил... Езжай прямо чичас во дворец, пади в ноги его величеству и проси чин камер-юнкера!

С крестьянским послушанием отправился дворянин в Зимний дворец, пал в ноги императору и просил... нечетко просил:

— Забыл, ваше величество! Помню, что вот юнкера надо. А како-го — хоть тресни... не могу вспомнить.

— Юнкер всегда юнкер, — отвечал Александр II. — Это ты славно придумал, что служить пожелал... Определим тебя!

И определили его юнкером в павлоградские гусары, полк которых квартировал в Твери. С этим он и вернулся к отцу:

— Я, батюшка, так ему и сказал. Чтобы мне бесперечь в юнкеры попасть. Он сразу: бац! — без лишних разговоров. Прямо в гусары! И подписку даже объявили, чтобы всенародно для меня денег собрали для обзаведения хозяйством на новом месте... В Твери-то!

Тут отец «спасителя» осатанел:

— Балбес ты, балбесина... Да юнкер-то — воробья хужей! Не юнкера надо было просить, а камер-юнкера, чтобы при дворе тебе увечно состоять. Сымай портки, гусар сопливый, сейчас я тебе вразумлять со спины стану!

И, невзирая на сыновний титул «спасителя отечества», так выправил его ремнем, что не только в седло — даже на стул было не взобраться. С этим герой и отправился в Тверь со своей Манюшкой. Отец же, умудренный опытом жизни, двигаться не пожелал!

— Чего я там не видывал... в Твери-то этой? Гы-гы-гы! Я уж как-либо и в столице проживу. На худой конец меня любые господа в швейцары возьмут. Дверь открыл, шапочкой помахал, на чаек получил... это ли не жисть? Гы-гы-гы!

Конечно, монографии о себе Комиссаров-Костромской не удостоился. Зато о нем немало отрывочных свидетельств в мемуарах современников. Чрезвычайно любопытно отыскивать эти сведения — иногда там, где никак не ожидаешь их встретить. Особенно же удивительно, как быстро менялось мнение о «спасителе»: в 1866 году — буря восторгов, ровно через год — холодное равнодушие и, наконец, позже — просто презрение!

Павлоградские гусары, ребята честные, именно так и встретили Комиссарова-Костромского — с презрением. А служба в гусарах не такая уж легкая, как это принято думать. Во всяком случае, шить картузы было гораздо легче. Тягостей воинской службы «спаситель» не вынес. Достигнув чина корнета, он, по праву дворянина, сразу вышел в отставку. А как жил? Безобразно... все пропил! И больше таких дураков, чтобы его даром поить, уже не находилось.

В мемуарах князя Д.Д. Оболенского приводится характерный случай. В канцелярии Ефремовского уезда князь обнаружил 118 рублей, содранных с крестьян местными властями для Комиссарова еще в 1866 году. Сейчас в губернии был сильный голод, и Оболенский написал «спасителю» в полк, что крестьяне, мол, умирают от голода, а потому вы, как бывший крестьянин, пожертвуйте эти 118 рублей в пользу голодающих! Ответ, писанный безграмотными каракулями, пришел очень быстро. Новоявленный «Сусанин» просил как можно скорее выслать для него в Тверь эти «плакучие» рубли, с его же земляков содранные. Письмо было настолько дико и безобразно, что князь Д.Д. Оболенский отправил его (ради анекдота) в коллекцию археографа графа А.С. Уварова.

Жизненный конец «спасителя» был отвратителен!

Все давно пропито, в людях он вызывал лишь брезгливость. По привычке он еще пытался что-то бормотать о своем «подвиге», но его уже никто не слушал. Рюмочку нальют — и спасибо! Комиссаров-Костромской чем-то напомнил мне Хрипушина из повести Глеба Успенского «Нравы Растеряевой улицы» — только герой Успенского был крупнее, самоувереннее и выступал с большим апломбом!

Россия вступала в новую эпоху...

Она исключила Комиссарова-Костромского из своей памяти.

Она воскрешала в памяти образ Дмитрия Каракозова.

Всеми забытый, влача жалкое существование попрошайки, «спаситель» загнулся после очередного запоя.

Длина тени от сгнившего пня

Лужский уезд Петербургской губернии и сама река Луга когда-то были обстроены великолепными усадьбами, о которых я имею представление по журналам «Столица и усадьба», «Старые годы». Не знаю, чем объяснить, но к Луге я тянулся смолоду, исходил берега Черемнецкого озера, в густых зарослях открывал всеми забытые могилы, заросшие крапивой, видел едва приметные фундаменты

усадебных зданий, от которых ничего не осталось, да еще липовые аллеи, ведущие в никуда... Печально!

Не буду заманивать читателя в историю этих краев, бывших окраин Новгородской общины, скажу только, что в давние времена берега Луги были сплошь обставлены деревьями, очень густо заселенными крестьянами и дворянством, а сама река еще в древности славилась судоходством, на ней стояли даже маяки. Были в этих местах и свои народные богатыри — Иван, Орел да Афанас, много на Луге бытовало легенд о древних кладах.

Все это в прошлом. Глянем во времена ближние.

Начну так. Был во Франции маркиз Жан-Франсуа де Траверсе, который, спасаясь от гильотины Робеспьера, бежал в Россию, где и стал прозываться Иваном Ивановичем; будучи морским офицером, он еще при Екатерине II стал служить на русском флоте, при сыне ее он принял русское подданство, а при внуке ее стал адмиралом и морским министром России, хотя русским языком владел очень плохо. Моряк более кабинетный, маркиз сам далеко не плавал и другим не позволял. Он бывал спокоен, если корабли Балтийского флота в море не выходили, маневрируя в видимости Кронштадта, отчего этот район близ столицы моряки и прозвали «маркизовой лужей» (так он называется и поныне). Здесь же я сразу извещу читателя, что, умерший в 1830 году, маркиз де Траверсе еще при Екатерине II был жалован от нее добротным имением Романщина, что неподалеку от Луги.

Маркиз был вдов, но его жена — по приезде в Россию — успела одарить его двумя сыновьями, которые оба назывались Александрями; старший из них, тоже адмирал, служил командиром порта в Архангельске; были у министра и две дочери: Клара меняла мужей быстрее, чем перчатки, и жила отдельно от папеньки, а младшая, Мария, тихая и некрасивая, о замужестве еще не помышляла, живя при своем отце в его лужском имении.

Сыновьями отец не был доволен. Александр, что служил в Архангельске, откровенно брал взятки, а все деньги спускал в картишки; младший же Александр, будучи флигель-адъютантом, тоже был мот порядочный и, служа на флоте, выше капитанских чинов не поднялся... Перейдем к делу!

Осенними вечерами вокруг Романщины завывали волки.

Шаткие сквозняки колебали пламя свечей в жирандолях.

Двери заперты, пора ложиться спать...

— Мари, — сказал маркиз дочери, послушав вой волков за околицей усадьбы, — я чувствую, жизнь моя на исходе, и меня, не скрою, тревожит твоя судьба... Сыновья выросли такими мотами, что они,

боюсь, оберут тебя до последней нитки, оставив без приданого, никому не нужной.

— К чему эти невеселые речи, отец? — спросила Мари.

— Чтобы ты, моя дочь, была готова принять от меня завещание, в котором я укажу тебя своей главной наследницей. А когда сыщешь хорошего мужа, то... вот тебе и приданое!

Старый маркиз поднял медный сундучок. Мария откинула его крышку и даже вскрикнула, ослепленная грудой бриллиантов, часть которых отец вывез еще из Франции, а остальные скопил во время службы в новом ему отечестве...

Когда все в доме уснули, старик крадучись вышел в сад и глубоко в земле закопал сокровища — как раз в таком месте усадьбы, о котором не будет им сказано даже в завещании для любимой дочери.

...Кстати! Маркиз И.И. де Траверсе был уроженцем острова Мартиники; одно время он переписывался с Жозефиною Богарнэ, тоже уроженкою Мартиники, которая стала женою императора Наполеона; в письмах к русскому адмиралу она, императрица Франции, именovala его своим кузенom, но степень их подлинного родства осталась для меня загадочной, ибо понятие «кузенства» в те времена было слишком широким.

Снова вернемся к генеалогии, без которой трудно разбираться в истории, но из лужской Романщины теперь перенесемся, читатель, в древний Ревель... Комендантом Ревеля был Владимир Григорьевич Паткуль, а его приятелем — адмирал Леонтий Васильевич Спафарьев, смотритель маяков и командир Ревельского порта. Первый имел сына, Александра Паткуля, который воспитывался с будущим II, а Спафарьев имел красавицу дочку Санечку, и две семьи соседствовали домами близ пригородного Екатеринталя, который, слава богу, до наших времен каким-то чудом все-таки уцелел...

Итак. Минуту внимания, и далее обещаю не мучить читателя генеалогией. Однажды с моря пришел корабль, который привел в Ревель маркиз Александр Иванович де Траверсе, младший сын министра и флигель-адъютант императора. Очень быстро он увел Санечку Спафарьеву под венец, и вскоре у них родилась дочка — маркиза Мария Александровна, которая в 1841 году стала женою Александра Владимировича Паткуля — того самого, что воспитывался вместе с наследником престола. На время оставим генеалогию — вернемся к ларцу с бриллиантами!

Заодно, читатель, отступим назад в 1830 год, когда в Романщине скончался старый маркиз, оставивший дочери Марии Ивановне свое завещание. Прослышав о смерти отца, в Романщину разом нагрянули

два ее брата — и оба Александры Ивановичи, один при эполетах, второй с аксельбантом.

— Где завешание отца? — сразу потребовали они.

Некрасивая маркиза не стала его скрывать.

— Пожалуйста, читайте, — протянула она бумагу...

Покойный завещал дочери Романщину и... клад фамильных драгоценностей, который, согласно воле отца, она имела право откопать лишь по выходе замуж, а где закопаны бриллианты — об этом, писал отец в завещании, дочь извещена им устно.

— Где? — сразу спросили братья.

— Вот этого я не знаю, — понуро отвечала Мари.

— Как не знаешь, если в завещании указано, что отец на словах передал тебе о месте его сокрытия.

— Да, — согласилась сестра, — я знаю, что отцом написано именно так, но перед смертью он лишился дара речи и ничего сказать мне уже не мог..

Братья переглянулись как заговорщики.

— Посмотри на себя, — обозлились оба, — неужели с внешностью мартышки, какой наградила тебя природа, ты еще надеешься найти себе мужа? Напрасно хитришь перед нами, будто не знаешь о месте, где зарыт клад... Отдай его нам!

— Помилуйте, я сказала вам сущую правду, — заплакала Мари. — Отец действительно уже не мог показать мне это место, где закопал ларец. Лучше пожалейте меня...

Два маркиза, один адмирал, а другой флигель-адъютант, пылко жаждавшие наследства (и немалого), церемониться с сестрою не стали. Очень грубо, словно тюремщики, они затолкали девушку в темный и холодный чулан, закрыли ее на засов.

— Вот и сиди, пока не скажешь, — объявили ей братья. — А если не поумнеешь, так мы придумаем тебе худшее...

Напрасно Мария Ивановна взывала к жалости, барабанила в двери, умоляя смириться, — нет, братья не выпускали ее.

— Скажи, где отец закопал бриллианты, и выпустим...

Но она ведь того не знала! Братья не давали ей есть, они мучили сестру жаждой, наконец, просто избивали ее:

— Говори — и ты получишь, черт с тобой, свою долю.

— Отпустите, — просила несчастная, — ничего мне не надо теперь, забирайте всю Романщину, а меня отпустите...

Наконец братья-маркизы сами поняли, что сестра ничего не скажет, и — назло ей — заточили ее в древний Черемнецкий монастырь Лужского уезда. Здесь маркиза Мария Ивановна от горя сошла с ума, она

не раз просилась обратно в Романщину, показывала в усадьбе разные места, но сколько ни копали землю, ничего не нашли, и вскоре сестра в монастыре и скончалась...

После этой монахини даже следа на земле не осталось, а ее племянница, ревельская маркиза Мария Александровна, что стала женою А.В. Паткуля, вспоминала о своей безумной тетке как-то небрежно и даже брезгливо.

Вот и пришло нам, читатель, время — рассказать о ней, очень красивой женщине, которая появилась с мужем при дворе Николая I, вызывая восхищение многих, а поэты воспевали ее красоту:

Где померанец и олива
Свой развевают аромат
И где вдоль сонного залива
Октавы Тассовы звучат,
Тебя природа сотворила...
И эти огненные взоры
И южная твоя краса
Печальные развеселили горы
И пасмурные небеса...

Став женою А.В. Паткуля, товарища детских забав наследника престола, красавица сразу же стала и любовницей наследника — будущего царя Александра II, который одарил женщину великолепным домом в Царском Селе на Средней улице, а мужа ее (товарища детства) сделал впоследствии обер-полицмейстером Санкт-Петербурга... тут все ясно! Мария Паткуль скончалась в 1900 году, оставив нам интересные мемуары, которые, как вы догадываетесь, и лежат сейчас передо мною, раскрытые...

Овдовев в 1877 году, она оставалась до старости очень интересной женщиной, устраивая у себя по вечерам журфиксы для царскосельского общества. У нее было немало детей, но я поведу речь лишь об одном из ее сыновей — Владимире Александровиче Паткуле, которому и досталась лужская Романщина по наследству как прямому правнуку морского министра, а вместе с усадьбою досталось и неразгаданное завещание.

Сам же Владимир Паткуль ничего собою не представлял, удалившись в отставку еще в чине поручика. Зато вот жена его Юлия Николаевна, урожденная Вараксина, была натурою впечатлительною, внешне похожею на таборную цыганку, которой бы ворожить на вокзалах или гадать по руке на счастье...

Что сказать вам еще? Были дети, была устроенная жизнь в старинной усадьбе, дом Паткулей был полной чашей, но Юлия Николаевна все же настырно внушала мужу:

— Ты бы вот не сидел сложа руки, словно чурбан, а взял бы да еще раз проглядел завещание своего прадеда.

— Зачем, душечка? И так все ясно.

— Ясно, да не совсем-то ясно. Может, что-то откроется новое в тексте для разгадки клада? Поверь, я всем довольна, наши дети не рыдают от голода, сидя на лавке, но, имей мы миллион, разве бы я не блистала в высшем свете?

Грозный XX век неумолимо накатывался на людей, суля им тревоги, смятение и разочарование, а здесь, в тишейшей Романщине, еще витала скорбная тень маркиза с Мартиники, опять жалобно хрустела пожелтевшая от ветхости бумага, и оживали призраки мертвецов, оскаленных в едкой усмешке презрения к своим алчным потомкам...

Дело о кладе снова возникло до 1902 года, ибо еще был жив сенатор Николай Борисович Якоби, именно в этом году умерший. Окружной прокурор столицы, сын знаменитого ученого, Якоби любил навещать Романщину ради приятного отдыха подалее от городской суеты. Паткули решили посвятить его в тайну завещания, и Якоби, как опытный юрист, вник в фамильные бумаги маркизов де Траверсе, а потом развел руками:

— По закону вы имеете право на обладание этим кладом, — сказал он, — но... Как вы его сыщете? Наверняка ведь и до вас, милейшие, тут копали... Нашли?

— Нет, — ответила Юлия Николаевна. — Ничего не нашли, а в семейных преданиях упоминалось, что там была целая куча старинных бриллиантов. Может, во время Екатерины Великой они могли бы украсить руки торговки, но в нашем нищенском веке, согласитесь, их ценность безмерно возросла.

— Не спорю, — согласился Якоби, деликатно зевнув в румяную ладошку. — Только в успех поисков мне плохо верится... А как, господа, быстро свечерело. Не пойти ли нам спать?

— Пора, — охотно поднялся из кресла Паткуль.

— Стойте! — вдруг задержала их Юлия Николаевна, и горячечной рукой она долго массировала свой лоб. — Нет, нет, нет, — бормотала женщина, почти вдохновенная. — Я теперь начинаю догадываться, что нам делать. Ведь обо всем, что нас мучает, может рассказать сам маркиз...

— Какой? — удивился муж.

— Твой прадед. Иван Иванович, который уже попал в лексиконы и энциклопедии как историческая персона.

Якоби задумался, а Паткуль сказал жене:

— Юлия, в уме ли ты сегодня? Иди в спальную, ложись и как следует выспись, чтобы к утру вся дурь из головы вылетела.

Мадам Паткуль обвела черными глазами мужчин:

— Нет, теперь я не усну...

Только сейчас сенатор Якоби догадался о том, что угнетает хозяйку дома, и вдруг он серьезно одобрил ее решение:

— Попробовать можно. Чем черт не шутит!

— Я вас не понимаю, — сознался отставной поручик. — Вы хоть объясните мне, что вы подразумеваете?

Юлия Николаевна четко и строго растолковала мужу:

— Нам остался последний способ — вызвать дух маркиза, и вряд ли покойник станет теперь скрывать от нас то место, где он зарыл драгоценности, паче того, что на том свете никакие бриллианты уже не нужны...

Именно в те годы было очень модно «столоверчение», или общение с духами посредством спиритизма, и Якоби кивнул:

— Стоит ли удивляться? Английский профессор Оливер Лодж не сомневается, что эфир есть духовная среда, поглощающая души усопших, и вызвать из эфира своего предка возможно...

Спать уже расхотелось, от слов сразу перешли к делу.

Якоби, бывавший на спиритических сеансах, разграфил круг на бумаге, в центре его положили чайное блюдечко, вокруг которого хозяева и гость водрузили свои пальцы, а Юлия Николаевна, обратившись в угол потемнее, спрашивала:

— Иван Иванович, это мы... не пугайтесь, мы плоть от плоти ваши потомки. Ваша светлость, мы ждем... явитесь! Умоляю.

Но морской министр, сохранивший свое имя в анналах истории и в «маркизовой луже» на морских картах, не желал покидать эфир, чтобы заглянуть в Романщину, блюдце даже не колыхнулось от нервической силы пальцев, и тогда Якоби сказал:

— Мы, конечно, жалкие профаны, а здесь требуется очень опытный медиум, ибо маркиз опочил не вчера, а очень давно. Так и быть — я поговорю с «навозным жуком».

— А это еще что такое? — удивился Паткуль.

Якоби разъяснил, что в высшем свете Петербурга «навозным жуком» принято называть министра земледелия А.С. Ермолова, который изобрел телегу для удобной доставки навоза.

— Алексей Сергеич давненько связан с потусторонними силами, и он не откажет мне, если я попрошу его подсказать мне хорошего медиума. Мне как раз завтра надо побывать в городе...

Утренним поездом сенатор отъехал в Петербург, а через день-два, усталый, вернулся в Романщину, обмахиваясь шляпой:

— Ну и жарища сегодня. Поздравляю. Успех обеспечен.

— Да что вы? Уверены, Николай Борисыч?

— Вполне. Ермолов сказал, что в Царском Селе есть такой частный фотограф Анисимов, у которого немало поклонников в самом интеллектуальном обществе столицы. Недавно, говорят, ему даже во время сеанса удалось не только вызвать дух графа Бенкендорфа, но он даже заснял его на фотокарточку, а теперь торгует шефом жандармов по трешке за штуку... Вот и адрес этого Анисимова, только прошу вас, Юлия Николаевна, не афишировать свой визит, все должно быть шито-крыто.

— Не сомневайтесь в моей скромности...

Мадам Паткуль даже не позволила мужу провожать ее до станции Луга, но визит в Царское Село слишком затянулся, она не возвращалась день, два, три... пошел пятый день!

— Я начинаю волноваться, — говорил Владимир Паткуль сенатору Якоби. — Знаете, сама обстановка интимеса... гасят свет, голоса... шуршания... как бы чего не вышло!

— Не волнуйтесь, — утешил его Якоби, — Анисимов женат, и ни одна его клиентка еще не писала на него жалоб...

Наконец Юлия Николаевна вернулась, еще от калитки усадьбы она расстегнула жилет, сбросила шляпу и перчатки, решительно устремленная — вперед, вперед, только бы войти в дом.

— Не подходите ко мне! — крикнула она. — И чтобы никаких больше вопросов. Все скажу потом. Только не сейчас...

Женщина стремительно прошла в спальню, одним рывком опустила на окна плотные шторы, ничком рухнула на постель и мгновенно уснула как убитая.

— Странно, — заметил сенатор Якоби...

В доме все ждали ее пробуждения, Юлия Николаевна проснулась ближе к полуночи и вышла к чайному столу, оживленная.

— Ну, вот и все, — заявила она, — а маркиз Иван Иванович шлет своим потомкам самый сердечный привет...

— Да не томи душу, — взмолился перед нею Паткуль. — Ответь главное: сообщил ли он, где зарыл фамильные сокровища?

Юлия Николаевна обвела всех просветленным взором:

— Да, конечно! Клад уже в наших руках.

— Слава богу, — перекрестился Паткуль. — Хоть не даром ездила, а то ведь я тут с ума сходил! Нет и нет... Право, не знал даже, что и думать... Копать-то узнала ли где?

Юлия Николаевна объяснила, почему так долго задержалась.

— Оказывается, это все не так просто. Маркиз ни в какую не поддавался на уговоры Анисимова явиться перед нами, а когда его спросили по поводу клада, он даже бранился, употребляя при том некоторые... нефранцузские выражения. Наконец, когда я расплакалась, он сжалился и сказал, чтобы я срочно возвращалась в Романщину, он явится мне во сне и все расскажет. Вот я и спешила поскорее уснуть.

— Приснился он тебе?

— Почти сразу. Очень элегантный мужчина.

— Сказал?

— Да, ничего не скрывал. Теперь дайте бумагу и карандаш...

На чистом листе бумаги возник загадочный кружочек.

— Что это? — хмыкнул сенатор Якоби.

— Дуб.

От этого дуба карандаш вывел длинную прямую линию.

— А это что? — спросил муж.

— Т е н ь.

— Какая тень?

— Тень от дуба ровно в полдень.

— А что же делать далее? — спросил Якоби.

— Там, где в полдень кончается тень от дуба, следует отмерить тридцать шагов вперед, затем обратиться лицом к скотному двору и отсчитать еще тридцать шагов... Там и клад!

Вся семья Паткулей, включая детей и прислугу, высыпала во двор, а гувернантка, чопорная, сказала:

— Все это очень мило, но... но... но...

— Копать безо всяких «но», — отвечали ей.

— Да что вы собираетесь копать, если в Романщине давно не растет ни одного дуба, а скотного двора нет и в помине.

— В самом деле, — сказал Якоби, — если дуб и существовал при жизни маркиза, то потом его, наверное, спилили.

— В чем дело? — сказала гувернантка. — Если дуб спилили, значит, после него должен остаться п е н ь.

— Верно! — обрадовался Паткуль, и все силы благородного семейства были направлены на отыскание пня...

— Нашла-а-а, — вдруг закричала кухарка.

Все кинулись к ней, и возле старой веранды, в гуще крапивы, действительно был обнаружен полусгнивший пень.

— Вот и все, — сказал Паткуль и зашагал.

— Подожди до полудня, — остановила его жена.

Стали ждать полудня, а гувернантка, язва такая, сказала:

— Как же вы, господа, собираетесь отсчитывать тридцать шагов от точки окончания тени, если вы не знаете высоту дуба?

— Опять неудача, — огорчился Паткуль.
— Наконец, где же скотный двор? — намекнула гувернантка.
— В самом деле — где был скотный двор?
— Там же, где и дуб, — раздраженно отвечала мужу Юлия Николаевна. — Чем задавать глупые вопросы, лучше просмотри старинные планы усадьбы и найдешь...

Верно! На старых планах был отмечен хлев, а с их помощью отыскали и осевший в землю фундамент скотного двора.

Стал накрапывать дождик, гувернантка раскрыла зонтик:

— Я вернусь домой, — сказала она, с сарказмом добавив: — Но как можно высчитать длину тени, падающей от дуба, который давно спилен, и остался один только пень.

— Вот... язва, — сказала по ее адресу мадам Паткуль.

С тех самых пор семья Паткулей, в жилах которых перемешалась благородная кровь французских, немецких и русских дворян, покоя уже не ведала, медленно, но верно разоряясь на всякие усовершенствования, а сам хозяин даже взялся за изучение тригонометрии и высшей математики, рисуя всякие чертежи, где гнилой пень играл отправную точку его расчетов.

Владимир Александрович однажды, облачившись в мундир поручика гвардии, поехал в Петербург, чтобы в кругу профессоров императорского университета получить самую точную консультацию — как вычислить длину тени от дуба, если самого дуба нет и в помине, зато остался один гнилой пень?

Обратно из столицы он вернулся уже не один, а привез с собою целую артель землекопов и с ними инженера-геодезиста, который, глянув на фронтон классической усадьбы, сразу же заявил, что он соблюдает диету, и потому его возненавидела кухарка, которой пришлось для этого «пшюта» готовить отдельное блюдо. Затем рабочие, безуспешно перекопав половину цветущего сада и навалив всюду кучи земли, ушли вечером на станцию, а точнее — в станционный трактир, где учинили драку с лужскими аборигенами, а в Романщине появился пристав полиции, чтобы выяснить — откуда взялись эти работники:

— И кто будет платить за побитую в трактире посуду?

— Кто бил, тот и платит, — легкомысленно изрек Паткуль.

— Но рабочие ссылаются на хозяина: кто, говорят, нас нанимал, тот пушай и расплачивается, а трактирщик, осмелюсь заметить, приходится мне кумом, так что...

Так что Владимир Александрович заплатил и за посуду.

Барон Иван фон Нолькен, хорошо знавший семью Паткулей, будучи в эмиграции, вспоминал: «Хотя площадь поиска оказалась слишком значительной, все же Паткуль лично приступил к поискам зарытых мар-

кизом драгоценностей». Скоро к труду землекопов приобщилась и вся его семья. Сыновья, приехавшие на каникулы из Пажеского корпуса, уже не танцевали с соседскими барышнями, а тоже включились в работу.

Так бедные Паткули и копали землю до тех пор, пока в России не случилась революция. После чего они побросали лопаты и отбыли в неизвестном направлении.

Читатель и друг, что ты на это мне скажешь?

Пасхальный барон Пасхин

Отрицательные явления в истории достойны такого же внимания, как и положительные. Иногда в отрицательном, будто в фокусе, заключена вся сумма достоверных черт времени.

Многим известно, что среди лицейских товарищей А.С. Пушкина самым неприятным был Сергей Комовский, сын иркутского вице-губернатора. Лицейсты не любили его за хитрость и подхалимство перед старшими, называя Комовского «лисичкой» или «мартышкой».

Комовский — маленькая птичка,
А смотрит точно как лисичка!

Я столкнулся с этим Комовским, когда занимался биографиями смолян. Он служил правителем канцелярии Смольного института. Тогда это был красивый, франтоватый человек. Услужливый и далеко не глупый карьерист.

Конечно, молодому холостяку нелегко проводить дни в ярком цветнике юных девиц, живших в затворении почти монастырском, но возбужденных тайным чтением романов. Однако амурсы со смолянками допускались лишь членами царской семьи, и строгая графиня Юлиана Адлерберг (начальница Смольного) тряслась над каждой девицей, как собака над костью. Рассудительный Комовский обратил сладострастные взоры на горничных, убиравших дортуары, и наметил для себя жертву. В стенах казенного учреждения чиновный проныра сумел устроить свои любовные делишки, а простушка-горничная вскоре забеременела.

Ну, этого стерпеть нельзя. Может рухнуть вся карьера, столь блистательно начатая. Как правитель канцелярии Комовский казался горничной всемогущим Богом. Конечно, соблазнитель мог выбросить ее на улицу. Но в отчаянии девушка могла пожаловаться начальнице, графине Адлерберг... «Что делать? Что делать?»

Пока он там мучился, великая мать природа свое дело делала. В один из дней девушка попросила Комовского спуститься в подвал

института. Там она, плача, показала ему младенца. Ночью, боясь крикнуть, она родила его здесь — за дровами, на дровах же познав свое первое материнство. Завернутый в тряпки младенец был вполне здоров и, разевая нежно-розовый рот, откровенно радовался своему нечаянному существованию на белом свете.

Комовского прошиб пот. У него на примете уже была невеста, графиня Софьюшка Комаровская, служба давалась отлично, и вдруг явился этот младенец... Однако поленом ведь его не трахнешь!

— Угораздило же тебя, — буркнул Комовский матери, — прямо под Пасху наградила... Молчи хоть, никому ни слова.

Вечером он тишком, как вор, вынес младенца из института.

Близилась Пасха 1832 года, а дальше начинались чудеса...

В ночь под Светлое Воскресение в домовую церковь сенатора Ивана Васильевича Тутолмина стали загодя съезжаться сановные гости и важные родственники. Сам хозяин дома, уже шагнувший на восьмой десяток жизни, встречал гостей — в духовном благолепии — вместе со своею женою Софьей Петровной. Супруги были бездетны, смерть стояла уже не за горами.

Тутолмин был добряк, всю жизнь провел на службах при больницах, при домах для сирот, попечителем разных заведений. Он устал от ходатайства по чужим делам, недавно подал просьбу об отставке, которой теперь с нетерпением ожидал от императора.

Пасхальная заутреня началась. Но едва певчие открыли рты, где-то рядом прозвучал пронзительный плач младенца...

Тутолмин сказал своему мажордому:

— Степан, ты выгляни-кось...

Степан выглянул на улицу. Близ крыльца, уложенный в бельевую корзину, заливался неизвестный младенец. Мажордом подхватил его заодно с корзиной, предстал с подкидышем в церкви. Священник прервал службу. Софья Петровна, старуха боевая, опомнилась первой — разворошила пеленки, под которыми нашла письмо.

— Чти! — властно велела она мужу.

Письмо подписано именем загадочной матери: «Н. Эмжеури» и начиналось словами: «Христос воскрес...» Тутолмин прочел письмо вслух, и гости поняли лишь одно: младенец этот порожден от столь высокой особы, что тайну его происхождения открыть никак нельзя. Софья Петровна взяла младенца на руки:

— От какой особы рожден — то меня не касается. А сколь лет своего ждала, да не дал Господь Бог. И лишь на самом пороге жизни Всевышний услышал молитву мою... Мой он теперь!

И тут у подъезда сенаторского дома зафыркали кони-дьяволы. Явился гоф-курьер из дворца, доставив шкатулку с рескриптом от императора. Тутолмин обрадованно сказал гостям:

— Господа, я заведомо знаю, что здесь указ государев об абшиде, коего я долго у его величества домогался...

Увы! Николай I просил Тутолмина службы не покидать, а к рескрипту были приложены знаки ордена Андрея Первозванного.

— Вот и отечество нашли, — сказала старуха Тутолмина, младенца орущего качая. — Быть ему по ордену — Андреевичем!

Средь гостей началось неприличное шушуканье. Теперь, после этого рескрипта и высшего ордена империи, становилось ясно — кто эта «высокая» особа, пожелавшая скрыть тайну своего отцовства. Петербургский свет давно привык к подобным выкрутасам. Пальцем на истинного отца не указывали, но все знали...

— Эге, — толковали сановные старцы. — Ивану Васильевичу и впрямь повезло. Мы-то знаем теперь, за что ему орден.

Эта сплетня быстро обежала столицу. Никто в отцовстве императора не сомневался, и слухи окольными путями скоро проникли в Зимний дворец, дойдя до ушей самого царя Николая I.

И тогда император мрачно задумался, вспоминая...

В том, что он отец этого младенца, Николай I не сомневался, ибо хорошо помнил только законных детей, а «бастардов», прижитых на стороне, не успевал учитывать. Сейчас его заботило другое:

«От кого?» — думал он напряженно.

В самом деле, от кого — от штабс-капитанской вдовы Сютяевой или же опять от этой бестии Манжетки?

По времени это совпадало именно с ними...

Было неясно, и печаль вошла в императорское сердце.

В этот момент Николай I, дешевый провинциальный трагик, сам себе казался монументален. Выпятив грудь, он шагал, тренькая шпорами, через анфилады дворца и мыслил о скорбном величии своего одиночества. Вот он — подвиг, достойный Цезаря: повелитель всея Руси и не может позволить себе прижать сына к груди. Во внутренних покоях дворца императрица с усердием, достойным всяческой похвалы, вязала чулок, а возле ног ее играли дети. Его дети! Вполне законные. Император прижал к глазам платок:

— Чистые душеньки, — сказал, неволью прослезясь...

Печаль усилилась. Он спустился через Комендантский подъезд на площадь, сел в дежурные сани, запахнул шинель.

— Прямо! — И кони понесли его в пропасть Невского.

Напротив Садовой кучер придержал лошадей:

— Ваше Величество, а теперича — направо или налево?

Император трагически задумался на распутье...

Поедешь направо — и попадешь в спальню штабс-капитанской госпожи Сютяевой. «Старо!» Налево поехать — и быть сегодня в объятиях Манжетки. «Тоже надоело!»

Классический монумент вырос над санями:

— П р я м о! — И кони помчали в Смольный монастырь...

У врат «святой обители» императора с поклонами нижайшими встретил сам правитель канцелярии совета института.

— А-а, Комовский... — сказал Николай I, грозя ему пальцем. — Ты служи мне, Комовский, старайся...

Внутри института зрели таланты для домашнего потребления. Катенька Азанчевская сыграла императору на арфе, и он потрепал ее по щеке. Дочь портупей-прапорщика Санечка Коротнева исполнила пристойный танец. Леночка Рындина смело подошла к доске и решила уравнение с двумя неизвестными, за что император погладил ее по голове. Шарлотта Реми никакими особыми талантами не отличалась, и этим привлекла его благосклонное внимание.

Графиня Юлиана Адлерберг, вся в жестких буклях, воздев лорнет к глазу, проводила фигуру удаляющегося императора. Николай I уходил в даль белоснежного коридора, отечески беседуя с любознательной Шарлоттой Реми... Дверь за ними закрылась.

Лорнет опустился и повис на шелковой бретельке.

— Сергей Дмитриевич, — сказала начальница Комовскому, — проследите, чтобы девицы сейчас по этому коридору не бегали.

— Слушаюсь!

Отец Шарлотты Реми был замечен — из полковников произведен в генерал-майоры. Император вскоре навестил и Тутолмина. Целуя старика в дряблые щеки, он кратко спросил:

— Как нарекли?

— Алексеем, человеком Божиим, Ваше Величество.

— А фамилия какова?

— Пасхин, благо на Пасху подкинут...

Император высочайше соизволил проследовать в детскую и милостивейше похлопал младенца по румяной попке.

— Я его не оставлю, верь мне, — сказал он Тутолмину. — В российском дворянстве я и сам его сопричислю, а индегант на титул Пасхина испрошу у двора венского.

И во всем величии торжественно удалился... Через два года умерла Софья Петровна, отписав перед смертью на своего воспитанника свои девичьи имения, доставшиеся ей из рода графов Паниных. Старик Тутолмин скончался в 1839 году, завещав Пасхина попечениям богатых московских сородичей. Комовский, как кукушка, верно подкинул птенца в удобное гнездышко: Пасхин в холе и неге, среди губерне-

ров, мамок и учителей. Император тоже не забыл своего «сыночка»: в 1843 году состоялся указ, по которому Алексей Пасхин признавался в «баронском достоинстве», дарованном ему от австрийского императора. Со скамьи московской гимназии барон пересел в седло «синего» лейб-кирасира — жизнь улыбалась!

Жизнь перестала улыбаться только Комовскому. Мастер устраивать свои делишки, он не однажды пострадал, почти пойманный за руку на казнокрадстве. Баловень судьбы постепенно превратился в горького неудачника. Из модного красавца, говоруна и кавалера в танцах, Комовский стал облезлым стариком, брюзгой и ворчуном. И этот старик лишь издали, не смея даже приблизиться, с ядовитой завистью наблюдал, как рядом с ним блаженствовал в богатстве и знатности его отпрыск, в дровах урожденный.

Пасхин из «синих» кирасиров перевелся в лейб-гвардейские гусары, часто его видели при дворе. Он разъезжал на великолепных рысаках, он швырял золото горстями, он купал актеров в шампанском и, вообще, плевал на всех людей...

Горько было Комовскому видеть его мотовство, очень горько! Шестеро детей, порожденных им в законном сожителстве, камнем висли на сгорбленной спине чиновника. Дочерей — одень, сыновей — обучи. Деньги, деньги, деньги... А где их взять?

Он овдовел, старость его была печальна. Жалкий старик!

И никогда уже нельзя сказать Пасхину, что «я — твой отец, а ты — мой сын». Никак нельзя, ибо сам-то Пасхин императора Александра II считает своим «сводным» братом, а тот не возражает...

Дальше — хуже! Комовский как-то выбрел из дому, озабоченный горестями собственного неустройства. Тут и налетел на него огнедышащий рысак и сбил его с панели, топча копытами. Когда старик очухался, то узнал Пасхина... Стоя в кабриолете, сын его свысока еще и обложил папеньку на манер гусарский и покатил дальше, вполне довольный своей судьбой. Помятый лошадьми, долго после этого болел несчастный чиновник. Умер же С.Д. Комовский в 1880 году, и он был предпоследним из лицеистов пушкинского выпуска (последним же умер канцлер князь А.М. Горчаков).

А барон Пасхин прожил недолго; он умер в чине штабс-ротмистра, погребен на кладбище в Стрельне. Женат он не был, и с ним угас анекдотический род баронов Пасхиных.

В 1908 году известный генеалог А. Гломбиевский, опубликовав заметку о Пасхине, обратился к тем лицам, которые знали Пасхина, чтобы они дополнили его сведения.

На этот призыв историка никто уже не откликнулся.

Курьезный аристократ пил, гулял, дебоширил...

Дополнять было нечего. Но я все-таки дополню.
Лейб-кучер придержал лошадей возле Садовой:
— А теперича куда, ваше величество?
Император Александр II, сын Николая I, задумался...
Налево поехать — там его знают за «полковника Александрова».
Направо поехать — там его знают за «полковника Николаева».
В любом случае до утра не отпустят, а с женой у него и так без
конца натянутые отношения...
— П р я м о! — сказал император.
Сытые лошади доставили его в Смольный монастырь. Царственный
ловелас вошел в учреждение государственное. Но графиня Адлерберг
уже отошла в лучший мир — вместо нее начальствовала непреклонная
дама Ольга Томилова. Трудно поверить, но порядки изменились. Ольга
Томилова — с палкой в руках — гоняла императора:
— Прочь отсюда! Вот я вашей жене скажу...
Александр II вернулся в коляску.
— Вот глупая баба! — сказал он кучеру.
Тот, перебирая в руках вожжи, терпеливо ждал. Поехали...
Толстая девка в сенях шлепнула перед императором на пол мокрую
тряпку, велела ему вытереть ноги:
— Сей день у нас полы мыли...
Император вытер сапоги и сказал девке:
— Скажи барыне своей, что прибыл полковник Вислоухов...
Он слышал, как девка докладывала о нем:
— Там, кажись, опять ц а р ь приперся...
Об этом рассказывал пейзажист Клодт, сын знаменитого
скульптора-анималиста, автора «четырёх коней дыбом». О Боже!..

В гостях у имама Шамиля

Владимирские уланы из Варшавы возвращались в Россию, минуя
фольварки и местечки, города и села. Наконец открылась дивная кар-
тина Торжка, где полку предстояло разбить свои квартиры. Музыкан-
ты выехали вперед, уланы подбоченились в седлах, улицы наполнились
народом, «кричали женщины “ура” и в воздух чепчики бросали...».
А какой же улан без песен?

Улане, улане,
малеваны дети,
каждая паненка
за вами полети...

Торжок славился живописностью, пожарскими котлетами, обувью из сафьяна и гостеприимством жителей. Вечерами широко открывались двери богатого дома Олениных, людей образованных, с большими связями в обществе. А среди дочерей хозяина выделялась ангельской красотой Лизанька Оленина, которую учил грамоте дедушка Крылов, ее носил на руках Пушкин, с нею играл Брюллов, — все это было в доме ее деда А.Н. Оленина, славного дружною с корифеями русского искусства... Уланы, впрочем, всегда уланы! Каждый бравировал безумной храбростью, пил шампанское, сочинял в альбомы девиц мадригалы, чуточку играл под Онегина или Печорина, надевая при этом маску разочарованности в жизни, чтобы успешнее привлечь внимание торжковских невест. Если же какой улан и пошатнулся, вставая из-за стола, он оправдывал себя строчками из Лермонтова:

А кто с утра уже не пьян,
Тот, извините, не улан...

Но один улан держался естественно, вина не касался, говорил редко и всегда по делу; возле пояса его красовался кинжал, не положенный улану по форме.

— Кто этот загадочный человек? — спросила Лизанька.

— Джемал-Эддин — сын Шамиля.

— Как? — удивилась девушка. — Того самого?

— Да, старший сын кавказского имама...

История удивительная! В 1839 году в Александровский кадетский корпус, размещавшийся в Царском Селе, по приказу Николая I были помещены два мальчика. С первым все ясно. В глухом лесу разбойники напали на сторожку лесника, вырезав семью, но пощадив лишь мальчика и грудного младенца. Мальчик сумел выжить зиму, а своего брата подкладывал к оценившейся суке, которая и вскормила его своим молоком. Одновременно в кадеты был определен и первенец имама, раненный в руку во время погони... Александровский корпус считался приютом для всех обездоленных. Среди кадетов бывали даже дети в пеленках, которых к разводу выносили на руках дородные кормилицы в кокошниках. На Кавказе шла затяжная война с мюридами, и потому Джемал-Эддин, сын имама, привлекал к себе всеобщее внимание.

Подростком его перевели в Первый кадетский корпус, затем он прослушал курс лекций в Пажеском корпусе. Николай I хотел бы культивировать его природную «дикость», оставив юношу при черкеске, папахе и кинжале, чтобы показывать «дикаря» иноземным послам. Но из этого ничего не получилось. Джемал-Эддин забыл язык горцев, в совершенстве овладев русским и французским, а простреленная рука

мешала ему владеть оружием. Сын Шамиля более склонялся к учености. Его волновали тайны электричества, а высшая математика стала его стихией. Лиза Оленина удивлялась, когда уланы рассказывали ей, что сыну имама ведомо одно наслаждение — в интегралах и формулах, ночи напролет он разрешает сложные задачи из алгебры...

Джемал-Эддин заметил внимание к нему девушки и полюбил ее. Лиза Оленина полюбила необычного улана. Они объяснились, а родители не стали возражать против их брака. Среди белых колонн старинного барского особняка, в аромате цветущих глициний так нежно и сладостно звучали слова юной девушки:

— Джани... мой дорогой и любимый Джани!

А за окраинами Торжка полыхали тревожные зарницы: там созревали хлеба, громыхали душевные грозы.

— Это счастье, — говорил Джемал-Эддин. — Счастье, что я далек от той войны, которую ведет мой отец, я обрел в России свой дом, нашел прекрасные знания и встретил тебя...

Но в канун их свадьбы случилась беда. Кази-Магома, второй сын Шамиля, совершил набег на Цинандали в Кахетии, пленив по дороге целый обоз, в котором с детьми и гувернерами ехали в Тифлис княгиня Орбелиани и княгиня Чавчавадзе, родственные петербургской аристократии. Николай I вызвал Джемал-Эддина к себе и сказал, что Шамиль согласен обменять пленниц на своего первенца. «Такова воля Аллаха!» — неожиданно заключил царь. Но «воля Аллаха» была смертным приговором для Джемал-Эддина. Переговоры не привели ни к чему: Шамиль не хотел понять, что сын уже вполне чужой для него и для Кавказа. «Воздух наших гор сделает его снова чеченцем, — говорил старик, — и я передам ему священное знамя войны с неверными...»

На прощание император заявил сыну имама:

— Езжай! Царь не всегда имеет право быть человеком...

Именно так он и сказал. Гордость Джемал-Эддина возмутилась — он бежал, хотя в дачных пригородах Петербурга не нашлось ущелий, как на Кавказе, чтобы затаиться: его быстро поймали. Джемал-Эддин просил Николая I об одном:

— Хотя бы на один день отвезите меня в Торжок.

— Прямо на Кавказ! — указал император...

Шамиль поговорил с сыном, и, когда тот упомянул о таинственных силах электричества, имам посадил его в яму, куда ему и бросали еду, как собаке. Напрасно Лиза Оленина слала на Кавказ любовные письма — их перехватывали зоркие мюриды. Через кунаков, переходивших линию фронта, русские офицеры знали о страданиях Джемал-Эддина и жалели его... На Кавказе служил тогда брат Лизы, Алексей Петро-

вич Оленин, — тот самый Оленин, который в лагере нижегородцев чувствовал Александра Дюма, описавшего пирушку в очерке «Нижегородские драгуны». Алеша Оленин был другом Джемал-Эддина, и к нему-то обратился сын имама за помощью. С высот дагестанских гор пришла в лагерь записка на французском языке: Джемал-Эддин просил встретить его на передней линии огня с проводником, которого он вышлет. Темной ночью, ставя на карту свою жизнь, Оленин поскакал. Но близ аула его перехватил гонец: Шамиль узнал, что его сын готовит побег к русским, и Оленина ожидала в ауле засада. После этого случая унижения, насмешки и чахотка сгубили сына имама.

— Его забрал к себе Азраил, ангел смерти, — сказал Шамиль, свято веривший в то, что небосвод сделан из хрусталя...

Высоко в горах, где бродят холодные туманы, укрылась могила человека, любившего и долго еще любимого.

— Джани, Джани... где ты, Джани? — тосковала Лиза.

В глубокой старости она сама и рассказала эту историю племяннику своему. Это был Петр Алексеевич Оленин — ныне забытый нами писатель Оленин-Волгарь, который служил капитаном речного флота. А в советское время он командовал на Волге пассажирским пароходом «Вячеслав Менжинский»*.

Ш а м и л ь! Когда я был школьником, его портреты помещались в хрестоматиях. Затем отношение к нему изменилось. Потом о нем замолчали вообще. Шамиль стал вроде «снежного человека»: вроде бы он есть, а вроде бы его и нету... На всякий случай я открыл том Советской исторической энциклопедии: библиография о нем представлена единой советской книжечкой, к Шамилю мало отношения имеющей. Все ссылки даются на дореволюционные источники. А вот их-то как раз много... Их даже очень много, ибо на Кавказе по воле Шамиля тридцать лет подряд лилась русская кровь, и не только русская: в первую очередь страдали горские народы, которые сами не знали, как им избавиться от религиозной диктатуры Шамиля и его кровожадных мюридов. На всякий случай предворяю читателя: я не испытываю к Шамилю добрых чувств — для меня он прежде всего сатрап-фанатик... Что тут еще можно добавить?

Да ничего. Надо писать, коли взялся за это дело.

* Сама же героиня романа, Елизавета Петровна Оленина (родилась в 1832 году), в первом браке была за А.А. Дмитриевым-Мамоновым, после смерти которого вышла за барона Р.А. Энгельгардта; в начале нашего века проживала в г. Петербурге. Она приходится теткой известному советскому композитору А.А. Оленину (1865—1944), певцу П.С. Оленину (1874—1922) и знаменитой камерной певице графине М.А. Олениной-д'Альгейм (1869—1970), бывшей с 1946 года членом Французской коммунистической партии.

О появлении Шамиля в Петербурге, как он вел себя с нищими и в пушечном арсенале, я уже сообщал в своем романе «Битва железных канцлеров», посему повторяться не стану. Однако напомню, что имам посетил Первый кадетский корпус, где просил показать гальваномашину, о которой рассказывал ему несчастный Джемал-Эддин, и, кажется, действие электричества произвело на него должное впечатление... Шамиль сложил оружие в августе 1859 года, сдавшись со всеми домочадцами, каковых у него было немало. В правительстве сразу же возник вопрос: куда деть эту ораву? Для пребывания Шамиля избрали Калугу, тишайшую и ласковую провинцию. Иمامу был предоставлен трехэтажный дом с флигелями и конюшнями, в окружении тенистого сада, с высоким забором, чтобы прохожие не могли видеть его жен и невесток. К тому времени у Шамиля было только две жены: старшая — Шуанет (Анна Ивановна) Улуханова, похищенная им армянка, и молодая — Заидат, любимица его, страшная воровка, наушница и обманщица. Именно молоденькая и вертела имамом, как ей хотелось, а 15 000 рублей, даваемые Шамилю в год на содержание семьи, почти целиком оседали в ее раздутых кошельках...

Поначалу Шамилю все казалось внове, интересно и необычно. Он с удовольствием гулял с публикой на бульваре, знакомился с калужанами, которые наперебой зазывали имама в гости, любил слушать музыку. Но не выносил музыки военной, и стоило заиграть оркестру, как он затыкал уши. В театре Шамиль абонировал ложу, но смотрел больше на публику, мало интересуясь происходящим на сцене. Зато когда приезжал в Калугу цирк, имам охотно наблюдал за вольтижерами, клоунами, акробатами.

— Баракялла (чудесно)! — восклицал он при этом.

В цирке ему переводчик не требовался. Но один лишь вид декольтированных дам приводил имама в трепетное содрогание.

— Скажите: им разве не холодно? — удивлялся он.

Своих женщин имам держал в строгости — не дай-то Аллах, если какая откроет лицо или выглянет на улицу. Впрочем, и женщины вели себя не лучше. Когда Шамили выезжали на дачу в деревню, местные крестьянки хотели купаться в речке заодно с горянками. Но жены Шамиля хватили палки и палками гнали русских баб от себя подальше... Шамиль ложился спать не позднее одиннадцати часов вечера, а вставал до восхода солнца, чтобы приступить к свершению первого намаза. Его стол был скромным: суп с клецками, пирожки с луком и компот. Если не было компота, ели молочную кашу. Имам пользовался деревянной ложкой, чтобы подчеркнуть свою бедность. Но это неправда: его кладовки ломились от серебра и золота, а Заидат алчно скупала у русских бриллианты и рубины. Принимая подарки, Шамиль спрашивал:

— Сколько платил? Почему так дешево? А можно ли верить, что здесь нет примеси лигатуры? Это разве чистое золото?

Все подаренное жадно забирала у него проворная Заидат.

Гостей в своем доме Шамиль обычно встречал словами:

— Я рад, когда гости приходят ко мне. А если они не приходят, я радуюсь еще больше, как радуется заяц, обогнавший собак, преследующих его на охоте...

Случайно в Калугу занесло моздокского купца Халатова, родича Шуанет Улухановой; на вокзале его обворовали, и он просил имама выручить его деньгами, чтобы вернуться к семье.

— Для неверных у меня нет денег, — отказал Шамиль...

Побывав в гостях у имама и присмотревшись к тому, как живет эта семейка, русские люди были изумлены:

— Как же этот старик мог держать в страхе весь Кавказ, если не способен управиться со своими родственниками?

А более опытные люди, жившие на Кавказе, хорошо знавшие нравы и обычаи мусульман, дивились другому:

— Кажется, во всем Дагестане не собрать столько религиозного фанатизма, сколько наблюдаешь его в доме имама...

Шамиль усердно хлопотал, чтобы его отпустили в Мекку, но в этом ему отказывали, а военные министры России начинали письма к имаму обязательными словами: «Светилу учености, достойному уважения Шамилю! Да будет ваша мудрость полезным поучением для других...» В одном они правы: познания Шамиля были ограничены, но, питаясь исключительно соками ислама, он основательно знал то, что написано в его книгах. Кстати, и в плен он сдался с книгами и арабскими рукописями. А Петербург по первому требованию имама высылал ему любую книгу. Шамиль держал их всегда обернутыми в чистенькие тряпочки.

Имам огорчался, что его не отпускают в Мекку.

— Дагестан не знает города Калуги, — говорил он, — и потому все думают, что я сослан в самое худое место на свете. Если уж нельзя мне в Мекку, так пусть я лучше живу в Москве!

Но в Москву тоже не пускали: имам даже из Калуги надоед властям своими жалобами, кляузными и попрошайничеством. За всякую ерунду он требовал от казны денег, денег и денег. Калуга нахохоталась, когда он дом ремонтировал. Ведь три раза подряд переклеивал в комнатах обои. Заидат скандалила:

— Почему у старой Шуанет обои красивее?

Ободрали обои в ее комнатах, наклеили новые, и тогда впала в истерику Шуанет Улуханова:

— Я старшая жена имама, почему все Заидат, а не мне?

— Черт бы вас всех побрал, — бранились мастеровые, снова отдирая обои от стенок, а Шамиль печально вздыхал.

— Не этсим (что поделаешь)! Ля-илль-Алла...

Самый страшный человек в доме — Кази-Магома! После гибели Джемал-Эддина он был старшим сыном имама и уже отведал вкус людской крови. Внешне гориллоподобный, мрачный фанатик с лицом закоренелого злодея, он и не скрывал ненависти к русским. Кази-Магома держал дом в железном режиме мусульманских порядков, и, если он гаркнет на рассвете: «Азима!», все мигом вскакивали для молитвы...

Судьба послала ему в жены красавицу Каримат; силой навязанная ему в жены (еще в период могущества Шамиля), Каримат люто ненавидела своего мужа. Русским переводчикам она говорила, что согласна быть сосланной в Сибирь, только бы не видеть Кази-Магому — изверга. Вот ее подлинные слова:

— Человек, держащий подле себя женщину, которая презирает его, разве заслуживает чести называться мужчиной?

Каримат угасла в чахотке. Ее ближайшая подруга Женечка Апрянина (внучка поэта князя И.М. Долгорукого) потом рассказывала биографам Шамиля, наезжавшим в Калугу:

— В железном гробу лежал малюсенький скелетик. Представьте их рядом — умную, гордую Каримат и этого хама. А ведь она была первой красавицей Кавказа... Это не семья — садисты!

Средний сын имама по имени Магомет-Шафи вдохновился примером покойного Джемал-Эддина, сразу же поступив в русскую кавалерию и удалившись с женой Аминат в столицу.

— Этого сына я не знаю, — говорил Шамиль...

Когда Магомет-Шафи привез в Калугу свою Аминат на седьмом месяце беременности, Шамили сразу загнали ее в могилу. А на втором году калужской жизни Заидат родила старцу еще одного сына — Магомета. Наконец, при имаме состояли зятья — Абдурахим с Абдурахманом, мужья его дочерей Фатимат и Нафисат. Эти молодые люди, ловкие как обезьяны, стали в Калуге лучшими бильярдистами и потихоньку от Шамиля покуривали папиросы. Мало того: считавшиеся прямыми потомками пророка, они еще и попивали. И их жены, отгородясь занавесками, целыми днями сидели на кроватях, бесперебойно пожирая сладости, наполняя дом имама постоянным плачем и хныканьем.

Приставы в доме Шамиля долго не выдерживали:

— Тут сам черт ногу ломает! Лучше подать в отставку...

А ведь подбирали в приставы самых стойких, со знанием лезгинского, аварского и чеченского наречий... Шамиль, сидя на полу, скрестив под собой ноги, качался, механически перебирая все девяносто зерен четок с изречениями из Корана, и с таким видом, будто его ничто не касалось, бубнил только одну фразу:

— Ля-илль-Алла... Ля-илль-Алла... Ля-илль-Алла...

Полиция Калуги иногда нарушала покой этого царства:

— Осмелимся доложить, зять ваш Абдурахман напал на оптическую лавку и утащил из нее все очки, какие там были.

— Ля-илль-Алла, — отвечал им Шамиль.

— А ваш сын Кази-Магома, охотясь под селом Ермолово, вытоптал крестьянские поля, а мужиков стегал плетью.

— Ля-илль-Алла... Ля-илль-Алла...

— Тьфу ты хосподи! Честь имеем откланяться...

Когда полиция покидала дом, из окон высовывались головы женского персонала ставки Шамиля, и эти милые небесные создания, приподняв чадры, ловко оплевывали с высоты этажей фуражки, эполеты и тужурки чинов порядка... Жаловаться некому! Попробуй их только тронь, так потом кляуз не оберешься. Но даже самые верные слуги и наибы Шамиля покидали его, не желая прозябать вместе с ним. Они возвращались на Кавказ, где еще гремели выстрелы и сверкали шашки. Многие из них активно включались в общественную жизнь страны. Шамиль всем уже надоел!

В 1866 году он сам и его семейство были приведены к присяге на верность российскому престолу. Очевидно, в этом назрела необходимость, ибо имам стал антирусским знаменем в Турции и Англии, его имя служило магнитом для всех ортодоксальных мусульман... Шамиль клятву дал, Кази-Магома тоже! Снова они возобновили хлопоты, чтобы их отпустили в Мекку, при этом Шамиль жаловался на суровость калужского климата.

— Не климат тут виноват — тут политика виновата!

Чтобы доказать страдания семьи от «суровости» климата, Шамиль буквально законопатил ее в своем доме, никуда не выпуская, а печи нажаривали до такого состояния, что плюнь — зашипит! Русские люди, побывав у Шамилей, выходили на воздух в полуобморочном состоянии. Одна лишь Шуанет выдержала эту муку, а все остальные женщины слегли в болезни... Делать нечего!

— Вам разрешено ехать в Киев, — было сказано Шамилю.

— Все ближе к Мекке, — обрадовался имам...

Накануне отъезда мужчины остригли ногти, женщины выщипали на теле волосы, все это добро завязали в один узелок, который при свете луны и утопили в колодце; с этого момента семья имама не смела раздавить клопа на стене, не убила ни единой вши — таковы законы, за соблюдением которых следил Кази-Магома. После недолгого пребывания в Киеве всех Шамилей в 1868 году отпустили в Мекку на поклонение святыням. Ехали они через Турцию, и пребывание при дворе султана стало для имама жизненным триумфом. Даже нищие

на базарах лобызали следы его подошв на земле. Одного посещения Мекки показалось Шамилю мало. Он вторично пожелал повидать священную Каабу. Когда-то неустрашимый наездник, имам уже не мог держаться в седле. Его повезли в качалке, укрепленной между горбами двух верблюдов. Но один верблюд шагал резвее второго, качалка упала, и Шамиль сильно разбился, сказав со стоном:

— Так начертано на моих досках предопределения судьбы...

Его похоронили в Медине, на кладбище Джаннат-Эм-Баки.

Кази-Магома стал генералом турецкой армии, в войне 1877—1878 годов он сражался против русских. О тех зверствах, которые творил этот выродок, я уже писал в своем первом историческом романе «Баязет», и добавить мне больше нечего.

Зятья имама, Абдурахман с Абдурахимом, не последовали за ним, а вернулись на Кавказ, где устроили фабрику по выделке прессованных сухофруктов. И хотя они считались потомками самого пророка, но чистоган ценили больше, нежели Мекку!

Иначе сложилась жизнь среднего сына имама, Магомет-Шафи Шамиля, который превратился в честного исправного служаку. Он остался в памяти людей как добрый отзывчивый товарищ, отличный кавалерийский генерал. Но воевать ему не привелось. В 1877 году, узнав о вероломстве Кази-Магомы, он обратился к царю, прося направить его на Кавказский фронт:

— Хочу скрестить оружие с родным братом.

— Нет, — отказал ему Александр II, — я не хочу, чтобы ты сражался противу своих единоверцев. Вот погоди, если начнем воевать в Европе, тогда я тебя и сам позову...

Магомет-Шафи вторично женился в Казани на дочери татарского улема, окончившей гимназию. Генерал был полным блондином атлетического сложения, рыжеватую бороду он коротко подстригал. Обладал чудовишной силой! Но почему-то любил подлечиться на водах Кеммерна, часто выезжал в Пятигорск и Ессентуки, где посмотреть на него собирались престарелые мюриды Шамиля. Но смотрели издали, не приближаясь к сыну имама в мундире русского генерала. Да он и сам отворачивался от них...

А иногда Магомет-Шафи попадал в забавные ситуации. Имя его отца было широко известно в Европе, и однажды во время пребывания в Париже он из газеты «Фигаро» узнал, что в Пассаже можно видеть «сына знаменитого Шамиля, бывшего владыки Кавказа, который 40 лет сражался с русскими варварами, весь изранен и чудом спасся во время штурма аула Гуниб. Зовут его — Магомет-Шафи. Плата за вход — 2 франка».

Магомет-Шафи уплатил 2 франка, чтобы посмотреть на самого себя. Самозванец, какой-то чахлый грузин, босой и волосатый, сидел в железной клетке, украшенной надписью: «Близко не подходить: кусается!» При виде публики самозванец хватался за кинжал, зверино рычал на людей, охотно поглощая куски сырого мяса. На вопросы по-французски он, конечно, не реагировал. Тогда Магомет-Шафи спросил его по-русски:

— Эй, кацо, а сколько тебе платят за эту комедию?

После чего, легко разломав клетку, вытащил оттуда мнимого Шамиля и сдал его полиции — для отправки по месту жительства.

В семейной жизни Магомет-Шафи был счастлив: жена принесла ему троих детей. Сын его, внук имама, служил в Казани чиновником. Но в душе был завзятый театрал, и многие русские актеры, гастролировавшие в Казани, остались очень благодарны ему за помощь, которую он им оказывал...

А вот фотография молодой обворожительной женщины!

Это дочка Магомет-Шафи по имени Нафисат Магомет-Шафиговна, внучка грозного когда-то имама. В 1913 году красавица выпорхнула в жизнь из стен Смольного монастыря и стала преподавательницей французского языка...

На этом можно было бы и закончить. Но получилась слишком «розовая» концовка трагических событий на Кавказе. Я вынужден исправить ее жестокой правдой. В годы Великой Отечественной войны, когда народы Кавказа совместно с русскими насмерть сражались с вермахтом, на стороне Гитлера выступила «Народная партия горцев», созданная в Берлине Саидом Шамилем — внуком известного имама.

Об этом сказано в книге «Неотвратимое возмездие», вышедшей в нашей стране в 1979 году.

Старое, доброе время

В середине прошлого столетия жители российской столицы часто видели странного человека, который свободно проникал в кабинеты самых знатных вельмож, а иногда шепотком беседовал с дворниками. Держался он слишком независимо и даже отчужденно от людей, вечно сосредоточенный, взирающий исподлобья, но при этом его маленькие свинные глазки, казалось, насквозь пронизали каждого человека...

— Кто это? — шепотком спрашивали люди.

— Это русский Фуше, — отвечали им с опаскою.

— Какой же это Фуше? — слышалось от других. — Это скорее наш доморощенный питерский Лекок.

Чиновники, служившие в канцелярии обер-полицмейстеров Санкт-Петербурга, не раз видели этого Фуше-Лекока в различном одеянии. Он являлся перед ними то солидным господином, посверкивая бриллиантами в перстнях, то его видели вертким купцом в чуйке, а то вдруг он предстал жалким оборванцем-пропойцей, который, казалось, начнет сейчас кланяться на водку.

— Господа, — утверждали знающие люди, — не будем сравнивать этого человека ни с Фуше, ни с Лекоком — Карп Леонтьевич Шерстобитов воистину русский, воистину православный, и... запомните: с этим человеком лучше бы нам не связываться!

Увы! Прошлое, как говорится, сокрылось во мраке неизвестности, да и не такой человек был Карп Леонтьевич, чтобы просвещать потомков относительно своих предков. Хвастать-то было нечем, ибо произведен на свет он был безвестным солдатом. Судя по всему, Шерстобитов рано лишился опеки родителей, ибо николаевская система его — еще ребенка — поставила в шеренгу кантонистов, выровняла по ранжиру, высекла розгами, добавила ему палок. Но при этом система воспитания кантонистов не забывала об умственном развитии.

Шерстобитов выучился на военного фельдшера, двадцать лет подряд служил в морском госпитале Кронштадта, где и нашел себе утешение — матросскую дочь Прасковью Артамоновну, а попросту «Парашу». Выходцу из школы кантонистов следовало 20 лет отработывать (почитай, за гроши) тот казенный хлеб, что получил с детства, — будь любезен всем кланяться, никому не перечь, ибо можно опять розог да палок попробовать.

Вот и ходил по струнке, а своего мнения не имел.

— У ж о! — говорил фельдшер Параше. — В сорок первом году отпустят со службы — ох и заживем мы с тобой!

— То верно, — соглашалась жена. — Я себе канарейку заведу, а ты, Карпуша, на гитаре мне играть станешь...

В 1841 году Шерстобитов обрел за выслугу лет чин коллежского регистратора. «Он был титулярный советник», — пелось в романсе, но титулярный советник перед коллежским регистратором — это слон перед москвой, ниже чем регистратор человека не может быть. (В Государственной Табели о рангах он занимал самую последнюю строчку.) Покинули супруги Кронштадт, перебрались в Петербург, сняли там «угол», заготовили дровишек, ели щи с мясом, канарейку завели, и она радостно запевала, когда хозяин ударял по струнам гитары.

Между тем Карп Леонтьевич никак не был похож на тех «пришибленных» людишек, кои раздавлены нуждой и унижением и считают себя ничтожеством. Напротив! Как писал современник, «по наружности Шерстобитов, по отсутствию в нем угловатости, по его мягким

и благородным повадкам, он более походил на приличного светского господина, нежели бывшего кантониста», поротого-перепоротого. В столице Карп Леонтьевич обзавелся знакомствами, и поскольку он жил возле пожарной части, то и брандмайор О.С. Орловский стал его добрым соседом. Надо же было так случиться, что однажды обворовали квартиру Осипа Степановича, а человек он был хороший, и Шерстобитову жаль его стало...

— Не могу ли помочь? — сказал брандмайору.

— Э! — отмахнулся брандмайор. — Я уже ходил к Сергею Александровичу, жаловался, что полиция у него плохо следит за порядком, да ворованное разве вернешь?

Сергей Александрович — это Кокошкин, бравый генералище, что в ту пору состоял обер-полицмейстером Петербурга.

— Ладно, — сказал Шерстобитов, — я поищу...

Приоделся попроще, стал обхаживать рынки, заводить речи с людьми подозрительного вида, прислушивался по трактирам к тому, о чем говорят бродяги да извозчики, и нашел краденое в «Вяземской лавре» (это громадный дом на углу Сенной площади, притон нищеты и уголовного мира, ранее описанный Крестовским в романе «Трущобные люди», а в наше время об этой «лавре» писал А.Н. Тихонов-Серебров, бывший секретарь Максима Горького). Орловский расцеловал Шерстобитова:

— Ну, сосед, не ожидал такого проворства. Чтобы ты, который матросам клизмы ставил, да в «Вяземскую лавру» поперся... Уж ты скажи — как тебя тамотко не зарезали?

В ответ брандмайору стал Шерстобитов играть на гитаре:

— С людьми говорить уметь надобно. Когда криком, а когда шепотом. Я тебе, друг ситный, ласковым словом любую гадюку из-под коряги выманю...

Кокошкин пожелал иметь с ним личное знакомство.

— Карп Леонтьич, — сказал он Шерстобитову, — мне тут о тебе брандмайор чудеса поведывал. Распутай мне одно дельце, и, ежели справишься, я тебя в квартальные надзиратели выведу... Ты барона Штиглица знаешь ли?

— Это который банкир? Который миллионер?

— Тот самый. Так вот с ним худая история приключилась.

— А что такое, ваше превосходительство?

— Да едва живым ушел... Слушай!

...В один из дней миллионера навестил офицер из свиты принца Батгенбергского, который, как было известно из газет, присутствовал на Красносельских маневрах как почетный гость русского императора. Штиглицу было сказано:

— Принц малость поиздержался и просил бы вас, барон, навестить его в отеле у Демута, который он снял, желая поговорить с вами по важному вопросу...

Штиглицу было ясно, в чем «важность» вопроса: если принц сидит без денег, значит, он желает подзанять у банкира.

— Его высочество, — сообщил посланец, — уверен, что вы не замедлите со свиданием, для чего и прислал за вами карету.

— Благодарю, — отвечал Штиглиц, — но в чужих каретах я не привык ездить, а желание принца понятно. Скажите ему, что я вскоре же подъеду...

Прибыв в отель, Штиглиц спросил внизу, каков номер, снятый для принца, и последовал этажом выше. Одна комната — пусто, вторая — ни души, толкнул двери в третью... Тут на него и накинулись сразу трое из «свиты» принца, которые для начала треснули его по кумполу кирпичом, а потом стали примитивно душить с помощью галстука. Штиглиц, не будь дураком, стал орать, прислуга услышала его зов о помощи, преступники мигом скрылись, оставив в номере свой чемодан.

— Конечно, — рассуждал Кокошкин, — они рассчитывали, что барон подкатит с большими деньгами, потому и устроили ему западню, заранее сняв номер от имени принца Баттенбергского.

— А что в чемодане? — спросил Шерстобитов.

— Да ерунда на постном масле... два-три кирпича в рогожке и пара стоптанных сапог. Вот и все. Местный пристав полковник Горбунов сидит на этом чемодане какой уж день, обещая найти воров, но дело не движется.

— Где этот чемодан? — спросил Шерстобитов.

— В Первой адмиралтейской части... у Горбунова.

Приехал туда Шерстобитов, а Горбунов не дает чемодана, спрашивая: «Да ты кто таков, я знать тебя не знаю!» На что Карп Леонтьевич доложил, что прислан лично Кокошкиным, а сам он с образованием фельдшера. Тут все чины, под стать Горбунову, стали над ним издеваться, слышались ехидные реплики, а полковник чемодан раскрыл и сказал:

— Гляди! Или кирпичей с сапогами не видывал?..

Шерстобитов погладил кирпичи, потом взял нож и распорол голенища сапог до самых каблучков. Глянул внутрь, плюнул туда, потер пальцем, что-то разглядывая. Тут еще пуще стали над ним измываться, а Горбунов хохотал:

— Умнее нас, что ли? Много узнал по сапогу?

— Сейчас узнаем, — скромно отозвался Шерстобитов...

Прошло три дня, и он заявил в канцелярию столичного обер-полицеймейстера, доложив Кокошкину:

— Велите послать наряд полиции к Калинкину мосту — все трое из «свиты» принца лежат на мосту, уже связанные.

— Как? — подскочил Кокошкин.

— А вот так... лежат и плачут. Брать-то их пришлось с подмогою грузчиков да калашников — люди они темные, необразованные, они «свиту» Баттенбергского сильно помяли...

А все было очень просто. Внутри сапожного голенища Карп Леонтьевич разглядел стертое клеймо мастера на букву «Ф». Составил список сапожников, фамилии которых начинались именно с этой буквы, и за день объехал всех, показывая клеймо. Один сразу признал свою работу, по старым шнуровым книгам, назвал и фамилию заказчика. Адресный стол в Петербурге работал всегда четко: искомый заказчик проживал у одной немки, та охотно подтвердила, что недавно приютила троих мужчин — брюнета, блондина и рыжего. Сами они люди тихие, нигде не бывают, а навещает их только один провизор из той самой аптеки, что у самого Калинкина моста.

— Что им велите передать? — спросила немка.

— Я сам передам, фрау, стоит ли затруднять вас?..

Подъехали к аптеке, а из дверей ее как раз и выходит один — рыжий. Шерстобитов — хватить его за глотку и повалил.

— Ты мне совсем не нужен, — сказал он ему. — Отпущу сразу, ежели скажешь, где еще двое твоих приятелей?

— Там, — показал рыжий на мост, где, облокотясь на перила, поджидали рыжего блондин с брюнетом...

Банкир Штиглиц навестил Шерстобитова:

— Позвольте презентовать вам тысячу рублей в благодарность за вашу расторопность.

— Н е т! — отказался взять деньги Шерстобитов. — Я исполнял не ваше, барон, поручение, а поручение начальства, вот если оно соизволит...

Николай I соизволил выделить из казны тысячу рублей для награды Шерстобитова, наградил его орденом Станислава, из XIV класса Табели о рангах передвинул его сразу в XII класс, и стал Карп Леонтьевич губернским секретарем (что равняется чину поручика или корнета). Завел он себе пушистый халат на беличьем меху, настроил гитару, ударил по струнам, и в клетке радостным пением отозвалась ему канарейка.

Понятно, что Кокошкин оставил его при столичной полиции, сделав Шерстобитова квартальным надзирателем. Но вскоре Карп Леонтьевич «заявил себя самым искусным, осторожным, находчивым, вкрадчивым и терпеливым сыщиком». Свершив преступление, злодеи часто скрывались в провинции, железных дорог не было, телеграфная связь отсутствовала, и потому Кокошкин часто засылал Шерстобитова в дальние командировки, чтобы преследовать преступников и брать их живьем с доставкой «на дом» — прямо пред светлейшие очи Кокошкина.

До 1842 года в России вообще не было сыскной полиции: когда же ее завели, то выработали лишь десять пунктов обязательного надзора: первый касался наблюдения за публичкой в храмах божиих, а десятый — «благочиния в домах непотребных женщин». Шерстобитов явился как раз кстати, ибо он обладал не только нюхом сыщика — это был, скажем прямо, т а л а н т, не о таких ли в народе говорят, что они «сквозь землю видят».

Надо сказать, что Карп Леонтьевич был не так уж прост, как о нем думал Николай I и тот же Кокошкин, ибо, заведя нужные связи «наверху», он установил прочные связи и «внизу». Шерстобитов сделался своим человеком в том мире, где царствовали вору, налетчики, перекупщики краденого, гробокопатели, мошенники, фальшивомонетчики, шулеры и дамы известного поведения — именно через них он узнавал многое, а за услуги, оказанные ему, он расплачивался «натурой».

— Ты не финти мне! — говорил он. — Лучше сразу выдай, где прячется Ванька Птух, и я — вот-те крест святой! — закрою глаза, когда отвинтишь сейф от пола в доме купца Косякова...

Нет, читатель, я не беру эти данные с потолка. Виктор Никитин (тоже из кантонистов, ставший потом писателем, ведавший тюремными делами) писал в своих мемуарах о Шерстобитове, что потворствуя мелким преступникам, он требовал от них выдать ему преступников высшего ранга, которые «наследили» кровью. «Проще, когда от мазуриков страдают заурядные люди, — писал В. Никитин, — полиция плюет на них, а когда беда постигнет высоких лиц, им возвратят вещи (украденные), чтобы доказать бдительность полиции. Шерстобитов имел несколько ловких помощников, которые при надобности ездили не только по всей России, но даже за границу по сыскной части...»

К тому времени Шерстобитов завел себе хорошего помощника — это был Иван Дмитриевич Путилин, еще молодой парень, которого нарочно подсаживали в тюремные камеры, чтобы, на параше сидючи, выпытывал секреты уголовного мира. Ванька Путилин о своем прошлом помалкивал, лишь иногда намекая коллегам, что мораль его жижделась на шаткой основе той же парашаи.

Шерстобитов говорил Путилину:

— Как мне тебя Иваном Дмитриевичем величать, ежели глянешь на морду — и сразу видать, что жулик. Ты бы, стрекулист, хоть бы бакенбарды себе отрастил... для солидности.

Генерал Кокошкин не мог нарадоваться, докладывая царю о небывалых успехах сыскной полиции, и Николай I не жалел для Шерстобитова орденов Станислава, Анны и Владимира, отчего, согласно законам империи, бывший безродный кантонист обрел потомственное дворянство, а чин занял надворного советника.

Прасковья Артамоновна прифрантилась, орешки щелкала, словно белка, научилась по утрам кофейком баловаться, а мужу сказывала, чтобы сыграл ей на гитаре:

— Коли надворным советником стал, так, выходит, только на дворах твои советы станут выслушивать? А ты бы просил сразу «уличного»... Но в доме своем, помни, я останусь главной домашней советницей, а потому ты играй, Карпуша, играй на усладу мне. Гляди, как жизнь-то обернулась: никаких расходов — одни прибыли пошли. Вот и канарейка запела...

Но бывали роковые случаи в уголовной практике Петербурга, когда блистательная карьера Шерстобитова опасно потрескивала, готовая сломаться. Случилось это, когда из дома французского посла герцога Наполеона-Августа Монтебелло украли драгоценный сервиз, которому, считай, цены нет. Жена спрашивала:

— Из серебра аль из фарфора какого сервиз-то энтот?

— Да по мне хоть из дерьма слеплен, — отвечал жене Шерстобитов, — а найти велено свыше... Герцог Монтебелло, чтоб ему ни дна ни покрывки, уже наскулил нашему императору, что наша полиция плохо работает. Надо Ванюшку Путилина звать: один ум — хорошо, а полтора ума — еще лучше...

Позволю себе небольшое отступление. О случае с этим сервизом в свое время писал знаменитый правовед А.Ф. Кони — со слов самого И.Д. Путилина; при этом Кони называл имена замешанных в эту историю: император Николай I, французский посол Монтебелло и обер-полицмейстер А.П. Галахов. Но в этом сочетании имен, сведенных в один пучок, я вижу нарушение хронологии... Почему, спросите вы. Отвечаю: Николай I умер в 1854 году, герцог Монтебелло стал послом в Петербурге лишь с 1858 года, а Галахов, сменивший Кокошкина в 1847 году, покинул пост обер-полицмейстера столицы в 1856 году. Чувствуете, как вся эта святая «троица» рассыпается? Однако в своем рассказе я решил следовать той версии, которой придерживался и почтенный сенатор А.Ф. Кони...

Итак, Путилин предстал перед своим наставником, уже имея на хитром лице вполне пристойные чиновные бакенбарды.

— Теперь, — сказал учитель ученику, — нам, Ванюшка, никак не миновать Сибири, куды и пойдем по канату...

Путилин растряс в руке роскошный платок, украшенный княжескими гербами, отнятый у одного вора, и — высморкался.

— Зачем же нам в Сибирь идти, будто у нас в Петербурге дел важных не стало?

Шерстобитов растолковал: император намылил голову Галахову, чтобы сервиз обязательно был отыскан, а Галахов сулится упечь

Шерстобитова в те самые края, куда и ворон костей не заносит, если Монтебелло не узрит сервиза на прежнем месте.

— Надо бы воров поспрашивать, — сказал Путилин...

Много позже Иван Дмитриевич рассказывал сенатору Кони, как они действовали: «Перебрали мы всех воров — нет, никто не крал! Они и промеж себя целый сыск произвели получше нашего. Говорят: “Иван Дмитриевич, ведь мы знаем, какое это дело, но вот образ со стены готовы снять — не крали мы этого сервиза!” Что ты будешь тут делать?..»

— Делать нечего, — решил Шерстобитов. — Лучше уж нам с тобою, Ванюшка, на бобах сидеть, а раскошелиться сразу... Шут с ним: как легко нажили — так легко и отдадим.

Сложили они свои капиталы и поехали не куда-нибудь, а прямо в ювелирную мастерскую знаменитого мастера Сазикова, выложили перед ним все свои деньги, накопленные праведно и неправедно, а заодно разложили перед ювелиром рисунки с предметов сервиза, которые заранее добыли в посольстве.

— Паша, родненький, — взмолился Шерстобитов, — уж ты постарайся, чтобы все тютельница в тютельница и чтобы этот герцог Монтебелло новый сервиз за свой старый признал...

Сазиков сервиз новый (копию со старого) быстро спроворил. Шерстобитов повез сервиз своему знакомцу — бренд-майору Орловскому и тоже взмолился:

— Осип Степаныч, раздай все эти тарелки да кубки своим пожарным, чтобы они их губами поскорее обшлепали, дабы сервиз обрел благопристойный старинный вид.

— Это мои пожарные — рады стараться...

После чего, когда сервиз приобрел соответствующую «патину» старого благородства, Шерстобитов упаковал его и отвез во французское посольство.

— Берите! — сказал. — И больше чтобы ваш герцог не жаловался царю нашему, будто русская полиция не умеет работать...

А тут как раз бал в Зимнем дворце! Вот император провальсировал с любимой фрейлиной и подошел к Монтебелло.

— Ну, герцог, — сказал он ему, — надеюсь, вы довольны моей полицией?

— Даже очень, — отвечал французский посол. — Был у меня только один сервиз, а теперь стало сразу два...

Перестал Карп Леонтьевич играть на гитаре, поникла и находилась в клетке канарейка. Вызвал он Путилина.

— Не знаю, — говорит, — как твоя Танька, а моя Парашка уже сухари готовит, чтобы нам до Сибири топать. Теперь-то уж точно — кандалов нам не миновать!

— Да не мучь ты меня, Карп Леонтьич, что стряслось-то?

— А то и стражлось, что утром мы сервиз от Сазикова в посольство вернули, а вечером того же дня камердинер герцога второй сервиз перед ним выставил и поклялся, что он этот сервиз заложил временно, ибо в деньгах нуждался... Так что, Ванюшка, доставай валенки — на этот раз Сибири не миновать!

Справедливо, что император был разъярен и бранил Галахова самыми последними словами, а до нас — в записи Кони — дошли и те слова, которыми Галахов разлаял Шерстобитова: «Вы, — сказал он, — с Путилиным плуты, ну и плутайте. А меня как смели подвести под отставку?..» Стали тут плуты размышлять.

— Дело скверное, — согласился Путилин с выводами учителя, — но неужто нам так уж обязательно морозами греться?

«Поиграл он (Шерстобитов) на гитаре, послушали мы оба с ним канарейку да и решили действовать». Должен сказать, читатель, что рассуждали они вполне логично.

— Сначала, — сказал Шерстобитов, — мы из одного сервиза два сделали, а теперича, как ни крутись, а из двух сервизов должен один остаться, чтобы комар носу не подточил.

— Так это же проще простого, — повеселел Путилин.

Первым делом проникли, когда Монтебелло будет приглашен в отъезд — с царем на охоту. Потом навестили в Апраксином дворе купца Поцелуева, который снабжал французское посольство провизией, а потому имел среди французов немало приятелей.

— У тебя когда именины-то? — спросили купца.

— У-у-у, — отвечал тот. — Через полгода, кажись.

— Не придуривайся! Послезавтра у тебя именины, — сказал Путилин, — и ты лучше не спорь с нами, не то худо будет. В день, когда Монтебелло уедет из Питера бедных зайцев гонять, ты пригласи весь штат посольства.

— Разорюсь же я, — приуныл Поцелуев.

— Это не беда! Все расходы полиция берет на себя...

«И такой мы у него пир закатали, — вспоминал Путилин, — что небу жарко стало. Под утро всех развозить пришлось по домам: французы-то совсем очумели, только мычат... Ну-с, а часа в три ночи забрался в посольство Яшка-вор. Вот человек-то был! Сердце прямо золотое, а уж насчет ловкости, так я другого такого не видывал. В остроге сидел бесшумно... царство ему небесное!» Короче говоря, Яшка-вор вынес сервиз в мешке и прихватил еще две лишние золотые ложки.

— Это зачем же ты, Яшка, чужое своровал?

— Не утерпел, — сознался тот..

Утречком Шерстобитов как ни в чем не бывало навестил канцелярию обер-полицмейстера и сказал Галахову:

— Не пойму, чего это там герцог Монтебелло напраслину надумывает? Был у него один сервиз — один и остался. Вестимо, что французы всегда в мыслях завихряются, потому и верить-то им совсем необязательно...

Кони спрашивал Путилина: чем все это закончилось?

— Известно, чем. Вернулся герцог с охоты, видит, что остался один сервиз, а прислуга вся с перепоею ажно позеленела, лбами вместо дверей в косяки тычется... Все стало ясно, но более посол Франции не жаловался нашему императору на то, что русская полиция плохо работает...

Историки иногда задаются вопросом: почему Шерстобитов ретиво служил при Кокошкине и Галахове, а потом удалился в отставку? Мне думается — есть объяснение. Дело в том, что летом 1848 года скончалась Прасковья Артамоновна, все разом стало ненужно и постыло для Шерстобитова, и в марте 1866 года, одинокий и забытый всеми вдовец, он тихо умер в чине коллежского ассессора...

И.Д. Путилин умер в самом конце XIX века, а в 1913 году его сын опубликовал работу отца «Тайное общество», в которой покойный автор излагал свои воззрения на революционизирование русского народа... Вот так! Времена круто изменились: если Шерстобитов в поте лица утруждался на уголовной ниве, обильно политой кровью и засеянной краденными монетами, то его ученику привелось окунуться в бездну политики.

Историк политической жизни России М.К. Лемке еще до революции разложил Путилина по косточкам, и в процессе поэта Михайлова и в деле Чернышевского — всюду виделся хитрый почерк Путилина, освоенный им в шерстобитовской школе. Об этом же говорил Путилину и сам сенатор Кони, бывший юристом кристальной совести:

— Иван Дмитриевич, когда ни послушаю вас о прежних старых и добрых временах, неизменно думаю — не лучше ли вам молчать о своих делишках, ибо порою мне кажется, вы до сей поры, уже в новом времени, не изменили привычкам младости.

— Знаю, знаю, — соглашался Путилин, — что наши похождения с Карпом Леонтьевичем не слишком-то пригодны для публикации, да ведь... Сколько лет прошло! А сейчас разве есть стоящие дела? Дрянь какая-то, народ нынеча жидко пляшет. И преступников-то хороших не стало. Сейчас, бывало, схватишь за цугундер вора на Лиговке, который в Любань был выслан, дашь по зубам, чтобы мамы с папой не забывал, а он — в слезы: «Помилуйте, скулит, вконец обнищал в Любани, дозвоьте в столице подкормиться». Ну, дашь такому недельный срок, чтобы поворовал да приоделся — и обратно его в Любань!

Впрочем, никто и никогда не сомневался в том, что Путилин был великолепным сыщиком, а Кони считал его как бы созданным самой природой для такой деятельности. А.Ф. Кони писал о нем в 1907 году: «Необыкновенно тонкое внимание и чрезвычайная наблюдательность, в которой было какое-то особое чутье... соединились в нем со спокойной сдержанностью, большим юмором и своеобразным лукавым добродушием. Умное лицо, обрамленное длинными густыми бакенбардами, пронизательные карие глаза, мягкие манеры и малороссийский выговор были его характерными наружными признаками. Путилин умел отлично рассказывать, а еще лучше вызывать на разговор других...» Согласитесь, что в этих строках Кони нарисовал облик идеального сыщика!

Таким он и был, кстати, ибо школа Шерстобитова научила его видеть то, чего не видели другие. Приведу пример. Однажды в Александро-Невской лавре был зарезан иеромонах Илларион, который имел немало валюты, ибо долго плавал по белу свету на кораблях русского флота. Убийца унес сумку с золотыми монетами. Илларион любил гостей, каждый вечер устраивал чаепития, и поначалу в убийстве заподозрили кого-либо из послушников лавры. Тут явился Путилин, огляделся, перебрал в комод стопку чистого белья, запятнанного кровью, ибо — в поисках валюты — убийца перебрал все белье, словно страницы книги. Потом подошел к окну и стал размышлять.

— Пошлю-ка агентов по станциям железной дороги аж до самой Любани, — сказал Путилин. — Убийца наверняка кутит в трактирах на станциях Николаевской дороги.

— Как же узнать его?

— Это легко. У него глубокий разрез ладони правой руки.

— Почему правой, а не левой?

— Книгу мы листаем не левой, а правой рукой, и по кровавым пятнам на полотенцах, которые он перевертывал, отыскивая деньги, я понял — правая...

Вечером убийца был арестован в трактире на вокзале возле Любани, опознанный по разрезу на правой руке.

Слава Путилина пережила его самого. В 1916 году афиши столичных синемаграфов назойливо лезли в глаза: «Захватывающий фильм! Приключения знаменитого начальника Петроградской сыскной полиции И.Д. Путилина». Редкий прохожий мог устоять перед таким соблазном.

В мемуарах инженера Льва Любимого рассказано, что, будучи бедным студентом, он давал уроки сыну Путилина в их усадьбе «Оснечки» на Волхове.

В обыденной жизни Путилин был человеком интересным, а когда начинал вспоминать старое доброе время — его слушали затаив дыха-

ние, а речь Ивана Дмитриевича была образной, остроумной. Наверное, именно по этой причине ближайшим другом его сделался знаменитый актер, рассказчик и писатель Иван Горбунов, за чаркой водки — под всплески рыб в Волхове — они изощрялись в изложении таких жизненных фабул, которые нормальному человеку и во сне не приснятся...

Я не специалист по творчеству Достоевского, но думается, что некоторые черты путилинского облика и характера писатель воплотил в образе следователя Порфирия Петровича в своем «Преступлении и наказании». Роль этого следователя лучше всего исполнил Кондрат Яковлев, и наверное, вы помните, что писал по этому поводу прославленный С.А. Юрьев: «Невозможно забыть эти округлые манеры и движения, эти ласковые, такие, казалось, обиденные, житейские интонации... Вся сцена велась им (Яковлевым) как виртуозная игра в кошки и мышки».

В этом описании актерской игры я невольно ощущаю что-то очень знакомое — от обликов Шерстобитова и его подручного Путилина. На этом позволю себе и закончить.

«Вольное общество китоловов»

Еще в юности я приобрел увесистой том «Год на Севере» замечательного писателя С.В. Максимова, которого у нас больше знают по книжке о мудрости народных изречений. Увлеченный прошлым Русского Севера, я и не подозревал, что эта книга отчасти вошла в историю революционного движения на царском флоте.

О китах я скажу потом. Но сначала вспомним адмирала Николая Карловича Краббе, за которым глобальных походов не числилось, но он первым прошел по Амударье, положив начало когда-то славной Аральской флотилии. Старые адмиралы, потрепанные штормами всех широт мира, терпеть его не могли, иначе как «щенком» или «мальчишкой» не называя:

— Да где он плавал-то? На Арале да по Каспию? Выходит, из лужи в корыто перелез, там и барахтался...

Управляя морским министерством, Краббе создавал для России паровой броненосный флот — в этом его главная заслуга. Литературоведы знают Краббе с иной стороны: будучи приятелем Н.А. Некрасова, он любил охотиться и, пользуясь своим положением при дворе, помогал поэту избегать всяческих трудностей с изданием «Современника». Искусствовадам Краббе известен в роли коллекционера, собравшего галерею картин и скульптур легкомысленного жанра. Наконец, об этом адмирале существует еще одно мнение — как о ловком царедворце, который потешал царскую семью циничным остроумием

и беспардонными выходками эксцентричного порядка. Ему, как шуту, пришлось многое, и Краббе, уроженец Кавказа, иногда увеселял царя грузинской лезгинкой или армянскими «серенадами»:

Если хочешь быть богат,
Лучше кушай виноград.
Если хочешь быть счастлив,
Кушай много чернослив...

Краббе имел привычку носить мундир нараспашку, галстук и воротнички с манжетами мешали ему. Соответственно, обнажив волосатую грудь, он и двери держал настежь — в кабинет к нему входили смело, ибо в приемной Адмиралтейства не было даже адъютантов. В пустой холостяцкой квартире на окраине Васильевского острова не имелось даже люстры, хотя с потолка гостиной и свисал крюк.

— На этом крюке меня и повесят, — говорил Краббе...

Именно при Николае Карловиче Краббе и случилась история с созданием «Вольного общества китоловов».

Морской корпус — на берегу Невы; возле него, меланхолично скрестив руки, давно стоит задумчивый Крузенштерн... 1871 год отмечен нарастанием идей «народовольчества»; однако народники потерпели неудачу, пытаясь привлечь к своему движению офицеров армии и флота, — не все верили в успех их дела! И лишь немногие тогда убедились в том, что революционная ситуация в России — не выдумка фантазеров, а подлинная назревшая сущность, потому и примкнули к народовольцам...

Конспирация? Ею пренебрегали. А полицию не удивляло, если однажды вечером из какой-либо частной квартиры вываливалась толпа молодежи, продолжая бурную дискуссию на улицах. Конечно, в таких условиях вести революционную пропаганду было нетрудно и даже слишком заманчиво — Морской корпус такой пропаганды не знал! А начальство не осуждало в гардемаринах неистребимую лихость, будто бы исключавшую интерес к вопросам политики. Так и было: в корпусе, например, процветало общество, которое возглавлял гардемарин из графов — Диего Дюбрэйль-Эшаппар I. Склонные к разным дурачествам гардемарины льнули к нему. Дюбрэйль-Эшаппар внушал своим адептам: учиться кое-как, лишь бы не выгнали, книг не читать, по театрам не шляться, умников презирать. В эту среду затесался и кадет Хлопов, юноша воспитанный и образованный, за что граф открыто именовал его дураком, а товарищи третировали... Но это еще не начало истории!

Осенью 1871 года все пять камер корпусного карцера были заполнены «самовольщиками»: кто сбегал в кондитерскую, кто по маме соскучился, кому просто погулять захотелось. Двери камер выходили в общую залу, где сидел сторож, за полтинник согласный отворить двери. Здесь, в этой зале, арестованные и собирались по вечерам. Однажды кадет Эспер Серебряков пожаловался гардемариному Володе Луцкому, что ему совсем нечего читать, а сидеть еще долго.

Луцкий отвечал кадету с пренебрежением:

— Боюсь, мое чтение не подойдет...

Но книгу все-таки дал. Это был Ф. Лассаль. Затем последовал Чернышевский, номера герценовского «Колокола»...

Луцкий спрашивал:

— Ну как? Осилит?

Скоро в корпусе образовался кружок кадетов и гардемаринов, которые собирались тайком от начальства, обсуждали прочитанное, стремились к действию. Между прочим, среди изученных ими книг оказалась и книга С.В. Максимова «Год на Севере». Этот край был тогда известен россиянам в самой ничтожной степени... Зашла речь и о китах! Им в ту пору придавали очень большое значение, ибо Норвегия была для России наглядным примером того, как может разбогатеть страна на одном лишь китовом промысле. С.В. Максимов писал о неудачах, постигших русских в освоении китобойного промысла. А в Соляном Городке столичная профессура читала для рабочих популярные лекции, не забывая упомянуть о китовом мясе, пригодном для насыщения, что очень зло и метко высмеяли в стихах демократы-искровцы:

Вы судите сами —
Знать на кой нам лешего
Про кита с усами,
Если ты не ешь его?..
Лучше помогли бы, —
Вот, что нас измучило! —
Чтоб от тухлой рыбы
Животы не пучило...

Из самообразовательного кружок постепенно превращался в революционный, и Владимир Луцкий этот момент уловил.

— Господа, — спросил он, — не пора ли всем нам принять участие в тайном обществе для свержения самодержавия?

Наверное, не пристало ему, отроку, ставить такой вопрос перед кадетами, еще мальчишками! Но бурное время торопило молодежь, а все

тайное заманивало романтикой будущей революции. Тон речей задавали самые начитанные гардемарины — Володя Миклухо-Маклай, брат известного путешественника, и Коля Суханов, сын рижского доктора.

Подростки мечтали об университетском образовании, желая посвятить свои жизни служению народу.

Николай Салтыков первым вышел из корпуса и, как тогда говорили, «ушел в народ», обещая кружку помочь нелегальной литературой. Салтыков слово сдержал, но действовал он слишком необдуманно. К дому родителей кадета Пети Серебрянникова подъехал зимою на двух санях, доверху загруженных ящиками.

— Ребята! А это вам, — крикнул он товарищам...

Полиция уже науськала дворников, чтобы они приглядывали за жильцами. Но тут в полном бессилии перед ворохом многопудовых ящиков Петя Серебрянников развел руками:

— Самим не стащить! Позовем дворника...

Потом эту литературу гардемарины развозили по адресам революционных кружков, которые и сами посещали. Много позже, став зрелыми людьми, они осуждали то непростительное легкомыслие, с каким народовольцы допускали их до собраний, где все было на виду, каждый говорил, что хотел, а среди присутствующих сидели и явно посторонние люди с улицы. Где гарантии, что они не были агентами всемогущего Третьего отделения?

А между собою гардемарины уже спорили:

— Какой быть революции — мирной или буйной?

— Никогда не бывать ей мирной, — горячился Суханов. — Бомба — вот наше право! Бомба — вот наше убеждение...

Многие уже подражали Рахметову: приучали себя к голоду, а спали на жестком ложе. Вскоре гардемарины завели связи с кружками других училищ — пехотных и артиллерийских. Революция грезилась юношам в ореоле баррикадных боев, а победа народа должна была завершиться апофеозом свободы и всеобщего благополучия. Но тут в кружок проник некий Хлопов и настолько втерся в доверие, что среди молодежи не раз возникали споры:

— Не допустить ли его до наших секретов?

Он же, как потом выяснилось, сообщал все, что мог, своему родственнику Левашову, который являлся помощником шефа жандармов графа Шувалова.

Настал 1872 год... В один из вьюжных февральских вечеров, когда Эспер Серебряков уже лежал в постели, его навестил Петя Серебрянников:

— Вставай! Луцкого жандармы арестовали. И еще кого-то...

— За что? — Этот вопрос взбудоражил всех.
— А правда ли, что Луцкий на дуэли дрался? — гадали.
— Господа, он оскорбил офицера на Невском...
Но лучше всех был информирован граф Дюбрэйль-Эшаппар:
— Бросьте выдумки! Просто среди нас завелась банда террористов...
Теперь-то они тихие. Ну что? — спросил он кружковцев. — Бойтесь?
Хлопов сам же и подошел к Эсперу Серебрякову.

— Это я выдал вашу компанию! — честно сознался он. — Но едино лишь с той благородной целью, дабы спасти вас от заразы нигилизма...

Теперь адмиралу Краббе предстояло задуматься... Его окружали адмиралы вельми ветхие годами, которые не мыслили службы без линьков и плетей, а Краббе был сторонником отмены телесных наказаний на флоте. Он знал, что врагов у него много, а при той безалаберной жизни, какую он вел, к нему всегда будет легко придрататься. Услышав об арестах в Морском корпусе, он сразу сообразил, что карьера его стала потрескивать, как борта клипера при неудачном повороте сильного ветра. Вчера, черт побери, государь уехал на станцию Лесино поднимать из берлоги медведя, а его, Краббе, с собой уже не пригласил... Плохо! Для начала адмирал устроил нагоняй начальству корпуса, потом сказал, что желает видеть всех арестованных у себя. Его спросили:

— Прикажете доставить их в Адмиралтейство?

— Много им чести! Тащите ко мне домой...

Эспер Серебряков после революции вспоминал: «Вот к этому чудачку нас и повезли поодиночке. Каждого из нас Краббе встречал ласково, гладил по голове, приговаривал: “Ты, голубчик, не бойся, я в обиду никого не дам...”» После чего сажал с собою за стол, подавался чай с печеньем. Николай Карлович оказался хорошим психологом: его чай с печеньем и пти-фурами успокоил растерянных подростков. Однако лицезрение ржавого крюка, нависавшего над чайным столом, не улучшило их настроения.

— Пустое! — отмахнулся Краббе. — Вешать на этом крючке будут не вас, а... меня. И вы должны быть умниками. Не болтайте лишнего, прошу вас сердечно.

Затем входили шеф жандармов с Левашовым, начинался допрос. Но Краббе зорко следил, чтобы они не сбивали допрашиваемого, и если Шувалов или Левашов задавали вопрос, который бы мог повести к неудачному ответу, Николай Карлович сразу же вмешивался: «Я имею полномочия самого государя-императора, и я не допущу, чтобы вы, господа, губили моих мальчиков!» Спасая допрашиваемых, Краббе спасал и свою карьеру. Он мастерски вставлял в диалог побочные вопросы, невольно порождаявшие невообразимую путаницу

в дознании. И как ни бились жандармы, им не удалось сложить точное заключение, что это за кружок. Революционное тайное общество? Или детская игра в казаки-разбойники на романтической морской подкладке? Николай Карлович уверял жандармов:

— Помилуйте! В Морском ведомстве крамолы не водятся...

Левашов, сбитый с толку, в сердцах даже воскликнул:

— Да ведь Хлопов-то совсем иное показывал!

— Осмелюсь заметить, — вежливо парировал Краббе, — что ему следовало бы пить поменьше. Иначе я при выпуске из корпуса забабашаю его куда-нибудь на Амударью или, еще лучше, в Петропавловск-на-Камчатке.

Арестованных он сопровождал дельным напутствием:

— Старайтесь найти себе оправдание... Думайте!

Намек был сделан. Николай Суханов вспомнил давние неудачи России, постигшие ее в освоении китобойного промысла, и от одного гардемарина к другому передавалась его мысль: «“Год на Севере” писателя Максимова... Китов бьют все кому не лень, а мы, русофилы, сидим у моря и ждем, когда кита на берег выбросит. Стыдно сказать, господа! Даже эластичный китовый ус для шитья дамских корсетов — и тот покупаем у иностранцев... Итак, отныне мы все — китоловы».

Эврика! Киты пришли Краббе по вкусу, и при свидании с императором адмирал развил идею кружковцев.

— Ах, государь! Все это такая чепуха, — сказал он. — Никакой политики, а лишь «Вольное общество китоловов». Начитались мальчишки книжек и решили после окончания корпуса образовать промышленную артель, дабы на общих паях развивать на Мурмане китоловный промысел.

— Не совсем так, — вмешался граф Шувалов. — Что-то я не помню, где и когда Чернышевский с Герценом пеклись о китовых усах или вытопке китового жира.

— А вы читайте Максимова! — отвечал Краббе. — У него написано, как ваш незабвенный пращур, граф Петр Шувалов, еще при императрице Елизавете пытался нажить миллионы от продажи народу китового сала, и ни черта-с у него не получилось!

Александр II внимательно выслушал их полемику.

— Краббе, подай мне перо, — сказал он.

На докладной графа Шувалова он поставил свою резолюцию: «Забыть и простить». Отбросив перо, царь похвастал:

— Вчера под Любанью егеря мою медведицу обложили. Может, Краббе, составишь компанию мне?

Шувалова же на охоту он не пригласил:

— Любите вы, граф, из мухи слона делать...

А чтобы сразу покончить с дрянью, я скажу, что граф Дюбрэйль-Эшаппар кончил карьеру тем, что в царствование Николая II стал его верным собутыльником. А как сложилась судьба Хлопова — не знаю...

На склоне лет Краббе захотелось семейного счастья, и в его одишлом доме зашебетала молоденькая актриса. Нешадно обворовывая адмирала, она «за взятки выводила в чины чиновников из писарей, посылаемых к ней на кухню для поручений. А в итоге — паралич и долги!» Николай Карлович опустил, вместо подписи на приказах по флоту ставил каббалистические знаки. Наконец даже от резолюций отказался, а согласие давал кивком головы. Очевидец описывает жалкую картину разложения когда-то бесшабашного весельчака: «Старик выглядел виновато, коснеющим языком пытался уверить себя и других, что у него только геморрой...» На пустой крюк актриса повесила богатую хрустальную люстру. Краббе зажмурился от ее сияния — и умер!

Первый политический кружок на флоте среди будущих офицеров эпохи Александра II так и остался в истории под названием «Общество китоловов». Со временем мальчики выросли. Стали мичманами. Потом лейтенантами. Позже при дворе уразумели, что «китоловы» не такие уж наивные мечтатели, какими казались, и жандармы снова завели на них дело. Многие из «китоловов» были наказаны службою в отдаленных краях империи, иные же до конца своих дней находились под негласным надзором полиции.

Кого мы знаем из них? Кто остался в легендах?

Петр Осипович Серебрянников. В битве при Цусиме он, уже капитан 1-го ранга, командовал броненосцем «Бородино». Его объятый пламенем корабль сражался до последней минуты с небывалым ожесточением, а из всего экипажа броненосца уцелел лишь один матрос...

Владимир Николаевич Миклухо-Маклай. В той же битве он принял смерть, стоя на мостике броненосца «Адмирал Ушаков». Его поврежденный корабль отстал от эскадры, и на рассвете, окруженный противником, Миклухо-Маклай принял неравный бой...

Николай Евгеньевич Суханов. Погиб еще раньше. Минный офицер и лейтенант. Арестован при разгроме партии «Народная воля». Обаятельный человек. Задушевный товарищ и великолепный оратор, друг Желябова, Перовской, Веры Фигнер и Кибальчича. Участвовал в подготовке убийства императора Александра II. 19 марта 1882 года Суханов был расстрелян в Кронштадте. Его личные вещи уничтожили, а матери, жившей в Риге, жандармы вернули только карманные часы...

КОММЕНТАРИИ

К началу 1983 года у В. Пикуля сложились непростые взаимоотношения с издательством «Советский писатель» родного ему города Ленинграда. Дело в том, что после отрицательной рецензии В. Герегляда на роман «Три возраста Окни-сан» руководство издательства предложило Валентину Пикулю переработать рукопись, но автор отстаивал свою точку зрения, уверенный в правомочности собственных творческих концепций.

В письме, адресованном директору издательства В.П. Набирухину, главному редактору Р.В. Назарову и старшему редактору Т.Д. Зубковой, Валентин Саввич писал: «Наши отношения превратились в бесполезную полемику. Я желаю печатать роман — Вам желательно видеть в печати выжимки из него. Я не могу убедить Вас в верности моих взглядов на историю, но и Вы не убедите меня в своей правоте, которую можете оправдать не историей, а лишь побочными обстоятельствами. Теперь, по прошествии трех лет, Вы ставите под сомнение даже название моей вещи. Давайте прекратим этот спор, заводящий нас в тупик. Я предлагаю Вам совсем иной вариант: я сдаю Вам другую книгу с тем же объемом в 25 авторских листов.

Название ее — “КАЖДОМУ СВОЕ”».

Я не упоминала бы здесь письмо, написанное по поводу романа «Три возраста Окни-сан», если бы название нового романа вновь не стало предметом бурных дебатов. Латинский фразеологизм, введенный Марком Туллием Цицероном еще до новой эры, одно из положений римского права — КАЖДОМУ СВОЕ, воспринимался «Советским писателем» только в узко ассоциированной трактовке: как надпись на входе гитлеровского концлагеря.

В ленинградском издании, вышедшем в свет в 1985 году, роман со «спорным» названием «Каждому свое» и роман «Париж на три часа» были упрятаны под одну обложку, на которой значилось: Валентин Пикуль. «Под шелест знамен». Романы. Книга вышла тиражом в 100 тысяч.

«Каждому свое» Валентин Саввич начал писать в новогоднюю ночь 1983 года, и через три месяца и 17 дней роман был закончен. Как видим, работа шла довольно быстро. Собственно говоря, работа всегда идет быстро и успешно, когда ей предшествует длительная кропотливо-скрупулезная творческая подготовка. А подготовка была фундаментальной. Оказалось, что наполеониада на русском языке отнюдь не малочисленна. Но большинство исторических исследований и монографий, проштудированных Пикулем, было написано с бонапартистских позиций, а Валентин Саввич хотел разглядеть в Наполеоне живого человека, а не только всемогущего императора.

«Он был велик, но он был и жалок!» — эти слова, сказанные о Наполеоне, должны были стать мерилом правдивости в оценке его личности.

Вживаясь в быт, нравы, обычаи и моду Европы начала XIX столетия, Валентин Саввич знакомился с жизнеописаниями многих великих современников Наполеона. Интересно, что самой последней книгой, отложив которую в сторону Пикуль принялся за роман «Каждому свое», была книга о... Бетховене.

Знакомясь с периодом пребывания Бетховена в Теплице в июле 1812 года, его встречая с И.-В. Гёте, Валентин Саввич сделал наброски-заготовки к исторической миниатюре о Бетховене (вернее, о его любви к Амалии Зебальд), но потом, бросив все, резко переключился на Моро. Как объяснить этот поворот от музыки и музыки к генералам, пушкам и войне? Может быть, тому виной

слова Бетховена, сказавшего о своих сонатах: «Я пишу не для того, чтобы люди плакали от умиления, а для того, чтобы шли на бой!»

Так или иначе, неисповедимыми путями Валентин Пикуль вновь вышел на материал, уже знакомый ему по ранее написанному роману «Париж на три часа».

Любопытная деталь: узнав, что Пикуль работает над книгой о генерале Моро, французский переводчик его произведений Маке Эйльброн прислал Валентину Саввичу в подарок книгу Эрнеста Доде «Генерал Моро», изданную во Франции в 1909 году, естественно, на французском языке. Но она так и осталась сувениром, поскольку в личной библиотеке Пикуля имелся в наличии перевод ее на русский язык, опубликованный в российской периодике в... том же 1909 году. Вот так работала отечественная периодика в те далекие времена, именуемые нами «до 1913 года».

Первая публикация романа «Каждому свое» была осуществлена в русско-болгарском журнале «Дружба» с 3-го по 6-й номер за 1985 год.

В том же году с новым романом познакомились и рижане. С июльского номера его начал публиковать журнал «Даугава».

Уже упомянутый сборник «Под шелест знамен» в 1989 году был переиздан ленинградским «Советским писателем».

Тема наполеоновского нашествия на Россию заинтересовала издательство «Кыргызстан», которое осуществило выпуск книги тиражом 160 тысяч.

В 1990 году издательство «Современник» объединило под общей обложкой «Реквием каравану PQ-17», исторические миниатюры и роман, определивший название сборника — «Каждому свое».

Надо сказать, что в сравнении с другими произведениями Пикуля роман «Каждому свое» издавался заметно реже, хотя связь его со днем сегодняшним не менее очевидна. На скамье подсудимых Моро говорил: «Навязывая свою волю и свои взгляды соседним народам, мы искусственно вызываем кровопролития, от которых уже начала уставать Франция, а скоро устанет весь мир. Штыки хороши для атак, но штыки совершенно непригодны для того, чтобы на их остриях переносить в другие страны идеи...»

Злободневность этих слов, произнесенных много лет назад, солидарность с ними автора — все это делало книгу, мягко говоря, дискомфортной для верхних эшелонов тогдашней власти.

До чего же забавны бывают исторические параллели...

Генерал Жан Виктор Моро, слава которого (в какой-то момент) затмила славу Наполеона, сражавшийся в Италии с войсками А.В. Суворова, противник личной диктатуры императора Бонапарта, республиканец с идеологией борца за справедливость, свободу и независимость, был приглашен Александром I на службу военным советником при ставке российского императора.

За подобные высказывания при «генеральных секретарях» его бы просто не пустили в нашу страну. Один мыслил так, другие иначе. Каждому свое. А Валентин Саввич очень любил делать героями своих книг ярких, незаурядных личностей, сила характера которых наиболее контрастно проявляется в период тяжелых испытаний.

Симпатия к герою романа проявляется у В. Пикуля даже в тщательно подобранных эпиграфах, в которых чувствуется что-то очень автобиографичное: «Я сделался солдатом, потому что я был гражданином».

Содержание

КАЖДОМУ СВОЕ

Часть первая	
ГРАЖДАНИН МОРО	5
Часть вторая	
СОПРОТИВЛЕНИЕ.....	110
Часть третья	
ПОД ШЕЛЕСТ ЗНАМЕН.....	224
ЭПИЛОГ	347

МИНИАТЮРЫ

Бобруйский «мешок».....	357
Дворянин Костромской	365
Длина тени от сгнившего пня	371
Пасхальный барон Пасхин	381
В гостях у имама Шамиля.....	386
Старое, доброе время.....	395
«Вольное общество китоловов»	406
КОММЕНТАРИИ.....	413

Литературно-художественное издание

Полное собрание сочинений

Пикуль Валентин Саввич

КАЖДОМУ СВОЕ

МИНИАТЮРЫ

Выпускающий редактор *В.И. Кичин*

Верстка *И.В. Хренов*

Корректоры *Н.К. Киселева, О.В. Сергеева*

Оформление обложки *Д.В. Грушин*

ООО «Издательство «Вече»

Адрес фактического местонахождения:

127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1.

Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.

Почтовый адрес:

129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес:

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

E-mail: veche@veche.ru

<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 23.06.2015. Формат 84 × 108 1/32.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Бумага газетная.

Печ. л. 13. Тираж 5000 экз. Заказ № 10864.

ООО «Имидж Принт»

300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129.

Отпечатано в ООО «Тульская типография».

300026, г. Тула, пр. Ленина, 109.



В центре романа «Каждому свое» —
судьба французского генерала-республиканца Моро,
вставшего под знамена русской армии, чтобы пресечь
честолюбивые диктаторские замыслы Наполеона.

Миниатюры, включенные в настоящий том,
представляют собой галерею портретов ловких
авантюристов и других ярких исторических
личностей XVI — начала XX века.



ISBN 978-5-4444-2981-5



9 785444 429815

